

|| 2 ||

# НОВАЯ МИРА

НОВАЯ МИРА

|| 1976 ||

2



1976



# НОВЫЙ МИР

Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й  
Л И Т Е Р А Т У Р Н О - Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й  
И О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К И Й Ж У Р Н А Л

Издается с 1925 г.

№ 2

Февраль, 1976 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

## СО Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
СТ. ЗОЛОТЦЕВ — Отчизна, стихи	3
АНАТОЛИЙ ФЕРЕНЧУК — Стойкий туман, роман	15
ВАЛЕНТИН ПРОТАЛИН — Огонь, стихи	134
ВЛ. ВОЛКОВ — Байгурская школа. Предисловие Д. Данина	138
ВАДИМ СИКОРСКИЙ — Современник, стихи	164

### ПУБЛИЦИСТИКА

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ	
А. РОДЫГИН — Главный экзамен	170
—	
ВЛАДИМИР ШУБКИН — Начало пути (Размышления о проблемах выбора профессии)	188

### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ФЕЛИКС КУЗНЕЦОВ — Гуманистическая правда века	220
ВАСИЛИЙ НОВИКОВ — Образ коммуниста — образ нового человека	242
РАФАЭЛЬ МУСТАФИН — Немеркнущий свет подвига. К 70-летию со дня рождения Мусы Джалиля	251

### КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

<i>Литература и искусство</i>	257
Вл. Разумневич. Коммунисты — совесть эпохи.— В. Оскоцкий. Мировосприятие художника.— Николай Федь. Идеалы правды и человечности.	
<i>Политика и наука</i>	272
И. Ворожейкин. Летопись атакующего класса.— А. Колпаков. Память человечества.— Е. Немировский. Читающая держава.— В. Турбин. Доброе начало.	

(См. на обороте)

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»

Москва

## СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
КОРОТКО О КНИГАХ — Ю. Ляхов.— Ю. М. Калинина. Отец. Рассказ дочери. Литературная запись Ю. Капусто. ♦ Ксения Бродер.— Леонид Кудреватых. Признание в любви. ♦ Сергей Львов.— От мая до мая. Стихи поэтов социалистических стран Европы в переводе Юрия Левитанского, с предисловием Константина Симонова. ♦ Л. Козлов.— Великая Отечественная... Краткая иллюстрированная история войны для юношества. ♦ Вл. Кузнецов.— Анатомия агрессии. Новые документы о военных целях фашистского германского империализма во второй мировой войне	283
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	287

---

---

СТ. ЗОЛОТЦЕВ



## ОТЧИЗНА

Невыносимо светел океан,  
когда огромный шар ползет наружу,  
и насыщает пламенем туман,  
и разгоняет облачную стужу.

Черты материков, границы стран  
под крыльями сдвигаются все туже.  
Невыразимо красен океан,  
и ты в полете красотой запружен.

Исполнилась мечта: увиден свет.  
Но ты иною красотой согрет —  
лесной родник, береза у колодца...  
Там журавли уходят в синеву,  
там люди, для которых я живу.  
Отчизна ждет. Она меня дожждется.

## ЦЕХ

Пух тополиный, вспыхни, словно порох,  
огнистой лентой в травах полыхни!  
Пускай снимает память с дальних полок  
зеленые и радостные дни...

Я той весной ходил в ночные смены.  
Навстречу шел народ из проходных.  
Высокий цех был непривычно тих:  
станки и прессы, верстаки и стены  
без голосов, без шума, без людей —  
все это походило на музей  
абстрактных изваяний из металла  
в скупой подсветке из огромных окон,  
в которых ночь неспешно набухала,  
чтоб через час взорваться, словно кокон,  
плеснув зарей!  
Машинных масел дух  
в цеху витал. И тополиный пух  
влетал в проемы окон, и кружился  
среди станков молчащих, и ложился,  
бетон полов промасленных светля.



И не было в цеху таких конструкций,  
которых не посмел бы он коснуться,  
в стекле и стали сея тополя.

Замедливая ритмику процесса  
рабочего, я должен был сметать  
осевший пух со всей станины пресса,  
а он взлетал — и падал вниз опять...  
Я выбирал одну из заготовок  
и, штамп наладив, бил ногой педаль —  
и прогибалась листовая сталь  
под тяжестью ударов многотонных.  
Сверкающая юная деталь  
при свете желтой лампы бронзовела —  
я молоточек медный доставал  
и марш победный дробно отбивал  
во славу верных рук и глазомера!

(Стальную планку повернув на свет,  
как зеркало, во время перекура  
смотрел я на густую шевелюру,  
где белый пух, как шапка, размещался,  
и думал, что вот так же буду сед,  
но как же я жестоко ошибался —  
нет седины и шевелюры нет...)

А в окнах первый летний плыл рассвет.  
В руках слесарный отвисал пинцет.  
И, тяжестью налитое, гудело  
мальчишеское утреннее тело,  
когда я выходил из проходной  
и воздух пил, хмелящий, словно солод.  
И так же свеж и чист передо мной —  
сиреневый, зеленый, областной  
для солнца раскрывался древний город...  
Тот город, где явился я на свет,  
где было мне тогда семнадцать лет.  
А тополиный пух на тротуарах  
высокими сугробами лежал.  
И я сначала шел, потом бежал  
вдоль новых зданий и домишек старых  
к широкой и синеющей реке.  
И радуясь, что дворник вдалеке,  
я озорную вспоминал привычку:  
над пухом тополиным чиркал спичку —  
и, постового всполошив с утра,  
он становился лентою огнистой,  
летел-шумел, раскидывая искры,  
и проносился по земле так быстро,  
как та шальная, звонкая пора!..

Вот он опять кружится надо мною,  
как той непозабытою весною,  
и падает в раскрытую ладонь.  
Спасибо, тополь.  
Можно быть поэтом,  
пока еще живут на свете этом  
пух тополиный, молодость, огонь!

## СНЕГ

И выпал снег, и самым зорким глазом  
 не отыскать, куда он не упал,  
 куда его полету путь заказан,  
 где он другим дорогу уступал.  
 Он закружил по городам и рощам,  
 земли и неба воплощая связь  
 и ненадолго достояньем общим  
 в державах пограничных становясь.  
 Дорожникам работы дав по горло,  
 гнилые ветви тяжестью круша,  
 ложится снег. И в пушечные жерла  
 заходит его светлая душа.  
 И возвращая детство в синих блестях,  
 снежинка за снежинкою спешит,  
 и добротой сильней пронизан воздух,  
 чем воздух стрельбищ пулями прошит.  
 И зрелость нарождается такая,  
 такая ясность сердца и ума,  
 как будто утром, солнцу вслед взбегая,  
 ты видишь мир с Тригорского холма.  
 И под крылом качается Европа,  
 и так захватит дух, как будто рвешь,  
 летя к земле, из ножен острый нож,  
 чтобы обсесть запутанные стропы —  
 и парашют раскрылся! И опять  
 вокруг тебя — дыханье хвойных игол,  
 и выпал снег. И вот готова книга,  
 осталось только сесть — и написать.  
 Чтоб в этой книге вился дым над крышей,  
 и чтоб герой, хороший человек,  
 заснув один, поутру бы услышал:  
 «Любимый мой, сегодня — выпал снег!»  
 И эта правда — не наполовину.  
 Ее не скрыть, о ней не скажешь зря.  
 И в снегопаде, словно сердцевина,  
 проглянула багряница — заря.  
 И вьются от Азова до Онеги,  
 и падают на зимние луга  
 снега, снега... в стихах и песнях — снѣги,  
 а на земле — по-прежнему — снега.

## ТАНК НА ДОРОГЕ

Земля и камень  
 запели гулом далеким.  
 На придорожье пыль спадает с листвы.  
 Огромный танк  
 летит по ночной дороге  
 без башни, словно всадник без головы.  
 Еще не виден он — лишь грохот гусениц слышен,  
 лишь дробной дрожью жесть пробита по крышам  
 и стекла звякают в ночном предместье Москвы.

И вот он вылетел —  
 под нимбом пыли и лязга,

по всей ширине дороги распластан,  
без башни, словно всадник без головы.

Куда летит он, ставший теперь балластом  
для новой техники Вооруженных Сил,—  
на переплавку или в тайге зубастой  
на выкорчевку последний потратит пыл?

Три шлема чернеют над лобовой броней,  
три пары глаз молодых — как будто в ночное  
коней погнали. Не сквозь смотровую щель  
им город виден, а сквозь пропыленный ветер,  
и грохот танка пронзила трамвайная трель.  
Его собратья пушками в небо метят  
на постаментах у Волги и у Невы.  
А этот танк все мчит по ночной планете  
без башни, словно всадник без головы.

### РУСЬ

Закурлыкало небо осеннее,  
мелкий дождичек заморосил.  
Если есть в нашем мире везение —  
это осенью жить на Руси.

Над ее городами и весями  
смешан с дымом березовый спирт.  
И проселков старинное месиво  
под корою бетонную спит.

Заночуешь в сторожке приземистой —  
в гулкий город вернешься с зарей  
и с колючим дыханием вереска  
и с прилипшей к подошвам золой.

Не зазя было лето потрачено —  
и в плодах и в крови разлилось.  
По тропинкам, протоптанным начерно,  
возмужавший проследует лось.

Пусть меня на ветру подморозило,  
только б озимь до срока дошла,  
только б рыбу широкого озера  
не сгубила б мазутная мгла.

Небо тучи завесили наглухо,  
но в садах даже ночью красно.  
Если на землю падает яблоко,  
станет яблоней новой оно.

### РУБЕЖ

Две сопки. Меж ними граница —  
сверкающий синий ручей.  
Вдоль разных миров он змеится,  
а сам остается ничей.

На глыбах замшелых и острых  
казарок разносится крик.  
Две сопки похожи, как сестры,  
их создал такими ледник.

За каждой — холмистая тундра,  
туман — словно дым из печи,  
и солнце неяркое мудро  
им поровну дарит лучи.  
Меж ними — полярного мака  
разлит розовеющий цвет.  
И нет пограничного знака,  
столба полосатого нет.  
И нет никакого разлада  
меж ними с любой стороны.

...Но сопки, стоящие рядом,  
столетьями разделены.  
Одна родила их природа,  
но в пахнувший порохом час  
ручья торопливые воды  
краснели от крови не раз...  
Я знаю, что годы настанут —  
на свете не будет границ,  
две сопки едиными станут  
не только для зверя и птиц.  
И грозный рубеж превратится  
в ручей, где рыбешки скользят.

...Где нынче проходит граница,  
откуда — ни шагу назад!  
Не камень, сырой и замшелый,  
пришли мы сюда уберечь,  
а наше высокое дело  
и нашу целебную речь.

И парень на сопке напротив  
зажал автомат под рукой...  
Конечно, все дело в природе —  
но только в природе людской.

## МОЙ ПОСЛЕДНИЙ ПОЛЕТ

В растворенные окна влетает ветер слабый,  
в запах кожаных курток внося морской раствор.  
На фуражках беловерхих поблескивают «крабы»,  
и сентябрь им вторит латунною листвою.  
О земном, о дневном говоря и балагурия,  
ожидает приказа небесный экипаж.  
Мой последний полет!

Ни в какой житейской буре  
не сметет тебя память в пылящийся багаж.  
Пусть на вечность похожи мгновенья подъема  
и покроет винты ледяная скорлупа,  
но короче уже расстояние до дома,  
чем до летного поля бетонная тропа...



А в гостинице блещет литыми якорями  
 мой мундир ненадеванный, сшитый на заказ.  
 За горами — тайга, и зима не за горами,  
 и по курсу лежит увольнение в запас.  
 Память — странная женщина...

Быстро почему-то  
 растеряет она все обидные часы  
 и оставит лишь эти

высокие минуты  
 в ожиданьи приказа у взлетной полосы.

И горит под крылами земли волшебный профиль.  
 И за всю свою жизнь ничего мы не сравним  
 с этим кратким глотком обжигающего кофе  
 и с последней затяжкой перед вылетом ночным!

### ПОЛЕ

После неожиданных холодов  
 снова заплакана осока.  
 Лемех наточенный готов  
 землю пропаривать глубоко.  
 Бурый дымящийся подзол  
 принял просеянные зерна.  
 Вместе с разливами озер  
 сев начался в Нечерноземье.

Запахам учится пчела,  
 словно мальчишка учит буквы.  
 Поле, угрюмое вчера,  
 силой зеленою набухло!

Все вырастает на земле —  
 с красного яблока литого,  
 с теплого хлеба на столе  
 вплоть до высотного бетона.  
 Если порвется эта нить  
 даже у светлого таланта —  
 сможет он только повторить  
 участь печальную Атланта...

Стрелки не сбилось острие,  
 годы в душе не побороли  
 поле магнитное мое —  
 нежное северное поле.

### КОСМОНАВТ

Ракета вышла из притяженья,  
 как лошадь — вервие разматов.  
 И плоть, напрягшуюся в движеньи,  
 расслабил радостный космонавт.

В висках, как сок в молодом побеге,  
 клокочет кровь. И, входящий в миф,  
 он ждет не гибели, а победы,  
 но если смерти, то — победив.

Словно останкинская громада  
взвилась, поняв естество свое,  
и, как взорвавшиеся гранаты,  
стоят галактики вокруг нее.  
И зрелым яблоком на ладони  
планету летчик снимает в фас.  
Смеется, плачет она и стонет,  
но знает летчик: Земля — не фарс.

Так из апрельской земли садовник  
на солнце вызволит черенки.  
Так пчеловод в январе любовно  
поставит патоку на летки.  
Так, становясь из мальчишки мужем,  
целует девочку призывник.  
Так Пушкин перед дуэльной стужей  
писал о важности детских книг.

Так человек обретает космос,  
не становясь для земли скупей,  
и входит взрывом во мглу и в косность.  
и за ступенью летит ступень.  
И, раскаленно дыша в полете,  
плоть человека, плоть корабля  
соединились в единой плоти,  
в едином крике: «Живи, Земля!»

### ГОЛЬФСТРИМ

Посередине Кольского залива  
я снял шинель. Подводное тепло  
наружу вырывалось и росло,  
и пар над катерком свивался в гривы.

В домах давало трещины стекло,  
на суше воздух жегся, как крапива.  
И мы тепло глотали торопливо,  
как солнце — если б вдруг оно взошло...

И в воду окунуться так хотелось,  
как хочется в себе почуять смелость,  
когда душа и воля стеснены.

Вновь за кормою стужа замыкалась...  
Но в наших венах жарко растекалась  
неотвратимость солнца и весны.

1975.

### ВОЗДУШНЫЙ КОРАБЛЬ

У нас на корабле —  
ни паруса, ни шлюпок,  
и якорной цепи по борту не греметь.  
Немыслимо тяжел  
и беспредельно хрупок,  
он режет в небесах расплавленную медь.



мужество познал к лицу лицом,  
запахи его пороховые...

Там весною тундра гомонит,  
зацветают море и гранит!  
Там дорогой летною, прямою  
молодость моя вошла в зенит,  
сердце приросло к Североморью.

\* \* \*

Ночное дежурство на аэродроме.  
Поблескивают ножи матросских штыков,  
привинченных к автоматам.  
Гудят тяжеловозы-заправщики,  
проползая в дальний угол поля,  
откуда, вторя штыкам, перекрещиваясь,  
врезаются в небо ножи прожекторов.  
После первой грозы воздух насквозь  
пропитан электричеством, теплом и озоном.  
Как, все напряжено!

Из лесов, в которые всажен аэродром,  
идет острый запах черемухи, хвои,  
сырой и теплой, грибной земли.  
Внезапно на вышке контроля полетов  
вспыхивает сигнальный огонь —  
и пять огней возникли в черной высоте,  
обрамляя невидимую крылатую тяжесть.  
Топоча сапогами по нагретому бетону,  
к мигалкам посадочных огней  
пробегает команда техников.  
Шершавая тяжесть противогаза  
повисла на плече...

А рядом, на тропке, ведущей с летнего поля,  
в траве вспыхивает светлая точка —  
то ли окурок, то ли светлячок..  
И так хочется жить!

1973.

## ПОРТРЕТЫ КАМАЗОВЦЕВ

### I

*Наилю Галиуллину*

...Отмечен той мужскою красотой  
и той особой силой налитой,  
когда она не в сажени косой —  
в движении, не знающем простоя,  
тугая тетива — таков Наиль,  
меня ведущий по тропе бетонной,  
где года два назад и грязь и пыль  
топтал он, окрыленный и бессонный.  
Наиль, Наиль! Тебе б сейчас коня —  
степную кровь тебе отдали предки.



Я вижу отблеск древнего огня  
 в твоих глазах. по-юношески цепких.  
 И первый, легкий иней на висках  
 тебе идет, как лугу — первый иней,  
 как городу на камских берегах  
 законченность его штрихов и линий.  
 И этот мир, в котором ты живешь,  
 и этот город, что тобой построен,  
 как твой ребенок, на тебя похож —  
 стремителен, порывист, беспокоен.  
 Твой резкий облик доброту таит,  
 и чтоб не выдать этой доброты,  
 ругаешь ветер на чем свет стоит,  
 а свет стоит вот на таких, как ты.

## II

*Инге Щербатых*

Лес — как сито, сквозь которое  
 цедают золото из тигля.  
 Как ржаной ломоть посоленный,  
 поле в инее блестит.  
 Над равнинными просторами  
 люди светлый град воздвигли,  
 и, с природой не поссоренный,  
 он по небу не грустит.  
 ...Я с улыбочивою женщиной  
 по-над Камою иду,  
 чьи глаза — озера вещице —  
 неподвластны злу и льду.  
 В них таится столько синего  
 и такая глубина,  
 что и небо не осилило  
 выпить эту синь до дна.  
 В быте стройки, в свисте ветра,  
 в нервном трепете металла  
 ты и синь и нежность эту  
 сберегла, не растеряла.  
 Время — словно не касается:  
 мать, а взглянет — как девчонка.  
 Как назвать тебя, красавица, —  
 камазянка, камазонка?!  
 ...Хорошо бы, если б жители  
 полных техники громад  
 не забыли, как пронзителен  
 и целебен женский взгляд.  
 Сложен век в своей безбрежности,  
 но ведут его мечты,  
 преисполненные нежности  
 и глубинной красоты.

## КАМСКИЙ ПАРОМ

Предзимье. Прозябший дымок над лугами.  
 По берегу — бронзовый мачтовый лес.  
 Тяжелый паром по взъерошенной Каме  
 течению движется наперерез.

На нем самосвалы столпились устало,  
и в свадебных лентах увиты такси.  
Широкая палуба тесною стала,  
и в спешке любой — у кого ни спроси.  
А ветер такой, что и студит, и греет,  
и грудь забивает простором тугим.  
Всем на берег надо, всем надо скорее!  
Одним — за цементом, за счастьем — другим.  
Но эти минуты, когда через реку  
проходит навьюченный грузный паром,  
для пристальных мыслей даны человеку,  
чтоб жизнь, словно Каму, вобрать в окоем.  
Мазутные пятна идут от парома  
неспешного, но без парома — труба.  
И время сурово, и Кама сурова,  
и все это вместе зовется — судьба.  
Шоферы дымят «Беломором» казанским,  
у пыльного кузова сбившись в кругу.  
И в сварочных брызгах вдали показался  
немыслимый город на том берегу.  
А Кама такая, что солнце глотает,  
а солнце такое, что Каму зажгло,  
а город такой, что и слов не хватает,  
и слышу сердца сквозь бетон и стекло.  
И вижу, что мужеством не оскудела  
земля, где паром через Каму идет,  
и разума требует каждое дело,  
и дело торопит, и время не ждет.

### ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ

Строился город — Москва или Рим —  
всюду, во все времена  
мертвой земля становилась под ним,  
гибла под камнем она.  
Время, наверно, такое пришло —  
в сталь и бетон заковав полземли,  
поняли мы, что губить грешно  
землю, где мы росли.  
...Строится город над Камой, и там  
взрыли машины дрему  
плотно лежащего по полям  
древнего чернозема.  
Рухнула тишь в бывшей глуши,  
черпают жадно стальные ковши  
пласт, комковатый и черный,  
щедрый и животворный.  
Город вздымается день за днем,  
искрами сыплет сварка.  
Но и кормилец людей — чернозем  
не превратился в свалку.  
С камского берега увезен,  
чтобы на скудных полях поселиться,  
будет еще кормить чернозем  
соком своим пшеницу...  
Время настанет, годы придут,

брезжущие вдали,—  
 строго нас спросит потомков суд:  
 «Землю вы сберегли?»  
 Да, сберегли. Вот живой и сочный,  
 бережно снятый пласт.  
 Землю — с буквы большой и строчной —  
 мы сберегли для вас.

### СТАДИОН В САНТЬЯГО

Не высотой и дерзостью рекордов  
 впечатается в память это поле —  
 судьбой людей, истерзанных и гордых,  
 не потерявших мужества в неволе.

Футбол фашистов — сапогом в лицо.  
 Скамья штрафная ложем пыток стала.  
 На турнике с повешенным певцом  
 висит его разбитая гитара.

Там, говорят, порядок навели..  
 Штыков не видно, и не слышно стонов.  
 Живых — по тюрьмам. Мертвых развезли  
 по свалкам. И содрали кровь с бетона.  
 Трава растет, сочна и зелена.  
 Напилась крови досыта она.  
 И только перед стартом пистолеты  
 теперь гремят на стадионе этом.  
 Коричневый парад, крысиный смрад  
 ползет по Чили. Но придет и финиш.  
 И пусть Гевара с постамента снят  
 и переплавлен. Весь народ — не скинешь.  
 Над сворой генеральского зверья,  
 придя из шахт, колледжей и заводов,  
 свой приговор произнесет судья —  
 распятая чилийская свобода.

В ее руках набатом зазвучит  
 простреленная гневная гитара.  
 И встанет перед нею, словно щит,  
 живой — не переплавленный — Гевара.



---

---

АНАТОЛИЙ ФЕРЕНЧУК

★

## СТОЙКИЙ ТУМАН

Роман

### Глава первая

**З**абив в последний горбыль последний гвоздь, Трофим запихнул молоток за голенище сапога и в изнеможении опустился на валяющуюся у порога хозяйского ларька дубовую, для разделки мясных туш колоду, почерневшую от времени и ссеченную с одного торца топором в мочало. Запуская в карман чекменя за кисетом с махоркой руку, он поднял печальный взгляд на заколоченные крест-накрест окна и двери ларька и, помрачнев еще больше, тяжело вздохнул. Его зеленоватые, под цвет стоялой болотной воды глаза с темным накрапом вокруг зрачков воспаленно и сухо горели — в них затаилось глухое отчаяние.

Солнце уже поднялось над нехотя ронявшими желтую листву тополями, выстроившимися в две шеренги по бокам широкой станичной улицы и подпиравшими где-то далеко в вышине по-утреннему белесое и холодное небо. Косые лучи, отливающие тусклой медью, еще не успели как следует прогреть настывшую за ночь землю, расквашенную затяжными дождями, но воздух они все больше и больше насыщали скупым и по-осеннему грустным теплом, от которого вскоре на глазах начал темнеть и таять, испаряясь, на окраинах крыш дощатых ларьков и лабазов седой налет предрассветного инея.

Отведенная под базар большая станичная площадь, одним краем выходившая на крутой берег Кубани, обычно в эти часы говорливая и празднично принаряженная, не умолкавшая с самого раннего часа и до вечерней зари, теперь была непривычно безлюдна, тиха и пустынна. Между длинных рядов крытых прилавков и вокруг заколоченных ларьков валялись втоптаные в грязь окурки самокруток, повсюду белела шелуха тыквенных и подсолнуховых семечек, ярко пестрели радужными расцветками обертки дешевой карамели. На солнцепригреве, над мусорной ямой, травившей воздух тяжелым запахом гнили, жужжали зеленые, будто оплеснутые лаком мухи, а вдоль штaketника базарной ограды бродили, пощелкивая от голода зубами, тощие, с поджатыми хвостами бездомные собаки, привыкшие кормиться тут торговыми отбросами.

Трофим долго и жадно тянул в себя дым самосада, вертя в руках расшитый бисером бархатный кисет. В который уж раз в это утро он снова и снова окидывал взглядом голый базар из конца в конец, и с каждым разом его все сильнее охватывала тревога, гнетущая опустошенность. И становился все более невыносимым не покидавший его все это время ни днем, ни ночью страх за свою судьбу. И виною тому, как казалось Трофиму, было не что-нибудь иное, а именно опустев-



ший, по его понятию, ни с того будто бы ни с сего станичный богатый базар, лишивший его привычного занятия и, самое главное, отнявший у него ту корыстную выгоду, которую он время от времени здесь получал.

Теперь бы Трофим и сам не смог сосчитать, сколько провел на базаре по-настоящему счастливых дней! В базарные дни едва ли не со всего света съезжались сюда, в станицу районного центра, мажары, брички, тачанки, линейки и бедарки. Из года в год. Из воскресенья в воскресенье. Нагруженные чуть ли не до самого неба возы надсадно скрипели на всех дорогах, ведущих к базару, еще с субботы. Они, похоже было, только чудом не разваливались на части под грузом стонущих от ожирения многопудовых свиней, оплывших салом баранов, от тяжелых клеток с гогочущими гусями, крякающими утками, орущими курами и цыплятами, огромными, распиравшими прутья лозовых корзин индоками. А что уж и говорить о высоченных навалах тугих мешков с мукой, пшеницей, просом, гречкой и кукурузой! Или же о пузатых, с добрую хату, дубовых бочках, опоясанных толстенными железными обручами, что твои запорожцы кушаками! Они до краев были наполнены либо натопленным смальцем, либо медом, либо брусками в два кирпича толщиной сала, либо всяческими, какие только есть на свете, соленьями — тут вам и помидоры, и огурцы, и баклажаны, и капуста, и моченый виноград, и соленые арбузы — чего душа пожелает! Насыпом везли на мажарах в сене и на расстеленных рядах свежие овощи, яблоки, груши, жерделы, сливы, персики, айву, терн, шелковицу, вишни — в сыром и сушеном виде, на вкус каждого покупателя!

Пламя кроваво-мясистых помидоров, полосатая зелень арбузов, солнечная, слепящая глаза яркость душистых дынь, тугие, как девичьи косы, связки цибули и чеснока, до земли свисающие с возов ожерелья стручков красного перца, похожие на мониста красавиц, — все это кричало, звало на своем торговом языке как только могло, во всю силу, на одном конце базара, в то время как на другой его половине безудержным потоком лились в бидоны, кринки, кувшины и бурдюки молочные и сметанные реки; вершинами заснеженных гор — куда там Эльбрусу и Казбеку! — возвышались конуса творога и сливочного масла, плавясь и оплывая под жарким южным солнцем или твердея до окаменелости на бодрящем морозце; а рядом в раздутых, будто на сносях, макитрах студенисто подрагивала под румяной, зажаристой пенкой густейшая — ложка стоит торчком! — знаменитая кубанская ряженка, желтел рябой, точно поклеванный, жирный и наивкуснейший каймак, белыми колесами катались по прилавку круги маслянистой брынзы.

А совсем в стороне, поодаль от снеди, ржали в ожидании нового хозяина начищенные до зеркального блеска — хоть смотрись! — породистые скакуны, дремали рабочие лошади, мычали бугаи и коровы, визжали поросята и, сонно пережевывая жвачку, до колен пустив вязгучую слюну, стояли кругоспинные — сплошной сгусток мускулов — воли всех мастей и пород. И над всем этим скопищем людей и животных, над базаром, многоликим, разноцветным и разноголосым, стояла до самых сумерек, подобно пикам над казачьим полком в походе, частокол задранных к небу оглобель.

К полудню сквозь базар было ни проехать конному, ни пройти пешему. словно к церкви в престольный праздник, стекались сюда жители станицы, съезжалась казачья знать из ближайших окрестных мест — все разодетые, один перед другим, в самое нарядное и дорогое, что у кого было припасено в сундуках.

На казаках красовались ладно скроенные зеленые, малиновые, красные, синие, желтые и голубые бешметы, перетянутые в талии уз-

кими черкесскими ремешками с костяными и серебряными наборами; широленные, заправленные в козловые сапоги шаровары, в каждую штанину которых смело можно было всыпать по чувалу пшеницы или семечек; черные и серые каракулевые кубанки, перекрещенные золотыми позументами, да высокие мерлушковые папахи едва держались на лихих головах, чудом, казалось, не сваливаясь на землю.

Казачки же являлись на базар разодетыми в ярчайшие кофты и юбки из шелка, атласа, шерсти. Пестрые платки и полушалки цвели на их плечах всеми полевыми цветами, напоминая о степном раздолье. Полусапожки и сапожки на высоких каблуках с подковками, всех цветов кожи, на тонких спиртовых подошвах — век не износить! — облегали стройные ноги молодежи с такой притягательной силой, что от них ни один парубок не мог отвести засветившихся глаз, а уж не дай ему бог поднять глаза на хозяйку сапожек — полетит напрочь голова бедного хлопца и базар ему уже будет не в базар...

Трофим не мыслил себе жизни без базарных дней.

С того памятного дня, когда Ларион Степанович Хоруженко, у которого, осиротев, Трофим батрачил с малолетства, послал его впервые на торговое дело вместо проворовавшегося работника, он стал с жадным нетерпением ждать прихода воскресенья.

Ему по душе прихлились и базарная сутолока, и неумолчная разногласица, и торговый азарт, и богатство товаров, которое с первых же минут опьяняло любого. Рубли, трешки, пятерки, червонцы, серебро и медь, вырученные Трофимом при торговле, наполняли его властной, томительно-хмельной истомой, ощущением радости и, главное, — хотя и на короткий срок, пока не перекочевывали под вечер из ящика прилавка в хозяйский карман, — придавали уверенность и в собственной силе и в завтрашнем дне, холили мечту, кружа голову, о собственном своем хозяйстве.

Трофим приезжал с хутора на базар в субботний вечер. Летом ночевал на возу, зимою у знакомых. Хоруженко же подкатывал к ларьку на паре вороных рысаков, запряженных в сверкающую лаковыми подкрылками и красными спицами линейку, в самый разгар базара. Как бы бойко ни шла торговля, Трофим всякий раз каким-то особым чутьем угадывал приезд своего хозяина, тут же оставлял покупателей и спешил навстречу. Не он сам — Хоруженко завел такой порядок.

В гудящей толпе базара издали была видна пушистая, словно скроенная из лебяжьего пуха, высокая папаха Хоруженко и дорогого сукна белая черкеска с золочеными газырями, с алыми отворотами рукавов. Поглаживая вислые запорожские усы, с непроницаемым, холодно-спокойным румяным лицом, он шел сквозь густую тесноту базара свободно, как горячий нож сквозь брусок масла, — все в толчее спешили уступить ему дорогу. С ним здоровались по-разному: одни — заискивающе раскланиваясь даже за его спиной, другие — как равные с равным, третьи — скорее всего должники — угодливо и виновато, четвертые — с плохо скрываемой неприязнью, а иные, казалось, были готовы отдать все, что имели, за один лишь его взгляд в их сторону.

Вечером Хоруженко усаживался на табуретку около низкого, втиснутого в угол ларька столика, на котором лежали потрепанные конторские книги и счета с пухлыми от налипших мясных крошек костяшками. Грызя сушеный урюк, которым всегда были набиты карманы его шаровар, смачно обсасывая косточки и по давней привычке не выбрасывая их, а сохраняя, чтобы на досуге поколоть и полакомиться зернами, он долго и молча подсчитывал выручку, подбивал остаток, все заносил в книгу и, отдав Трофиму нужные распоряжения, отправлялся в гости к кому-либо из родственников или знакомых, а чаще всего к бывшему станичному атаману, давнему своему другу.

Трофим же после ухода хозяина каждый раз подолгу и усердно прибирался в ларьке, подметал пол, мыл и вытирал прилавок, прятал в сундуки непроданный товар, навешивал замки — Хоруженко любил чистоту и порядок. Покончив со всеми делами, он снимал фартук, отряхивал одежду, чистил сапоги и, задав лошадям на ночь сена, уже в сумерках покидал базар — шел со своими базарными приятелями, такими же, как и он, батраками, на гулянку.

До самого рассвета в чьей-либо хате, приспособленной на ночь предприимчивой хозяйкой под шинок, кипело буйное веселье, в большинстве случаев заканчивавшееся жестокой дракой. Куда же было еще девать и во что было вкладывать силу захмелевшим, томимым избытком силы парням, как не в тугие, будто свинцом налитые кулаки? Потом мирились, снова глушили стаканами дешевое виноградное вино, ходили по станичным улицам, во все горло распевая старинные казачьи песни.

И так каждое воскресенье. И каждое воскресенье приносило Трофиму целковый, трешку, а то и пятерку — в зависимости от выручки и настроения хозяина — «за усердие» к тому, что у него было уже накоплено ранее за многие годы. Деньги хотя и были случайными, но именно с ними как ни с чем другим у него неразрывно связывалась давняя, томившая душу сладкая надежда на свою землю, свой двор, свою хату, своих лошадей, свой скот, свою домашнюю птицу и свои амбары, ломящиеся от всякого добра, как у Хоруженко.

И вот ничего этого не стало. Опустел, заглох базар, словно пробушевал, промчался сквозь него губительный ураган и смел, сдул с лица земли все, что попало ему на пути. Но не было ни урагана, ни простой бури. А базар, угасая день за днем, умер, подобно живому существу, — так, должно быть, умирает надорвавшийся человек, не по силам поднявший какую-нибудь тяжесть, — тихо, медленно и неотвратимо...

И сколько ни ломал Трофим голову, как ни старался понять, куда так странно и загадочно подевалось бездонное изобилие базара, почему бесследно исчезло все то, от чего он прежде, задыхаясь, ломился, ни к какому выводу прийти не мог. Хоруженко же на его расспросы либо отмалчивался, либо нехотя, сквозь зубы ронял: «Отчепись, нашел чем башку забивать, дела тебе по хозяйству мало, чи шо? Нема людям чем торговать, советская власть все позабирала у казаков, скоро по миру с сумою всех пустит... с колхозами этими...» И Трофим верил. У него с давних лет вошло в привычку во всем доверять хозяину. И все-таки Трофим чувствовал с болью в сердце, что на хуторе, как и по всей округе, происходит что-то непонятное, вовсе не связанное с разорением казаков. И он все ждал, надеялся, что базар вот-вот оживет.

Именно потому-то, когда Хоруженко приказал Трофиму съездить в станицу и заколотить базарный ларек горбылями, у него связался с этим крах последней надежды — надежды на воскрешение базара. А с нею, переплетенная неразрывными узами, рушилась и его мечта о собственном хозяйстве, надежда на лучшую долю, на свое личное счастье.

Всю ночь перед последней поездкой на опустевший базар Трофим провалялся на соломенном тюфяке в хате батраков без сна. Мысли теснились в голове одна горше другой, от них делалось жутко, казалось, останавливалось сердце, не хватало воздуха. Проворочавшись до рассвета с боку на бок, он, вконец измученный и разбитый, насилу поднялся с топчана и, с трудом натянув чекмень и сапоги, побрел, пошатываясь, в конюшню. Его не освежила даже ледяная вода, когда он умылся ею во дворе у колодца. У стойла серого в яблоках жеребчика, которого хозяин приказал ему еще с вечера оседлать, чтобы промять

до станицы и обратно, силы оставили его совсем, и он, отгоняя от глаз рукой застилавший их туман, поспешил опуститься на мешки с отрубями. Ядовитая, хотя и неосознанная ненависть ко всему на свете впервые захлестнула в то утро его душу.

## Глава вторая

Сидя в раздумье перед заколоченным ларьком, опалив в забытыи сигаркой губы, Трофим швырнул окуроч под ноги, втоптал сапогом в грязь и снова оглядел с тоскою мертвый базар. Перехваченные горбылями крест-накрест окна и двери всех базарных ларьков напоминали ему кресты на кладбище. Стало еще тягостнее. В эту минуту глаза его остановились на расшитом бисером кисете, который он все еще, сам того не замечая, держал на коленях, и лицо его судорожно перевернулось, исказилось досадой. Он поспешно сунул кисет в карман чекменя, беспокойно оглянувшись по сторонам, словно боялся, что кто-то может его увидеть. А мысли вновь вернули его на хутор, на хозяйский двор.

...В конюшне немного отдышавшись и придя в себя, Трофим собирался уже было подняться с мешков с отрубями, чтобы оседлать жеребчика, когда на его глаза легли холодные ладони, пахнущие земляничным мылом.

Трофим мгновенно позабыл о своих грустных мыслях. С радостной улыбкой на осунувшемся, бледном от бессонной ночи лице он вскочил на ноги и закружился на одном месте, то стараясь оторвать от своих век сильные, цепкие пальцы, то поймать ускользавшую от него под звон монист и шорох платья девичью талию. Ему это долго не удавалось, и он, запыхавшись, потеряв терпение, умоляюще воскликнул:

— Сдаюсь, Пашенька, сдаюсь! Как я радый, шо ты пришла, дай же я тебя расцелую...

Едва с губ Трофима сорвались первые слова, как руки, до боли стискивавшие его виски, тут же обмякли и разжались сами собою. Не сразу сквозь плывущие перед глазами после темноты радужные круги он разглядел перед собою хозяйскую дочку Клавдию и потупился, вспыхнув румянцем от неловкости за свою оплошность.

Она тоже была смущена и стояла, опустив глаза, склонив к плечу голову со спадавшей до пояса темно-русой косой. На ней было надето все новое, лучшее, что доставалось из сундука только по большим престольным праздникам и оттого горьковато пахло нюхательным табаком, которым казачки пересыпали вещи от моли. Из-под широкой, в бесчисленных сборках зеленой юбки виднелись лаковые сапожки, на высокой груди, туго обтянутой атласным голубым бешметом, горели, переливаясь, нитки разноцветных дорогих монист. По свеженапудренному ее лицу, усыпанному рябинками оспы, расплывались полыхавшие огнем пятна.

— Надо же, як ты тихо подкралась,— нарушая молчание, неестественно громко произнес Трофим.— А я тебя все одно угадал... по духам... Нарочито другое имя назвал...

Клавдия исподлобья сквозь блеснувшие на глазах слезы не с обидой, а скорее с жалостью, со снисходительным прощеньем поглядела ему прямо в глаза и, глубоко вздохнув, ничего не ответив, молча опустила, подобрав юбки, на мешки с отрубями, где только что сидел Трофим.

Ему пора было ехать в станицу. Он, все еще чувствуя неловкость, сходил в кладовку и вскоре вернулся, держа перед собой мягкое казачье седло с тускло поблескивавшей посеребренной передней лукой.



Остановился в нерешительности у стойла жеребчика, искоса окидывая Клавдию настороженными и воспаленными от бессонницы глазами, с напускной тревогой спросил:

— Ты чего поднялась в такую рань? Случилось что или отец чего наказал?

Клавдия, задумчиво глядя на полосу света, протянувшуюся от двери к ее лаковым сапожкам, один из которых был больше другого, на толстой, тройной подошве, отрицательно покачала головой. Медленно перетянув со спины на грудь косу, Клавдия принялась переплетать ее выгоревший на солнце конец, исподлобья поглядывая на Трофима.

— Нет, я сама по себе пришла... к тебе пришла... не знала, что ты ее ждешь...

— Та никого я не ждал,— с досадой сказал Трофим.

Она снова вздохнула, подняла на него глаза и, тут же отведя их в сторону, с горькой безнадежностью спросила:

— Неужто ты ничего не замечаешь?

— Ты о чем?

— На одном дворе живем, а чужие...

Трофим вошел в стойло, накинул на спину жеребчика седло, принялся подтягивать подпругу, присев на корточки.

— Так и не родня же... — немного погодя отозвался он. — Живем, верно, на одном дворе, да по-разному. Я о такой жизни, как твоя, только мечту имею, а ты уже и родилась богатой, сразу же судьба твоя определилась. Мне, чтобы с тобою поравняться, всего самому достигнуть надобно, а у тебя ни до чего и заботы нету...

— Бывает, что и по-другому хозяйством обзаводятся,— прервала его Клавдия. — К примеру, невест богатых находят...

— То в байках,— сказал Трофим,— а в жизни завсегда деньги к деньгам идут.

— Не скажи, он, может, и бедный, а для нее лучше всех...

— То в байках,— повторил Трофим.

— И ничего не в сказках! Я сама могла бы тому, кого в сердце приняла, все отдать... все, слышишь!..

— Ты — другое дело,— вымолвил Трофим, выводя жеребчика из стойла.

Сказал, спохватился, но было уже поздно. Проклиная себя в душе на чем свет стоит, он осторожно, с опаской покосился на Клавдию и неожиданно для себя усталился на ее густые оспинки. Его с ног до головы обдало жаром и тут же бросило в холод, лоб его обметал мелкий, как пшено, пот от странного охватившего вдруг оцепенения: он силился и не мог отвести взгляда от ее густо напудренного лица, в то же самое время, к своему ужасу, сознавая, что этого не следует делать, что он может вызвать на себя ее гнев.

Под его взглядом лицо Клавдии снова охватило огнем, но теперь это были уже не просто красные пятна, оно стало сплошь багровым — на нем горели в гневе ее большие иссиня-черные глаза. Зазвенев монистами, она поднялась с мешков и, высокая, прямая, едва касаясь пола носком сапожка короткой с рождения ноги, едва справляясь со своим дыханием, с болью, но без гнева, а снова скорее с жалостью едва слышно выкрикнула:

— Чего ж ты умолк? Договаривай, скажи, что некрасивая, мол, оспой меченная, хромая... Говори, чего ж ты! Все правда, все как есть на самом деле. А ты ко мне в душу заглянул? Знаешь, каким страданием она через край наполнена, знаешь, как я любить могу? В душе моей рябинок нету и хромой ноги тоже нету...

Последние слова она, задохнувшись, произнесла уже почти шепотом, внезапно вся обмякнув и став словно меньше ростом, оттого

что незаметно для себя, чего старалась никогда не делать, опустилась с носка короткой ноги на всю подошву. Вид чужого смятения, чужой боли не вызвал у Трофима, как ни странно, чувства должного сочувствия, сострадания, а, наоборот, дав ему возможность оправиться от смущения, ожесточил.

— Охолонь, Клавдия, я забижать тебя не хотел,— сказал он.— Небось помнишь, сколь я раз с хлопцами из-за тебя в кровь дрался, когда они над тобою насмешки дозволяли?

Клавдия одернула на себе бешмет, поправила на груди связки монист и, вздохнув, перебросив косу на прежнее место, за спину, горько усмехнулась одними уголками губ.

— То ты не из-за меня, то ты перед хозяином выслуживался, усердие проявлял! — И, немного помедлив, все с той же горечью вымолвила, покачав головой: — Богатством меня попрекнул, а чем я в том виноватая? Думаешь, мне по сердцу жизнь за нашим забором, ото всех в стороне? Я всем ровней хочу быть, как все, на виду жить. А хуторские девчата и хлопцы меня сторонятся, кулачкой вслед кличут, думаешь, не больно?

— Ну и пусть надрываются, тебе-то что, слово не смола — не пристанет. От зависти они, нечего тебе об том убиваться...

— Пропади оно пропадом, мое богатство, сгори дотла! — гневно выкрикнула Клавдия.— Не хочу, ничего не желаю, ни до чего душа не лежит, хоть головою в омут. Черти окаянные, неужто ж мне век написано на роду лишенкою прожить, за забором ненавистным?

— Одумайся, чего ты, не гневи бога,— испуганно пробормотал Трофим.

Высоко вздымая дыханием грудь с позванивающими монистами, Клавдия подняла на Трофима кроткий, умоляющий взгляд и тихо, будто стыдясь своих слов, попросила:

— Посватайся за меня, Трофим, женись, всю жизнь тебя любить буду, рабю стану... Уедем, хочешь, отсюда в город к брату моему Петрусю, с ним на одном заводе работать станем...

— Умолкни, Клавдия, не дай господь бог, Ларион Степаныч такое услышать могут, прогонят меня со двора как собаку...

— И всего-то ты боишься... — вздохнула Клавдия.

— Бедному не иметь страха — грех.

— Грех, грех, кругом все грех,— грустно передразнила его Клавдия и протянула ему бархатный, расшитый разноцветным бисером кисет с табаком.— На, бери, все одно уж теперь... тебе вышивала... не пропадать же добру...

Она круто повернулась на носках сапожек и, откинув назад голову, не спеша, покачивая округлыми бедрами, направилась к выходу, припадая на короткую ногу больше, чем обычно, и не обращая на то внимания, словно делала это даже ему назло. Трофим ждал, глядя ей вслед, не сознавая сам, для чего это ему, что она обернется и что-то скажет. Но она не обернулась, и на сердце у него стало еще более мурно, чем было до ее прихода. Ко всему тому им непонятно отчего овладело предчувствие какой-то неясной близкой беды, чего-то надвигающегося на него недоброго...

### Глава третья

Эти воспоминания всколыхнули и без того встревоженную душу Трофима. Всколыхнули и, как рано утром в конюшне, невольно ожесточили. Тупая злость ко всему на свете подступила к горлу спаз-

мой горячего удушья, сильнее хмельного дурмана затуманила голову, до сухости опалив внезапной жаждой губы.

Он затолкал за пазуху чекменя кисет, вскочил с колоды, метнулся через базар к коновязи и с ходу, упруго спружинив ноги, вскочил в седло задремавшего жеребчика. Давая выход помутившей разум немой ярости, выхватил из-за голенища плетку и со всего маху косым нахлыстом вытянул его промеж ушей.

Жеребчик испуганно шарахнулся в сторону, взмыл над крытыми прилавками свечой и, откинув по ветру хвост, с места взял в крупный намет. С тяжелым храпом, наливая кровью озлевшие глаза, вывернув бархатистые розовые ноздри, он понес всадника через базарную площадь к степному шляху, все сильнее и яростнее налегая на повод. Из-под его копыт в небо и в стороны, шмякаясь об заборы и плетни, со свистом летели ошметки лоснящейся крутой грязи, подтаявшей на солнце, взметалась кверху брызгами вода в лужах. Во дворах собаки подняли истошный лай, свободные от цепей тут же вымахали из подворотен на дорогу, неслись, не отставая, до самой окраины станицы, горяча и так уж мчавшегося во весь опор жеребчика, все-таки находившего в себе силы все более и более убыстрять сумасшедший галоп. Помогал ему в том и Трофим, в каком-то затмении нахлестывавший жеребчика по крупу плетью.

Долго не давая ему сбавить хода, Трофим гонял хозяйского породистого рысака степными дорогами и по бездорожью, целиною из конца в конец, сам не сознавая того, что делает. Опомился он у переправы, когда жеребчик неожиданно вынес его на берег Кубани и река ударила в глаза резким и сильным блеском, на какое-то время ослепив и коня и всадника. Трофим инстинктивно откинулся на заднюю луку седла, изо всей силы натянув повод. Жеребчик, храпя и дрожа всей кожей, остановился в трех шагах от обрыва.

Он тяжело поводит боками, его от гривы и до хвоста будто выбежали мыльной пеной — она стекала по дрожащим его ногам, падала, сдуваемая ветром, на прибрежную сухую траву. Из серого в яблоках жеребчик превратился в мраморного, с темными прожилками. От него валил пар. Все мускулистое тело его зыбилось, он дышал шумно и жарко. Выпученные его глаза, налитые кровью, походили на мыльные пузыри, отражавшие все вокруг, и, казалось, готовы были вот-вот лопнуть.

Трофиму бы поводить разгоряченного жеребчика на поводу по берегу, пока тот не остынет, или же, на худой конец, привязать к кустам лозы, а он, занятый своими мыслями, чумовой от них, прыгнул с седла на землю и побежал в сторожку за паромщиком, бросив скакуна на произвол судьбы. Когда же он спохватился и в страхе выскочил из сторожки, было поздно: жеребчик стоял по брюхо в реке и жадно, со свистом тянул в себя воду.

— А хозяйского рысака, хлопец, ты загубив, — спокойно сказал, сидя на возу, старый казак, дожидавшийся с волами переправы. — Срубает тебе за него Хоруженко голову, як кочан капусты...

— Твоя правда... — отозвался Трофим.

Как ни странно, но ни слова знакомого казака, ни жалкий вид раздуженного и в то же самое время как-то странно осунувшегося, потерявшего былую стать жеребчика не вызвали в его душе какого-либо закономерного чувства — ни жалости, ни досады, ни огорчения, ни испуга. Наоборот, откуда-то пришло тупое ко всему безразличие, глухота и отчужденность, лишившие его способности что-либо сознавать и о чем-нибудь думать. Случись так, что перед ним вырос бы из-под земли в это время сам Хоруженко, он скорее всего даже бы и не вздрогнул, не повел и бровью, хотя всякий раз до этого цепенел и внутренне весь сжимался от одного лишь хозяйского взгляда.

В таком же отрешенном от всего состоянии, в каком-то чадном дурмане, тягостно-безвыходном, он переправился на пароме на другую сторону реки, пересек дамбу, миновал береговую полосу плавней и выбрался из камышей на степную дорогу к хутору, ведя жеребчика в поводу. Еще на пароме, помогая паромщику тянуть канат, Трофим решил не идти сразу домой, а переждать какое-то время на ветряной хозяйской мельнице, чтобы обдумать то, что случилось, прийти в себя перед неминуемой расплатой.

Ветряк стоял за хутором на отшибе, на лысом кургане, и Трофим, свернув с укатанной колесами дороги, зашагал к нему напрямик, через заросшую ковылем целину, стороной обходя овраг с густым кустарником колючего терна на склонах. Захлестнув поводья уздечки вокруг столба коновязи, он поднялся по шаткой, висящей над землей лестнице внутрь ветряка и рухнул на ворох слежалой соломы в углу, натужно сквозь стиснутые зубы выдохнув под крышу тяжкий, мучительно-тоскливый стон.

На мельнице было прохладно, гуляли сквозняки, пахло прелой пшеницей, мукой и мышами. Ветер хлестал снаружи по дощатой стене ветряка привязным канатом, заунывно гудел в крыльях и, проникая через щели внутрь, шевелил на полу солому, переметал с места на место у двери, точно снежок в поземку, мучную пыль, навевая у порога мелкие гребни сугробиков.

Лежа на соломе с закинутыми за голову руками, устремив пустой невидящий взгляд в затянутые белой от муки паутиной балки перекрытия, Трофим думал, думал и думал, стараясь — в который раз уж за последние дни — разобраться в том, что происходило на хуторе, но все тщетно. Ну да только где ж ему было что-нибудь понять путное, если почти с самого детства его мир простирался от хозяйского двора до хозяйского же надела земли, от хозяйской мельницы до хозяйского ларька на базаре — и все! Бездомный батрак, малограмотный, круглый сирота, ранние годы которого прошли по чужим дворам, он жил всего лишь одной заботой: как бы самому встать на ноги, выбиться в люди! Не ради похвалы, а ради лишней копейки, что ему изредка перепадала, он надрывался в хозяйстве Хоруженко из последних сил, не переставая верить в возможность своего счастья, далекий от всего, что происходило в последнее время на хуторе. Он по своей наивности верил, что одним честным, непогрешимым трудолюбием можно в крестьянском деле добиться заветной мечты — встать на ноги, разбогатеть. И ничего, кроме труда, не хотел признавать, ничего не хотел видеть. «Только бы накопить денег, только бы разбогатеть»...

Но неожиданно для Трофима, совсем сбив его с толку, от него не стали требовать всего того, к чему он привык с детства. Как-то переменилась, сдвинулась с привычного русла повседневная жизнь, затормозилось, точно остановившись на месте, время. Не надо было вставать задолго до рассвета и ехать в степь пахать и сеять озимые, не надо было стоять у жерновов мельницы и молотить зерно, не надо было угонять в ночное волов и лошадей — они застаивались в конюшне, не надо было торговать на базаре в ларьке. Откуда-то пришла и завладела всеми на дворе Хоруженко праздная, всем в тягость жизнь. Хозяин рассчитал батраков — из пяти работников Трофим остался один. А у сельсовета с утра до ночи толпилась хуторская беднота, митинговали, спорили до хрипоты о колхозах, о которых еще никто не имел ни малейшего понятия, — он издали видел лишь, как стояло над головами спорящих у сельсовета казаков, то сгущаясь, то редая, облако едучего махорочного дыма...

Сонная дрема медленно, незаметно и властно, будто вечерний туман, наплыла на Трофима и смежила его отяжелевшие веки. И тут же

на него навалилась какая-то непонятная тяжесть, придавила к полу. Он рванулся на соломе всем телом, высвобождаясь, но из темноты появились чьи-то огромные руки и больно надавили на его плечи. Трофим широко раскрыл глаза и увидел над собою низко склоненное лицо Хоруженко. Оно было перекошено гневом, густо налито, до сизоты, кровью, по углам оскаленного рта свешивались, как клыки дикого кабана, вислые черные усы. Трофим попытался вывернуться из-под сильных рук Хоруженко, чтобы забиться в угол, под солому, но тот еще сильнее прижал его к полу. «Ага, попался!..— пробасил хозяин, скаля зубы.— Ты на шо загубил моего жеребчика? Зараз я тебя порубаю на мелкие куски!» В сумерках мельницы сверкнула, как молния, кривая острая сабля. Трофим весь сжался в комок, закрыл руками голову и с заглодевшим сердцем, обливаясь жарким потом, замер в ожидании страшного удара. Но никакого удара не последовало, Хоруженко превратился в облако и растаял, а на мельнице установилась зловещая мертвая тишина. И в этой тишине немного погодя проскрипела входная дверь, и в щель просунулась мокрая, в мыле голова жеребчика, и оскалила желтые зубы, и пробасила, подражая хозяину: «Мне с тебя, голодранца, взять нечего, зато я порубаю тебя на мелкие куски...» И расхохоталась грохочущим раскатистым басом, от которого вся мельница зашаталась, заходила, скрипя досками, ходуном. И в то же самое время на Трофима посыпались с потолка, как горох из прорванного чувала, взъерошенные рогатые черти, до тошноты пахнущие псиной. Кривляясь и выплясывая гопака, насвистывая на своих хвостах, словно на бузиновых дудках, черти стали вихрем носиться по мельнице из угла в угол, наполнив ее до потолка облаками мучной пыли. И каждый из чертей норовил перепрыгнуть через распластанного на полу Трофима, больно ущипнуть его за нос или дернуть за волосы, при этом кривляясь один перед другим и строя противные рожи. «Продай, дурак, душу! Продай, продай! — неслось со всех сторон в уши Трофима.— Продай... Дурак...» «Тихо, черти! — раздался властный голос, и из-под пола перед Трофимом вырос сам сатана. На нем была красная черкеска с золотыми газырями и серая кубанка, из доньшка которой торчали острые, похожие на козьи рожки.— Тихо, я вам кажу! Это мое! Я сам его слопаю с потрохами! — прокричал сатана.— Не видать ему своего хозяйства як своих ушей, пока он не продаст мне свою душу! А ну выкладывай, сколько тебе за нее серебра и золота дать? Или — в котел со смолой кипящей!»

— Не хочу! Не хочу! — закричал Трофим и открыл глаза.

Дверь ветряка была распахнута настежь, светило солнце, и шел дождь — ветер заносил с улицы мелкие студёные брызги. На пороге мельницы сидела, привалившись спиной к косяку двери и обхватив руками поджатые к подбородку колени, по глаза закутанная в черный полушалок, казачка.

— Проснулся? Ты чего кричал? — спросила она таким тоном, словно они уже разговаривали до этого и беседа их была случайно прервана.

Приподнявшись на локтях, Трофим потряс головой, прогоняя сонную одурь.

— Ты как меня разыскала, Паша? — спросил он.

— Где ж тебе еще быть, когда жеребчик у ветряка стоит? Не ждал?

Паша медленно поднялась с порога, прикрыла дверь, прошла по скрипучим половицам в угол, где лежал Трофим, и, расстегнув вытертую на груди и локтях черную плюшевую жакетку, села на солому, поджав под себя ноги. Размотала полушалок, откинула его на плечи, освободив пышные, курчавые, коротко остриженные, светлые, как

степной ковыль, шелковистые волосы. Смуглота ее лица не скрывала разлитой по нему матовой бледности, в наплаканных, болезненно горящих глазах, дрожа и набухая, стояли слезы.

— Ты чего? — встревоженно спросил Трофим.

— Погоди, дай отдышаться.

— Скажи хоть одно слово, шо такое случилось?

— Тебе лучше знать...

У Трофима удивленно вскинулись брови.

— Загадки загадываешь?

Он вскочил на колени, приблизился к Паше и обнял ее за плечи. Она вздрогнула, сбросила его руки и отстранилась, пересев от него подалее. По ее бледным щекам скатились слезы.

— Не надо, не трогай...

— Скажешь ты наконец, что случилось? — с досадой воскликнул Трофим.

Паша снова вздрогнула, но теперь уже от его крика, низко на грудь опустила голову, концом полушалка вытирая щеки. Бросив на него исподлобья взгляд, затуманенный слезами, вздохнула и едва слышно упавшим голосом промолвила:

— И ты еще спрашиваешь...

Трофим сорвал с головы облезлую кубанку с застрявшими в овчине соломинками, в сердцах шмякнул ее об пол.

— Не до загадок мне теперь, Паша, я хозяйского рысака загубил, — вымолвил он упавшим голосом. — Вовек мне за него не расплатиться, ты можешь такое понять, шо у меня на душе?

Она ничего не ответила, только еще ниже нагнула голову, скорбно ссутулив обтянутую ветхой жакеткой спину. Ее дрожащие руки беспокойно ломали поднятые с пола соломинки, перетирали в ладонях в труху. Трофим снова придвинулся к ней вплотную и, наклонившись, заглянул в лицо.

— Ну что, наконец, с тобою?

Она неожиданно вскинула голову, убрала со лба волосы и устремила на него большие, голубые, как незабудки, заплаканные глаза, полные тоски и душевной боли.

— Отчего ж ты мне сам не признался, я ведь не навязывалась бы, услышав от тебя такое?.. — спросила она. — Мы ж с тобою слово друг дружке давали честными быть, не обманывать... верила я тебе, а ты...

— Да что ты, Паша, на самом-то деле, мучать меня взялась! — с искренним огорчением воскликнул Трофим, насильно обнимая ее за плечи и порывисто привлекая к себе. — И как тебе только не совестно, будто ты не знаешь, шо нету у меня никого на свете дороже и роднее! Ты ж одна моя радость, одно мое счастье, одна моя единственная в жизни утеха. Дай же я тебя расцелую, дай высушу губами с твоих глаз, моих дорогих незабудочек, слезки, дай нагляжусь в них досыта, цветик ты мой ненаглядный...

Трофим стиснул мокрое от слез лицо Паши своими шершавыми, зарубелыми руками и в каком-то отчаянном иступлении стал торопливо, горячо целовать ее лоб, брови, щеки, нос, уши и губы, отдавая всю, с головы до ног, жаром своего молодого сильного тела. Она не противилась нахлынувшей на нее бурной его ласке, хотя и оставалась по-прежнему холодной и настороженной, как и в самом начале встречи. Она никак не могла унять охватившую ее мелкую дрожь и то застегивала, то вновь расстегивала пуговицы жакетки.

— Ты никак заболела? — озабоченно спросил Трофим.

— Здоровая я...

— А чего ж ты сама не своя? Чем же, скажи, мне доказать мою верность? Отчего ты мучаешься, какая будет моя вина перед тобою?

Она не ответила, только вздохнула, и они долго сидели рядом на соломе молча, глядя, как в лучах солнца, проникавших сквозь щели крыши, кружилась, то возносясь, то опадая, мучная пыль.

— Чего ж ты утаил, что к богатой посватался? — прервала наконец молчание Паша.

— Откуда взяла?

— На хуторе утром слух прошел...

— И ты поверила? Разве ж я тебя на кого променяю?

— Хуторянам про то сам Хоруженко рассказывал, ему свою Клавдию оговаривать не к чему...

Трофим молча обхватил руками голову. Перед глазами, словно выхваченные из мрака вспышкой молнии, вновь промелькнули и бессонная ночь, и серое раннее утро, и освещенная керосиновой лампой конюшня, и разодетая по-праздничному, позванивающая монистами и напудренная до меловой бледности хозяйская дочка Клавдия — и его пронизала, сковав по рукам и ногам, страшная догадка: она нажаловалась отцу, все перевернув на свой лад, оговорила его! Теперь Хоруженко прогонит его со своего двора, как блудливую собаку, ему ничего не будет стоить опозорить своего батрака перед всем хутором. И он не отдаст не только тех денег Трофиму, которые тот отдавал ему на хранение, но даже и последнего жалованья. Да и какие там деньги! Не хватит их на одно то, чтобы расплатиться за загубленного жеребчика. Он еще останется должен, и хозяин может подать на него в суд, и его будут судить, посадят в тюрьму...

Охваченный недобрый предчувствием, Трофим застонал и повалился ничком на солому, заскрипел зубами. Но тут же вскочил и с перекошенным болью лицом, суетясь, выхватил из кармана дареный кисет и, стоя на коленях, просыпая на солому махорку, протянул его на дрожащей ладони Паше.

— Она сама, сама, сама ко мне приходила, моей вины тут нету! — выкрикнул он. — Гляди, чего на память оставила, все одно, говорит, выкидывать... мне вышивала! Она сама замуж набивалась, бежать с нею в город звала... а на кой она мне сдалась, ты сама подумай? Я на нее всегда и глядеть-то боялся, шоб хозяин чего не подумал. Теперь как я перед ним повинюсь — та разве ж он мне поверит? Ей вера — не мне. И жеребчик, как на беду, обпился...

Он уткнулся лицом в колени Паши и, обхватив ее ноги, затих, всхлипывая, судорожно поводя плечами. Она запустила пальцы в его густые жесткие волосы, приподняла голову и склонилась над его лицом, тревожно вглядываясь в бегающие, ничего, кроме растерянности, не выражающие опустошенные глаза.

— Не журись, я тебе верю, — после недолгого молчания сказала она, лаская его грустным взглядом. — И за коня не казись, отработаем мы за него, куда ж теперь денешься...

— Да ведомо ли тебе, сколь он стоит?! — воскликнул, расширив глаза, Трофим.

— Сколько стоит, столько и отработаем.

— Нам и вовек за него не расплатиться...

— Не старики еще, успеем... твоя ж вина, не чужая...

— Пропал бы я без тебя, Паша, хорошо мне с тобою, — успокаиваясь, повеселев, признался Трофим. — На душе светло дается, когда ты рядом. Никому тебя не отдам, ни на кого на свете не променяю, ни на самую что ни на есть красавицу, до гробовой доски с тобою не

расстанусь, порази меня гром и молния, провались я к сатане в пекло, отсохни язык мой начисто...

В порыве нахлынувшего на него чувства благодарности за ее доброту Трофим крепко обвил шею Паши сильными руками и, тряхнув головой, прогоняя от себя тревожные мысли, желая и стремясь забыть, припал жадно и надолго к ее мягким, полыхавшим огнем, нежным губам. В его жарком объятии тело Паши постепенно расслабилось, начало тяжелеть, и она, нехотя отрывая свои губы от его губ, стала медленно валиться на солому, увлекая следом за собою и Трофима.

Он увидел совсем близко ее широко раскрытые глаза, впитавшие, казалось, в себя всю голубизну неба и светившиеся в полумраке мельницы беззаветной любовью и бескорыстной преданностью. И не помня себя, до дрожи охватившей захлестнувшей его нежностью, стремясь доказать Паше свою любовь и свою преданность, Трофим бросился ненасытно ее целовать, вслух придумывая своей любимой самые теплые, самые неожиданные и самые светлые, на его взгляд, названия — от степных незабудок до ясного солнышка.

И эта его душевная ласка, обжигающие поцелуи и горячий шепот растопили ледок скованности Паши, развеяли заботившую ее тревогу, с которой она появилась на мельнице, и она, отдаваясь внезапно охватившему душу веселью, теребила волосы Трофима, шутливо увертываясь от его губ, и хохотала, хохотала и хохотала, оглашая мельницу неумным счастливым смехом...

Они покинули мельницу после полудня, дорогой через терновый овраг — подальше от людских глаз — вышли к хутору со стороны садов и остановились под сторожевой вышкой на винограднике Хоруженко, откуда в разные стороны разбегались их тропки. Долго, тяготясь расставанием и всячески его оттягивая, стояли под дощатым настилем, на котором Трофиму довелось провести не одну ночь, и, тесно прижавшись друг к другу, молчали, каждый думая о своем. Не выпуская из рук поводя уздечки жеребчика, Трофим заботливо кутал хрупкие, худенькие плечи Паши полою своего чекменя, заслонял ее от вновь поднявшегося ветра собою, поправлял на голове полушалок.

Солнце, хотя и показывалось временами из-за то и дело набегавших на него туч, почти совсем не грело, — промозглый северный ветер выметал из междурадий виноградных лоз остатки утреннего тепла сквозняком, со свистом раскачивая натянутую на колья проволоку. Он дул порывистый и влажный, временами сек и студил лицо холодной изморосью, срывал с кустов и швырял под ноги или поднимал до небес желтые и сморщенные, сухо шуршащие остатки листвы.

— Пора мне, Паша, а то ще хозяин меня шукать кинется, от свирепого его мне хуже расплаты ждать... — наконец нарушил молчание Трофим, с тревогой поглядывая в сторону хозяйского двора. — Все одно теперь, сколь ни стой, а возврататься надо, чему бывать, того не миновать, ты ж верно сказала, не старые... отработаем...

— Постоим еще трошки, успеешь под хозяйскую злость голову подставить, чего уж... — прижимаясь плечом к Трофиму, промолвила Паша. — Невмоготу расставаться...

— Так-то оно так...

С этими словами Трофим оглянулся на мокрого, жалкого, осевшего на задние ноги жеребчика, чуть ли не до самой земли, точно старая кляча, опустившего голову, и, вздохнув, осторожно, как можно ласковее, чтобы не обидеть Пашу, снял с ее плеча занемелую от напряжения руку. Но она тут же рывком еще теснее прижалась к нему всем телом, повисла на его каменной мускулистой шее и, потянувшись к его лицу губами, едва слышно прошептала:



— Не уходи... любимый ты мой... я ж тебе важного не открыла...

Трофиму через сатиновый бешмет передалась ее знобкая дрожь, и он, через силу отстраняясь от тянущихся к нему ее губ, с душевной озабоченностью, обеспокоенно спросил:

— Та ты не в самом ли ж деле захворала, Паша? Тебя ж всю лихорадка трусит...

— То не от того... то не от того... то не от того...

Не разжимая сцепленных намертво на его шее пальцев, Паша откинула назад закутанную в черный полушалок голову и с какой-то загадочной, заискивающей, непонятной ему улыбкой устремила на него глаза, широко распахнутые, сияющие безграничным счастьем и оттого еще более светло-голубые, еще более дорогие и милые. И пораженный неожиданно открывшейся, словно заново, ее красотой, будто ниспосланной ему за все жизненные горести, загораясь любовным порывом, Трофим снова, позабыв обо всем на свете, стал жадно покрывать лицо Паши торопливыми звучными поцелуями. И снова, как там, на мельнице, она любовно теребила его волосы, перебирая дрожащими пальцами жесткие завитки на шее, увертываясь от ловащих ее губы его обветренных настойчивых губ, и снова, как еще совсем недавно, хохотала, хохотала и хохотала, только теперь почти беззвучно, едва-едва слышно. Но когда он выпустил повод уздечки и, легко подхватив ее на руки, тронулся было, грузно утопая в рыхлой почве, к вороху настриженной при обрезке винограда сухой лозы, она сноровисто выскользнула из его объятий, забежала со спины и повисла на шее, весело, по-ребячьи болтая в воздухе ногами.

— Трофимушка, родной мой, ненаглядный, радость ты моя горькая, хиба ж ты ни о чем не догадываешься?! — выкрикнула она.

Лицо Трофима расплылось в счастливой улыбке.

— Ты наконец решилась! — воскликнул он. — Будем играть нашу свадьбу?..

— Будем, Трофимушка, будем...

— Давно бы так, а то...

— Чего «то»?

— Та не решалась ты, все откладывала... когда на ноги встанем...

— Чего ж теперь откладывать, раз дитё от тебя ношу под сердцем...

— Ей-богу? И ты молчала...

Трофим сильно, с трудом разжал на своей шее сопротивлявшиеся руки Паши, привлек ее, упирающуюся и хохочущую, к себе и, крепко, до боли охватив ее плечи, молчаливо замер не в состоянии вымолвить слова, чувствуя лишь, как часто и гулко стало вдруг стучать в его груди сердце, готовое, казалось, от радости разорваться. Паша уткнулась лицом в его бешмет, и они долго стояли, не проронив ни слова, пока он не услышал ее приглушенного горького рыдания.

— Ты плачешь? — спросил он, заглядывая в ее глаза.

— Чую, Трофим, не будет нам с тобою счастья...

— С чего бы это?

— Не знаю... душа подсказывает...

— Выдумки!

— Поклянись мне еще раз, шо любишь...

— Опять ты за свое, Паша! Сказал же, жизни без тебя не мыслю, одна ты у меня в сердце, хочешь — верь, хочешь — нет...

— Я верю...

И все же минута расставания наступила. После бесконечных заверений друг другу в своей верности до гроба, после многих, многих и многих сердечных и ласковых слов, которые они от всего сердца

высказали один другому, Паша наконец простилась — в какой уж раз! — и медленно, нехотя побрела к хутору по невидимой в густом бурьяне тропинке, по плечи утопая то в седой качающейся полыни, то в красноголовом репейнике, то в побуревшей от ночных случайных заморозков крапиве и оттого уже утратившей с той поры свою ядовитость...

#### Глава четвертая

Рогачева разбудили на утренней заре горластые петухи.

Вслушиваясь в их долгую разноголосую переключку, привыкший вставать по заводскому гудку, он, как это бывает при перемене мест, не сразу спросонок освоился с обстановкой и, лежа с закрытыми глазами на дощатом топчане, припоминал, куда на этот раз занесла его судьба. То ли оттого, что бока ломило от жесткого, тощего соломенного матраца, то ли от холода в настывшем за ночь помещении, от которого не спасали старое, шинельного сукна одеяло и наброшенная сверху меховая куртка, ему припомнились длинные сплошные нары вдоль стен в душном, грязном, пропитанном людским потом и самогонным перегаром бараке бутылочного завода на реке Торец. На них спали вповалку, куда попало головами, мертвецки разбросав руки и ноги, взрослые, подростки и даже дети, сморенные двенадцатичасовой работой у стекловарочных печей.

В семье было четырнадцать душ детей — он родился последним, и из выживших девяти человек его последним и отдали на завод, через цеха которого проходили в поселке Констатиновке почти все жители: на нем работали, на нем старились, на нем и умирали.

На дворе в ту пору стояла зима, у Николки не было никакой обуви, и старший брат отнес его в цех на закорках, усадил на рабочее место под верстаком. В обязанности малолетнего подручного входило припудривать кистью с мукою, захлопывать и разжимать чугунную форму, в которой стеклодув выдувал бутылки.

Нередко, особенно в ночную смену, малыша смаривал сон, и тогда ему на голову, приводя в чувство, обрушивался ковш холодной воды, загодя припасаемой стеклодувом. Прошло много лет, но память до сих пор хранит детские переживания и огорчения: и то, как мучительно тянулось время смены, и то, как постоянно хотелось спать, и этот ковш холодной воды...

Двенадцать часов перед глазами мальчика дышали огнем раскаленные стекловарочные печи, около них обливались потом от жары стеклодувы, бывало, и теряли сознание, а то и навсегда лишались рассудка. Но там, где сидел он, под дощатым настилом верстака, стояла вечная стынь. Тепло от печей уносилось вверх, под черепичную крышу, улетучивалось в щели — казалось, он это видел своими глазами. Разве это не похоже было на пытку?

Страх перед холодом сохранился у Рогачева на всю жизнь. С годами он сам стал стеклодувом, много лет проработал у тех самых печей, под которыми когда-то замерзал, на себе испытал адские муки жары. Однако постоянное ощущение холода не покидало его ни при какой погоде — оно неотступно следовало за ним повсюду, как будто в пору детства что-то заледенело у него внутри, да так и осталось там навсегда, не подвластное никакому теплу.

Воспоминания, воспоминания... им только дай волю, и они потекут, потекут, потекут — не остановишь...

Рогачев разгулялся и уснуть больше уже не смог. Отбросив в сторону одеяло, он опустил ноги на земляной пол, притрушенный половицей, и, почесываясь от клопных укусов, огляделся. Станичная хата

для приезжих была до отказа забита деревянными топчанами. Воздух за ночь стал спертым, пахло прелой соломой матрацев, мокрыми портянками и пропитанной дегтем кожей сырых сапог. Окна хаты запотели, и рассвет сквозь них пробивался с трудом, наполняя комнату не утренними сумерками, а скорее сумеречным туманом, неподвижно повисшим над спящими людьми.

Тихо, стараясь не разбудить соседей, Рогачев оделся и обулся, на ощупь зашнуровал тяжелые спецовочные башмаки и, захватив из чемодана мыло, зубную щетку и полотенце, на цыпочках отправился в сенцы к жестяному рукомойнику.

В сенцах было полно дыма, огонек керосиновой лампы задышался от него и едва не гас — он светил сквозь дым, как в ненастье солнце из-за темных несущихся туч, чахлым светом.

Заросший по самые глаза густой сивой бородой сторож в рваном зипуне и подшитых валенках растапливал круглую железную печь-голландку. Он чертыхался и, надувая щеки, изо всех сил дул под колосники. Вместе с дымом из печки, клубясь, валил, точно мошкара, черный пепел.

— Не горит? — спросил Рогачев.

— А тебе повывазило, чи шо? — сердито отозвался сторож. — Лучше бы табаком угостил, чем спозаранок языком молоть...

Рогачев улыбнулся и рукою обвел вокруг.

— Тут дыму и без того хватает! Некурящий я.

Старик вскинул на него слезящиеся глаза.

— Раз не куришь, стало быть, пьяница, — буркнул он.

— С гражданской войны в рот не беру.

— Отчего ж ты так на вино осерчал? — смягчаясь, спросил старик.

— После контузии...

— Не куришь, не пьешь — жинка небось не нарадуется? — ощерив в ухмылке беззубый рот, заключил сторож.

Рогачев опустил рядом с ним на корточки и, жмурясь от тепла и света, протянул к огню руки. Широкие прямые его брови угрюмо сошлись на переносье, взгляд стал неподвижным и печальным.

— Нету ее у меня, — глухо вымолвил он. — Убили...

Сторож молча запихнул в печку новую охапку соломы и, со стуком захлопнув чугунную дверцу, медленно, кряхтя, поднялся с пола. За ним следом встал и Рогачев.

— Не сердчай, я ж не знал... — сказал старик и участливо спросил: — Дети небось есть?

— Сын, у моей сестры пока остался...

— Ну и дела-а-а... — вздохнув, протянул сторож и, шаркая по полу валенками, бормоча что-то себе под нос, ушел на улицу.

Рогачев уже успел умыться, когда старик вернулся с полным мешком за плечами. Вытряхнув у печки кукурузные кочерыжки, сторож окинул Рогачева прищуренным взглядом и просто, как старого знакомого, словно они и не прерывали разговора, спросил:

— В наши края зачем? По делам чи, может, на жительство перебираешься? Кажуть, в городе с хлебом погано. Голодують...

— Я по вопросу коллективизации...

— Издалека ж будешь?

— С Донбасса.

— И куда ж тебя в райкоме направили?

— На хутор Прикубань.

Сторож шепеляво присвистнул и с досадой плюнул на кочерыжки. Лицо его выразило искреннюю душевную боль.

— Надо же, а!.. И куды ж они тебя посылають, и где ж у них со-

весть? — сокрушенно качая головой, произнес он. — На тот проклятуший хутор тьму-тьмущую милиции съать треба, а не командировочных. Оттудова ж сами уполномоченные подобру-поздорову редко вертаются, их больше привозят на бричках...

— Не запугивайте, я в этих местах воевал.

— Ты повоевал, та и отбыл, а я на том хуторе свою молодую силу стралил, начисто загубил здоровье у кулака в рабочих. Тамошних богачей давно осиноый кол дожидается, та некому, видать, его им, упырям ненасытным, в спину вбить, шоб начисто с земли сгинули та и не воскресли, с могил не повставали. Батрачил я на них, пропади они пропадом, холера б их сморила и огонь дотла спалил! Сколь годов минуло, а я так себе здоровья и не возвратил, скалечился в чужом хозяйстве безвозвратно, все жилы порвал. Грызть из моего тощего тела со всех мест выпирает, шо твоя опара из дежи, кила с цельный кавун раздулась, донизу всего тянет — хоть на тачке ее вози...

Сторож хотел еще что-то добавить, но зашелся трудным лающим кашлем. Лицо его посинело, он долго и жадно хватал губами воздух. В груди хрипело, булькало и свистело, глаза испуганно выпучились, а на синюшных губах показалась розовая пузырчатая пена.

— Видал, як суродовался, по ночам забивает — дышать нечем, — откашлявшись, хрипло выдавил он и, безнадежно махнув рукой, захватив пустой мешок, снова ушел на улицу за кочерыжками.

Рогачев вернулся в общежитие. Почти все постояльцы уже пробудились, комната была наполнена говором, зевотой и стуком надеваемых сапог. Под потолком покачивалась зажженная кем-то керосиновая лампа с железным абажуром, но свет ее был никому не нужен и о ней забыли — в окно вливались по-утреннему румяные, всегда и у всех поднимающие настроение лучи солнца.

Положив в чемодан зубную щетку, мыло и полотенце, Рогачев надел свою косматую, из собачьего меха куртку, изрядно уже вытертую, местами на бортах и локтях до шкуры, напялил суконную кепку. Попрощавшись со всеми постояльцами за руку, такими же, как и он сам, уполномоченными — рабочими и служащими из городов, с которыми успел за три дня совещаний в райкоме и жизни в хате для приезжих подружиться, — Рогачев покинул свое временное пристанище. Во дворе поискал глазами сторожа, но того нигде не было видно...

## Глава пятая

В станицах все улицы, как правило, ведут на базарную площадь. Поэтому ничего в том не было удивительного, что Рогачев подходил к базару как раз в то самое время, когда из базарных ворот вылетел на сером в яблоках жеребчике всадник, обдав его с ног до головы грязью из лужи. Знай Рогачев наперед, что молодой наездник с того же хутора, куда держал путь и он, то наверняка бы его окликнул, напросился в попутчики, по дороге разговорился и, быть может, очерпнул бы для себя что-нибудь нужное и интересное. Но он ничего этого знать не мог и, залюбовавшись породистым рысаком, только погляддел всаднику вслед, загородившись ладонью от солнца.

Унылый вид пустого, несмотря на воскресный день, станичного базара не поразил Рогачева — об этом он уже успел наслышаться, да и привык видеть таким же рынок у себя в заводском поселке, — но и не оставил равнодушным. Перед глазами будто наяву возникли длинные очереди за хлебом прямо у пекарни, не расхोдившиеся ни днем, ни ночью, пустые прилавки продовольственного кооператива, усталые от долгих часов простаивания у магазинов с кошелками в руках жен-

щины со скорбно поджатыми губами и наполненными горестным, молчаливым страданием взглядом, истощенные дети, угрюмые товарищи по заводу... Вспомнились ему и похороны жены... И он ощутил, как его охватил суровый гнев, как подкатил к горлу горячий, готовый душить комок...

Широкий проулок, пестрый от нападавшей листвы, вывел его от базара на обрывистый берег Кубани. Вспученная затяжными осенними дождями река кружила на омутах темные, точно обгорелые, коряги, несла островки куги и соломы, грязно пенилась по кромке песчаных отмелей. С подмытой кручи в воду временами скатывались комья глины, течение подхватывало их, и, окрашиваясь в бурый цвет, река уносила их на глубину.

По ту сторону вдоль всего берега тянулись непролазные заросли высоченных камышей — глядя на них, казалось, что им нет конца и края. Именно отсюда, уходя на запад, к Приазовью, и начинались знаменитые кубанские плавни с их пресными, горькими и солеными озерами и лиманами, стаями лысок, перелетных гусей и уток, дикими кабанами, енотами и кошками, рыбой и раками и — на беду всему живому — тучами кровожадных комаров. И вот где-то там, в самой чаще плавней, как помнилось еще Рогачеву, на степном раздолье сухой возвышенности, отвоеванной казаками у камышей осенними палами, и раскинулся хутор Прикубань — большой и многонаселенный, богатый и норовистый, со своим старинным укладом, законами и обычаями.

Солнце уже стояло на полдень, когда Рогачев, отшагав берегом с добрый десяток верст, подошел к паромной переправе. Дул сильный сырой ветер, и по реке гуляли высокие гривастые волны. Прибрежный лозняк хлестал голыми прутьями по песку и воде, бил в уши протяжным, навевающим тоску свистом. Крашенные в белый и красный цвет бакены по фарватеру реки раскачивались из стороны в сторону на якорях, их захлестывало набегавшими волнами.

Долговязый заспанный детина с нечесаной, видно с самого рождения, копной свалывшихся волос долго зевал и сморкался на пороге заросшей травой землянки, прежде чем легко, точно две хворостинки, забросил себе на плечи длинные тяжелые весла. Молча кивнув на причаленную к парому байду, он, ни разу не оглянувшись, заковылял к воде, шлепая по желто-коричневому от конского навоза и мочи берегу босыми, сплошь в кровотокающих цыпках ногами. Все так же молча перевозчик вспрыгнул вслед за Рогачевым в байду, оттолкнулся веслами от парама и стал грести, закатывая к небу глаза.

На середине реки ветер дул во всю силу. Пенистые гребни волн то и дело обрушивались на высоко задранный нос лодки, с силой толкались в просмоленные борта, шипя и обдавая сидевшего на корме Рогачева холодной, больно секущей лицо водяной пылью. Байда неуклюже переваливалась с боку на бок, продвигаясь вперед с таким трудом и так медленно, как будто плыла по густой, вязкой смоле. Весла в уключинах надсадно скрипели, казалось, готовые вот-вот переломиться пополам.

За всю долгую и трудную переправу сумрачный детина ни разу не взглянул на Рогачева и не проронил ни единого слова. Ничего не выражающие его белесые навывкате глаза отрешенно блуждали по небу, потрескавшиеся губы на красном задубелом лице загадочно все время чему-то ухмылялись, а на кончике широкого утиноного носа покачивалась не отрываясь светлая капелька. На вопросы Рогачева он не только не отвечал, но оставался к ним совершенно безучастным.

— Наговорился я с тобою, приятель, на всю жизнь, — пошутил Рогачев, выпрыгивая с чемоданом на песчаный берег.

Но и эти его слова остались без ответа. Долговязый хлопец как ни в чем не бывало, словно он никого не перевозил и не высаживал, все с тем же безразличным видом столкнул байду с отмели и уплыл назад.

Примерно в двадцати шагах от береговой линии тянулась вдоль всей видимой части реки высокая, заросшая польню и репейником земляная дамба — она спасала хутор от наводнений во время весенних и летних паводков, когда далеко в горах, у истоков, начинали бурно таять ледники. К дамбе от свай паромного причала для въезда и спуска подвод вела отлогая насыпь, укрытая с боков от бурных вешних вод плетнями, придавленными огромными морскими валунами и булыжником.

Дорога на хутор начиналась за дамбой. Она шла через плавни, виляя меж болотистых заводей, по узкому мрачному проходу в камышах, постоянно наполненному сухим шорохом, пока не выбежала на степной простор. Он всегда появлялся перед путником неожиданно, поражая и раскинувшейся до лилового горизонта холмистой далью и нахлынувшей волной чистого и пряного воздуха, и ослепительно белой хат утопавшего в зелени садов хутора, и темной стеною плавней, стороною огибавшей степь, на которую, как казалось, свесило свои зыбкие от марева края глубокое и по-южному прозрачное небо.

Рогачев опустил на дорогу чемодан и, расстегнув куртку, зажав в кулаке кепку, подставил солнцу коротко подстриженную седеющую голову. Расправив плечи, он всей грудью вдохнул густой, сытный запах земли, настоящий на горьких, сладких и терпких, уже увядавших по осени травах. У него от пьянящего воздуха закружилась голова, и на душе вдруг невесть отчего, безо всякой как будто бы причины стало легко и весело. Он устало смежил веки и опустил на чемодан.

Слегка запавшие его щеки с резкими морщинами по углам хрящеватого носа взялись тусклым румянцем, а на упрямые бледноватые губы легла добрая, ни к кому и ни к чему не относящаяся, на редкость мягкая и на редкость светлая улыбка. Он словно бы растворился в природе, почувствовал себя ее частицей, слился воедино с этим необъятным простором, залитым солнцем, воздухом и тишиною, и ощутил — как нередко случается со здоровым человеком и чего давно уже не бывало с ним — каждый свой мускул, налившую его всего силу. И то нехорошее чувство, которое у него все же оставили и беседа со сторожем и непонятное недружелюбие хмурого перевозчика, незаметно притупились, а затем и развеялось совсем.

Сидя на полуденном солнцепеке, разморенный дальней дорогой и по-осеннему нежным теплом, охваченный невольным волнением от встречи со знакомыми местами, он обводил взглядом степь, плавни, белевший вдалеке хутор, окруженный высокими, до самого неба то полями, пестрые, как заплаты, наделы земли вокруг, заросшие серебристым ковылем сторожевые курганы со старым на одном из них ветряком. И им все больше овладевало странное чувство, словно то, что здесь с ним когда-то давным-давно произошло, было только вчера, что он никуда отсюда и не уезжал. Ему даже почудилось, будто стоит лишь снова закрыть глаза, как он тут же услышит ружейную перестрелку, короткие пулеметные очереди, разрывы орудийных снарядов, нарастающий конский топот, свист шашек и раскатистое, атакующее «ур-ра-а!». И тогда снова — тупой удар в грудь, ставшие на мгновение алыми, точно на них плеснули кровью, всадники перед глазами, закружившаяся каруселью степь, падающее с высоты красное небо... И еще один удар — теперь уже сползшего с седла тела о землю, и темнота, тесная и напряженная, заполненная нарастающим треску-

чим звоном... А дальше все, что было уже потом, что тесно переплелось жизненными узлами с хутором, оставило, как оказалось на поверку, в памяти свой след — оно-то и потянуло его после пережитого горя именно в эти места.

..Он очнулся тогда от беспомощности в курене из камыша, на маленьком клочке сухой земли среди дремучих плавней. И первое, что увидал и что запомнилось на всю жизнь, были пышные, пронизанные лучами закатного солнца, огненно-рыжие волосы склонившейся над ним молодой женщины. Ее сильные руки, едва он пошевелился, пытаясь подняться, прижали его к соломенной подстилке, и она властно, но по-домашнему спокойно и просто произнесла певучим голосом:

— Та шо вы робытэ, так же ж не можно, повязки посрываете — обратно кровь из ран потече... Лежите спокойно, немає тут никого! Я зараз вам взвару дам...

Она поднесла к его пересохшим, спекшимся губам запотелую кринку с холодным, заломившим зубы сладким компотом, и он, припав к ее краю, пил жадно, захлебываясь, долго и никак не мог утолить жажду. А когда залил полыхавший внутри костер, откинул на подушку голову и, устремив на женщину воспаленные глаза, с тревогой спросил:

— Где наши?

Женщина неопределенно махнула рукой в сторону заката, и по этому ее безнадежному жесту, по печальному лицу и тяжкому вздоху он понял, что белые части выбили его отряд из хутора, принудили отступить за Кубань. От нее Рогачев узнал, что в бою он был ранен осколками снаряда в грудь и голову, что его нога застряла в стремени и верный конь, спасая своего хозяина, вынес его из боя, приволок к ней во двор. Сынки хуторских кулаков схватили красного командира у нее в хате уже после того, как она промыла и перевязала его кровоточащие раны и к нему вернулось сознание...

В этом месте ее рассказа, как теперь припоминалось, Рогачев взял шершавую, в мозолях руку женщины и молча потянул к своим запеченным губам. Теперь он уже сам сквозь провалы в памяти, сквозь наполнявший голову звон стал припоминать, как его долго и жестоко избивали на ее дворе нагайками, как вырезали кинжалом на спине пятиконечную звезду под хохот и злобные выкрики, как возили потом верхом на лошади задом наперед по всему хутору для устрашения сочувствовавших советской власти жителей и, наконец, когда надоело глумиться, привязали ржавой проволокой к сухой вербе у гряды камышей, оставив, как водилось тут исстари, на мучительную казнь — на съедение комарам...

Женщина увезла его под покровом темноты далеко в плавни, укрыла на сухом островке в шалаше. Пока он в одиночестве поправлялся и набирался сил, она приплывала к нему, рискуя жизнью, почти каждую ночь на лодке, привозила еду, питьевую воду и стиранные самодельные бинты, делала при свете луны или костра перевязки, сообщала обо всем, что происходило на хуторе и вокруг. Она, боясь слезки, всегда торопилась вернуться домой, и они почти ничего не рассказывали друг другу о себе. Поэтому-то, когда Рогачев покинул плавни и переправился к своим, он, к его стыду, знал о ней только то, что зовут ее Фросей, что у нее редкая фамилия — Чайка, что ей тридцать один год и что у нее двое малышей-близнецов. Да еще запомнились ему огненно-рыжие волосы, карие, в узком, по-восточному разрезе век глаза и гордая, статная осанка...

Глубоко погружившись в воспоминания, Рогачев не услышал и поэтому не обратил внимания на болезненное, похожее скорее на стон конское ржание, уже несколько раз пронесшееся над плавнями. Он

поднял голову и обернулся лишь тогда, когда за его спиной раздался треск камышей, послышалось тяжелое сопение, скрип колес и чавканье болота. Прямо на него из плавней выбралась изможденная — кожа да кости, — облепленная комьями грязи лошадь с обрезанным по самую репицу хвостом, с опаленной до кожи гривой, окутанная черным облаком гудящих комаров. Костлявые бока ее, хребет и вислый, как у всякой клячи, круп были в сплошных язвах и ссадинах, на них торчали колючки репейника, былки соломы. Лошадь, мотая головой и отфыркиваясь, тащила за собой старую скрипучую бричку с вихляющими, со слетевшими ободами колесами. Ни хомута, ни сбруи на лошади не было — вместо ременных шлей ее всю опутывали гнилые, скрученные узлами веревки, куски старого телеграфного провода.

Рогачев поднялся, шагнул навстречу лошади и ухватил ее за хrap. Она испуганно шарахнулась в сторону, вырвав голову, попятилась в оглоблях и, оскалив стертые черные зубы, вытянув к небу набрякшую жилами шею, протяжно и мучительно заржала. На ее кровоточащей груди на ржавой цепи болталась, стуча по коленям, фанерная дощечка с корявой надписью: «Калхознэ тягло». Из окровавленных пустых глазниц, облепленных комарами, вязко ползли мутные тягучие струйки сукровицы. Ее всю била мелкая, перебегающая волнами от шеи до крупа дрожь, по ногам на землю стекала вонючая грязь — кляча тяжело водила боками, не переставала мотать головой, гремя цепью.

Рогачев перевел взгляд на бричку, и на его лице взбугрились крупные, точно камни под кожей, желваки. В бричке, как в гробу, лежал, вытянувшись во весь рост, словно в момент смерти он стоял на цыпочках, да так и закоченел навечно, худенький белокрысы хлопек с устремленными в небо стылыми, остекленевшими глазами. На голое его тело был напаян ветхий рогожный куль с прорванными для рук и головы дырами, на ноги надеты рыжие, напрочь разбитые сапоги, а на голову нахлобучена буденовка с перечеркнутой дегтем вылинялой звездой. Из-под ее оторванного наполовину матерчатого козырька бился на ветру схожий с ковылем хохолок, перепачканный кровью и все-таки по-юношески лихой и задорный. К сложенным на груди рукам убитого был привязан холщовый лоскут, по которому химическим карандашом наискось шла корявая надпись: «От такой поганый конец ожидае каждого, хто ратуе за калхозы и в них вступае».

Еще несколько минут тому назад разругавшееся лицо Рогачева, спокойное и душевно открытое, освещенное солнцем и доброй улыбкой, сделалось мрачным и жестким, даже жестоким. Уронив на грудь голову, нахмурив брови, комкая в руках кепку, он не сводил глаз с убитого и чувствовал, как наполнялся медленно и властно старой, сжимавшей сердце болью, которую, как он думал, успешно приглушить время. Но он ошибся. Все поднималось в нем с прежней силой — и горе, и страдание, и опустошенность, и тоска, и невозвратимая горечь утраты. Разве мог он предположить, что не где-нибудь, а именно здесь, вблизи хутора, куда он направлялся после стольких лет, где довелось его отряду вести когда-то тяжелый неравный бой и где он был спасен незнакомой женщиной от верной смерти, придется вспомнить и заново пережить свое неожиданное горе — потерю любимого человека.

...Они родились в одном поселке, жили на одной улице, работали на одном заводе, дружили с детства, а полюбили друг друга в пору юности. Связать же свои судьбы воедино смогли, подобно многим молодым людям революционной поры, уцелевшим в огне боев, лишь после гражданской войны, когда оба возвратились с разных фронтов к себе домой. Он вернулся к стекловарочной печи, она была направлена в райком партии на инструкторскую работу.



По роду своей должности ей то и дело приходилось уезжать в командировки в район, отлучаясь из дому на сутки, недели, а то и месяцы, и Рогачев только после ее смерти понял, что их недолгая совместная жизнь состояла из одних лишь проводов и встреч. И, должно быть, именно потому-то, как ни напрягал он память, как ни старался воссоздать в памяти образ жены в домашней обстановке, в кругу их маленькой семьи, — у него ничего не получалось. Он видел ее если не на пароконной райкомовской линейке, увозившей ее в сторону ближайших сел и деревень, то на подножке вагона отходившего от станции поезда — товарного или пассажирского, — с неизменной своей, привезенной с фронта, потрепанной брезентовой полевой сумкой через плечо.

Вот и в эти минуты, когда он стоял с непокрытой головой в тяжелом раздумье около брички с убитым, ему виделась худенькая, невысокого роста, но крепкого сложения женщина, загорелая, обветренная, улыбающаяся той самой жизнерадостной улыбкой, которая, сколько Рогачев знал жену, никогда не покидала ее приветливого лица. Она припоминалась ему сейчас у станционного колокола, что-то говорившая, говорившая и говорившая, — он теперь уже не помнил ее слов — и размахивавшая по привычке, как на митинге, руками. Она знала за собой эту «ораторскую» привычку, сама над собою подшучивала и все обещала вскоре от нее освободиться, всерьез заняться домашним хозяйством, стать примерной женой и матерью... В то последнее расставание было ветрено, и ему запомнилось, как полы ее старенького грубошерстного пальтеца хлестали ее по острым коленкам, обтянутым простыми, в резинку чулками, как трепались каштановые, коротко подстриженные «под польку» волосы, в которых Рогачев тогда впервые заметил белесые нити ранней, тоскливо кольнувшей его сердце седины... А потом... потом она, как всегда, крепко поцеловала его на прощанье в губы и бросилась, тоже как всегда, догонять тронувшийся поезд... По перрону гулко застучали ее тяжелые мужские башмаки, замелькала болтавшаяся на боку полевая брезентовая сумка... И еще долго, долго алела на подножке вагона кумачовая косынка...

Ее привезли через несколько дней — вот на такой же бричке, как эта, у которой он стоял. Милиционер, сопровождавший бричку, рассказал, отводя в сторону глаза, что над нею «надругались с насильничеством» подкупленные кулаками деревенские парни, когда она возвращалась ночью одна к себе на квартиру с колхозного собрания. Хлестал проливной дождь со снегом, и она в беспомощности, в изодранной в клочья одежде пролежала на земле до рассвета, пока ее не подобрала прохожие. За все дни, пока она металась в огне, Рогачев не услышал от нее ни единого слова — она лишь подолгу и молча не сводила с него грустного взгляда, когда к ней на какое-то время возвращалось сознание. Она так и умерла, тихо, без стога, отвернувшись лицом к стене, словно заснула...

Косой сыпучий дождь вывел Рогачева из задумчивости. Он тряхнул головой, прогоняя невеселые воспоминания, натянул кепку и огляделся вокруг. Со стороны моря низко над плавнями неслись темные, отливавшие синевой тучи, и хотя был только полдень, в степи стало пасмурно, мрачно, как бывает только в осенние ранние сумерки. Пространство ступевалось, даль исчезла — в белесой дымке дождя растворились и горизонт, и хутор, и камыши, и даже ветряк на сторожем кургане. Тот небольшой видимый участок, который еще просматривался вокруг понуро стоявшей лошади и Рогачева, все больше и больше наполнялся тревожным шумом разбушевавшихся плавней, посвистом гонимых ветром по степи кустов перекасти-поля...

## Глава шестая

Вводя жеребчика во двор через дубовые, окованные полосным железом ворота, Трофим, не в силах справиться с обмиравшим прежде времени в предчувствии расплаты сердцем, воровато огляделся вокруг и сразу же, на свою беду, увидел хозяина.

Оседлав мешок с пшеницей, Хоруженко сидел под навесом бревенчатого, на высоком помосте амбара и, жуя свой любимый сушеный урюк, убирая в карман шаровар обсосанные мокрые косточки, следил за поединком воробьев на выложенном красным кирпичом дворе. Синий суконный бешмет его плотно обтягивал крутую сутуловатую спину, на узкий ворот выкатилась широкая, налитая багровой кровью складка мускулистой короткой шеи. Ветер шевелил белые завитки его барашковой папачи, трепал концы вислых черных усов.

Перед ним у дощатого помоста амбара, оглашая воздух чирканьем, дрались не на жизнь, а на смерть из-за зерен пшеницы отчаянные хуторские воробьи. Топорща перья хвоста, то нахохливаясь, то отряхиваясь, чиркая по земле жесткими крыльями, они отважно, закрыв глаза, наскакивали друг на друга, выщипывая клювами из груди противника пух. Он уже кружил над двором грязноватым серым облачком. Едва птицы успевали поклевать все зерна и битва в стае затихала, как Хоруженко тут же не глядя вынимал из стоявшего рядом развязанного мешка новую жменью пшеницы и наотмашь швырял ее в середину стаи. Воробьи дружно сквозь свой пух шумно вспархивали над землей, садились на забор и тополя, но через мгновение снова один за другим падали на площадку двора, и драка разгоралась с прежней силой — все начиналось заново.

На цыпочках, крадучись вдоль построек, Трофим, моля бога, миновал двор, ввел жеребчика в конюшню. Оттягивая час расплаты, он неторопливо поставил его в стойло, насыпал в ясли овса, принялся было чистить скребницей, но вскоре бросил и, отыскав метлу, начал подметать пол. Однако, шаркнув несколько раз по притрушенным половой доскам, опомнившись, отшвырнул в сторону метлу и, окинув конюшню тоскливым взглядом, будто прощаясь навеки, досадливо сплунув себе под ноги, побрел к выходу, унося на своей одежде теплый запах конского пота. Ноги его подгибались, как ватные, дороге от конюшни до амбара, казалось, не будет конца.

Хоруженко повернул на шорох шагов голову, медленно свел к переносью кустистые брови. Из глубины его надбровных дуг на Трофима уставились, поблескивая, точно мокрые ягоды терна, колючие немигающие глаза. Трофим облизал пересохшие губы и, потупясь, с усилием ворочая одеревенелым языком, не слыша сам своего голоса, проормотал:

— Я вам, Ларион Степаныч, обязан сообщить... жеребчик ваш... не углядел я... Сам не знаю, как такое случилось...

— Слышал уже я от хуторянина, об том забудь,— перебил его хозяин.— Скажи лучше, где с переправы пропадад, у тебя по хозяйству дела нема, чи шо?

— Виноватый я... страшился на глаза показываться... Хоть убейте за жеребчика, мне все одно...

— Замолкни, кажу, о жеребчике,— уже с раздражением прикрикнул Хоруженко.— Не о нем у нас с тобою пойдет беседа...

Трофим вспомнил приход Клавдии на рассвете в конюшню и весь покрылся холодной испариной. «Выгонит»,— промелькнуло у него в голове. Побледневший, растерянный, охваченный жутким предчувствием еще большей беды, он потерянно обвел глазами огромный, словно выгон, хозяйский двор, как ему думалось, в последний раз, и горечь раз-

луки болезненно сжала его сердце. Все тут было прочным, добротным, стояло уверенно, на века. Вдоль высокого глухого забора возвышались рубленные амбары на высоких помостах, чтобы стойкая осенняя и зимняя сырость не тронула в закромах зерно; за ними тянулись саманные постройки — конюшня, коровник, свиной катух и кошара — все под красной черепицей; а к ним примыкал навес на толстенных столбах, под которым стояли веялки, плуги, сортировки, бороны, триер, сноповязалка и паровая молотилка. Сам же хозяйский дом, заслоняя собою приземистую хату работников, приютившуюся у края сада, поднимался двумя высокими этажами и железной оцинкованной крышей вровень со столетними акациями. На гребне крыши, над всем, что находилось во дворе, не покидая своего поста ни днем, ни ночью, стоял с занесенной над головою саблей бравый казак-запорожец, вырубленный из кровельного железа. Запорожец стоял на одной ноге и на оси поворачивался по ходу ветра в разные стороны. Трофиму показалось, когда он остановил на флюгере свой взгляд, что казак оборотился к нему лицом и пригрозил саблей.

— Иди, сидай рядом... побеседуем...— донесся до него в это время миролюбивый голос Хоруженко.— Сам бог велел...

Трофим перевел глаза на хозяина и увидал, как тот подвинулся на мешке с зерном, высвобождая ему место. Не веря самому себе, не допуская даже мысли, что самое страшное для него уже миновало, он покорно поднялся на помост, но садиться не стал, прислонился плечом к дубовым бревнам амбара за спиной хозяина. Настороженно, не спуская с Хоруженко глаз, он ловил каждое его движение — и ничего не мог понять. Зная цену загубленному рысаку, он в душе уже приготовился, согласный на все, искупить свою вину перед хозяином любой ценою — смолчал бы, как дал себе слово, даже и в том случае, приди тому в злобе желание вложить всю досаду в крученую, с гитарной струной плетку. Но мирный голос Хоруженко, его загадочные туманные слова и, главное, тот спокойный и приветливый тон, которым он все это произносил, сбивали Трофима с толку, настораживали и пугали больше, чем привычная с детства брань.

— Вы, Ларион Степаныч, не сумлевайтесь, я отработаю, вот вам крест святой...— с трудом овладевая одеревеневшими губами, насилу вымолвил он, тупо уставившись в щелястый пол амбарного настила.— Поскольку, стало быть, моя вина — мне и наказание несть, я ж не отпираться... во всем с вами согласный... наперед...

Хоруженко окинул Трофима насмешливым из-под приподнятых бровей взглядом и, стряхнув с ладоней налипшую пшеничную шелуху, не переставая разжевывать урюк, принялся разглаживать усы, пропуская их концы поочередно сквозь могучий кулак.

— Жениться тебе, видать, самая пора — всю дурь из головы жинка враз выбьет, та и сил поубавит...— произнес наконец он, сам усмехнувшись своим словам и, будто в подтверждение правоты сказанного, шлепнул по коленям ладонями.

— Вина моя — моя и расплата...— не глядя на хозяина и не замечая его миролюбивой улыбки, а, наоборот, вздрогнув от шлепка, потерянно повторил Трофим.

Хозяин досадливо поморщился и, нагнувшись, без надобности подтянул шерстяные носки, надетые поверх широких шаровар. Он долго молчал, сосредоточенно оглядывая со всех сторон свои постолы из сырмятной кожи, которые сам себе сшил — чем гордился, хвалясь при случае, — и в которых любил ходить по дому и по двору.

— Ладно, хватит, заладил одно и то ж! Все одно теперь жеребчика не воротишь, — сказал Хоруженко, выпрямляясь и расстегивая душивший его ворот бешмета. — Не чужие — сочтемся... Помолчи и

слушай, шо я буду тебе балакать. Ты мое спорчуешь, а я о твоей молодой жизни думками маюсь, заботу проявляю. Старый я становлюся, хворобы всякие точат, по ночам не сплю, видать, на погост скоро. А ты хлопец в самом соку, здоровый и ладный, тебе силу девать некуда, так ты коней в мыло загоняешь...

Трофим густо покраснел, отшатнулся от стены, намереваясь что-то сказать в свое оправдание, но Хоруженко остановил его жестом поднятой руки и продолжал:

— Мечту твою о собственном хозяйстве я одобрял и одобряю, ты про то знаешь, а только оно, то самое хозяйство, без труда, мозолей та пота, шо рубаху на поле добела солью пропитуе, никому не дается. Шоб добро нажить, треба своих сил не жалеть. Бедняков на свете немає, земля трудящего человека и накормит и напоит досыта. А те, у кого в закромах и в животе пусто,— лодыри, и жалость к ним, лежебокам, проявлять — только задарма время терять. Они от кары божьей не уйдут, за лень свою, не за что другое, крест несут. Ты же хлопец работающий, вырос на моем дворе, было тебе с кого пример брать, как за сына родного у нас почитался, и я тебе зла никогда не желал и не желаю теперь. Не тот батько, шо породил, а тот, шо в люди вывел, ума-разума вложил в башку. Согласный ты со мною чи нет?

Трофим не ожидал такого вопроса и с вымученной улыбкой оторопело уставился на хозяина. Занятый своими мыслями, тревожившими его все утро, он никак не мог сосредоточиться, был не в состоянии ни уловить ход рассуждений Хоруженко, ни оценить его небывалую доброту, ни понять неожиданно-негаданно прорвавшуюся разговорчивость.

— Ну, раз молчишь, то и разговору нашему, можно считать, шабаш,— сказал Хоруженко, вынимая изо рта обсосанную косточку урюка и запихивая ее в карман шаровар.— Ценю и хвалю твою согласность. И попомни мои слова: за нажитое хозяйство треба стоять на смерть, чужим поживится охотников найдется немало. Человек человеку волк! Не дадут, а отнимут — так оно водится в жизни. Давно, помню, читал я в одной книге, шо еще на могилах египетских фараонов было написано: «Своя рубаха до тела ближче». От старых времен и нам мудрость ту не грех помнить. Ну, поскольку ты согласный, мы это дело порешили, то завтра и свадьбе начало! Раз промеж вас любовь — я поперек дороги вставать не имею права. И шоб там ни стряслось, в беде я вас не оставлю, подмогну на ноги встать, хозяйством тебя наделю, хозяином сделаю...

Последние слова Хоруженко совсем сбили Трофима с толку, помutilи и без того разгоряченный его рассудок. Ошеломленный внезапной щедростью своего хозяина, по-отцовски заботливым участием в его дальнейшей судьбе, он потерял малейшую способность здраво воспринимать окружающую обстановку, чувствовать, понимать и слышать что-либо иное, кроме собственного, свалившегося на него счастья. О, как бы он хотел теперь же рассказать обо всем Паше, разделить вместе с нею их общую радость!

Трофим столько раз в своих мечтаниях видел себя богатым хозяином, что ему не доставило большого труда и в эту минуту, позабыв все и всех, унесться в придуманный им мир. Перво-наперво они поменялись с Хоруженко местами. Не Хоруженко, а Трофим сидел верхом на мешке с пшеницей, кормил воробьев и разглаживал вислые запорожские усы. И в тот же самый миг, как только он увидел себя на месте хозяина, ему почудилось, будто бы его двор начал расти на глазах, занимая все большее и большее пространство, пока не уперся забором в плавни. Не теряя времени, со сладко замиравшим сердцем и душевным трепетом Трофим мысленно принялся возводить новые

постройки. Вслед за свежими срубами амбаров появились кирпичные конюшня и коровник, птичник и свинные катухи, рядом со старым вознесся к небу белокаменный дом, сверкающий, как в сказке, зеркальными стеклами окон и оцинкованной крышей, на которой встали на стражу теперь уже два железных казака с занесенными над головою саблями. И тотчас же весь огромный двор наполнился ржанием лошадей, мычаньем коров, блеяньем овец, хрюканьем свиней, криканьем уток, кудахтаньем кур и гоготом гусей — всей живностью была забита до отказа вся площадь от дома до плавней, а скот и птица все втекали и втекали в распахнутые ворота, и казалось, им не будет конца. За ними требовался уход, и тогда Трофим вызвал в своем воображении себе на помощь батраков — одного, второго, третьего, а потом еще и еще. «Мое... все мое...» — думал он, оглядывая свое несметное богатство.

— Оглох, чи шо? — словно бы издалека донесся до него голос Хоруженко. — Видал, як тебе от счастья памороки зашибло, оглох даже! Нет того, как бывало в старину, за невестой сбежать да в ноги упасть за мою доброту, спасибо сказать...

Трофим тряхнул головой и, сбив на затылок кубанку, молодецкато спрыгнул с помоста амбара на землю.

— Ты куда? — остановил его Хоруженко.

— К Паше! Сами ж сказали...

Хоруженко помрачнел, из-под бровей опалил батрака вспыхнувшим яростью взглядом.

— Тебе на Пашке, видать, свет клином сошелся, — угрюмо вымолвил он. — Зельем каким она тебя приворожила, чи шо?..

— Любовь же ж промеж нас, Ларион Степаныч.

— Ну и шо?

— Ничего... чувство и все такое... — упавшим голосом растерянно, сгоняя с лица счастливую улыбку, пробормотал Трофим.

— Ну, а дальше, дальше чего? — допытывался Хоруженко, не спуская с работника глаз.

Трофим не нашелся что ответить и молча пожал плечами, снова наполняясь предчувствием надвигающейся на него беды. Дрожащими пальцами он вытащил из кармана кисет с самосадам и торопливо, неловко суетясь, принялся сворачивать сигарку. Клочок газетной бумаги прыгал, подрагивая, в его руке, махорка сыпалась на грязные сапоги, облепляя их зеленой крошкой. Понапрасну намаявшись, не сумев справиться с охватившей его всего дрожью, он с отчаяньем скомкал бумажку в потном кулаке, поднял, избегая взгляда хозяина, к небу печальные глаза, уставился на крышу дома, позабыв спрятать кисет. И снова ему показалось, что железный запорожец повернулся к нему лицом и пригрозил обнаженной саблей.

— Умный женится по расчету, а дурень про любовь толкует, — сказал Хоруженко, поднимаясь с мешка и забирая из рук Трофима расшитый бисером кисет. — Так чи нет? Согласный ты со мною?

— Не знаю...

— То-то ж и оно, шо не ведаешь! Тебе счастье само в руки идет, а ты... любовь... чувство... Или, может, на хозяйство ее батьки, голодранца Мирошки Чумака, расчет имеешь, так ты мне прямо и скажи, не задурманивай голову. Ступай до ее куреня, я не задержую.

— Я с вами согласный, — сказал Трофим.

— «Согласный»... — смягчаясь, передразнил Хоруженко, разглядывая вышитые на бархате узоры. — Хозяйства любовью не наживешь, такое и малое дите знает, а ты... Достаток в семье любых молодых слюбит, а в бедности и ангелы лютыми вражинами станут, не хуже собак перегрызутся. — Он неожиданно умолк и, побагровев, теряя самообла-

дание, сердито выкрикнул: -- И шо я с тобою тут митингую, может, ты со мною родства чураться? Может, тебе моя Клавдия не пара? Як знаешь, а только я желаю, шоб мне завтра же была свадьба! Не ты — другой жених найдется. Такое веселье закачу, шо весь хутор спьяну!..

Хоруженко заложил руки с кisetом за спину и, спустившись по скрипучим ступенькам амбара на землю, как ни в чем не бывало направился к дому. Из конуры, зевая и отряхиваясь, вылез черный, будто вывалявшийся в саже кудлатый волкодав, лениво потянул следом за хозяином громыхающую на натянутой через двор проволоке железную цепь.

Стиснуть бы Трофиму зубы, чтобы сквозь них не вырвался ни единый звук, заткнуть бы наглухо уши и бежать, бежать, бежать что есть сил, без оглядки день и ночь, ночь и день — только бы подальше оказаться от хозяйского двора, пока не поздно! А он, без кровинки в лице, трясущийся, съезжившийся, жалкий и потерянный, метнулся вслед за Хоруженко через двор напрямки, минуя кирпичные дорожки, и, споткнувшись о собачью цепь, обдав себя всего из лужи грязью, преградил тому дорогу, встал на его пути.

— Погодите, стойте! Ларийон Степаныч, куда же вы? — заикаясь, запричитал он.— Разве ж я мог надеяться? Смилуйтесь, заради бога, не сердчайте... То ж я от радости, сами ж вы сказали, языка лишился. В мыслях такого не держал, подумать боялся... Я ж со всею душой... господи, да как же ж это я сразу недопонял...

Хоруженко остановился, неприязненно и брезгливо покривил губы. Отведя руку назад, он не глядя нащупал и потрепал волкодава по лобастой, с обвисшими ушами голове. Пес поднялся на задние лапы и уткнулся оскаленной будто в улыбке пастью под мышку хозяину, облизнув бешмет.

— Ото ж так оно будет вернее, ни к чему ломать комедию, я ж тебя знаю,— хмуро вымолвил Хоруженко и, помедлив, уже по-хозяйски, деловито приказал: — Сбегаешь до бедняков, накажешь приходять до моего двора, отпущу я им, как просили, пшеницы до нового урожая...

— Все исполню в точности! — воскликнул Трофим, бросившись к воротам.

— Постой, охолонь! Чужое раздавать мы все добряки... як ты кинулся... — недовольно проворчал Хоруженко, возвращая Трофиму кiset.— Ты стой и слухай, шо я буду говорить. Тот чувал, шо у амбара, снесешь до Мирошки Чумака, он вчерас просил пожичить, та позовешь их всех на свадьбу — нехай приходють гулять! Всех позови... — повторил он, многозначительно поглядев на Трофима.

## Глава седьмая

Проводив глазами Трофима за ворота, Хоруженко вздохнул, нахмурился и, жуя урюк, вошел в дом. Он сразу же прошел в горницу, достал из резного, большого, во всю стену, мореного дуба буфета хрустальный графинчик с водкой, люто настоянной на плавающих в ней стручках красного перца. Наполнив серебряную, вызолоченную изнутри стопку до краев, он сунул ее под усы и одним махом выплеснул в себя горькую, словно огнем полыхнувшую во рту жидкость — уже через минуту она разлилась по жилам тихим и надежным теплом.

Закусив все тем же сушеным урюком, посасывая косточку, Хоруженко прошелся по комнате и остановился перед семейной фотографией, висевшей в массивной, крашенной под бронзу рамке под стеклом над старинным немецким пианино «Беккер». Он долго разглядывал фотографию стоя, потом снял ее со стены и опустил на диван, смахнув рукавом бешмета со стекла пыль.

На снимке он сам, как и положено главе семьи, сидит в самом центре, отстранив от себя косой саженью плеч тощую и, точно жердь, прямую и тонкую, с кружевным чепцом на маленькой птичьей голове жену. Он даже не сидит, а скорее восседает прочно, уверенно, напыщенно и важно, будто на троне, широко расставив ноги в мягких шевровых ичихах, с нависшими на голенища шароварами. На нем белая черкеска с серебряными, ажурной работы газырями и высокая белая папаха. Руки сжимают висящий на поясе дедовский, из задунайских набегов привезенный кинжал в дорогих, выложенных драгоценными камнями ножнах. У него за спиной высятся, подобно молодым тополям, два плечистых, в отца, парубка, тоже в казачьей одежде, вытянувшиеся, словно по команде «смирно», — Илья и Петрусь. А у ног приютилась на низкой скамейке дочка Клавдия, неестественно белолицая от масел и пудры, стыдливо прикрывая высокий ортопедический сапожок — он все же предательски высунулся наружу из-под подола длинной юбки.

Не думал и не гадал Хоруженко, когда снимался у екатеринодарского фотографа в пору своей прочной и спокойной жизни, что пройдут годы и от всей его семьи останется ему в утеху одна младшая дочь.

На ней он теперь и задержал свой взгляд, с горечью вздохнув, вслух подумал:

— Разве ж я тебе, дочка, такую судьбу желал, а шо поделаешь? Ничего не поделаешь, надо спасать хозяйство, не то будет поздно... А наступят другие времена — другая будет тебе и свадьба, поверь моему слову...

Не ко времени, казалось, возникшая к дочери жалость тоскливо сжала его сердце, и ему тотчас же захотелось ее увидеть, прижать к своей груди, приласкать и высказать свою волю. Он поднялся, отшвырнув в сторону фотографию. Она съехала по скользкой коже дивана на пол — Хоруженко не успел ее подхватить — и раскололась. Снимок, подобно паутине, затянули мелкие, разбегающиеся в разные стороны трещины.

Не сделав даже попытки поднять фотографию с пола, а лишь досадливо поморщившись, Хоруженко, махнув рукой, покинул горницу и бесшумно, на носках стал подниматься по устланной ковровой дорожкой лестнице на второй этаж. Ему неожиданно захотелось прокукарекать под дверь комнаты дочери голосистым хуторским петухом-забиякой, как он делал это давным-давно по утрам, в пору ее далекого, как теперь казалось, детства. После такого оповещения о восходе солнца он обычно вихрем врывается в детскую комнату, кружась на месте и хлопая себя шумно ладонями по бокам, точно крыльями, потом подхватывал дочь, теплую, пахнущую сном, на руки и начинал уже кружиться вместе с нею, щекоча своими жесткими усами до румянца ее нежные, тогда еще не тронутые оспой щеки. После такой забавы в его ушах подолгу звучал веселый и счастливый, разливавшийся по всему дому звонкий голос дочери...

Припомнив забытую старую шутку, он сам себя растрогал до слез и, стоя у двери на цыпочках, набрал было уже полную грудь воздуха, готовясь прокукарекать петухом во всю давнюю силу... но раздавшийся из комнаты голос Клавдии остудил его отцовский порыв.

— Входите, батя, там не заперто, — сказала она. — Чего вы на пороге топчетесь, як кочет, раз у вас до меня дело есть...

Хоруженко нахмурился, тут же позабыв о своем намерении, и носком самодельных постолов распахнул во всю ширь дверь в комнату. На него дохнуло приторным запахом пудры, смесью разных кремов и духов. Он покривился и сплюнул, вконец растеряв хорошее настроение.

— И когда ты, Клавдия, перестанешь страчивать деньги на всякую пакость,— с раздражением вымолвил он.— Отцовых было не жаль, так теперь хотя бы свои поберегла...

— Нашли чем попрекнуть! И откуда они у меня — свои?

— Нет, так будут, хозяйкой становишься...

— С чего бы это вдруг?

— Трофим сватается...

Клавдия, все еще разодетая по-утреннему во все то же самое, в чем приходила на заре к Трофиму в конюшню, сидела у окна и вышивала крестом на полотняном рушнике красных петухов. Всем своим видом, непокорным и независимым, спокойным тоном речи она, казалось, хотела подчеркнуть полное равнодушие к предстоящему и, как она ждала, суровому объяснению с отцом за свою утреннюю выходку. Она даже не подняла головы, не оторвала от пялец глаз, чтобы одарить отца по-родственному теплым и ласковым взглядом либо же просто приветливой улыбкой. Наоборот, от нее веяло холодом, она вся подобралась и, угадывая наперед, о чем пойдет у них разговор, ощетинилась, приготовилась к отпору, к защите своего права на любовь, на свободу действий. Но то, что она услышала, заставило ее вздрогнуть, покрыться жарким до корней волос неровным румянцем, и, чтобы от неожиданности не вскрикнуть, она закусила уколотый нечаянно иголкой палец, слизнув с него выступившую капельку крови.

— Трофим сватается,— повторил Хоруженко, с неприязнью разглядывая вышитых дочерью на рушнике петухов, напоминавших ему о неудавшейся только что задумке и приведших его теперь в дурное настроение.— И я дал ему свое родительское благословение, завтра и свадьбе начало! Сбегай до Ефросиньи, нехай зараз придет, будет у нас посаженной матерью. Она хозяйка справная, знает, шо и как надо в таком деле...

Давно уже перестав считаться с мнением тех, кто был от него зависим, а с годами и вовсе уверовав в свою непогрешимость, привыкнув всем навязывать собственную волю, Хоруженко и на этот раз не стал дожидаться ответа дочери, хотя и относился к ней всегда с нежностью, помня о ее физических недостатках. Молча погладив Клавдию по голове, он повернулся и, шаркая постоломи по крашеным половицам, направился к выходу.

— Меня бы хоть спросили! — догнал его в дверях окрик дочери.— Живая ведь, не колода. Мою судьбу решаете!

Хоруженко нехотя вернулся, все так же молча положил руки на плечи Клавдии и, постояв, подумав, проговорил чуть хриловатым от волнения голосом, тихо и ласково:

— Шо ты балакаешь, доченька, разве ж я против твоей воли на такое дело когда репшусь? Сироты мы с тобою, кого ж мне, кроме тебя, жалеть да кохать осталось, для тебя живу, за тебя молюся. Не вырядись ты с зорьки, як невеста, та не прошмыгни тайком в конюшню, где ж мне было бы и дознаться про твои чувства, про то, шо ты потянулась к нему душою. А когда он заявился просить твоей руки, та упал на колени, та начал обливаться слезами, та сказал, шо наложит на себя руки, не дай я вам своего согласия, дрогнуло и мое сердце, смилостивился я над вами. Живите, мои дети, та любитесь! Тебя ж не спросил я, потому как твой кисет мне все пояснил, за тебя твое слово желания высказал. Ну, а раз ты не согласная, то ничему тому не бывать, як сама знаешь...

Хоруженко умолк, с затаенной грустью поглядел на склоненную голову дочери со все еще румяно пылавшими ушами, провел, о чем-то нелегком думая, рукою вдоль ее спины, по тугим шелковистым косам и, подержав их на ладони, точно взвешивая, не проронив больше ни



слова, побрел к двери. Клавдия искоса взглянула на обмякшую фигуру отца, на его горестно ссутулившиеся плечи и бросилась за ним следом.

— Пойдите, батя, чего-то вы как на пожар торопитесь? Я ж вас ничем не обидела. Моего решения вы же еще от меня не знаете,— вымолвила она, остановившись за его спиной и дыша ему в затылок.— Обманывать вас не стану, Трофим давно люб, да только он меня все сторонится. Не мила, видать, я ему, о другой у него думка. А без любви разве ж жизнь?

Повернувшись лицом к дочери, Хоруженко привалился плечом к дверному косяку. Он обвел глазами тщательно прибранную, девичьи чистую и опрятную светелку дочери и, надолго задержав взгляд на этажерке с книгами, угрюмо проронил:

— Начиталась дури всякой про любовь, одна она тебе только и мерещится. Деньги на книги страчиваешь, а без толку...

— Хоть книгами не попрекайте, без них я в одиночестве и вовсе бы от тоски усохла,— вздохнула Клавдия.— Так шо...

— Книги книгам рознь,— перебил ее Хоруженко.— Я тоже читаю и как хлеба растить и по животноводству, на пользу хозяйству. И газеты выписую, потому как знать должен, шо новая власть замышляет, шоб в курсе всего быть. А ты? Романы про любовь ночи напролет глоташь, одного керосину небось не сосчитать сколь задарма спалила в лампе! Разорение с тобою...

— Будет вам, не про то нам с вами балакать надобно,— тихо прервала его Клавдия.

Хоруженко согласно кивнул, усмехнулся в усы.

— Верно, дочка, не время нам меж собою еще грызню заводить, врагов у нас и без того кругом хватает, успевай отбиваться...

Зазвенев монистами, отложив на кровать под кружевным покрывалом и с горою пуховых подушек пяльцы, Клавдия впервые за встречу взглянула на него, как ему хотелось, тепло и ласково. Она была одного с ним роста, не уступала, на свою женскую беду, и в ширине плеч. Обвив одной рукою его шею, она положила ему на плечо голову и надолго затихла, слегка раскачиваясь, мечтательно глядя перед собою невидящими, глубоко ушедшими в себя большими, иссиня-черными, в длинных ресницах глазами.

— Если бы вы только знали, батя, как мне хочется своего счастья...— тихо, задушевно и грустно наконец вымолвила она.— Ничего бы за него не пожалела...

— Чего ж тебе недостает?

— Вот того и недостает, чего нету...

— Видать, время подошло тебе стать самою хозяйкой,— по-своему рассудил ее слова Хоруженко.— Сыграем свадьбу, отделию вас, не обижу ничем, всем одарю вволю, живите себе на здоровье в достатке и радости, ничто вас не тронет...

Клавдия сняла с его плеча голову и, вздохнув, скрестив на высокой груди руки, припадая на короткую ногу, отошла к окну.

— Не любит он меня...

— Заладила,— сердито буркнул в ответ Хоруженко, вытаскивая из кармана горсть урюка.— Люди для чего женятся? Шоб богатства прибавить да детей наплодить. Я на твоей матери женился — ее приданое к своему добру взял, так-то оно в жизни, а ты мне про любовь толкуешь... И раз он за тебя сватается, коль на то пошло, так, стало быть, любит. Видала бы ты, як он убивался, слезы лил, на коленях ползил — пужался, шо я ему откажу...

— Выдумываете вы все...

— В таком деле выдумлять грех, да и ты мне не чужая...

— И признался вам, что любит?

— Страшными клятвами клялся! — сказал Хоруженко, вбрасывая в рот отливающий янтарем урюк.

Крупное рябое лицо Клавдии при последних словах Хоруженко снова запылало проступившим из-под пудры огненным румянцем, на красивые темные ее глаза набежали слезы. Она, витая в ведомых лишь ей одной мечтах, закинула за голову руки и, привстав на цыпочки, потянувшись, выставив вперед и без того высокую грудь, — потянулась расслабленно и сладко, как потягиваются, нежась, после пробуждения от долгого и крепкого сна, в предчувствии чего-то хорошего и давно желанного...

### Глава восьмая

Выполняя наказ хозяина, Трофим со всех ног бросился к амбару, взвалил на спину мешок и, согнувшись под ним в три погибели, размашистыми шагами заторопился к воротам. И только когда очутился далеко от двора, один на один с хуторской улицей, решился остановиться, чтобы немного передохнуть и прийти в себя.

Опустошенный и обессиленный, с бешено колотившимся сердцем, он прислонился с мешком к первому попавшемуся забору и, широко расставив ноги, расстегнув ворот рубахи, стал жадно, раз за разом глубоко втягивать в себя воздух. У него в голове, как только он остался один, все сразу перепуталось, помутилось, и то недавнее, что с ним произошло на дворе, почудилось продолжением того же самого кошмарного сна, который привиделся ему на хозяйской мельнице. И, быть может, не дави на его плечи мешок, набитый пятью пудами кубанской отборной гарновки, он бы и на самом деле уверовал, что все это был всего лишь сон, и вернулся бы назад на хозяйский двор.

Отдыхая у чужого забора, Трофим вдруг ясно и отчетливо представил себе, куда и зачем он идет, с кем неминуемо должен будет встретиться, и у него болезненно сжалось сердце. Где-то на самом дне его души шевельнулось и начало расти, тревожа и наполняя беспокойством, чувство запоздалого раскаяния, а вместе с ним появились и стыд и неловкость перед предстоящим объяснением с Пашей. Что он может ей сказать в свое оправдание? С какими глазами предстанет перед той, к кому был по-настоящему привязан первым и потому самым сильным и самым светлым чувством? Как объяснит свою измену? Да и вообще — имеет ли он право переступить теперь порог ее дома?

Занятый нелегким раздумьем, Трофим и не заметил, как и когда все небо над хутором снова — в который уже раз за день! — затянули лохматые и черные, похожие на дым смолокурни клубящиеся тучи. Вокруг стало совсем темно, как будто навечно перестало светить солнце. Издалека, со стороны Азовского моря и плавней, накатился шум ветра, и вскоре через хутор, обдав его сырым дыханием холода, промчался, кружа солому, сено и листья, стремительный вихрь. Он со свистом умчался в степь, а тополя еще долго не могли прийти в себя и, раскачивая в тучах вершины, надсадно поскрипывая, роняли на крыши хат и на дорогу желтые, как осколки погасшего солнца, листья. Темнота после вихря сгустилась еще больше, и ее внезапно до самой земли косым ударом сабли рубанула ослепившая глаза молния. Гром взорвался вслед за вспышкой света с такой оглушительной силой, что земля вздрогнула и рванулась из-под ног, пошатнув высокий забор, под которым стоял Трофим.

Занемевшие его руки от толчка разжались сами собою, и мешок с пшеницей медленно, проутюжив спину, сполз на землю, тяжело шлепнулся в грязь. Трофим стянул с головы кубанку, засаленной овчи-

ной смахнул с лица катившийся пот и, бессознательно подражая хозяину, уселся, как недавно тот, верхом на мешок, широко расставив ноги в забрызганных грязью сапогах.

Молнии то и дело опаляли хутор раскаленными до белого накала отвесами, выхватывая из нависшего мрака устремленные пиками в небо тополя, беленые трубы на камышовых и соломенных крышах, стены саманных хат с маленькими черными окнами, макитры и стеклянные банки на кольях плетней, блескучие лужи посреди дороги, покрытые ветряной рябью и отороченные по закраине гусиным пером и пухом. Гром неумолчно перекатывался из конца в конец хутора, то с рокотом затихая где-то далеко в плавнях, то раскалывая воздух над самой головой оглушительными взрывами, от которых звенели, чуть не вылетая из рам, оконные стекла и испуганно скулили собаки.

Редкая для осенней поры гроза на какое-то время отвлекла Трофима от его невеселого размышления, а затем постепенно и незаметно завладела всем его вниманием, подчинив своей разбушевавшейся силе, и он, как ни странно, успокоился — ему в голову пришла спасительная для всех слабых волею людей мысль, что все, что на свете ни делается, — все к лучшему, все от бога. А когда гроза кончилась и зашумел дождь, к нему и вовсе вернулось тихое благодушие — им овладела радость от сознания сбывшейся мечты. Он отчетливо осознал, будто прозрев, что с этого дня навсегда расстался со своей прошлой жизнью, что судьбе стало угодно, смилостивившись, вознаградить его за все покорно и терпеливо пережитое им: за раннее сиротство, скитания по людям, мытарства и унижение, за тяжкий труд от зари до зари в чужом хозяйстве. Все это отныне оставалось где-то далеко позади, в затянутой плотным туманом памяти, о чем не хотелось теперь уже даже думать. Ожидавшая его впереди жизнь мерещилась райским блаженством, без забот и печали, сплошным светлым счастьем. Его мечта о собственном хозяйстве сбылась — теперь всего лишь одна ночь отделяла его, бездомного батрака, от гордого слова х о з я и н. Сознание этого сладко кружило Трофиму голову, каждая частица его души, казалось, торопила часы и минуты: завтра, завтра, завтра, скорее бы оно наступило!..

Дождь перестал так же неожиданно, как и начался, и на хуторе установилась глухая, на удивление редкая тишина, пронизанная лучами выглянувшего из-за туч солнца. Это была та самая послегрозовая безветренная тишь, когда отчетливо слышны и падение в траву сорвавшейся с ветки капли, и шелест летающих последних листьев, и робкий шорох выпрямляющегося после дождя стебля, и совсем уж едва уловимое шипение уходящей в почву дождевой воды. Но именно эта тишина и вернула Трофима из мечты в настоящую жизнь, как спящего человека, привыкшего к тиканью ходиков, пробуждает их внезапная остановка.

Он запрокинул к небу голову и, придерживая рукой кубанку, долго, до черной слепоты в глазах ловил лицом косые лучи освеженного грозою солнца. С его губ не сходила счастливая улыбка, приоткрывшая белые, по-мышьиному мелкие и острые зубы. С этой улыбкой он и взвалил снова себе на спину мешок и, с удовольствием пружиня ногами на скользкой земле, чувствуя, как наливаются силой его мускулы, зашагал на край хутора.

Ему повезло — Паши дома не оказалось, она уехала с матерью в плавни резать на топку камыш. В хате находился один ее отец — Мирошка Чумак.

Старый казак сиротливо сидел за большим, выскобленным до желтизны голым столом в своей латаной-перелатаной, когда-то, видно, черной, а теперь порыжелой черкеске и в серой потрепанной сол-

датской папахе. Перед ним стояла обливная глиняная миска, над которой курился пар. В хате круто пахло украинским борщом, заправленным старым салом, зеленью петрушки, чесноком и луком.

В одной руке Мирошка Чумак держал деревянную ложку, в другой огромную, с тыкву, зеленую перчину. Надкусывая ее со смачным хрустом, старик тут же шумно и с силой выдыхал воздух, как пьяница после выпитого стакана самогона, и, не закрывая рта, вытянув морщинистую, с белесым пушком на остром кадыке шею, поспешно склонялся над миской — заливал борщом жаркий перцовый огонь. По запавшим, давно не бритым его щекам текли, застревающая в сосульках усов, мутные от полумрака в хате слезы.

— Слышал я, шо ты женишься, так не подумай, шо я по тебе плачу,— сказал он, глядя на Трофима сквозь слезы.— То, бисова душа, моя старуха наказала мне исть борща от застудного кашля беспрременно с перцем, ото ж я и мучаюсь. Сидай и ты со мною за кумпанию.

Трофим снял кубанку, обмахнул ею запаленное ходьбою лицо и неуверенно, с опаской поглядывая на дверь, опустился на край лавки у порога.

— Ларивон Степаныч велели передать вам чувал пшеницы, я его в сенцах кинул,— сказал он.— И еще они всех на свадьбу звали...

Мирошка Чумак тщательно выскреб ложкой дно миски, положил огрызок перчины на стол и, вытирая рукавом чекменя губы, откинулся спиной на угол печи, занимавшей добрую половину хаты.

— Видал, ото ж ты уже и побрезговал со мною из одной миски борща отведать, а шо ж оно дале будет? — поблескивая маслянисто увлажненными глазами, проговорил он.— Надумал ты, по всемо видать, кончат с батрачеством и перебираться из грязи да прямо в князи. Гляди, хлопец, не прошибиться бы тебе по нонешнему времени...

Трофим потупился, молча пожал плечами. От недавней его уверенности в собственной правоте выбора своей судьбы не осталось в хате Мирошки Чумака и следа. Еще вчера для него как родная, знакомая до каждой царапины на стенах хата — та самая, куда он стремился каждую свободную минуту и с которой у него было связано немало дорогих воспоминаний, сейчас вдруг стала чужой, холодной и запустелой, даже почти ненавистной, и он мучительно подыскивал предлог, чтобы поскорее ее покинуть. Со страхом ожидая внезапного возвращения Паши, прислушиваясь к каждому пороху, доносившемуся с улицы, он готов был провалиться сквозь землю, не зная, куда отвести и на чем остановить свой взгляд, и, ерзая на лавке, переводя глаза с пола на потолок, мял и теребил в руках кубанку. Несмотря на то, что в хате было прохладно, он весь обливался потом.

— Ты очами по сторонам не зыркай, я на тебя не в обиде,— продолжал Мирошка Чумак.— В одной шерсти и собака не проживет, кажному свое... Дочка у меня одна-единственная, и я дюже радый, шо не ты будешь моим зятем. Вышколил тебя Хоруженко по своему образу и подобию, ничего не скажешь, складная работа. Не хорошо, опасно. Гляди, шоб не вышло по пословице: «Кто на борзом коне жениться поскачет, тот скоро заплачет». Или же такое: «Свадьба скорая, шо вода полая». Или же, обратно, другое: «Женился на скорую руку да на долгую муку». Бачишь, сколь их, тех пословиц, до твоего берега прибилося?

— Вы чего-нибудь там не подумайте, Пашу я люблю и по гроб жизни ее помнить буду,— отозвался Трофим.— Но рази ж я могу ей счастье дать?

— Та где тебе, чья б корова мычала...—махнув рукой, сказал Мирошка Чумак.— Ты сам выглядаешь, шоб тебя им не обнесли, як горького пьяницу за столом чаркою. А наше счастье — вода в бредне... не удержишь...

— Вы ей передайте, пусть не обижается, не судьба, видать, нам с нею быть. Не по своей воле я ей причиняю горе...

— Нашего горя ни утопить, ни закопать.

— Ну так я, стало быть, пойду? — сказал Трофим, поднимаясь.

— Ступай, ступай, не сумлевайся, мне тож самое в сельсовет пора вертаться по долгу службы, на обед я сбег.

— Глядите же, завтра приходьте, Ларион Степаныч велел всем приходить... шоб беспременно...

— На дармовщину вина попить, та поросятины, та курчатины, та барашка вдосталь у свое нутро накидать и мы не дурни!

— Стало быть, сказать, чтоб ждали?

— Стало быть, скажи.

Взявшись за ручку двери, Трофим помедлил, обернулся и, глядя себе под ноги, виновато произнес:

— Может, что и не так получилось, уж вы извиняйте... не мог я по-другому поступить...

Мирошка Чумак склонил на плечо голову, прищурился и, пряча в усах усмешку, погрозил Трофиму мозолистым узловатым пальцем, бугристым от рубцов давних глубоких порезов.

— Но, но, ты, гляди, еще не передумай! — воскликнул он.— Я такой радости не перенесу, коли ты до моей дочки возвратишься.

Трофим печально покачал головой.

— Вам бы все над всеми насмешки строить, без того вы не можете и дня прожить, а доведись бы и вам такое, так тоже небось не отказались,— вымолвил он, с укором поднимая на Мирошку Чумака глаза.— Все люди такие — волки, и у нас на хуторе не лучше, друг дружке одного зла только и желают. Доведись кому, что его судьба не горем, а радостью одарит, так того удушить готовы, со света сжить...

— О, бачишь, уже сбывается мое пророчество, ты еще и не стал хозяином, а зубы мне свои выказал,— перебил его Мирошка Чумак.— Понапрасну ты тужишься меня забидеть. Я и в свою первую жизнь никому зла не желал, а уж во вторую и подавно. Чего ты на меня уставился, вроде бы черта побачил? Не чуял моей истории? Так я зараз с охотою тебе поясню, дай только вот трубку раскурю.

Трофим покосился на дверь, беспокойно переступил с ноги на ногу, но не ушел, нехотя снял руку с дверной скобы. Мирошка Чумак попыхал, посипел, похлопал своей кривой, едва не до дыр прокуренной трубкой и, зажав ее, слабо чадившую дымком, в кулаке, продолжал:

— Тебя ще мать твоя покойница, царство ей небесное, носила в утробе, а мне на ту пору уже выпал смертный приговор. В самую что ни на есть люгую стынь нырнул я с волами та с возом камышу в плавнях под лед. Воды там, правда, не буду брехать, было по пуп, да, на мою беду, она оттого теплее не стала, обожгло меня, вроде бы не в воду, а в крапиву шурханул. И волы, запомни, не мои, а хоруженковы были — тут сам погибай, а их блюда, потому как все одно жизни из-за них, ежели потопнут, не будет. Ну, шоб тебе рассказать покорооче, потому как ты, я бачу, весь уже на своей свадьбе, так, одним словом, не сгинул я в тех плавнях, выгреб до берега. А пока до твердой земли в лёде волам дорогу прорубал своими костями, я дюже худой был, все руки камышом в кровь порезал и сам захолодал аж до самого нутра, шо твой кавун на морозе. Волон на

сухое вывел и упал замертво, отдал господу богу свою безгрешную душу. Наши люди ехали мимо плавней — подобрали мой труп. Привезли до хаты и не поймут, чи на мне, чи во мне все стукотит, як вареные кости на дне пустого казана. Моя старуха в рев! Взяслась причитать — поминки, да и только. А я возьми в тот момент и очухайся. Глаза, правда, открыты не могу, так командую вслепую: «Тащи, бисова душа, литру самогонки, сушеного полыню и меду та растопляй печку, щоб на ней самого черта можно было жарить!» Все одно, думаю, помирать, так хоть преставлюсь богу в теплом виде и во хмелю, в веселом, стало быть, настроении...

Мирошка Чумак пососал трубку, но она безнадежно погасла, и он, досадливо сплюнув, со злостью запихнул ее в карман шаровар.

— И щоб ты думал? — продолжал он. — Выпил я литру, заел медом с полынею, да и завалился на печку, дже мене в холод кидало. Проходит день — я сплю, проходит ночь — я сплю, проходит другой день — я обратно сплю. Старуха моя порешила, что я помер, и смоталась за хуторским коновалом. Тот глянул на мое распластанное тело и враз поставил диагноз: «Пьяный, шо свинья, выспитя — сам встанет». И верно! Выдохся с меня к ночи хмель, и сполз я с печи, стал по полкам шарить, хлеб шукать, дже у меня с голоду живот усох. Старуха пробудилась, лампу засветила, сидит на лавке и от радости слова сказать не может, а я на полу посреди хаты краюху уминаю — одно мое чавканье и слышать. Так и выходит, что живу я теперь в другой раз, и в новой своей жизни я до всего отрешенный и во всем разочарованный, потому как ни во что во мне веры нету и ни к кому я доверительности не питаю. И тебе мой совет: никого на свете не слухай, никому не верь, ибо все суета сует — кругом один обман и ничего святого...

Умолкнув, Мирошка Чумак снова вытащил из кармана трубку и сунул пустую в рот. Он задумался и, казалось, совсем позабыл о своем госте. Трофим с минуту молча стоял у двери, в нерешительности топчась на месте, не зная, что ему делать, и наконец тихо, не то спрашивая, не то сообщая о своем намерении, произнес:

— Ну, я пойду...

Мирошка Чумак, весь ушедший в себя, поднял на Трофима затуманные раздумьем глаза и, помаргивая выпцветшими ресницами, молча, долго и пристально, хотя и без всякого интереса, разглядывал его лицо.

— А ты думаешь, я не знаю, шо ты с Хоруженкой давно одной веревочкой связанный? — неожиданно спросил он. И, не дожидаясь ответа, продолжал: — Один я о том знаю, а молчу, потому как я до всего в жизни охолоненный и ни до чего мне дела нету. Скажи я про то казакам — они б живо к ветряку твоего хозяина красного петуха подпустили, дотла б спалили мельницу, но мое дело сторона. Может, скажешь, не вы в жерновах дырку пробурили и не в хозяйские мешки мука тайком утекает при помоле? Хоруженке твоему мало того, что он с каждого хуторянина за то, шо чувал зерна сметлет, три шкуры дерет, потому как в округе другой мельницы нету, так он еще каждого и обкрадует. Вот и выходит, богатство — воровство, а он нас, бедняков, лодырями обзывает, кричит на весь свет, мол, мы хозяинувать не умеем. А от кого мы бедные? От совести своей мы бедные. Да ты не дрожи, не пужайся, какая мне в том надобность языком по хутору чесать? А я вижу, все знаю, да только все одно глазами из нужды не выбиться...

— Ну, я пойду, — повторил Трофим.

Хозяин хаты ничего не ответил. Плотно прикрыв за собою дверь, Трофим облегченно вздохнул и все тем же размашистым шагом, но

теперь уже налегке, чуть ли не бегом заспешил на улицу. Голый двор Мирошки Чумака, заросший по старому плетень лебедою и будяками, был уныло беден и запущен. На единственном дереве посреди двора — старой одичалой груше — покачивались уцелевшие кое-где на ветвях сморщенные и черные, точно обугленные, груши; на нижнем суку висело ведро с известкой для побелки — из него торчала истертая рогожная кисть. Около опрокинутой собачьей конуры, под стеной хаты валялась в грязи ржавая цепь с раскисшим сырмятным ошейником, а на месте бывшего амбара, от которого памятью остались одни врытые в землю столбы настила, сиротливо мокла под дождем копенка камыша на топку печи. Отовсюду веяло беспросветной бедностью.

Все это Трофим видел и прежде. И всякий раз пустой двор Мирошки Чумака вызывал у него чувство досады, участливое сочувствие, горечь, желание поскорее вырвать отсюда Пашу. На этот раз ничто не тронуло его сердца.

Нахлобучив на глаза кубанку, сунув в карманы шаровар руки, он вышел со двора на улицу степенно и деловито, как человек, совершивший нелегкое, но важное для него дело. Занятый собою, он не мог видеть, каким жалостливо-неприятным взглядом провожал его Мирошка Чумака, стоя у окна своей хаты с погасшей трубкой в зубах.

### Глава девятая

От дочери Хоруженко прошел в самую дальнюю и самую тихую в доме комнату, увешенную и устеленную персидскими коврами, с большим иконостасом в углу, перед которым мерцал тусклый огонек лампы — она свисала с потолка на толстых бронзовых цепях. Рубиновая чаша с лампадным маслом и фитилем утопала в металлической, под кружево, позолоченной оправе.

С улицы сюда не проникал ни единый звук — в молельне стояла глухая и спокойная тишина. Запахи здесь были точно такими же, как в церкви: чад лампадного масла, ладана и восковых свечей, казалось, пропитал всю комнату, каждую в ней вещь. На дорогах окладах икон, на выписанных богомазами ликах святых угодников и матери божьей поблескивали тоже точно такие же сальные отсветы, как в церкви. Большое, почти в человеческий рост распятие, висевшее в простенке между окнами с двойными, никогда не вынимающимися рамами, завешанными тюлевыми занавесками, находилось в сумеречной тени — до него не доставал свет лампы. Распятие освещалось лишь на пасху, когда перед ним ставили тонкие, желтые, пахнущие душистым воском церковные свечи, которые домочадцы зажженными пронесли через весь хутор со всею ночью.

Хоруженко опустился перед иконостасом на колени, трижды перекрестил свою широкую грудь, закатив глаза на святых угодников, но молиться не стал. Его надолго захватило тяжелое и глубокое раздумье, увело в ожесточавшие сердце воспоминания.

Прошло немногим более десяти лет, как Хоруженко (было это вскоре после Октябрьской революции) испытал и пережил такое же состояние тревоги и душевного смятения, какое наполняло его в нынешнее время все последние дни. Оно, изматывая, не отпускало ни днем, ни ночью, заставляя мучительно искать выхода, изворачиваться и все больше черстветь душою. Правда, то пережитое им когда-то тревожное чувство, отодвинутое годами в прошлое, давало, всплывая в памяти, повод на надежду, что и новые испытания, выпавшие

на его долю, благополучно минуют, а затем, даст бог, и вовсе забудутся. Но это не приносило утешения.

Снова, как и в годы революции, на пути Хоруженко встал двор Журбы. В ту суровую пору, в пору ломки прежних устоев, впервые, быть может, в жизни кубанского хутора с его старинным казачьим укладом свела на узкой тропе классовая рознь двух земляков. Светла, столкнула лоб в лоб и... одного из них погубила. И если тогда лютым, непримиримым врагом стал его бывший приятель-одногодок, красный партизан Журба-отец, то нынче врагом стал Журба-сын.

Прапрадеды Хоруженко и Журбы-старшего, запорожские казаки, после разгона Сечи императрицей Екатериной II приплыли к Таманскому полуострову в одной байде. След в след ступили они на чужую, милое стово, как думали простаки запорожцы, дарованную им царией землю. Пришельцы возводили в кубанских степях крепости, ставили на насыпных высоких курганах сторожевые вышки, выжигали плавни, сеяли хлеб, растили сады, принимали участие в набегах на «неверных» чеченцев, в которых получали пулевые и сабельные раны и из которых привозили немало награбленного добра.

На долю их сыновей выпало огнем и мечом расширять и укреплять владения кубанского войска. Казалось бы, что же еще достанется правнукам, как не продолжать начатое предками, но судьба распорядилась по-иному. Потомкам запорожских казаков, тем самым, в чьих жилах — хотели они или не хотели того признавать, но текла уже у многих в роду заодно с украинской и горская кровь, довелось начать новую, невиданную в истории жизнь.

Хоруженко и Журба сидели в казачьей школе за одной партой, подростками вместе ездили на лиманы ловить рыбу и раков, вдвоем ходили на охоту, а в пору своей юности, вымахав в ладных плечистых парубков, дрались спина к спине из-за девчат с пришлыми русскими поселенцами — «иногородними», или, как их презрительно называли казаки, «хамселами». Когда же наступил черед Хоруженко и Журбе отслужить воинскую повинность «царю-батюшке верой и правдой», то первому родитель справил ахалтекинського рысака, казачью форму и снаряжение, а второму — бедняку-безлошаднику — пришлось отправиться отбывать свою службу в полку «ползунов на брюхе» — пластунов.

С той поры, пожалуй, и разошлись их дороги, прежняя дружба не вернулась. Да и как могло еще быть иначе, если после воинской службы каждому из них пришлось браться за свое хозяйство — подошло время заменять отцов. И если Журба был вынужден от зари до зари, выбиваясь из сил, трудиться на своем наделе земли, чтобы кое-как свести в своем хозяйстве концы с концами, прокормить семью, то за Хоруженко работали батраки и он никогда и ни в чем не испытывал нужды. И если Журбе пришлось в первые же дни русско-японской войны отправиться с эшеленом на фронт, то богатство Хоруженко помогло ему остаться дома.

До глубины души, до потери дара речи был ошеломлен Хоруженко, когда после Октябрьской революции, в гражданскую войну, в его родовой курень неожиданно нагрянул с отрядом красноармейцев друг детства Журба. На нужды революции, как гласила оставленная хозяину бумага, со двора Хоруженко в тот день угнали до сотни свиней и овец, дюжину коров, чуть ли не весь табун рабочих и рысистых коней, вывезли три вагона хлеба.

Вот тогда-то впервые и опустился Хоруженко перед домашним иконостасом на колени. До исступления бил он земные поклоны, молил и архангела Михаила, и Николая Чудотворца, и мать божью, и Георгия Победоносца, и Илью-пророка — всех святых заступников,



каких только знал: призывал их покарать «анчихриста» казака хутора Прикубань Журбу, просил вернуть утраченное хозяйство.

Всю ночь напролет провел тогда Хоруженко в комнате-молельне на коленях перед иконостасом один на один. Душила его, распирая грудь, жгучая обида, неумемная злоба иссушала, туманила рассудок. Боль унялась лишь под утро, когда в щели окованных железом ставен проникли первые, с кровавым оттенком лучи багровой зари. И утихла она, а быть может, и просто притупилась не от молитвы и не от ниспосланного богом смирения — от данной им самому себе клятвы: жестоко, не зная жалости, отплатить за свою обиду. И час расплаты не заставил себя долго ждать, будто и на самом деле посланный ему самим господом богом.

...В пору буйного по весне цветения садов, мирной пахоты и сева обрушилось на голову Хоруженко, как гром среди ясного неба, известие от старшего сына Ильи. Есаул казачьего полка, входившего в состав белогвардейских войск генерала Корнилова, он принимал участие в длительных и кровопролитных боях под Екатеринодаром. Части красных одержали на поле битвы полную победу, разгромив противника наголову. С тех пор об Илье не было никаких сведений, и хотя в доме об этом прямо не говорили, каждый про себя уже давно считал его погибшим.

И вдруг неожиданно-негаданно — оказия. И главное, не из каких-нибудь дальних мест, а из Тамани. Через знакомого казака соседней станицы сын извещал отца о своем здоровье, слал всем родным низкий поклон и приглашал «на свадьбу». Выезд наказывал не откладывать ни на день, ни на час, а запрягать коней тут же после встречи с казаком.

Сердце Хоруженко при этом сообщении готово было разорваться на части. В отличие от домочадцев он хорошо понимал, о какой «свадьбе» вел Илья речь, и в нем, высвобождая из тисков душу, закружив голову, все возликовало, напряглось в томительно-сладком предчувствии мести. На какое-то короткое мгновение к горлу его от жалости к самому себе подступил горячий сухой комок, на ресницах взблеснули слезы. И за ними во тьме его глаз, холодных, почти никогда не моргающих, скрытых тенью нависших бровей, на самой донной их глубине выискрилась и затлела, наливаясь бражной силой, безудержная и не знающая пощады злоба. Хоруженко, должно быть, сам почувствовал, вернее, увидел как бы со стороны ее в своих глазах, потому что поспешно отвернулся от окружавших его домочадцев и перекрестился, смиренно вздохнув:

— Господи, укрепи и направь!

Двое суток, вырядившись в парадную казачью форму, мчался Хоруженко на Таманский полуостров.

Но как ни торопился, как ни нахлестывал он взмыленных коней, давая им на хуторах и в станицах, которые проезжал, самые малые передышки, а к началу мятежа, именуемого сыном «свадьбой», все-таки опоздал.

Тамань уже со всех сторон — и с моря и с суши — была оцеплена казаками. Она оцетинилась пушками и станковыми пулеметами, поставленными за рвами с колючей проволокой, на развалинах старинной фанаторийской крепости. По безлюдным улицам станицы и узкой береговой полосе разъезжали, выцокивая по камням копытами, конные патрули. Временами то на одном, то на другом конце Тамани раздавались винтовочные выстрелы, крики о помощи, пьяная брань.

Хоруженко в станицу не пустили. До самых сумерек он просидел в бричке вблизи заставы, на всякий случай даже не распрягая

лошадей. К заставе у него на виду то и дело подскакивали верховые, тут же уносившиеся назад в станицу; уходили в степь пешие дозоры. Разводящий уже не раз успел сменить часовых у поставленного при въезде в станицу шлагбаума, а казак, посланный в штаб за Ильей, никак не возвращался.

По ту сторону пролива, за белокаменную Керчь, опустилось, утянув за собой с моря зыбучую багровую бурку, солнце. Низкое и по-ужному черное небо, выгнувшееся над проливом, покрылось, будто рыбьей чешуей, белой звездной сыпью.

Уже в темноте, угрюмый от досады, Хоруженко выпряг коней, навесил на их головы торбы с овсом и, пожевав через силу ломоть хлеба со своей любимой домашней колбасой, от которой за версту несло чесноком, стал укладываться в бричке на покой. До утра он уже не надеялся на встречу с сыном.

Однако уснуть ему не довелось. Едва он поудобнее устроился на сене и накрылся с головою косматой буркой, как в ночи со стороны станицы донесся бешеный топот копыт. Хоруженко высунул из-под полы голову. На заставу, залитую взошедшей полной луной, влетел, волоча за собой облако густой пыли, всадник на белом коне и сам во всем белом. На нем ладно сидела белая черкеска, он был весь увешан оружием, за спиной развеялся шерстяной башлык, выстилавший в темноте длинные концы, словно два тугих лебяжьих крыла. На голове всадника возвышалась высокая папаха с золоченой кокардой.

— Батько, где вы тут запропалились? — громко, как команду, выкрикнул всадник, рванув на себя повод и поднимая коня на дыбы. — Чи вы чуєте меня, батько? — добавил он, явно подражая старшему сыну Тараса Бульбы.

Хоруженко отшвырнул в сторону бурку и вскочил в бричке на ноги, раскинул для объятия руки.

— Я чую тебя, сынку, чую! — отозвался он в тон сыну.

Рывком отпустив натянутый повод и тем самым бросив коня передними копытами на землю, всадник, красясь, подгарцевал к бричке и спрыгнул в нее прямо с седла. О борт звякнула его шашка в посеребренных, с чеканной насечкой ножнах, в деревянной кобуре глухо стукнул маузер. Над бричкой, окутав Хоруженко, повис тяжелый винный перегар.

Отец и сын на виду у всей бодрствующей заставы молча столкнулись грудь в грудь, будто собираясь помериться силой, молча захлестнули на спинах друг у друга руки и, неловко дичась, чувствуя взаимное тепло, надолго замерли, точно окаменев под звездной россыпью неба. Далеко, упав с брички на степь, вытянулась по земле двухпапаховая с одним туловом великанья тень.

Первым овладел собою Хоруженко-отец. За плечи отстранив от себя сына, он бегло скользнул взглядом по его исхудалому, темному от кирпичного загара лицу с восторженно пылавшими глазами и потрогал навешенное на пояс оружие. Довольная ухмылка шевельнула его густые угольно-черные усы.

— Схудал ты дуюе, а на вид вроде бы ничего... бравый, — сказал Хоруженко. — Ну, казак, давай же на радостях почеломкаемся!

Всему свой конец. Отбушевали и страсти первой встречи после долгой разлуки, улеглось и волнение, которое и отец и сын, по-мужски скупясь, старались скрыть друг от друга. Немного пообвыкнув, они не сговариваясь спрыгнули с брички на землю, в обнимку, как приятели, ушли на обрывистый берег моря, в развалины фанаторийской крепости.

С побережья пролива поднимался йодистый запах гниющих водо-

рослей. Лунная дорожка, зыбко-волнистая и широкая, похожая на косяк идущей на нерест кефали, протянулась по воде до самого крымского берега, черневшего вдали гористой полосой. Снизу, из-под ног, доносились на обрыв хлесткие шлепки волн о замшелые валуны.

— От вина, видать, вы тут не просыхаете,— с горечью произнес Хоруженко.— А жаль... Где выпивка началась— там добра не жди...

Илья хмыкнул, переложил на колени саблю.

— Не успели приехать, а уже судите,— обиделся он.

— Не со зла я, с жалости...— вздохнул Хоруженко.— Сердце обливается кровью, глядя на такое. Поживешь с мое — научишься понимать что к чему... С водкой одни дурни дела роблють, а в вашем зачине головы треба иметь светлые...

— Ну, выпили... за наш успех... Разве грешно?

— Грешно не грешно, кому знать? Однако до успеха дожить бы сперва потерпели, а у вас тут все сразу с пьянки-гулянки и началось... Застава и та, видать, хмельная службу несет,— ответил Хоруженко и сплюнул меж расставленных коленей.— Об чем только думка ваша, вы ж на святое дело поднялись...

Илья промолчал. Он без надобности поправил свисавший до земли кинжал с белой костяной рукояткой, передвинул на поясе кобуру с маузером, откинул набок пашку и выпрямился.

— Стало быть, выходит, не веруете? — спросил он, пьяно облизнув сухие, обметанные белесой корочкой губы.

— В ваш успех? При таком зачине? Ни за что на свете!

Илья снова облизал губы.

— А дозвольте полюбопытствовать, отчего будет такое ваше предсказание? — с упорством пьяного задал он новый вопрос и, небрежно сунув в угол рта папиросу, чиркнул зажигалкой из винтовочного патрона.— Вы шо, хиромант?

Луна своим ярким светом подавила, обесцветила пламя зажигалки. Едва успев поджечь папиросу, оно, блеклое и чахлое, дрогнуло в неуверенных пальцах Ильи, закоптило ногти и погасло. Илья жадно, раз за разом, втянул в себя дым, затем шумно после небольшой задержки выдохнул его одним толчком могучей груди, покосился в сторону отца.

Хоруженко с ответом не спешил. Он долго сидел неподвижно, в глубоком раздумье, сцепив на коленях большие, со вздутыми венами руки, упрятав под насупленные брови — от лунного света — глаза. Илья успел выкурить почти всю папиросу, когда Хоруженко наконец разогнулся, встал и, примирительно положив ладонь на сверкающий позолотой на черкеске сына офицерский погон, тихо, но твердо обронил:

— Идем.

Илья поднял голову и, откинувшись назад, пристально взглянул на отца.

— Вы никак плачете, батько?

Хоруженко вздохнул, несколько раз провел ладонью по лицу сверху вниз, в кулак забирая усы. Он молчал.

— Вы не верите в наше дело, да? Так откройтесь же, почему? Кого вы боитесь? — с жаром спросил Илья.

— Время неподходящее, сынку, не пойдет за вами люд, а одни вы без него ломаного гроша и в базарный день не стоите,— сказал Хоруженко.— Получил я от тебя весть — все во мне возрадовалось, от счастья чуть не захохотал, ну, думаю, слава тебе господи, конец большевикам! А проехал по хуторам да станицам, добираясь до Тамани, и бачу — не будет дела. Хлеборобы по земле наскучились, все

мирной и свободной жизни ждут, что им коммунисты наобещали. Не поднимутся люди против власти, пока вера у них в нее есть. Не с того конца ваши атаманы начали, погодить бы надо было, пострашнее голода в государстве дожидаться... А насчет страха, так во мне его сроду не было... Досада одна... Вы ж тут все пьяные...

Илья уперся руками в колени, тоже поднялся и, встав вровень с отцом, невесело усмехнулся.

— Выходит, продавали — веселились, а подсчитали — прослезилась? — хмуро вымолвил он. — Встренулись как за упокой... Неужто для меня у вас других и слов не найдется?

— Заберу я тебя отсюда, — сказал Хоруженко.

Илья насторожился — куда подевалась его напускная воинственность, казачья выправка. Он весь взъерошился, стоял, широко и шатко расставив ноги, упрямо сбывчив голову.

— И не подумаю...

— Не погибать же тебе тут со всеми, ты мне в хозяйстве нужный, — мягко, по-отцовски заботливо промолвил Хоруженко.

— Не поеду, — отрубил Илья.

— Отчего ж такое?

— Трусом я себя не выкажу!

Хоруженко снова долго молчал, отвернувшись к морю. Руки его были крепко сцеплены за спиной, с запястья свисала на землю плетка. Он шевелил ею, казалось, наливая силой для удара навытяжку. Илья скосил на плетку глаза, отступил на шаг в сторону.

— Сжался над моею близкой старостью, Илья, не губи свою жизнь, — с неожиданной и не присущей ему дрожью в голосе промолвил Хоруженко. — Вся надежда на тебя, ты ж в моем деле опора. Клавдия в хозяйстве не подмога, с рожденья отрезанным ломтем, як все дочки, живет, а Петрусь, сам знаешь, не в родню вышел, блаженный какой-то, все книги читает да в город уйти просится. Если не в твои руки, так в чьи же еще мне мое хозяйство передать? Все, что мною нажито, тебе оставляю... Пойми ж ты меня...

Илья нетерпеливо повел плечом.

— Поймите ж и вы меня, батько, не могу я поступить так, как вы того желаете, — сказал он. — Не могу я, не имею права отсюда уехать. Сами ж учили офицерскую честь блюсти и чтить больше отца родного. И дело наше не пропащее, за нами сила есть...

— Та самая, чи шо?

Хоруженко, насупившись, махнул рукой с зажатой в ней плеткой в сторону станицы. Оттуда доносился на берег моря хор пьяных голосов, нестройно и крикливо выводящих старинную казачью песню:

Ой, Кубань ты наша родина,  
Вековой наш богатырь...

Илья приблизился к отцу вплотную, широкой спиной загородил от проезжавшего мимо конного наряда.

— Наше дело не пропащее, — жарко дыша в ухо отца, произнес он. — Мы ждем помощи. От вас я могу не скрывать тайну нашего штаба — мы ведем переговоры с немцами. Вчера от них вернулась наша делегация, сегодня ночью из Керчи приплывут люди от них... С немцами мы завоюем Кубань...

— Та-а-ак, сынку, порадовал, — с досадой вымолвил Хоруженко. — Казаки с испокон веку насмерть стояли на границах своей земли, сколь крови пролили, воюя турков, поляков, японцев и того ж самого немца, коему вы собираетесь хлеб-соль поднести. Как же ж такое в сердце принять? Немец, ему только дай попустительство, он

же всех нас с потрохами сожрет, в бараний рог скрутит, заместо скотины сделает. На что вы надеетесь? Твой дед чужеземца в злости шашкой надвое разваливал до самого паха, три Георгиевских креста имел, а ты...

Хоруженко с насмешливой ухмылкой взглянул на сына, рукой отстранил его от себя и, покачав головой, хлестко стеганув себя по голенищу крученой плетью, ни слова не говоря, направился в сторону сторожевой заставы. Скользя подошвами по хрустящей морской гальке, осыпая ее с кручи на берег моря, он спустился с развалин крепости на дорогу, пересек ее наискось и, не оборачиваясь, зашагал по заросшей бурьяном степи. Сбоку промятой им в пыльной траве темной тропинки заскользила поверх белесо-шелковистого ковыля его большая, по-горильи сутулая тень. Сухой бурьян свистел у него под сапогами, напоминая свист сабли на сильном плечевом взмахе.

Илья догнал отца у самой подводы, встал на его пути, уперев ему в плечи вытянутые руки.

— Стойте, батя! Вы шо надумали, неужто уезжать?

— Ты хоть бы, когда пьешь, закусывал, — отворачиваясь, поморщился Хоруженко. — Несет от тебя за версту, як из винной бочки.

— Я с вами все одно не поеду! — упрямо сказал Илья.

— Не затем я гнал столь верст коней, чтоб с порожней бричкой до дому вертаться, — сказал Хоруженко. — Где мятеж — там и грабеж! А мне сам бог велел забрать назад то, чего меня Журба лишил...

— Не беспокойтесь, порожняком не уедете, я уже наготовил кое-чего, — сказал Илья. — Слушайте главное, шо я вам должен сообщить. Наши казаки в первый же день восстания порубали отряд Журбы, в капусту всех посекали, а его самого раненого, но живьем захватили. Вот вы с ним и сквитаетесь...

Даже при мутно-блеклом свете луны, светившей сквозь набежавшее белое облачко, было видно, как изменился в лице Хоруженко. Обычно румяные его щеки стали бледными и, казалось, запали, под усами дрогнули и плотно поджались, помертвев, обескровленные губы, а в глазах, хищно сузившихся, запольхал холодный огонь. Даже немало повидавший на войне всякого Илья, давно очерстневший душою и растративший чувство сострадания, и тот не мог не содрогнуться от появившейся на лице отца мстительной жестокости, безумной и неукротимой злобы. Он отвел взгляд в сторону и, меняя разговор, глядя на бегущую в облаках луну, спросил:

— Як там матерь, не хворает?

— Велела кланяться.

— А Клавдия, ще замуж не вышла?

— То же самое, велела тебе кланяться.

— Соскучился я по ним...

— Бог даст, скоро свидитесь.

— Чует мое сердце — не скоро, а то и совсем...

— Ладно, нечего запрежде времени панихиду справлять, — недовольно оборвал сына Хоруженко. — Едем в станицу, чего ж ты меня у заставы держишь! Я утром до дому подамся...

Но не уехал в то утро домой Хоруженко. Не уехал он и на вторые, и на третьи, и на четвертые сутки — оставался в Тамани все дни, пока, набирая силу, вьюжил в хмельном угаре на полуострове белогвардейский мятеж.

К себе на хутор Хоруженко вернулся под покровом ночи. Шел дождь, и доверху нагруженная, укрытая рядом бричка прорезала от ворот до амбара, через весь двор, две ровные, будто ременные вожжи, глубокие колеи. Поутру насухо их высушило солнце, и они долго,

пока не стерлись вровень с накатом двора, напоминали Хоруженко, как в одиночестве, в тишине ночи, под шорох дождя он перетаскивал со сладко замирающим сердцем награбленное сыном в Тамани — золотые кольца, часы, портсигары и серьги, меховые шубы и штуки сукна, сапоги, ботинки и туфли, свитки кожи и ковры, домашнюю серебряную утварь и золоченые оклады икон.

Все это добро он распахал по закромам, под зерно, муку и отруби, а потом не мог уснуть до рассвета, всю ночь простоял на коленях перед иконостасом. И долгие еще дни, недели и месяцы не отпускали его воспоминания о поездке в Тамань, преследовали кошмарные сны. Терзаемый навязчивым страхом, особенно по ночам, он стал спать у стены, поменявшись с женой местами.

Но так же, как постепенно укатались и исчезли во дворе две колесные колеи, так и в памяти со временем потускнели, а затем и улетучились вовсе воспоминания о былом. Забылся и окровавленный, истерзанный, но недосыгаемо гордый в убежденности своей правоты Журба, рухнувший на земляной пол штабной хаты под шашкой Хоруженко, вложившего в удар всю жажду мести. Забылись и толпы согнанных мятежниками к развалинам фанаторийской крепости красноармейцев и матросов, стариков, женщин и детей, за одно лишь сочувствие советской власти зверски порубленных, расстрелянных и сброшенных в древние, давно высохшие колодцы...

Шли дни за днями, месяцы за месяцами, и Хоруженко вернул себе все то, чего лишился в революцию. Благодаря награбленному в таманский мятеж снова поставил на ноги хозяйство. Особенно же помог ему нажиться и разбогатеть неурожайный год, охвативший молодую, поднимающуюся на ноги республику голод, когда за хлеб люди отдавали все, что имели. А тут подоспел и эп.

И снова жизнь Хоруженко, словно Кубань в своих берегах, потекла хотя и при советской власти, но легко и свободно, как и прежде. И его двор — так ему самому казалось — все больше и больше превращался в неприступную крепость, каким слыл он еще в давние дедовские времена. Вот тогда-то и был водворен по желанию Хоруженко на крышу его дома необычный флюгер — железная фигура запорожца с саблею наголо, похожего на Тараса Бульбу.

Так ему казалось, в то хотелось верить, но...

## Глава десятая

Раздумье Хоруженко нарушили легкие, крадущиеся шаги.

Он их услышал сразу же, как только скрипнула дверь, но даже не повернул головы, не шелохнулся. Сделал вид, что молится.

Комната наполнилась сухим шуршанием одежды, прерывистым шумным дыханием — к лампаднему чаду примешался запах туалетного мыла и самодельного крема, которым мазались на хуторе от загара почти все казачки. Мягкие и теплые руки, оголенные до локтей, крепко захлестнулись вокруг шеи Хоруженко, на спину ему навалилось, обтекая ее, податливое, тяжелое и жаркое женское тело. И тотчас же тихая комната огласилась звонким и по-бражному веселым смехом.

— Ты, Ефросинья, как малолеток прямо, — незлобиво проворчал Хоруженко, — все б ты игралась...

Женщина, давясь смехом, скользнула тугой грудью по его спине и, крутнувшись вьюном, опрокинулась на ковер, широко раскидав ноги в черных чулках и красных сафьяновых сапожках на высоких каблуках, открывшихся из-под яркой клетчатой, в оборках юбки. Ее голова со съехавшим на плечи цветастым, с длинными кистями по-

лушалком, с гладко причесанными на прямой пробор волосами, рыжими до пламенной огненности, коснулась пышным пучком пола, и Хоруженко заботливо сунул под нее свою широкую ладонь.

Ефросинья внезапно оборвала смех и, замерев, устремила на него лучистые, через край переполненные безудержным хмельным весельем глаза, в расширенных зрачках которых потонул огонек лампы. Меж губ блеснули чисто и влажно стиснутые будто в немом желании укусить длинные и острые, как семечки в зрелом огурце, белые зубы.

— Руку подставил, значит, жалеешь, — сказала она с улыбкой.

Вместо ответа Хоруженко склонился над запрокинутым лицом Ефросиньи, коснувшись усами округлого, с ямочкой посередине ее подбородка, и досадливо поморщился.

— Уже выпила, — сказал он, — успела...

Ефросинья вздрогнула, словно очнувшись от забытья, согнала с губ блуждающую бражную улыбку и, миг, казалось, постарев на добрый десяток лет, перевернулась со спины на живот, удобно улеглась на ковре, подперев кулаками щеки.

— Тебе-то что за печаль, я сама себе хозяйка... не с радости пью, страх в себе заглушаю... — вздохнув, отозвалась она. — Говори лучше, зачем звал?

— Не на пользу, замечаю, тебе вино, злая ты становишься, — сказал Хоруженко.

— А все ж таки замечаешь?

— Не чужая ведь...

Тонкие, подгущеванные карандашом брови Ефросиньи надломались. Она горестно наморщила низкий, в мелких морщинках лоб и, покривив губы, усмехнулась:

— Верно, не чужая, но и не чья-нибудь...

Хоруженко поглядел в ее погрустневшие глаза долгим потеплевшим взглядом.

— В том не моя вина, — вымолвил он. — Я тебя после похорон жинки на свой двор не раз звал.

— Ты не серчай, Ларион Степаныч, я ж не в упрек тебе такое сказала. То я из бабьей гордости, чтоб свою независимость показать, — после недолгого молчания призналась Ефросинья, поднимая на него заблестевшие от набежавших слез глаза. — Сама я не пойму, что со мною творится, только не от вина такое... На свой двор, верно, ты меня звал, не отпираюсь, а надо бы было тебе прежде меня в душу свою позвать...

— Не все одно? Несешь с хмелю бог знает шо...

Она покачала головой.

— Нет, не все равно... бабье сердце чуткое...

— Какое ж в том различие? Душа моя за воротами двора осталась бы, чи шо?

Ефросинья приподнялась и уселась на пятки, как сидел Хоруженко. Вскинув полные, с румяными локтями руки к голове, она без надобности огладила по бокам беловатого пробора гладко зачесанные волосы, поправила, искоса поглядывая на Хоруженко, на затылке пучок с торчащим в нем роговым гребнем — его подарком.

— Ты, Ларион Степаныч, не хмурься, я ведь понимаю, какие уж мы там с тобою муж и жена, — вымолвила она, опуская на колени руки. — Так, как есть, — лучше! Тебе покорность по душе, а я казачка вольная, мне моя свобода всего дороже, сам знаешь, я команды над собою ничьей не стерплю. Знаю, как бы ты ко мне хорошо ни относился, все одно после нашей свадьбы постарался бы меня под свою волю склонить... Хозяйство мое тоже бы к своим прибрал рукам, а у меня

близнецы растут. Мой долг все, что мною нажито, все, что мое,— им оставить, они после меня хозяиновать станут. Вот и выходит, что, окромя ссоры и раздору, с нашей совместной жизни ничего бы путного и не вышло. Я, признаюсь, твоему богатству завидую, вровень тянусь стать и, дай срок, встану со своими сыновьями, не хуже тебя я хозяйка. Так что уж пусть у нас идет все по-старому, так-то оно мне спокойнее. Теперь же ты к моей ласке всегда тянешься, когда ни возьми — любя я тебе и желанна, потому как надо мною твоей власти нету.

— Зря ты выпила, буровишь сама не ведаешь чего,— нахмурившись, сказал Хоруженко.— Я ни тебе, ни твоим хлопцам не враг и зла не желал и не желаю...

Невесело улыбнувшись, Ефросинья молча придвинулась к нему вплотную и, обняв за шею, склонила на его плечо голову.

— Все мы теперь враги друг дружке, хотя и под одним страхом за свое добро ходим,— тихо и грустно произнесла она.— Одна и радость, что вино еще в погребке свое. Страшно мне, жутко от жизни такой, сама я не знаю, где моя дорога, темно в глазах, живу как в тумане... Заснуть бы пьяной да и не пробуждаться, пока не стихнет все...

— Не то балакаешь.

— А что надо? Подскажи... дай совет.

Мягко, почти осторожно, как хрупкую вещь, отстранив от себя Ефросинью, Хоруженко встал и, по привычке засунув за узкий поясок руки, зашагал по молельной комнате из угла в угол медленно и задумчиво. Плечи его покато обвисли, словно под непосильной ношей, голова опустилась, выкатив на грудь второй подбородок. И весь он, шаркая, тянувший по ворсистому ковру свои самодельные постолы, показался Ефросинье при тусклом свете лампы усталым и дряхлым стариком, давно уже утратившим и силу, и волю, и желания, и даже способность думать и принимать здравые решения, а тем более давать кому-либо дельные советы. И у нее в душе к тому, кого она давно знала, а за последние годы, сама не заметив как, успела и прикипеть сердцем, шевельнулась жалость, которая тут же обернулась, как это бывает только у женщин, чувством глубокой растроганности. Не своя с Хоруженко набухшего слезами и переполненного ласкою взгляда, Ефросинья легко вскочила с ковра и бросилась к нему, раскинув для объятия руки. Но он уклонился от ее душевного порыва, охладил вспыхнувшее в ней чувство оброненными в сердцах словами:

— Погоди, Ефросинья, будто у нас с тобою других и дел нету, как только ластиться...

Она застыла на месте, точно наткнувшись на какую-то невидимую преграду, пораженная и неожиданным сердитым окриком, и мгновенной переменой во всем его облике — от дряхлого старика, созданного только что ее воображением, не осталось и следа, едва Хоруженко заговорил и остановился у окна в лучах проникшего в комнату солнца. Перед Ефросиньей снова стоял человек, каким она привыкла его видеть: широкий в кости, могучий, высокий и плечистый, суровый и сильный, гордый и смелый, умный и решительный. И, что самое важное, — неподвластный отведенному людям на жизнь времени. На его румяном лице не было ни единой старческой морщины, глаза смотрели хотя и холодно, но по-молодому живо и пристально, а под отвислыми усами с юной свежестью пламенели туго налитые кровью губы.

— Ты зачем же со мною так, я ведь могу больше сюда и не прийти,— глухо, не то с обидой, не то с вызовом промолвила Ефросинья, поднимая с пола оброненный полушалок, тоже привезенный ей в подарок Хоруженко с астраханской хлебной ярмарки.— Не сама явилась, ты позвал...



— Не серчай, не до того мне,— поморщился Хоруженко.— Говорю же, не надо бы тебе пить... злая ты...

— Затвердил...

— Хмель никому не помощник.

— А сам свадьбу гулять надумал, разве ж она без вина бывает?

— Я не виноватый, что молодым приспичило жениться, у них на уме свое — любовь... А вино не в моей же, в чужих головах бродить будет!

Отойдя от окна, Хоруженко шагнул к Ефросинье, с нарочитой грубостью облапил ее за плечи и, непокорно упирающуюся, угрюмую, насильно усадил на покрытую цветистым паласом тахту в глубине комнаты. Сам пристроился напротив на низком плюшевом пуфике, достал горсть сушеного урюка, отсыпал половину Ефросинье в подставленную ладонь.

— Берег я тебя, Ефросинья, а ничего, видать, не поделаешь, настала пора и тебе прибиваться до нашего общего дела... святого и правого... — сказал Хоруженко, с хрустом обгрызая мякоть урюка.— Отец Яков правильно балакает, «вера без дел мертва есть». Надо и нам будоражить народ, подниматься всем миром. Добра от колхозов нам ждаться нечего. У хуторской голытьбы глаза на мое разгораются, и власть им на подмогу идет. Коммунисты велят нас рубать под корень, читала небось, как в газетах пишут: «Переходить от ограничения кулачества к его ликвидации как класса...» Ясно? Вот и выходит, что с колхозами идет нам, справным хозяевам, которые потом да кровью добро наживали, гибель. Могу ли я против них не иттить? Шо ж я, себе враг? Сегодня мне, а завтра и вам, середнякам, такой же конец будет, вас за кулачат, заберут все хозяйство. Надо восставать...

— Я мое ни в жисть никому не отдам! Я за него каждому, кто посягнет, зубами в глотку вцеплюсь,— с трудом справляясь со спазмой, сухо перехватившей горло, встрепенулась Ефросинья.— А только как же это получается? Нам самим против себя ж. выходит, надобно подниматься, против своей же власти? Стало быть, обратно себе на шею сажать царя, вертать атаманов? Как мне такое в ум взять?

С мягкой, снисходительной улыбкой подняв на Ефросинью подбровные глаза, Хоруженко придвинулся к ней со своим пуфиком поближе и положил на ее колени тяжелые, крепко сцепленные в пальцах руки. Улыбка ни на секунду не покидала его лица, более того — чем дольше он смотрел в глаза Ефросинье, тем улыбка становилась мягче, теплее и искреннее, придавая всему облику Хоруженко спокойное миролюбие, даже, пожалуй, благодушие. Ефросинья, невольно поддаваясь настроению собеседника, заражаясь чужим покоем, тоже улыбнулась ему в ответ и, притянув его голову к себе на грудь, коротко, но с жаром поцеловала в губы.

— Чудно, вроде бы ты и страшное гутаришь, а с тобою ничуть не боязно,— сказала она, закидывая за голову оголившиеся до темных подмышек белые, в веснушках, мускулистые руки.— Хорошо с тобою, на душе покойно становится, сильный ты...

На ее по-азиатски скуластых щеках проступил пятнами румянец и, заливая такую же белую, как и руки, молочную шею, стек в глубокую лунку меж ключицами, будто подоженный зарею ручеек в оставленный овечьим копытцем след. Смежив в прищуре короткие рыжеватые ресницы, поблескивая из-за них затлевыми зрачками и затаивая неровное зачистившее дыхание, она зазывно и нежно, требовательно и умоляюще, почти беззвучно шевеля губами, едва слышно попросила:

— Обними меня, Ларион... горячо, по-молодому, чтобы сердце сомлело, дух захватило... Ни о чем, ни про кого не желаю думать...

в ласке твоей хочу забыться... надоела, опостылела такая жизнь до смерти, сил моих больше нету...

Хоруженко, гоняя за щекой косточку, пересел на тахту, едва не до пола примяв своей тяжестью пружины, склонился над пышущим жаром запрокинутым в потолок лицом Ефросиньи. Он долго, молча и задумчиво гладил ее пышные, пряно пахнущие огненно-рыжие волосы, перебирал и взвешивал на ладони тяжелые, туго закрученные, цветом под стать червонному золоту кольца завитков на висках, водил пальцем по прижатым волосами к голове маленьким ушам с рубиновыми, похожими на парные вишенки сережками.

Затихнув, Ефросинья лежала вытянувшись, не шевелясь, словно погруженная в тихий спокойный сон, и только вздрагивающие в улыбке по временам уголки ее чуть приоткрытых для поцелуя губ выдавали, что она не спит, а, затаясь, чего-то ждет.

— Красивая ты, Ефросинья, и потому, как каждая красивая баба, в политике без всякого понятия добра и зла, — нарушил наконец затянувшееся молчание Хоруженко. — Ты желаешь, щоб волки были сытые и овцы целые, а такого быть не может. Власть в государстве — одно, а кто у власти стоит — совсем другое. Разве ж нам при нэпе плохо жилося? Частная собственность, как и в старину, святою почиталась, никто не имел права мое тронуть — есть хозяйство, не дурак, не лодырь, расти на своей земле хлеб и торгуй! Моя пшеница, сама знаешь, в заморские страны вагонами уплывала на пароходах из новороссийского порту, а теперь все пошло прахом, ни життя, ни доходу, к одному все идет — к погибели...

Ефросинья открыла глаза и, помрачнев, сбросила с тахты на пол ноги в сафьяновых сапожках, села.

— Уляжется, может, еще все, — поправляя волосы, без всякой в свои слова веры, думая о чем-то другом, вымолвила она. — Даст бог, заживем по-старому, усерднее за то молиться станем. Видать, и вправду небезгрешные мы, раз такое испытание на нашу долю выпало.

— Не себе, ты про то бабам скажи!

— И скажу, всем скажу, не испужаюсь.

— Ты среди них атаман, — ободряюще усмехнулся Хоруженко. — Они тебе как себе верят, все до одной за тобою пойдут.

— Не сласти, не маленькая!

— Не маленькая, так и сама должна понимать, с кем тебе по дороге...

— Принес бы лучше своей водки на лютном перце, — перебила его Ефросинья. — Выпили бы мы с тобою за свадьбу...

— За «свадьбу», говоришь? — поднимаясь, задумчиво повторил Хоруженко, видя за этим словом совсем не то, что имела в виду Ефросинья. — И то, пожалуй, верно! За «свадьбу» выпить не грех... в самый раз!..

### Глава одиннадцатая

Пока Хоруженко ходил в горницу за хрустальным графинчиком с плавающими в нем стручками красного перца, она, разнеженно разметавшись на тахте, думала о его словах: «...берег я тебя, Ефросинья» — и, холодея сердцем, вспомнила свое недавнее явление перед верующими в образе матери божьей. Ее склонили к тому станичный священник, Хоруженко и хуторской батюшка отец Яков. После долгого упрямства, давая на то свое согласие, она видела в нем одно лишь удобное богу укрепление в казаках веры, служение во славу церкви и никак не подозревала, что помимо собственной воли была втянута

в скрытый от нее заговор, стала соучастницей готовящегося кулацкого восстания.

Она догадалась об этом только теперь и, внезапно охваченная негодованием, почувствовала вдруг желание немедленно подняться и уйти, чтобы больше никогда не переступить порог этого дома, навсегда забыть о том, что произошло. Но страх лишиться всего нажитого за долгие годы, утратить свое хозяйство, без чего она не мыслила себе жизни, оказался сильнее, и она осталась лежать, с нетерпением облизывая пересохшие губы, ожидая водки...

Все, что с нею приключилось под престольный праздник успенья божьей матери, в душный от сухой грозы летний вечер, в который, как ей казалось, она пережила больше, чем за всю свою жизнь, и за который, как ей тоже казалось, она постарела на самом деле на добрый десяток лет, теперь отодвинулось куда-то далеко-далеко и виделось оттуда будто из тумана — виделось как-то странно, точно не она, а кто-то посторонний, совершенно ей чужой и безразличный был на ее месте...

...Весь день палило солнце, а под вечер небо внезапно затянули тучи, ветер погнал по дорогам пыльные столбы, и немного спустя разразилась сухая, без единой капли дождя гроза. Степь наполнилась шумом камышей, ее, как и плавни, то и дело освещали вспышки молний, но гром накатывался откуда-то издалека, из-за горизонта, куда, медленно угасая, стекал вязко-тягучий кровавый закат.

К началу грозы в степной балке у Святой криницы — в старину, по преданию, у донных ключей которой явилась кому-то из первых переселенцев с Сечи Запорожской на кубанскую землю чтимая икона «Успенье Божьей матери» — священник уже отслужил молебен, и верующие растянулись по дороге в станицу. Ослепительные вспышки молний, следующие одна за другой, выхватывали из темноты, густой и распаренно-душной, спины бредущих людей, парчовую ризу и бархатный клобук попа, поднятые над головами в клубах светящейся пыли хоругви, огромный деревянный крест с распятием и погашенные церковные фонари с огарками желтых восковых свечей. Зыбкий, мертвенно-белесый свет вечерней зари, пронизываемый ветвистыми, похожими на корни деревьев молниями, мгновенно гас, и тогда плотная тьма окутывала землю до самого горизонта, пока вновь не распаивалась от края до края очередным взблеском, сопровождаемым долгим отдаленным громом.

У Святой криницы оставались одни старухи, наполнявшие родниковой водою прихваченные из дома склянки, когда со стороны плавней послышался цокот копыт и тихий, но отчетливо различимый звон бубенцов. Цокот и звон быстро приближались, и не прошло, должно быть, и минуты, как полыхнувшая молния уже осветила скачущую в направлении криницы тройку молочно-белых коней. Ременная сбруя на них горела золотым убранством. Длинные, густые гривы развевались над выгнутыми по-лебединому шеями, белые хвосты стелились по ветру. В бронзовой двуколке, сверкающей серебряными спицами, на голубых шелковых подушках восседала женщина во всем белом, с фосфорически светящимся над головою нимбом. Она держала на коленях завернутого в атласное покрывало младенца, над закутанной головой которого тоже полукругом светился нимб.

Грозовую тишину степи прорезал жуткий, до смерти испуганный бабий голос:

— Смотрите, мать божья!..

Старухи у криницы переполошились. Одни из них в смятении бросились бежать куда глаза глядят, на ходу подбирая юбки, теряя с ног в пожухлой за лето траве башмаки, туфли, чувяки и любимую

свою домашнюю обувь — старые сапоги с обрезанными по головки голенищами. Другие застыли, окаменев, на месте, успев лишь наглухо закутать лицо в черные платки и полушалки. Третьи, должно быть самые набожные и самые доверчивые, рухнули на колени, склонившись в поклоне до самой земли, боясь в страхе пошевелиться, поднять глаза. Потому-то никто из старух, как выяснилось потом, не мог толком рассказать ни того, как и где остановилась тройка белых коней, ни того, как поднялась во весь рост в двуколке мать божья и простерла вслед убегающим указующий перст.

— Не тикайте, сестры и братья, я богом послана робить не зло, а дела добрые! — разнеслись по степи ее слова.

Она стояла в двуколке, прижимая одной рукой к груди сверток с младенцем, другой указывая в небо, то погружаясь во мрак, то вся озаряясь сиянием. Белоснежная туника на ней переливалась волнами, красивое строгой степной красотой казачек лицо, обрамленное черным газовым шарфом, было строгим и неестественно бледным, почти меловым.

— Не карать, нет... спасти вас от стези неверной — такова воля господа бога! Не позволяйте антихристам завести вас в геенну огненную, живите так, как жили исстари, трудитесь на полях своих так же, как трудились до вас во веки веков отцы ваши и деды ваши, выручайте ближнего своего из беды, как тому следовали казаки с давних времен! Молитесь исправно всевышнему, и да будет над каждым из вас благодолный перст его! Аминь, аминь, аминь...

При последних словах божьей матери гроза успела издалека переместиться к самой кринице, и над степью после слепяще яркой молнии разразился такой неслыханной силы удар грома, что на станичной церкви сами собою зазвонили колокола — событие это вызвало потом у верующих немало разнотолков, и о нем долго не забывали, передавая из уст в уста. Когда же раскат грома, ворчливо погромохивая, откатился вдаль, а вокруг установилась мертвая тишина и старухи у криницы боязливо открыли глаза и одна за другой, отряхивая юбки, стали подниматься с колен, — ни тройки белых коней, ни божьей матери в балке уже не было. На том месте, где только что стояла двуколка, ветер вихрил солому, кусты перекасти-поля, поднимал их с клубами густой пыли к затянутому тучами небу...

А в это время в густых зарослях плавней, около заброшенного охотничьего шалаша, на сухом мысу, вдававшемся в горький лиман подобно кривому ятагану, «божью мать» поджидали хуторской священник отец Яков и звонарь Амвросий. Оба служителя церкви были одеты под казаков: на плечах — бешметы, на ногах — сапоги с выпущенными на голенища шароварами, на головах — мерлушковые кубанки, все темного цвета, под стать ненастному осеннему вечеру.

Неподалеку от шалаша пофыркивали, пугаясь грозы, вороной масти — тоже под темный вечер — лошади, запряженные в линейку, готовые в любую минуту тронуться в дорогу.

На лиман шлепались застигнутые грозой в перелете утки — они, испуганно крикая, поспешно забирались в тростниковые заросли, и при вспышках молний было видно, как по воде разбегались от них в разные стороны круги, с плеском угасавшие на песчаном мысу. Тучи неслись над плавнями иссиня-черные, лохматые, тяжелые и, казалось, давили своим весом на и без того спертый воздух лимана, сжимая его, казалось, до ощутимой упругости. Несмотря на ветер, гонявший поверх камышей крутые шумные волны, и несмотря даже на грозу, обычно приносящую с собою свежесть, в плавнях было

душно, с каждой минутой нечем становилось дышать. От влажного удушливого тепла, от испарений одежда прилипала к телу, обильный пот заливал лица.

Дабы скоротать время, тянувшееся в неведении того, что происходило у святого колодца, тягостно медленно, отец Яков и Амвросий затеяли при свете фонаря с пучком восковых церковных свечек картежную игру — в очко. Первому выпало банковать звонарю. Он опустился на жесткую солончаковую траву рядом с фонарем, поджав под себя ноги, и принялся тасовать колоду замусоленных, потрепанных карт. Сдав по карте, бодрящим голосом возвестил:

— В банке десять рублей и ни копейки меньше!

— Иду на все,— отозвался батюшка, опускаясь напротив банкюмета на колени и усаживаясь на пятки.— Давай по одной... Хватит... Тьфу ты, пропасть, перебор...

— В банке двадцать рублей!

Игра, проходившая между ними прежде всегда весело, горячо, с азартом, теперь же явно не клеилась и велась священником безо всякого интереса. Охваченный все более томившей его душевной тревогой, он то и дело обеспокоенно поглядывал на узкий пролом в камышах, по которому они перед началом грозы, как и было задумано, проводили на тройке белых коней Ефросинью, и делал перебор за перебором. И когда в той стороне сквозь завывание ветра послышался треск ломающихся камышей, отец Яков в сердцах отшвырнул от себя карты, вскочил и засеменял в конец мыса — оттуда уже различимо доносилось хлопанье под конскими копытами болотной воды, раздавался скрип колес двуколки. От нетерпения священника бросало то в жар, то в холод, по спине колко пробежали мурашки.

Прошла, как ему показалось, целая вечность, пока камыши в проломе закачались, раздвинулись и из их темноты выбралась на топкий берег лимана белая тройка, тащившая за собою выкрашенную бронзовой краской двуколку. Из груди отца Якова невольно вырвался вздох облегчения.

Лошади остановились около охотничьего шалаша, тяжело поводя грязными боками, распаленно посапывая. Ефросинья сидела в двуколке неподвижно, точно вся окаменев, светящийся нимб съехал с ее головы на спину, застрял концом в газовом шарфе. Лицо у нее было мертвенно-бледным, обескровленные губы дрожали.

Отец Яков трусцой, придерживая обеими руками ходившее ходуном, как крутой холодец, под тесным ему бешметом брюшко, подбежал к двуколке.

— С благополучным возвращением, святая мать божья, не откажи в своем благословении двум рабам твоим,— проговорил он, но тут же выпрямился, нахмурив брови:— Погоди, да ты никак пьяная?

— Ничего я не пьяная...

Ефросинья поглядела на отца Якова долгим пустым взглядом, словно не узнавая, и, обхватив руками голову, издав тяжкий, сквозь зубы, стон, заголосила и запричитала, по-старушечьи раскачиваясь с боку на бок:

— Господи, да за шо ж мне муки такие, за какие грехи наказано мне нести крест немилости божьей?.. Кем представилась, явилась перед очи людские, кем своих же братьев и сестер дураковала, бог невесть чем страцала, сама не знаю за шо... Матушка моя родная, як во сне все, а сон нескончаемый, никак не пробужусь от напасти такой, не скину с души камень надгробный. Душа моя огнем геенны пылает, все нутро выгорело от страха, пережить довелось который, и слезы меня покинули, в глазах сухота та краснота стоит, будто их кровью залило...

— Будет тебе причитать, будет пустое молоть — с досадой перебил ее отец Яков. — Говори толком, в чем дело? Может, слова, которым учил, не упомянула, может, сбилась?

— Ничего я не сбилась...

— Стало быть, признал тебя кто?

— Ничего меня и не признал никто...

— Так чего ж ты дурью мучаешься?

— Сама не знаю... страшно...

— Страх пройдет, вера останется, — успокаиваясь, сказал священник. — Ну, слазь, Амвросию надо затемно, до рассвету, по хозяевам коней развесть, мы с тобою на хутор на линейке поедем.

Ефросинья покорно поднялась с сиденья, перешагнула босыми ступнями через завернутую в одеяло куклу со смятым нимбом, валявшуюся на дне бедарки, и, подобрав длинное одеяние — сшитую для такого дела тунику, — выше колен оголив смуглые ноги, спрыгнула на землю. Она прошла, слегка пошатываясь, к шалашу, опустилась на вязанку старого очерета и, не оглядываясь, безо всякого стеснения, точно была одна, принялась раздеваться.

Отпустив с напутствием звонаря, отец Яков вытащил из шалаша одежду Ефросиньи — кофту, юбку и красные сафьяновые полусапожки — и остановился за ее сильной, широкой спиной, перехваченной одним лишь ситцевым, в черный горошек лифчиком, не в силах отвести глаз.

— Выкинь всякую дурь из головы и угомонись, — вымолвил он, с трудом справляясь с участвующим дыханием. — Вера без дел мертва есть, а ты послужила самому богу! Придешь в церковь, исповедаешься да и обретешь полное блаженство, душевный покой. Помни, что над тобою перст защиты господа бога, и сподобишься ты избежать его осуждения за любой свой грех...

С этими словами священник присел на корточки, выкатив на колени студенистое брюшко, и, горячо дыша в спину Ефросиньи, стараясь унять дрожь в руках, положил на ее голое плечо пухлую короткопалую ладонь. От огненно-рыжих волос казачки пахло ромашкой, от ее крепкого, здорового тела исходило, туманя отцу Якову голову, домовитое ласковое тепло.

— И какая ты, Фрося, вся пышная да сдобная, — осевшим голосом промолвил он, ведя вздрагивающую ладонь по ложбине ее спины к бедрам. — Истинно Евиного роду-племени создание, и дух от тебя всей исходит райский, самого что ни на есть смиренного человека может в полон взять, с ума свесть начисто...

Ефросинья отстранилась от горячей ладони священника, потянулась за кофтой и юбкой.

— Не надо, батюшка, не надо... — едва слышно вымолвила она.

Появившийся на пороге моленной комнаты Хоруженко с хрустальным графинчиком и двумя вызолоченными изнутри серебряными стопками прервал тягостное раздумье Ефросиньи, вновь всколыхнувшее в ее душе уже было притупившийся страх. Она так глубоко задумалась, отдалась нелегкому воспоминанию, что не сразу могла вернуться к окружающей ее действительности, и смотрела на Хоруженко, словно его не узнавая, блуждающими, в туманной заволочке, потухшими глазами, закусив белевшим рядом острых зубов нижнюю губу. Смотрела долго, пристально, в упор и наконец, едва пошевелив беззвучно губами, но так ничего и не сказав, отвернулась лицом к стене.

— Ты чего это? — спросил он, разливая настоящую на красном перце водку в серебряные стопки. — Может, расхотела?

Ефросинья отстранила протянутую ей стопку и поднялась.

— Не сердчай, Ларион, что гоняла тебя за графинчиком, но чегой-то расхотелось мне...— пряча от него глаза, глядя в пол, вымолвила она и направилась к выходу, на ходу набрасывая на плечи полушалок.— Пойду я... домой пойду... в голову что-то вдарило...

Хоруженко поглядел ей вслед сузившимися, вмиг охолодавшими глазами, но не произнес ни слова, не вернул, не остановил ни единым движением, лишь угрюмо сдвинул кустистые брови.

## Глава двенадцатая

В затянувшуюся распутицу дороги на хутор нет.

Все, что на колесах — и тачанка, и бричка, и мажара, и линейка, и даже легкая бедарка, — если и не утонет по счастливой случайности в плавнях, то неминуемо и безнадежно увязнет где-нибудь на степной дороге в крутом и липком, как гудрон, черноземе. А бог даст, выберется оттуда, то уж непременно застрянет в одной из глубоких балок, которых в этих местах гораздо больше, чем в каком бы то ни было другом краю. Сами прозвища балок, дошедшие до наших дней из далеких времен переселения запорожских казаков на Таманский полуостров, говорят за себя: Вырвихвист, Непроиздыха, Повертай-оглобли, Загубычобит, Топыло, Тягнызаволосья... и тому подобное.

Не ждет путника хорошая дорога и в самом хуторе. Улицы и проулки в долгое осеннее ненастье бывают залиты такой раздольной и такой топкой грязью, что хоть бери да плыви на лодке. Двор с двором в эти дни, недели, а то и месяцы связывают только перелазы в плетнях, тропки за хатами через сады и виноградники и, на худой конец, через огороды. На такую пору все хуторские лужи, большие и малые, из года в год бывают отданы в полную власть свиньям, гусям и уткам. Белое перо и пух порою устилают дорожную хлябь между противоположными плетнями до того густо, что постороннему человеку недолго и подумать, будто какая-то нерадивая хозяйка вытряхнула на дорогу у своего двора распоротую мужем под горячую руку подушку, а то и целую перину. Зато в кромешной темени, натуго пеленающей по ночам хутор в ненастное время, дорожная топь на этих местах высветляется от пера и пуха сама собою и предостерегает жителей от неверного шага. Она хотя и кажется издали твердым настом, но не дай господь поверить в то приподнявшемуся путнику и ступить на тот наст ногою...

А летом, когда жаркое кубанское солнце пропекает землю, как арбуз на степном баштане, насквозь, грязь высыхает и превращается под колесами и копытами в горячую пыль. Стоит только проехать улицей или проулком бричке, пройти стаду коров или просто пешеходу, как над дорожкой поднимается такое густое и удушливое облако, что сквозь него, кажется, не пробиться и самой выносливой птице. Оседая, пыль покрывает толстым слоем до самых вершин пирамидальные тополя и акации, крыши хат и амбаров, плетни и дощатые заборы, срубы и крышки колодцев, выгоревшую по кюветам траву. Ее не в силах сдуть и ветер, и она лежит на всем до тех пор, пока ее не смоют з мутные ручьи дожди, а еще лучше ливни.

Хутор встретил Рогачева пасмурной тишиною.

Дождь разошелся всюю. Подхватываемый ветром, он сек по лужам тугими каплями, покрывая их крупными мутными пузырями. На улицах не видно было ни души, но дымки над трубами саманных хат с сердито, казалось, нахлобученными по самые окна соломенными и камышовыми крышами указывали на то, что жизнь

на хуторе шла своим чередом. От дворов по-домашнему пахло парным молоком, борщом, свежим хлебом, тянуло мокнувшим под дождем кизяком — казачьим топливом, сложенным в пирамиды с отдушниками для просушки. Мокрые тополя, еще не до конца сбросившие листву, медленно раскачивали в вышине свои острые, точно жало, вершины, но не шумели, как летом, а с шипением и посвистом рассекали ветвями ветер, пытались, чудилось, разместить над хутором низкие и темные обложные тучи.

Рогачев вымок до нитки, продрог до костей, он давно уже махнул рукой на дорогу и шагал прямо по лужам в башмаках, облепленных грязью и полных воды, ведя в поводу за собою слепую лошадь с бричкой. Миновав хуторскую окраину, кирпичную, побеленную, с золоченым куполом церковь, заключенную в чугунную ограду точно в клетку, он свернул на главную улицу, прошел мимо двора, за дощатым глухим забором которого возвышался кирпичный двухэтажный дом с жестяным запорожцем на крыше, и, свернув еще раз, теперь уже в узкий проулок, остановился около облупленной, чуть ли не до половины вросшей в землю хаты, крытой зеленой от мха соломой, над которой высоко в небе, касаясь туч, развевалось на корабельной мачте большое красное полотнище. Как и предполагал Рогачев, увидев флаг издалика, еще со степи, под ним и оказался местный сельский Совет. Это подтвердила и железная вывеска в сосновой рамке, прибитая над покосившейся, в сплошных щелях дверью.

В хате было пусто, сыро, сумеречно и прохладно, как и на улице. Почти половину комнаты занимала закопченная русская печь с поцарапанной и пожелтелой от времени побелкой. На нее в основном и падал весь свет из единственного окошка, замазанного прямо в стену, маленького и грязного. С засиженного мухами потолка свисала на проволоке трехлинейная керосиновая лампа. Пол был земляной, в трещинах и выбоинах. Со стен взывали самодельные рисованные плакаты: «Не кури, не мусори!», «Будь вежлив — и тебя поймут!», «Есть дело — говори смело!», «Не разводи бюрократизм!», «Частная собственность — твой враг!». Вся мебель сельского Совета состояла из незапертых фанерных шкафов, забитых потрепанными картонными папками, старого кухонного стола, застеленного линялым, видно, от старого лозунга кумачом, двух некрашенных табуреток и низкой, изъеденной короедом скамьи, на конце которой стояло помятое оцинкованное ведро с водой и лежала на боку жестяная консервная банка, замаявшая кружку для питья.

Остановив свой взгляд на ведре, Рогачев вдруг почувствовал жажду и, шагнув к лавке, зачерпнув полную банку воды, жадно припал к ней пересохшими губами. Вода была теплой и солоновато-горькой.

— Погодил бы грошки, я б тебе из колодезя свежей вытянул, — раздался за его спиной старчески надтреснутый голос. — За ночь небось степлилась та прогоркла, у нас ее треба пить пока холодная.

Поставив на лавку опорожненную банку, Рогачев обернулся. Перед ним на пороге хаты, переминаясь с ноги на ногу, стоял высокий, тощий и сухопарый седоусый казак в сдвинутой на брови рваной солдатской папахе, латаном-перелатаном рыжем чекмене и стоптанным сапогах, жирно, до потеков, смазанных дегтем. Вытянув морщинистую шею с острым, как грудь худого и плохо ошипанного курчонка, большим кадыком, он смотрел на Рогачева в упор, помаргивая выпцветшими до молочной белесости ресницами. Во взгляде его не было ни любопытства, ни даже простого интереса — наоборот, в нем скорее всего сквозило полное ко всему безразличие. Он смотрел на незнакомого ему человека с таким неподдельным равнодушием, словно видел его не впервые, а провел с ним бок о бок всю жизнь.



— Спасибо, я уже напился,— поблагодарил Рогачев.

— Ну, как знаешь...— отозвался старый казак, переводя глаза на свои сапоги и разглядывая натекшие на пол капли дегтя.— А я, скажи ты на милость, на момент с хаты всего и отлучился, дегтем сапоги надумал смазать,— не то оправдываясь, не то докладывая, продолжал он.— Вчерась его на сельсоветский двор привезли цельную бочку, так ото ж я и дорвался на дармовщину...

Рогачев невольно усмехнулся:

— На дармовщину, говорите?

— Истинная правда, як на духу тебе признаюсь, чужого не жалко! — с тем же равнодушием вымолвил старый казак.

Он оперся плечом о косяк двери и, вытащив из кармана сатиновых, с заплатами на коленях шаровар тряпичный кисет, принял неторопливо набивать табаком-самосадам куцу, похожую на вопросительный знак прокуренную трубку. При этом занятии старый казак оттопыривал под усами губы, шевелил бровями, шмыгал носом и вминал махорку бурым от никотина пальцем с таким озабоченным видом, словно никогда в жизни не было, нет и не будет для него другого более дорогого и важного занятия. Глядя на него, могло даже показаться, что он совсем забыл о своем собеседнике — во всяком случае, не имел к нему ни малейшего интереса, будто был начисто лишен простого человеческого любопытства.

— Где ваш председатель? — напомнил о себе Рогачев.— Я от райкома партии...— Он подумал и назвал свою фамилию, а затем и объяснил, по какому делу командирован на хутор.

Старый казак высек кресалом огонь, раскурил от ядовито чадившего ватного фитиля, обмотанного суровой ниткой, трубку и, отрешенно глядя в потолок, стал попыхивать дымом, втягивая и без того глубоко западавшие, давно небритые щеки.

— А меня все Мирошкой Чумаком кличут,— наконец произнес он.— И на то будь моя воля, так я бы зараз под дождик на печи спал, а я тут, при сельсовете, торчу, потому как мой черед настал в тыждневых ходить, сполнять свой долг перед обществом. И потому как я вроде дежурного, мне положено все и за всех знать, а только за нашего председателя никогда и никто тебе ничего путного не пояснит, он за день всю округу обскачет... Ищи свиши ветра в поле...

— Он что же, не сказал, когда вернется? — прервал словоохотливого казака Рогачев.

— Балакать все можно, а на деле могёт и другое приключиться.

— Что же с ним может произойти?

— А ты сам не соображаешь? Слободно ж где-нибудь по дороге и убить могут...

Рогачев вскинул глаза и испытующе, наполняясь невольным раздражением, с неприязнью посмотрел на старого «тыждневого». Но изборожденное мелкими морщинами, точно исхлестанное кнутом лицо Мирошки Чумака по-прежнему оставалось непроницаемым, холодно-спокойным и грустным — с него не сходила печать полного ко всему безразличия.

— Разве ж этим шутят? — пересиливая раздражение, как можно спокойнее укорил Рогачев.

— А я и не шутю,— отозвался Мирошка Чумак, присаживаясь рядом с ведром на лавку.— Кругом такое идет, шо наперед свою судьбу не угадаешь. Хаты по ночам палаят, людей сничтожают — сроду похожего не наблюдалось у здешних краях. А председатель наш на месте не усидит, сам может на себя беду накликасть. По молодости и я не хуже его дюже горяч был, а с годами охолонул, к самой в аккурат к норме прибилсь, шоб на тот свет, в царствие небесное, брать направ-

ление пути. И ни до чего, выходит, теперь мне делов нету, живу безо всякого к чему бы то ни было интересу, хоть сгори оно все и вся в геенне огненной, як говорено в святом писании, хоть пропади пропадом через какое ни на есть другое мероприятие. Чего на земле, в крошечной жизни, хорошего? Один другого готовый в рог бараний скрутить, ногами топтать, насмерть сничтожить, шоб самому пожирнее кусок достался! А на кой она, головой пораскинть, суета мирская, ежели все едино каждому уготован один конец? И слава богу, а то кабы люди б не помирали — земле бы их на себе всех и не сдюжить...

— Верующий? — спросил Рогачев, терпеливо выслушав старого казака.

Мирошка Чумак не спеша выбил о край лавки погасшую трубку, зачихнул ее в карман чекменя и нехотя бесстрастным голосом ответил:

— Ни в бога, ни в черта, ни в загробный рай, ни в светлую жизнь, к какой всех хуторян завлекает наш председатель сельсовета Журба, во мне веры нету и быть не моёт, потому как я на своем веку всяких бед навидался досыта и душа моя давным-давно без просвету сморщилась, — вымолвил он и, немного помедлив, добавил: — Ее ото всего, як горького пьяницу с похмелья, воротит... а ты пытаешь, чи я верующий...

Немудрая жигейская философия Мирошки Чумака могла бы, пожалуй, у кого-нибудь другого на месте Рогачева вызвать желание вступить с ним в спор, постараться доказать всю ее несостоятельность, тем более что для этого не потребовалось бы больших знаний, но он особым чутьем трудового человека понял старого казака и, не осуждая, а, наоборот, устыдясь своего первого к нему чувства неприязни и раздражения, молча отошел к пыльному, затянутому дождевыми потеками окошку, прильнул к стеклу.

Дождь теперь уже не шел, а сеял, густой и мелкий, нависнув над хутором туманом. Слепая лошадь покорно мокла у коновязи под окном сельсовета, понуро, чуть ли не до земли опустил обезображенную голову, время от времени передергивая всей шкурой — из окна она показала Рогачеву еще более тощей и жалкой.

С усилием, преодолевая внутреннее сопротивление, он все же перевел глаза и на бричку и уже снова долго не мог отвести от нее взгляда. В степи, когда начался дождь, он накрыл труп своей чистой — из чемодана — исподней рубашкой, разорвав ее по шву. За дорожку ткань намокла и плотно облегла лицо убитого. Белое, как гипсовая маска, оно теперь напомнило ему лицо ангела с соседнего с могилой жены надгробия, врезавшегося в память со дня похорон выражением душевной скорби и вместе с тем какого-то смирения, удивительно тихого и грустного покоя... И вновь, как там, в степи, он остро ощутил перенесенную им боль, невозполнимую, как думалось, свою утрату. И опять, как там, у брички с убитым, у него подкатил к горлу, затруднив дыхание, горячий сухой комок. Глаза его наполнились туманом, словно ветер через стекло запылил их студеной дымкой дождевой пыли...

Он расстегнул душивший его ворот косоворотки, провел в задумчивости по лицу ладонью и повернулся к старому казаку, снова занятому набиванием трубки.

— Идемте на улицу, — сказал он, — я встретил в плавнях лошадь с убитым... надо его опознать...

Вопреки ожиданию Рогачева Мирошка Чумак не только не задал ему по этому поводу какого-либо вопроса, но даже не взглянул в его сторону и не прервал своего дела, как будто пропустил слова собеседника мимо ушей. Однако покончив с трубкой, сунув ее, угарно чадящую, обсосанным чубуком в рот и несколько раз глубоко затянув-

лись, он неожиданно поднялся и, ни слова не говоря, направился к выходу, шаркая сапогами по глиняному полу, оставляя на нем темные следы дегтя.

— Ты не ходи, я сам,— сказал он с порога,— на тебе и без того, гляди, сколь дождю набралось...

Рогачев только теперь заметил, что стоит в образовавшейся вокруг него луже мутной воды — в нее то и дело, стекая с его меховой куртки и козырька кепки, шлепались тяжелые капли. Вокруг разбухших башмаков лежали на полу окружая откисшей грязи. Он внезапно ощутил, каким холодным вдруг стало прилипшее к телу мокрое белье.

— Ладно, чего уж там,— махнув рукой, вымолвил он.— Пойдемте вместе, небось не раскисну...

Они вышли на улицу, под дождь, позабыв закрыть за собою дверь, и, когда вскоре, отведя лошадь с бричкой в сарай, вернулись назад, ветер успел за их отсутствие выдуть из хаты последнее тепло, наступить ее промозглой сыростью и наполнить свежим запахом дождя. Рогачев, согреваясь, похлопал себя руками вперекрест по плечам и зашагал по хате из угла в угол, поеживаясь, втянув в мокрый воротник куртки голову.

— Коняку суродовали, без глаз оставили, на шо ж она теперь годная? — усаживаясь на прежнее место и попыхивая трубкой, сказал все тем же равнодушным тоном Мирошка Чумак.— Дуло берданки в ухо — и вся ее доля. Это ж якую надо иметь лютость, до чего осатанеть от ярости, шоб твоя рука не дрогнула так суродовать бессловесную худобу — без коняки та без вола на свете не было бы и хлебороба, без них не вспахать тебе, ни посеять! Об человеке мы балакать не станем, он сам, покуда живой, всякое зло другому, хоть и своему ближнему, могёт причинить, и посему в его, скажем, погибели завсегда какая ни на есть, а вина отыщется — это с чьей колокольни только на дело глянуть, — но при чем же тут коняка? Ей же все одно, при какой власти свою тянуть лямку, она ж не разбирает, чи по единоличной, чи по колхозной борозде ходить станет...

— Она чья? — шагая, спросил Рогачев.— Признаете?

— Я ж тебе уже пояснял, шо хлопец наш, хуторской, а лошадь я не признал, должно быть, на такой предмет у цыган выменятая,— хладнокровно отозвался Мирошка Чумак и, впервые окинув Рогачева беглым взглядом, безразлично предупредил: — Гляди, шоб тебя заврде ее в оглобли не впрягли... В аккурат ты к свадьбе поспел.

— Шутите?

— Нет, теперь не шутю. Я, запомни, николы не шуткую, хоть оно, может, на то и походит, — зевая и потягиваясь, ответил старый казак.— За свои слова я тебе зараз так поясню: рассказывать мне любо, потому как ничего другого в жизни мне не осталось...

— Мне-то что? — задумчиво вымолвил Рогачев.— Рассказывайте себе на здорovie...

Мирошка Чумак одобрительно покивал головой и, отогнув полукемента, снова полез в карман шаровар за кисетом.

— По нутру мне твоя сговорчивость, уважил старого казака, не то шо Журба, тот слова не дасть произнести, враз зажимает, — пожаловался он безо всякой обиды, будто речь шла не о нем, а о ком-то постороннем.— Чуть я рот раскрою — он тут как тут: хватит, закругляйся, Мирошка Чумак, тебе слова не давали, упадническая твоя линия и без того всему хутору известная... Ну, то я уплыл в сторону, звиняй, зараз пристану до твоего берега...

Он так же, как и в первый раз, долго и привычно, с прежним старанием принялся набивать самосадам свою куцую трубку, так же долго и громко высекал кресалом огонь и еще дольше прикуривал от ча-

двящего ватного фитиля и с тем же наслаждением, будто не курил целый век, делал первые затяжки. Только, похоже, утолив голод курильщика, спохватился и продолжал:

— Подгадал тот уполномоченный по хлебу до нас на хутор в самое шо ни на есть свадебное завихрение. А треба тебе пояснить, поскольку и ты, видать, тоже с городу, та ще, кажись, и издалека, шо свадьбы кубанские казаки справляют исстари не один день, а по тыждням, а то и месяцам — разгорится такое тебе веселье, шо и света белого не видать! Ну, само собою, как водится, родичи жениха та невесты заявились до того приезжего с поклоном: так, мол, и так, просим на семейное торжество до нашего куреня, не откажись выпить с нами чарку горилки за здоровье наших деток, их мир и согласие! Кому ж на хуторе не завлекательно видать у себя в хате за столом городского человека... Ну, уполномоченный тот, чи для куражу, чи для авторитету, не знаю, трошки позапирался, а только поблагодарствовал за оказанную ему честь, оповестил всех, шо он сам из народа и отрываться ему от народа при партийном билете не с руки, и отбыл на свадьбу в обнимку с родичами жениха та невесты, як заправский гуляка, хлопц-рубаха...

В сельсовет через запыленное, в дождевых потеках окошко заглянуло солнце. На пожелтелой побелке печки стали отчетливо видны все царапины, сделанные чьей-то рукой карандашные пометки, колонки цифр, на заалевший кумач стола упала тень крестовины рамы окна, и сиротливо стоявшая на нем стеклянная чернильница-непроливайка с торчащей из нее обгрызенной ученической ручкой, отразив упавшие лучи, вспыхнула холодным фиолетовым огоньком. В ярком солнечном свете неказистая мебель сельсовета приобрела еще более убогий, обшарпанный вид.

— Распогодилось, — безразличным тоном произнес Мирошка Чу-мак, попыхивая трубкой, и, подождав, пока мокрый Рогачев устраивался на припеке у окна, продолжал: — Свадеб всех, само собою, не пере-честь, а порядок на них один: як только скучно станет, так зараз же схватятся играть шутейную свадьбу, куролесить, на гулянку по дворам дары собирать, молодым на житье-бытье. И тут плетеную сакву — и в путь-дорогу по хутору. А в бедарку, как и заведено на шутейных свадьбах издавна, для потехи заместо коня с песнями и пляской впрягли того самого уполномоченного, шо к нам на свадьбу явился по приглашению. Подводу у нас сзади все гости пихают по очереди, шоб коню, стало быть, подсобить, ну и у каждого двора, само собою, свадьба с шумом-гамом делает остановку, просит подношение. Хозяева кто курку, кто гуся, кто муки чувал, кто сала шматок, кто поросенка — кто чего вынесет, то и кидает в сакву. И у всякого двора выпивка, прибаутки, а про коня то ж самое, не забывают, кругом обступят и хором: «Коня напувать! Треба коня напувать!» Хозяину двора все яснее ясно-го, потому как в каждой забаве свой обычай. Он мигом смотается в хату, возвернется с кружкой самогона чи виноградного вина и под-носит питье коню, поит его досыта. Запряженному заместо коня гостю и отказаться грех, можно хозяина обидеть, и в утробо то вино ему уже не лезет, а шо поделаешь? Правда, тот, кто в таком деле бывал уже не раз, тот большую часть из кружки на землю расплескает — с коня спросу нету, — а уполномоченный, видать, того не знал, все до дна пил, чи совестился, чи старался слабость свою не выказать — кто теперь скажет? Уж сколь он ту бедарку по хутору провез — не знаю, а только у одного двора с лица сменился, из красного сделался синий, аж черный весь, оглобли из рук выпустил и ничком в дорогу носом уткнулся... И все по правилам — забава есть забава, никто в ней не виноватый, а человека не стало! Вышло так, что заместо хлеба, шо он

должен был заготовить, его самого, того уполномоченного, царство ему небесное, для того света заготовили проспиртованным, от нас в районный центр покойником отвезли на бричке...

Мирошка Чумак умолк и как ни в чем не бывало, будто ничего вовсе и не рассказывал, снова занялся трубкой, весь уйдя в свое занятие и снова, казалось, позабыв о своем собеседнике.

### Глава тринадцатая

С улицы донесся колокольный звон.

Поначалу робкие, словно бы разведывавшие тишину удары большого колокола раз за разом начали набирать силу, звучали все громче и увереннее, пока не стали требовательными, властными и не завладели полностью всем окрестным пространством — и послегрозовым раздольем очистившегося от туч неба, и дымчатой далью плавней, и степным простором, и улицами, и проулками, и площадью затихшего хутора.

И когда, казалось, все вокруг замерло, вслушиваясь в катившиеся над крышами хат, будто чугунные ядра по дощатому настилу, звуки, когда непрерывный гул до предела, чудилось, насытил тишину и она воспротивилась больше его принимать, тогда-то в замедленный ритм большого колокола и вплелась на равных правах медногласица колоколов малых и затараторила, заметалась, замельтешила над хутором на безудержном накале бешеная звуковая метель, захлебываясь в божественной благодати, в святом упоении.

— Хорошо звонят, с душою, — сказал Рогачев, глядя на поголубевшее после дождя, залитое солнцем небо с горящим на нем золотым крестом церкви, и неожиданно признался: — В детстве и я мастером на такое был, кто из мальчишек куда, а я к звонарю на колокольню! На пасху уж отводил душу, досыта названивался.

— А Журба того звону не переносит, — зевая, отозвался Мирошка Чумак. — Кажный раз, як звонарь Амвросий за колокола свои примется, председатель наш места себе не находит, бледный стает, шо твой статуй, аж затрясется весь, неначе на него лихоманка нападает.

— Чего ж с нею не поделил?

— Кого имеешь в виду?

— Церковь, конечно! У нас же она от государства отделена...

— Ты ее отделил, а она отделяться и не желает, ей народ нужен, без людей як же она служить богу станет? — все тем же бесстрастным голосом, посасывая чубук погасшей трубки, промолвил Мирошка Чумак. — Вон, кажуть, в станице Варениковской, послухай, какой курьез приключился. Один дремучий дед возвратался от кума до дому, чи пьяный, чи трезвый — не ведаю, напраслину на его возводить не стану, а только дело было уже ночью, кажись, вторые петухи пропели. И путь старого гуляки в аккурат прорубался по-над кладбищем, мимо церкви. Стоило ему поравняться с оградой, как до его слуха доходит — в алтаре кто-сь плачет и, обратно ж, голоса. Дед хоть и злякався, хоть и затрусилсь у его поджилки, а все ж таки не дал стрекача, превозмог в себе пережиток животного страху, приклялся ухом до дверей. И шоб ты думал? Не кто другой, як сама мать божья приняла за народ заступничество. Умоляла она слезно своего сына Иисуса Христа не карать казаков недородом на три роки, а покарать одним годом за то, шо они с дороги истинной сбилися, стали предавать порядки и обычаи своего казачьего рода, за безбожниками-коммунистами потянулись...

— А что же, красивая агитация, ничего не скажешь,— сказал Рогачев.— Нам и поучиться бы не грех...

— Ты шо балакаешь?

— Мудрая, говорю, сказка, хотя и кулацкая...

— Ну да, само собою, каждый робить себе свой вывод,— продолжал Мирошка Чумак, будто его и не перебывали.— То она в алтаре плакалась, то в степу под нашу районную станицю, кажуть, и того боле, у святой криницы сама перед очами старух объявилась, речь перед ними держала. И, скажи ты на милость, все как есть по правде, напужала старух до смерти, тут не один старый дед, тут вон сколь глаз было! Уже в потемках, в самую что ни на есть настрашеннейшую грозу, разверзлось небо и опустился на землю огненный шар у самой криницы, где бабки под успенье брали святую воду. Кругом стало ясно, до того все видать, ну хоть иголки шукай! И выезжает из того самого огненного шара колесница с тройкой белых коней, а в колеснице — мать божья, як на иконе писаной, как есть живая, вся сиянием светится, и ребенок при ней. Глядят старухи, а у матери божьей в одной руке сабля вострая, а в другой — чаша из чистого золота, а в той чаше отборная кубанская гарновка, та такая крупная, шо с каждого зерна свободно можно испекти цельную буханку хлеба. Старухи, само собою, как и положено, на колени попадали, а мать божья им балакает: «Передайте внукам запорожским мои слова от самого бога: где их вольная Кубань, шо им была дарована по велению божьему? Замудровали вас всех анчихристы-векапебе начисто, лишили былой вольности, и стали они походить не на казаков, а на ледащих комолых волов, яких батогом загоняють в колхозы. Добра от тех колхозов, балакает, нехай не дожидаются, от них примут они свою погибель! А шоб казакам возвратить старую вольную и сытую жизнь, пускай замолют грехи, апосля чего кину я на их поля пшеницу невиданных урожаев и вострую саблю, кой они добудут свое счастье...»

Мирошка Чумак умолк и потянулся за кисетом.

— И что же, верят? — спросил Рогачев.

— Кто в бога верует, отчего ж ему и в такое не поверить? Я, к примеру, звон сколь годов в церковь ходить кинул, а и доси як мимо иду, рука сама до шапки та крестным знамением себя осенить тянется, отчего бы оно такое? Нет-нет да на всякий случай, бывает, и перекрестись, меня не убудет, а там кто его ведает, может, он и на самом деле есть, тот бог. А наказ святого письма я сполнять не стал и старухе своей не дал. Утром под дверями я то письмо нашел, дочка мне его прочитала, я зараз же послание в кишеню — и в сельсовет. Побачив бы ты, шо с Журбою стало, як он про такое церковное мероприятие услышал...

Наполнявший хату все это время колокольный звон неожиданно оборвался, точно захлебнулся. В сельсовете повисла сторожкая звенящая тишина, в которой все еще продолжал, чудилось, звучать перезвон колоколов, хотя они на самом деле уже давно молчали. Потом, немного погодя, установившуюся на хуторе тишину распорол несколько судорожных, вразной, звуковых всплесков, дважды, один за другим, как орудийные выстрелы, прогудели удары большого колокола — и все опять смолкло. Вскоре с улицы донеслись голоса, топот множества ног, хлопанье калиток и треск плетней — похоже, из них выдергивали колья.

Мирошка Чумак, порывшись в бездонных карманах своих широченных шаровар, извлек измятый тетрадный листок в косую линейку и протянул его Рогачеву.

— Полюбопытствуй, оно к нашему с тобою разговору прибавается, а я пойду гляну, шо там за шум.

Рогачев пересел к столу, разгладил на кумачовой скатерти листок ладонями, склонил над ним лобастую голову. С козырька его кепки сорвалась дождевая капля, шлепнулась на первую строчку, размыв фиолетовые чернила.

«Это послание Иисуса Христа слово в слово списано с того самого, что святым чудом появилось на Пасху в Киевско-Печерской лавре и, сияя золотыми буквами, хранится ныне за образом Архангела Михаила.

«Я, Иисус Христос, сын Матери Божьей, неотступно и зорко наблюдаю за вами, люди, населяющие землю, и сердце мое обливается кровью. С каждым дарованным вам Господом Богом днем вы все больше плодите грешников, а ноги грешников бегут ко злу, а зло ведет в геенну огненную.

Только молитва спасет вас от стези неверной, она укрепит в вас веру в Господа Бога, в силу и всемогущество его.

Бог вас сотворил по своему облику и подобию, один он и властен наказать вас Страшным судом. И пойдет народ на народ войною кровопролитной, и высохнут реки и колодцы ваши, зачахнут посевы, и разразится голод. И родители проклянут детей своих, а дети отцов и матерей своих.

Живите, как жили прадеды ваши, деды ваши и отцы ваши, не сворачивайте с пути верного, пуще ока берегите свое хозяйство и дом свой, нажитые вашим трудом и потом, не поддавайтесь ни на какие уговоры антихристов и защищайте свое добро верой и правдой. Работайте шесть дней на ниве своей, а седьмой, воскресенье, отдавайте молитве Всевышнему вашему, Господу Богу. И да поможет он в труде вашем, в беде вашей и в любви к вашему ближнему.

Аминь. Аминь. Аминь».

Кто получит это святое письмо, тот должен его переписать и тайно передать в девять дворов, дабы оградить себя от гнева Божьего».

— Изучил, бачишь теперь, як вона, та церква, отделилась? — безо всякого интереса спросил Мирошка Чумак, появляясь на пороге сельсовета.

Он прошаркал на свое прежнее место, опустился на лавку и, сладко зевнув, с хрустом потянувшись, снова полез в карман шаровар за кисетом и трубкой, отрешенно, со скукой в глазах глядя на свои по голенища перепачканные грязью сапоги, утратившие недавний деготный блеск.

— Чего там шумели? — нетерпеливо спросил Рогачев.

Мирошка Чумак неопределенно махнул рукой с зажатым в кулаке кисетом.

— Пустое, — сказал он, — зазря только чоботы замарал. — И поднав на Рогачева бесчувственные глаза, дремотно помаргивая белесыми ресницами, пояснил: — Звонарь Амвросий, белобрысый сатана, с колокольни свалился. — И, помолчав, добавил: — Завсегдашняя комедь...

— Какая ж тут, к черту, комедия, если человек упал?

— А ты за его здоровье не бойсь, он к такому привычный. Амвросий во хмелю завсегда куражу напускает, как напьется, так и начинает по хутору рыскать, с кем бы ему на спор на четверть самогона схлестнуться. А как найдет подгулявшую кумпанию, враз на колокольню! Он себе там в бурьяне и соломы натрусил, щоб как-никак все ж таки помягши стукаться...

— А куда ж люди бежали?

— Та до церкви ж...

— Пьяного звонаря не видали, что ли?

— Та нет, Амвросий сегодня тверезый, он зараз во спасение ве-

ры сиганул с колокольни, геройский подвиг, можно сказать, совершил, шоб верующих себе на подмогу призвать.

Рогачева охватило недоброе предчувствие, улыбка медленно сползла с его посиневших от холода губ. Он озабоченно поднялся из-за стола и принялся застегивать крючки меховой куртки.

— Час от часу не легче!

— А чего ты схватился? Сидай, разберутся и без нас с тобою,— сказал Мирошка Чумак.

Сунув руки в карманы куртки, Рогачев, согреваясь, зашагал из угла в угол.

— Объясните же наконец толком, что там происходит? — попросил он.

— Та ничего особенного,— скучающе, с ленивым зевком вымолвил Мирошка Чумак.— Церкву нашу колоколов лишают, то ж не по твоей части. чего тебе беспокоиться...

— Кто лишает? Как?

— А с чего, по-твоему, надо начинать, як не с колоколов? — с тем же прежним равнодушием вопросом на вопрос отозвался Мирошка Чумак.— Самое верное, это враз лишить ее права голоса — она и отсунется со смирением в царствие небесное, туды ей и дорога! Будь на то моя воля, я б сей опиум для народа, як обратно ж выражается Журба, вместих с царем-батюшкою ще в семнадцатом годе на тот свет спровадил, шоб он головы людям не задуривал...

Последние слова Мирошки Чумака настигли Рогачева уже вдонку, за порогом сельсовета.

Сбив на затылок кепку, в распахнутой куртке, он размашисто зашагал к церкви, не разбирая дороги, прямо по лужам, распугивая гусей и уток. Лицо его, распаленное быстрой ходьбою, покрылось испариной, но не было при этом разгоряченным и красным, как обычно у всех здоровых людей, а, наоборот, приняло бледный матовый оттенок, сделалось напряженно-застывшим, что с недавних пор стало у него признаком сильного, подавляемого и сдерживаемого усилием воли волнения. Рогачев знал, что в таком состоянии он постоянно начинал испытывать перебои сердца, при этом ему не хватало воздуха, в глазах темнело и тупая отяжеляющая боль наливалась будто свинцом затылок.

Случается, хотя и редко, в профессии стеклодувов такое: не хватит по какой-либо причине при выдувании баллона мастеру воздуха, набранного в легкие, и обожжет их хлынувшей в обратную сторону раскаленной воздушной струей — тяжело и непоправимо. Произошло подобное и с Рогачевым в ту самую смену, когда ему сообщили о несчастье с его женою. С той поры в минуты нервного напряжения у него и начало появляться неприятное чувство удушья. Больше всего не желая такого приступа теперь, он, шагая по улице, прислушивался к своему состоянию, стараясь дышать ровнее и глубже. Однако то, что ему довелось увидеть у церкви, заставило его тут же забыть не только о самом себе, но и обо всем на свете.

Церковная площадь была вся запружена народом. Стоял несмолкаемый гул. Кричали впереди, кричали с боков, кричали в самой середине, кричали позади — все сразу, вразнойой. Разобрать что-либо в общем шуме было трудно — казалось, что и казаки и казачки лишь для того только и собрались на площади, чтобы перекричать друг друга, похвастаться один перед другим своею голосистостью. В толпе то тут, то там поднимались, покачиваясь над головами, выдернутые из плетней колья, поблескивали на солнце железные занозы от ярма, шкворни и вилы.

Вокруг колокольни и купола церкви, оглашая воздух беспокой-



ным карканьем, носились на разной высоте потревоженные шумом грачи. Крапленое птичьей стаей небо над площадью выглядело черным, лохматым и низким. Казалось, оно то уходило высоко вверх, то опускалось на вершины деревьев.

Толпа, все более и более распаяясь, угрожающе надвигалась на запертые изнутри кованые, в узорах ворота церковной ограды. Выкрашенные зеленой масляной краской, ворота натужно прогибались, скрежетали несмазанными петлями, лязгали цепью с висячим пудовым замком.

По ту их сторону, ухватившись руками за прутья, точно распятый на кресте, раскачивался хуторской милиционер, без фуражки, в линиялой форменной гимнастерке, с расстегнутой, оттянувшей пояс кобурой с наганом. Багровея от натуги, он что-то кричал напирившим на ворота казачкам — казаки держались стороною, — но на него никто не обращал внимания, слова его безнадежно тонули в общем многоголосом гаме.

Взоры собравшихся приковывала невысокая кирпичная колокольня, с которой на землю свешивались толстые крученые веревки. Под колокольной сиротливым табунчиком жались девчата и парни, они молча, запрокинув головы, наблюдали за тем, что происходило на звоннице, изредка с беспокойством поглядывая в сторону ворот, на гудящую толпу.

Вокруг церкви, размахивая плеткой, кружил на вороном скакуне, то и дело воинственно поднимая его на дыбы, всадник. Меж прутьев железной ограды мелькала его черная развевающаяся бурка с алым башлыком, серая, заломленная на затылок кубанка. По его бравому виду не чувствовалось, чтобы его тревожила и сколь-нибудь занимала толпа за оградой, во всяком случае он держался хладнокровно и уверенно. Лишь по временам, когда с колокольни внезапно сыпался беспорядочный перезвон колоколов, всадник останавливал коня, привставал на стременах и ненадолго устремлял глаза вверх. Там, наверху, в сквозных проемах звонницы, на фоне синего неба и косых лучей кровавого к закату солнца шла молчаливая борьба: трое парней, сидя верхом на вмазанных в стены тавровых балках, снимали колокола, отбиваясь от наседавшего на них белого как лунь, взлохмаченного, в исподней рубахе и подштанниках, босого звонаря Амвросия.

Звонарь вьюном носился вверх-вниз по колокольне, скользил по карнизам, хватался за языки колоколов, повисал на веревках головою вниз, перепрыгивал с одной балки на другую и, наконец, с возгласом «боже, де ж твои очи!» снова сегодня, если верить Мирошке Чумаку, уже во второй раз, выбросился в проем на землю. В воздухе, распугав взмывших грачей, мелькнули его надувшиеся парусом рубаха и подштанники с болтающимися штрипками, голенастые, оттянутые по-журавлиному, худые и длинные ноги.

Бабы в толпе испуганно ахнули, заголосили и запричитали, как по покойнику. Вся многолюдная и пестрая масса людей, подобно приливу, заволновалась и подалась к воротам. Милиционер выхватил из кобуры наган. Сверкнуло вороненое дуло нагана и в руке всадника, выметнувшегося из-за колокольни.

На мгновение вокруг стало тихо и жутко, как перед грозой.

Все это, как уже потом, много времени спустя, ему виделось при воспоминании, Рогачев охватил взглядом сразу же, едва очутился на площади, позади толпы. У него не было времени ни на то, чтобы хладнокровно оценить сложившуюся обстановку, ни на то, чтобы выбрать наиболее правильное в его положении решение. Увидав, что сквозь толпу ему к воротам не пробиться, он обогнул площадь вдоль плет-

ней и заборов и, очутившись по другую сторону церкви, с разбегу вспрыгнул на высокую ограду, повис на руках, до боли в ладонях стиснув граненые пики железных прутьев. Немного отдышавшись и собрав остаток сил, Рогачев подтянулся, перекинул через ограду ногу, затем вторую и кулем свалился в бурьян, обстрекав о старую крапиву лицо и руки, запоздало уловив треск разорванной меховой куртки.

Не успел он встать и оглядеться, как его всего обдало запахом конского пота, жаром разгоряченного дыхания, и он увидел над собою высоко занесенные копыта со стертыми блескучими подковами. Всадник в бурке осадил коня и, свесившись с седла, направил на Рогачева дуло нагана. Ему было на вид немногим более двадцати лет, и если бы не редкий темный пушок над пухлой верхней губой, он и вовсе выглядел бы подростком. На его лице, обветренном, с крупными чертами, сразу обращали на себя внимание и запомнились глаза, черные, как обугленные с пожарища каштаны, быстрые, горячие и широко раскрытые, словно их нигде и никогда не покидало вечное удивление перед окружающей жизнью. Эти глаза пристально ощупали Рогачева, и в них, как ни странно, отразилось не замешательство, что было бы естественным при виде незнакомого человека, а разочарование и досада.

— Вы, дядько, случаем, не тот самый будете Рогачев, про которого мне в райцентре сообщили? — спросил всадник, откинув полу бурки и засовывая наган в карман вытертых на коленях армейских галифе.

— Он самый, дорогой племянничек, чтоб тебе было пусто!.. — в сердцах отозвался Рогачев, опалив всадника гневным взглядом.

Всадник весело расхохотался, по-мальчишески звонким голосом воскликнул:

— Бачите, який вышел у нас с вами конфуз! А виноватые вы сами. Откуда мне было знать, что не кто другой, а вы через ограду сить станете?

Рогачев поднялся на ноги и, растирая обожженное крапивой лицо, подошел к плясавшему под всадником скакуну, взял его под уздцы. Непроизвольное это движение вновь вернуло его память в плавни, где он встретился с ослепленной лошадей и убитым хлопцем, и в его голову, помрачив рассудок, ударила волна жгучего негодования, сердце заохлодила злость к веселившемуся в седле всаднику. Он почуствовал желание сдернуть его с седла и вlepить в ухо добрую оплеуху, но он поборол в себе это желание и, не давая выплеснуться гневу, сухо и хрипло произнес:

— А ты, видать, будешь Журба, тот самый, который тут сельская власть...

— Верно, он самый и есть! — не дав Рогачеву закончить, все так же весело воскликнул Журба. — Будем считать, что познакомились! Рогачев ухватил его за край бурки, притянул к себе.

— Так вот что, ты, новый знакомый, немедленно все прекрати! — резко сказал он. — Открой ворота и извинись перед народом за самодурство...

— Я не сам, на то решение комсомольской ячейки состоялось.

— Не теряй время, а то будет поздно!

— А ежели я не послушаюсь?

— Иди ты ко всем чертям!..

С этими словами Рогачев отпустил уздечку и, круто повернувшись, направился к воротам, оставляя за собою в высоком бурьяне узкий проруб, унося на собачьей шерсти куртки колючки репейни-

ка. Внутри у него все кипело, и ему стоило немалых усилий, чтобы не сорваться, не выдать своего волнения, держаться уверенно и спокойно. Кому хотя бы раз доводилось оказаться один на один с возбужденной толпой, готовой все смять и снести на своем пути, тому не нужно объяснять, что чувствовал и испытывал Рогачев в эту минуту, а кого подобная участь в жизни, к счастью, миновала, тому ничего другого не остается, как только себе это вообразить. Рогачев с шага перешел на трусцу, потом на размашистый бег, торопясь к главному входу. Он бежал точно оглохший и ослепший, ничего вокруг не замечая и ничего не слыша,— он не слышал ни доносившегося с площади шума, ни оголтелого крика грачей, ни перестука конских копыт за своей спиной, ни натужных, до хрипоты, выкриков повисшего на воротах милиционера. Он спешил скорее предстать перед разъяренной толпой и в своей доступной незащищенности, без какого-либо оружия казался в чем-то даже грозным, если не сказать — страшным.

Достигнув ворот, он отстранил милиционера и, обернувшись к Журбе, с трудом переводя дыхание, выкрикнул:

— Ключ! Немедленно ключ!

Но ключ был уже не нужен. Ворота, как показалось в тот момент Рогачеву, у которого от волнения заложило уши, бесшумно слетели с петель и так же бесшумно упали на землю, едва не придавив его своей чугунной тяжестью. На церковный двор, неся впереди себя горячую волну потного воздуха, хлынула толпа, и двор наполнился топотом множества ног, криками, бранью и свистом, неожиданно ворвавшимся в уши снова обретшего слух Рогачева. И тотчас же оглушительный удар обрушился на его затылок, свалил под ноги бегущим разъяренным людям...

## Глава четырнадцатая

Он очнулся в глубокой тишине.

И первое, что ощутил,— была сама тишина. Спокойная, по-домашнему уютная, мягкая и теплая. Слышалось лишь зудение мухи в углу под потолком, должно быть запутавшейся в паутине, потрескивание огня в печке да тонкое, с подвыванием на одной ноте пение закипающего на плите в соседней комнате чайника. Ему страшно хотелось пить. Во рту пересохло, к горлу подступала тошнота, а перед глазами с устало слипавшимися тяжелыми веками мельтешила, кружась по красному полю, черная, похожая на летящую гарь мошкара.

Рогачев приподнялся на локтях, намереваясь встать, чтобы пойти и выпить, но сильная слабость отбросила его назад, вдавила в мягкую постель. И тогда-то в уши, подобно ветру, ворвался шум разъяренных голосов, топот ног и свист — от этого, казалось, начала распухать голова. А шум все нарастал и нарастал, пока не заполнил до отказа все окружающее пространство, не вытеснил напрочь принадлежавшие тишине звуки. Не стало слышно ни потрескивания огня в печке, ни зудения мухи, ни пения чайника — ничего. Стоял сплошной, все более тревоживший душу гул. И именно в это время Рогачеву почудилось, что он снова попал в душную тесноту людской толпы, сквозь которую пытался, выбиваясь из сил, пробиться, чтобы сдержать людей в воротах, терпеливо снося и обрушившийся на него град ошметков грязи, и доносившиеся со всех сторон угрозы, и злобные, в ярости, пинки в толчее. Все это, недавно им пережитое, представлялось вновь настолько реальным, что он от этого весь невольно

сжался, прикрыл голову руками и застонал в ожидании чудовищной силы удара в затылок, свалившего его у ворот на землю...

— Пить...— едва слышно попросил он, насилу разлепив спекшиеся губы.

Чьи-то теплые, пухлые руки заботливо приподняли его голову, поднесли к опаленному жаждой рту стакан с водой, и откуда-то сверху послышался ласковый женский голос:

— Пейте, батюшка... пейте на здоровье...

Рогачев сделал несколько судорожных глотков и, облегченно вздохнув, отстранив рукою стакан, наконец широко раскрыл глаза. Он находился в чистой, светлой горнице на двуспальной никелированной кровати прямо в одежде — в грязных мокрых башмаках, измятых, облепленных репьями брюках и меховой куртке, свесившейся одной полою на пол и открывшей на лацкане выгоревшего от времени пиджака орден Боевого Красного Знамени. Голову его стягивали биты, ее наполняла тупая, налившая затылок непомерной тяжестью, одуряющая боль.

Сгорая от стыда за свою мокрую, перепачканную грязью одежду, испытывая неловкость оттого, что он лежал в ней на ворохе пуховых подушек и белоснежном кружевном покрывале, Рогачев, преодолевая слабость, поднялся и свесил на крашенный пол грубые свои башмаки. В глазах у него потемнело, комната закружилась, и он, чтобы не упасть, вцепился пальцами в край кровати.

— Чегой-то вы напугались, батюшка? — встревоженно воскликнула стоявшая у его изголовья пожилая женщина. — Ну-козь ложитесь, ложитесь, вам ведь неведомо, сколько вы потеряли крови, это ж страсть господня!

— Где я? — спросил Рогачев, пытаясь оглядеться сквозь заволакивающий глаза туман.

— У священника в доме... у отца Якова...

«Мне сегодня только этого и недоставало...» — с горечью и досадой подумал Рогачев, порываясь встать на ноги и морщась от боли.

— Мы вам рану йодом залили и перебинтовали...

— Оставь человека в покое, матушка, дай ему в себя прийти, — прозвучал в горнице воркующий мужской бас такой густоты и силы, что Рогачеву показалось, будто в окнах задребезжали стекла. — Не до тебя ему сейчас...

Туман в глазах Рогачева постепенно рассеялся, и он, оставаясь из-за сильной слабости сидеть, помимо своего желания, на кровати, обвел усталым, болезненно горящим взглядом горницу. Ему никогда прежде не доводилось бывать в доме священника, и он не сумел скрыть своего невольного, почти детского, любопытства. Вопреки его наивному представлению, будто там, где живет служитель культа, все должно напоминать своим убранством церковь и бога, жилище отца Якова почти ничем не отличалось от тех многих городских домов зажиточных мещан, какие Рогачеву приходилось видеть в революцию при обысках. Были здесь и ковры, и картины в тяжелых золоченых рамах, и кружевные рукоделия на валиках плюшевого дивана, на комоде и на тумбочке у кровати, и граммофон с разрисованной розовотельными ангелочками трубой, и лакированный резной буфет с хрустальными рюмками и графинчиками, и пианино, и шкаф с книгами — вовсе не божественными, а с энциклопедией Брокгауза и Ефрона, с сочинениями русских и иноземных классиков в дорогих кожаных переплетах. На книгах Рогачев, должно быть, дольше обычного задержал взгляд, потому что горницу наполнил все тот же густой воркующий бас.

— Моя домашняя библиотека к вашим услугам, гражданин... про-

стите, не знаю, как вас величать по имени и отчеству,— сказал священник.— Можете пользоваться книгами, когда вам будет угодно!

Батюшка сидел за круглым столом, покрытым цветастой бархатной скатертью с кистями до пола, и перебирал белыми пухлыми пальцами золоченую цепь на груди, оттянутую тяжелым большим крестом с серебряным распятием. Он был ниже среднего роста, даже скорее просто маленьким, но зато от полноты так непомерно раздался в ширину, что, когда сидел, казался огромным и могучим. Волосы у него, как у всех священников, были длинные, они в меру курчавились и спадали на покатые, обтянутые черным подрясником плечи пышной, хотя уже и заметно редющей и уже тронутой сединою гривой. На упитанном, свежем и румяном, почти без морщин лице его, обросшем густой пшеничной бородою, аккуратно подстриженной, отливали вороненой сталью большие, похотливые, самодовольно поблескивающие глаза.

— Я в таком виде... а вы меня на чистую постель... Причинил вам, видать, немало хлопот... — сказал Рогачев, встретившись со священником взглядом.

— Что вы, батюшка, что вы! — всплеснув руками, воскликнула попадьа.— Вы же наш спаситель, воспротивились богохульству, отстояли церковь от напасти антихристов-комсомольцев... Это мы у вас в долгу...

— Шла бы ты, матушка, по своим делам,— мягко перебил жену отец Яков.— Лучше бы накормила да напоила человека, чем докучать всякими рассказами...

— И то верно, батюшка, пойду я, сделаю все, как ты велишь...

Высокая худая попадьа просеменила, шаркая по крашеному полу чувяками, на кухню и, сверкнув отсюда из-за двери любопытным взглядом, закрыла за собою дверь. Отец Яков после недолгой паузы поднялся, обошел стол, поправляя на ходу крест, одергивая подрясник, и, скрипя хромовыми сапогами, приблизился к кровати. От него приторно пахло восковыми свечами и ладаном. Рогачев собрался с силами и встал.

— Я полагаю, что мы не станем считаться, кто у кого в долгу? — с разлитой по всему сытому лицу улыбкой, пробасил отец Яков, поднимая на Рогачева глаза веселые и кроткие.— Все мы ходим под богом, и долг каждого из нас один — служить нашему всевышнему. Вы, не сомневаюсь, мне возразите, что предпочитаете служить людям. Угадал?

— Допустим...

— Я так и думал! Хотя служить людям и есть служить богу. К нам на хутор, извините мое любопытство, надолго?

— Не знаю, как покажет дело.

— Я так и полагал! А какое, простите, если не секрет, дело?

— Нет, не секрет,— сухо сказал Рогачев и объяснил свое появление на хуторе.

— Я так и ожидал,— со все той же умиленной улыбкой вымолвил отец Яков и широким жестом указал на стол.— Чего ж мы стоим, в ногах правды нет, присаживайтесь к столу, закусим чем бог послал и побеседуем...

— Спасибо,— сказал Рогачев.— Я пойду на улицу, голова кружится. Побеседуем как-нибудь в другой раз.

Священник огорченно улыбнулся и развел в стороны короткопалые холеные руки, на одной из которых сверкнул золотой перстень.

— Как вам будет угодно, не смею задерживать, заходите, всегда буду рад,— пробасил он.— А про книги не забудьте, прошу...

Стараясь тверже ставить ноги на половицы, обливаясь холодным потом, Рогачев шатко прошел к входной двери, но прежде чем распахнуть ее, обернулся и, глядя священнику в глаза, спросил:

— Можно и мне задать вам один вопрос?

— Разумеется...

— Я видел, как вы стояли на крыльце своего дома и, заложив руки за спину, спокойно смотрели на то, что творилось вокруг. Почему вы не попытались воспротивиться снятию колоколов?

— На все воля божья...

— Вы даже не пожелали утихомирить верующих, хотя они ломали ворота, не объяснили им, что история с колоколами всего-навсего недоразумение. Почему?

— Недоразумение? — с искренним удивлением повторил отец Яков, вскинув по-молодому черные и густые брови. — Откуда же мне было знать, дорогой гражданин, что это недоразумение, а не политика, не указание партии?

— Вы правы, — распахивая дверь, криво усмехнулся Рогачев, — это политика, но только чья? Хотел бы я знать, от кого она исходит?..

На церковном дворе было тихо и пусто. Железные ворота стояли на месте; на них, как и прежде, висел все тот же пудовый замок. Грачи утомонились, они черной цепью окольцевали карниз под куполом церкви, чернели в проемах колокольни и на вершинах тополей, откуда донесилось заунывное посвистывание ветра, — их угольное оперение тлело под лучами уже холодного, коснувшегося горизонта солнца. Со степи тянуло сыроватым холодом, терпко пахло кизячным дымом. Настоянная на увядавших травах тишина окутывала хутор пеленою наплавившего с плавней понизового тумана, от него вновь, как после дождя, темно повлажнели уже успевшие было подсохнуть к вечеру камышовые и соломенные крыши хат, плетни и заборы, стволы деревьев.

Рогачев набрал полную грудь прохладного, пьянящего, хмельно забродившего по жилам воздуха и, запахнув мокрую меховую куртку, зашагал в сельсовет. Свернув в проулок, он издали увидел долговзую фигуру Мирошки Чумака, торчавшую у дверей. Старый казак, привалившись плечом к косяку двери, отрешенно смотрел на тлевшее закатом небо и нещадно дымил трубкой.

## Глава пятнадцатая

Журба появился в сельсовете за полночь.

Рогачев уже было собирался расстелить на лавке свою меховую куртку, чтобы по-солдатски — на одну полу лечь, а другой укрыться, — когда с улицы послышался приближающийся топот копыт. Не прошло и минуты, как под окном раздался храп коня, видно, осаженого у порога сельсовета на всем скаку.

Журба не вошел, а скорее, будто брошенный из-за порога катapultой, вметнулся через широко и с грохотом распахнутую дверь. Его косматая кавказская бурка, забрызганная по плечи горошинками грязи и волочившаяся по полу, подняла в хате ветер — на столе зашелетели страницы книги, над которой склонил забинтованную голову с пятном проступившей крови на затылке Рогачев; под балкой перекрытия, скрипя ржавой проволокой, закачалась керосиновая трехлинейная лампа с жестяным абажуром; по потолку заметался похожий на луну кружок отсвета, выхватывая из темноты крапленную мухами, несвежую побелку.

Шагнув в грязных сапогах на середину комнаты, Журба придержал лампу рукояткой плетки, ею же сдвинул со лба на затылок серую кубанку с малиновым, перекрещенным серебряным позументом верхом и как ни в чем не бывало улыбнулся Рогачеву, словно давнему

и близкому знакомому. Под темным пушком из-под его слегка вывернутой заячьей губы влажно блеснули редко, со щелями, посаженные белые зубы.

— А вы, товарищ Рогачев, предполагаете, где я пропал? — спросил он, по казацкой привычке покачиваясь в свете лампы с каблучков на носки, словно ехал верхом.

Рогачев поморщился и молча пожал плечами — он был голоден, продрог в не просохшей до сих пор одежде до костей, к тому же у него раскалывалась от боли в затылке голова, и ему было далеко не до загадок.

— В райкоме партии — вот где я был! — не дожидаясь ответа, признался Журба и весело, даже озорно сверкнул в сторону Рогачева жгуче-смоляными глазами. — Жалиться на вас ездил, правоту свою устанавливать. А вы того... подкованный... знаете, чего можно, а чего нельзя. Вспыпали мне в райкоме по первое число, а я все одно несогласный: раз религия опиум и мешает нам идти вперед, так и нечего с нею цацкаться — снять колокола, закрыть церкву, и баста!

— Ты же на кулацкую мельницу воду льешь! Надо еще разобраться, чья рука тебя на такое толкнула, — сухо обронил Рогачев.

Он поднял голову, окинул молодого председателя сельсовета долгим холодным взглядом, но больше ничего не сказал, однако Журба тут же под его взглядом согнал с губ улыбку. Дернув у горла кожаные шнуры, затянутые бантом, он привычным движением плеча сбросил бурку на лавку и растянулся на ней во весь рост, подперев кулаком щеку. Захлестнутая петлей вокруг его запястья плетка ужом свесилась на пол, на вороте его шелковой красной казацкой рубахи белыми огоньками вспыхнули перламутровые пуговицы, нашитые тесно, точно клавиши на баяне, в длинный, до стягивающего талию черкесского ремешка ряд. Но не прошло и минуты, как Журба порывисто вскинулся на лавке, уселся на нее верхом и, наотмашь стеганув плеткой по холодной печке, с которой доносилось сонное посапывание, воскликнул:

— И чего ж это он, ни стыда у него, ни совести, вас цельный день держит в холоде?! Дед! Мирошка Чумак! Товарищ тыждневой!

После долгих шорохов, вздохов, кряхтения и кашля из глубины печи высунулась стриженная ножницами лесенкой, седая, словно намыленная, голова Мирошки Чумака. Заспанные его глаза подслеповато щурились, через всю щеку, пересекая морщины, тянулись беловатые давленные рубцы.

— Ну шо ты расшумелся ни свет ни заря, ну шо ты ще среди ночи надумал? — недовольно проворчал он, нахлобучивая по самые брови свою рваную солдатскую папаху. — И когда ты, сельский председатель, только угомонишься, поутихнешь, нету нам от твоей вечной войны покою, будь она неладна...

Свесив с печи костлявый зад, поболтав в воздухе в поисках опоры жердями ног, Мирошка Чумак на животе сполз на пол и опустился, не переставая ворчать, на корточки.

— Ты, Мирошка Чумак, о своем покое перед старухой распространяйся, а не мне советуй! — в запальчивости, но безо всякой злости, видно, давно успев привыкнуть к подобным словесным перепалкам со старым казаком, выкрикнул Журба. — Ты не мне одному своим отрешением от жизни мозги проел, а и всем хуторянам. Ничего тебе на этом свете не мило, собрался помирать раньше срока, так и выполняй свое намерение в одиночестве на здоровье, да только не вноси, прошу тебя, сумятицу в людские умы гнилой и упаднической насквозь буржуазной своей философией. Уймись, от имени всего хутора прошу, не отравляй своим же землякам-казакам новую жизнь!..

Мирошка Чумак, помаргивая выцветшими ресницами, спокойно, будто ничего и не слышал, полез в карман шаровар за трубкой и китсетом.

— Критикуй, устыжай, отводи напоследок душу, все одно мне завтра утром сдавать дежурство,— набивая трубку, спокойно, без обиды промолвил он.— Кончился мой тыждень — кончилась и твоя надо мною власть, неугомонный ты наш председатель...

— Власть не моя, а советская, и дежурил ты для хутора, а не для меня. Мне ж тебя от всего сердца жалко... — сказал Журба и, повернувшись к Мирошке Чумаку лицом, душевно попросил: — Ну возвернись ты хоть под старость своих лет на жизненные пути, оглянись, вдумайся, в какую светлую эру идем! Ну шо тебе за польза на всех одним своим видом тоску наводить?

— Я все бачу — все суета сует и всяческая суета,— махнув рукой, отозвался Мирошка Чумак.— Шо будет, то уже было, а чего не было — того не будет и во веки веков...

Журба с досадой стеганул плеткой по голенищу сапога, вскочил на ноги, сдернул со скамейки бурку, снова подняв в холодном помещении ветер, и, накинув ее на плечи, повернулся лицом к Рогачеву.

— Идемте в мою хату,— сказал он.— Ночь у меня переночуете, а завтра найду вам подходящую квартиру. Нехай тут замогильный философ один в холоде околеваает, раз он не схотел сходить в плавни за камышом и не протопил печку...

Мирошка Чумак, сидя на корточках, сосредоточенно дымил своей куцей трубкой и не отозвался, не удостоил председателя сельсовета даже взглядом. Пряча улыбку, Рогачев выбрался из-за стола и, попрощавшись со старым казаком за руку, вышел вслед за Журбою на улицу.

Ночь наглухо накрыла хутор покоем. Ни людских голосов, ни пошвиста ветра, ни скрипа брички, ни собачьего лая, ни сонного мыка скотины, ни вскрика птицы — глубокий покой, без единого шороха, без малейшего звука. Тишина. И в этой сторожкой тишине позднего часа молчаливо и величаво выгнулось над хутором пятнистое от звезд небо, перекинувшее от горизонта к горизонту вечную дорогу Млечного Пути. И на его фоне, выветляясь из окружавшей землю темени, высоко в ветвях тополей чернели, будто кубанки былинных великанов, покинутые грачами после выводки птенцов гнезда.

Привыкая со света к темноте, ощупывая ногами ступеньку за ступенькой, Рогачев осторожно, боясь оступиться и причинить боль затылку, спустился с крыльца и ступил на размягченную дождями землю. В своей черной бурке председатель сельсовета сливался в ночи с воронным скакуном, беспокоечно загребавшим в луже копытом воду, и Рогачев не сразу его разглядел. Присев у коновязи на корточки, Журба отвязывал захлестнутую вокруг столба уздечку. Над его кубанкой покачивалось стремя, выbleщенное подошвами сапог до зеркального блеска.

— Ты заявил об убитом в районное отделение милиции? — спросил Рогачев, подходя к скакуну и запуская пальцы в его гриву.

— А то як же ж! Первым делом как прискакал в станицу, утром обещались прислать до нас следователя,— отозвался Журба и вздохнул: — А толку-то что — все одно дождь, небось всякие следы смыл, да и где их искать, раз лошадь бричку из плавней выволокла. Наши плавни — хужее дремучего леса...

— Надо его похоронить с почестями,— сказал Рогачев.

— Схороним, ему теперь спешить некуда... — печально, дрогнувшим голосом вымолвил Журба.— Я для своего друга все сделаю, то перед ним мой долг, я его не уберег, а знал, что за ним давно охоти-



лись, были о том не раз сигналы...— И снова тяжело вздохнув, с горечью и досадой добавил: — А разве я мог за ним уследить, он мою опеку начисто отвергал, насмехался даже, он больше всего на свете трусость презирал...

— Мне в райкоме партии сказали, что у вас на хуторе большая комсомольская ячейка. Это правда? — спросил Рогачев.

— Хотя и небольшая, да ничего, справная, мой друг, теперь уже покойный, ее сколотил, у нас ведь, вам небось сообщили, коммунистов на хуторе нету,— ответил Журба и протянул Рогачеву сыромятный повод уздечки.— Забирайтесь в седло, а то потопнете в своих башмаках в нашей грязюке,— предложил он.

— Завтра соберем комсомольское собрание, нужно будет выбрать нового секретаря,— сказал Рогачев.

В ответ Журба лишь снова тяжело вздохнул. Садиться верхом Рогачев отказался, и они пошли от сельсовета пешком, то и дело попадая в темноте проулка в лужи, молчаливо бредя по жидкой хлюпающей грязи. Журба вел коня за чембур, и тот, отфыркиваясь, дышал им в затылки влажным теплом, пахнувшим свежим сеном, гулко хлопал при каждом шаге в дорожной хляби копытами, точно вынимал из бутылок пробки.

Хутор давно спал — не светило ни одно окно. За плетнями и заборами хаты угадывались по выбеленным стенам, опутанным, казалось, будто сетями маскировки, вьющимися над каждым почти двором лозами винограда «изабелла». На улицу через ограды свешивались ветви кустов сирени и желтой акации. Небо было темным и пятнистым от несущихся туч, с него порою срывались капли дождя.

— Ты что же, другого места не нашел, как к попу меня затащить? — с невидимой в темноте улыбкой спросил Рогачев.— Тоже мне, врача какого нашел...

— А шо! — встрепенулся Журба.— На ту пору самое подходящее было место. Я ж не просто туда вас затащил, я и попу и попадье строго-настрога наказал вас в чувство привести. Ну, само собою, пристращал малость, не без этого! Думаете, было время рассуждать? В той заварухе хлопцы и девчата вместе со мною насилу унесли ноги, всем от баб досталось...

— И поделом,— сказал Рогачев.— Чего надумали! Вам теперь надо перед верующими извиниться.

— Перед народом повиниться я всегда готовый, а перед служителями культа — ни в жисть! — запальчиво произнес Журба.— Мы церковь не трогай, мы в ее дела не вмешивайся, мы ее не забывай, а она? Она каждому хуторянину лезет в душу, и не только с колоколами и молебствиями, а и... Вы слышали, какие святые чудеса у нас тут творятся, письмо Иисуса Христа читали?

— Знаю,— тихо обронил Рогачев,— не у вас у одних такое...

— Та-а-ак... Понятно...— разочарованно, сразу сникнув, протянул Журба.— Чую, без Мирошки Чумака тут не обошлось, его язык когд хошь упредит...— Он долго молчал, шлепая в темноте по лужам, и наконец заговорил снова, тихо и проникновенно:— Лучшего моего дружка убили, та ще и надругались... Мы с ним в армии подружались, в одной роте в боях на КВЖД участвовали. Он меня из-под огня на себе вынес, когда разрывной пулей ранило, а я его тут, в родном своем краю, не сберег... Никогда я себе такого не прощу...

Журба умолк, и они пошли дальше, уже не нарушая хуторской тишины беседой, каждый думая о своем. Рогачев думал о заводе, о доме, о сыне, о трудностях в поселке с хлебом, а Журба — о своем убитом друге. Он мысленно рассказывал о нем тому, кто шел с ним рядом по ночному хутору.

Они — москвич и кубанец — потянулись друг к другу с первых же дней службы в пограничных войсках на Дальнем Востоке. Как и в любой дружбе, трудно сказать, что их к тому привело. Быть может, долгие и тревожные часы, проведенные вместе в нарядах на границе, а возможно, и то, что оба они рано остались круглыми сиротами, потеряв в гражданскую войну родителей, росли без материнской ласки и отцовской заботы, с той лишь разницей, что один из них воспитывался в детском доме, а второй рос в хате темных, не вылезавших из нужды деда и бабки.

Как бы там ни было, но пришла дружба, крепкая, бескорыстная и честная, которой каждый мог бы позавидовать. И когда пролетели годы воинской службы на границе и наступил наконец день демобилизации, то Журба увез своего друга к себе на Кубань погостить. Отъезд гостя в Москву откладывался по настоянию Журбы со дня на день, затем с недели на неделю, потом с месяца на месяц, а в конце концов о нем и вовсе перестали заводить разговор, забыли напрочь. И произошло это оттого, что подвижной, жилистый, русоволосый крепыш с приветливой, даже во сне не покидавшей его лица улыбкой просто и незаметно вошел в жизнь хуторской комсомольской ячейки, стал ее вожаком.

Он стал заведовать на хуторе избою-читальней, которая с легкой руки Журбы именовалась не иначе как Дом культуры. Это была простая турлучная хата несколько побольше обычных, где до революции, при раздельном обучении казаков и иногородных, занимались ребятишки пришлого населения. Вскоре она и на самом деле стала местным очагом культуры. Сюда по вечерам начали стекаться «на огонек» казаки и казачки со всех концов хутора. Новый избач оказался талантливым организатором, неистощимым в выдумках, был находчив, изобретателен, энергичен и трудолюбив до самозабвения. Он создал при хате читальне ликбез и привлек к обучению грамоте учителей и старших школьников. Он организовал драмкружок «Синяя блуза», где сам был за режиссера, сам гримировал участников спектаклей, кроил и шил костюмы, рисовал и строил декорации. Он выпускал стенную газету, выполняя в ней должности и редактора, и корреспондента, и художника. Книга по книге — создал при читальне библиотеку и был ее первым библиотекарем. Жалованье его было слишком скромным, он нередко и голодал, но никто и никогда не слышал от него ни единой жалобы. Его жизни всегда и всюду сопутствовала на удивление всем приветливая и добрая, немного застенчивая улыбка, которой он встречал каждого, кто к нему обращался...

Вот о чем думал и что мысленно рассказывал Рогачеву Журба, шагая с ним рядом по ночному хутору.

Думал он и о другом, припоминая свое полуночное возвращение из районного центра на хутор...

Дело было так. Холодная и по-осеннему темная, несмотря на чистое, в звездах небо, полночь окутывала плавни, когда Журба подъехал к переправе и на пароме переплыл на свою сторону. Вниз по Кубани прошлепал буксирный пароход с баржой, огласив окрестность протяжным басовитым гудком и слышно прокатив вдоль берега жгут пенной волны, — и снова вокруг стало тихо. Где-то вдали перекликались сычи, из чащи камышей доносились шуршание, треск и хрюканье — там, видно, поднималось на водопой и ночную кормежку стадо диких кабанов. Пахло болотной тиной и рыбой.

С высоты земляной дамбы, привстав на стремянах, Журба проводил взглядом мачтовый и кормовой огоньки удаляющегося буксира, оставившего после себя нависший над берегом чадный, пахнущий уг-

лем дым, и с места в намет пустил коня по дороге к хутору. В тишине ночи теперь ему слышался лишь топот копыт да свист ветра в ушах.

И он вначале не слышал, а увидел два полыхнувших друг за другом в стороне от дороги выстрела. Конь под ним взвился на дыбы прежде, чем в камышах упруго прошелестели заряды картечи и прокатился вслед за ними вдогонку слившийся воедино ружейный грохот. Словно захлестнутый арканом, Журба взмахнул руками, откинулся назад и кулем повалился с седла. Храпя и выстилаясь над дорогой в струну, конь в бешеном галопе понес повисшее на стремянах тело, мотая его из стороны в сторону. Но едва иноходец вымахал в открытую степь, как Журба тут же вскинул себя в седло и натянул поводья. Жадно вбирая ходившей ходуном грудью духовитый степной воздух, он весь был охвачен ознобом — не от пережитого страха, нет... От горячившего кровь возбуждения. Прозвучавшие только что в плавнях выстрелы мгновенно перенесли его на далекую границу, где он служил, невольно помогли заново пережить уже было начавшее стираться в памяти особое чувство постоянной боевой готовности. Ему почудилось, что вовсе не ночной туман заволакивал степные балки, а пороховой дым, и не терновый кустарник чернеет неподалеку от дороги, а это несется на него с намерением окружить и взять в плен вражеская конница, и он сам уже не председатель сельсовета, а воин пограничных войск, лихой разведчик, первый на заставе мастер джигитовки.

Выхватив из-под бурки наган, Журба круто развернул коня и, похлопав его по потной шее ладонью, пришпорив, рысью направил обратно в плавни. Он несколько раз проехал в ночном безмолвии к переправе и обратно, обшарил придорожные камыши, где еще стойко держался запах охотничьего дымного пороха. Потом снова выехал на дорогу и долго стоял, затаив дыхание и вглядываясь в темноту, на том самом месте, откуда вначале увидал, а затем уже и услышал выстрелы, но вокруг было полное безмолвие и лишь зудение комаров, сливавшееся в единый гул, нарушало покой глубокой ночи.

Нет, Журба не мог себе даже представить, чтобы ночной случай с ним в плавнях мог стать достоянием всего хутора, — всегда и всем открытый душою, он в отношении самого себя был скрытен и замкнут. Ведь его рассказ могли, как он считал, некоторые люди истолковать как жалобу, а этого он боялся больше всего на свете, потому что — по запавшим в сердце словам его покойного друга — за спиной жалобщика большей частью стоят малодушие, собственное бессилие, желание вызвать к себе сочувствие окружающих. Нет, такое было не в его характере. И подобно этому, он не мог бы пережить и то, если бы кто-то стал невольным свидетелем его последнего прощания с убитым другом. Вернувшись от церкви в сельсовет и выслушав рассказ Мирошки Чумака, он вбежал в полутемный сарай, упал грудью на борт брички и долго, безутешно рыдал не в силах что-либо с собою поделывать. Горе его было настолько жгучим, что, казалось, за те минуты, которые он провел в сарае, выжгло, испепелило в нем все внутри. Однако когда он наконец вышел из сарая и на глазах у Мирошки Чумака садился в седло, ничто не выдавало его состояния — Журба был по-прежнему внешне спокоен, как всегда подобран и как всегда деловит. Только одни лишь красные от слез глаза могли выдать его, но их скрывала низко, на самые брови надвинутая кубанка...

— Пришли, — нарушив молчание, произнес Журба. Он свернул с дороги на обочину и выкинул в сторону руку с висящей на запястье плеткой. — Тут я и живу...

Рогачев окинул взглядом забурьяневший двор без плетня, ворот и калитки, напоминавший скорее заброшенный пустырь, чем жилое место. Из глубины высветливалась облупленными стенами саманная хата,

крытая истлевшим до черноты камышом. К хате углом примыкал небеленый турлучный хлев с настезь распахнутыми дверями. Вокруг ни дерева, ни кустарника — сплошь высокая лебеда и будяки, — из травостоя повсюду торчали темные, будто обугленные пни.

— Пожар тут был, что ли? — спросил Рогачев, сворачивая вслед за Журбою с дороги.

— Да нет, то я сам, как дед и бабка померли, под корень яблони и вишни повырубал, — отозвался Журба. — Одним словом, ликвидировал как частную собственность, потому как не даю ей тянуть меня обратно в капитализм. Я потому и двор разгородил, не к лицу советскому человеку от людей за забором ховаться, пускай все видят, как я живу, перед всеми открыто. Я и замков никуда не вешаю, чего мне от своих же хуторян заширяться?.. — Он умолк, но тут же неожиданно спросил: — А вам когда-нибудь с крестьянским трудом дело иметь доводилось?

Рогачев без труда уловил затаенный смысл вопроса, за которым легко угадывалось крестьянское недоверие к городскому человеку, и, сдержав вспышку невольного раздражения, с подчеркнутой сухостью ответил:

— Пахать и сеять не доводилось, а как растет хлеб, знаю...

— Ну да, отпуск небось проводили в деревне?

— Нет, в отпуске я уже и забыл когда последний раз был, другие дела меня в села забрасывали... И теперь партия меня направила сюда не хлеб учить сеять...

Последние слова он произнес с нажимом, почти в запальчивости, и вопросов больше не последовало. В тишине ночи снова повисло неловкое для них обоих молчание. Но продлилось оно недолго. Журба как ни в чем не бывало взмахнул полою бурки, выпростал из-под нее руку с висящей на запястье плеткой и, отстранив голову коня, шагнул к Рогачеву.

— Та вы не обижайтесь, — сказал он, стискивая через меховую куртку его локоть. — Я не для чего-нибудь такого спросил, для себя интересуюсь, нам же работать вместе. Проходите в хату, она не запертая, а мне треба с конем управиться. На ночь я его зараз не в сельсоветской конюшне, а тут оставляю, чтоб в любую минуту под рукою был, мало ли чего...

## Глава шестнадцатая

Подождав у дверей, пока Журба отводил в хлев лошадь и давал ей корм, Рогачев вслед за ним вошел в настывшие, пахнувшие мышами сенцы, в полной темноте, прислушиваясь к шаркающим впереди шагам, переступил, споткнувшись, порог комнаты. Где-то в глубине хаты за-тарахтел спичечный коробок, чиркнула спичка, за ней вторая, третья...

— Отсырели, окаянные, на нетопленной печке, теперь хоть караул кричи, их не запалишь... — раздался из темноты ломкий басок Журбы. — Придется будить соседей, у них огня разжиться...

— Не ходи, — сказал Рогачев. — Меня на дорогу заводские товарищи снабдили зажигалкой. Что там у тебя — неси сюда.

Он высек огонь, поднес зажигалку к фитилю протянутой ему керосиновой лампы. Журба накрыл коптящее пламя разбитым стеклом, заклеенным пожелтевшим клочком газеты, поставил лампу на длинный дощатый стол, похожий на верстак, и ушел в сенцы. Лампа разгорелась, и из темноты выступили облупленные голые стены, низкий, засиженный мухами потолок и грязный, весь в глубоких выбоинах земляной пол. В углу за печкой стояла узкая железная койка, застланная

грубым домотканым рядом. Из-под него виднелись нестроганные доски. Над кроватью были прибиты гвоздями вырезанные из каких-то журналов два портрета — Карла Маркса и Чернышевского, а на лавке у кровати лежали брошюра «Коммунистический манифест» и потрепанный томик романа «Что делать?».

Рогачев был далек от мысли увидеть у молодого председателя хуторского Совета «богатые хоромы», но унылый сиротский вид пустой комнаты превзошел все его ожидания. К тому же в хате стоял такой промозглый холод, что у Рогачева начало до онемения сводить в сырых башмаках пальцы ног, а по спине пробежали мурашки.

— По-спартански живешь, — сказал он, постукивая башмаком о башмак.

— Не одобряете? А как же иначе! — отозвался из сенцев Журба. — Презираю вещи, уведят они человека от главного, от борьбы за новую жизнь, как щорами глаза застыт!

Он появился на пороге комнаты уже без бурки, красная кавказская его рубаха, перехваченная в талии узким наборным ремешком, вспыхивала в свете лампы шелковыми складками, сверкала длинным рядом перламутровых пуговиц. В одной руке Журба держал ведро с кукурузными кочерыжками, другой прижимал к себе охапку нарубленного хвороста. Он пересек комнату и, швырнув на пол хворост, опустился перед печкой на колени, молча, с блуждающей на лице улыбкой, видно, думая о чем-то своем, необыкновенно светлом, принялся набивать кукурузными кочерыжками топку.

Сунув в стекло лампы согнутую углом полоску газеты, он перенес клубок чадного огня в печку. Вскоре чахлое и дымное поначалу пламя охватило всю топку и, разгораясь все жарче и жарче, с треском и гулом потянулось в трубу. На потолке заплясали багровые отсветы, по комнате, струясь, потекло живительное тепло.

— Вы мечтаете любите? — неожиданно спросил Журба, стоя перед печкой на коленях в своей, чудилось, пылавшей красной рубахе, задумчиво глядя на огонь. — А я страсть как люблю... И всегда у печки, когда она топится, либо у костра на меня такое находит. Обо всем на свете забуду. В огонь уставлюсь, а его самого, хоть убейте, не вижу. Мне будущая жизнь мерещится, до которой мне, может, и не дожить. И такой я ее себе хорошей представляю, что от радости аж дух захватывает. Очнусь, бывает, и чувствую — плачу. И за слезы свои мне перед самим собою не стыдно, потому как уж больно на душе от мечты хорошо становится...

С интересом, молча слушая хозяина дома, Рогачев придвинул к печке единственную в хате табуретку, расшнуровал раскисшие башмаки, поставил их сушиться, а сам засунул ноги в мокрых носках в духовку. Первое время он не ощутил даже тепла, но постепенно оочевенные ступни отошли, разогрелись, и от них, растекаясь по всему телу и клоня в сон, начала подниматься сладкая истома. Суровое, с резкими морщинами по углам крупных губ, осунувшееся лицо его по-доброму. Он, прогнув спину, потянулся, потер слипавшиеся глаза и вслух подумал:

— В тепле человек отходчив...

Журба перевел с огня на Рогачева затуманенный взгляд, наморщил вышуклый, как бок крупной репы, лоб.

— Не одобряете? — спросил он.

— Ты о чем? — не понял Рогачев.

— Обо всем: и что живу так... безо всякой собственности, и что двор разгородил, и замков не вешаю, и о будущем людей на земле мечтаю? Не одобряете, ага?

Рогачев почувствовал, как у него при последних словах молодого

человека, скорее от того тона, каким они были произнесены, дрогнуло и затеплилось сердце. После всего, что ему довелось увидеть, услышать и пережить за сегодняшний день, он, весь собранный, сжатый, словно туго скрученная стальная пружина, готовый к любой неожиданности, вдруг был незаметно обезоружен почти детской непосредственностью хуторского парня. Он и не заметил сам, как в нем бесследно исчезли наполнившие к ночи его душу, но вовсе не присущие его характеру и резкость, и настороженность, и подозрительность, и неуверенность в своих силах. Разомлевший от тепла весь до кончиков пальцев, растроганный чуть не до слез чужими словами, так не вязавшимися со всем тем, что он встретил на хуторе, Рогачев испытал желание встать и крепко обнять собеседника за плечи или же просто хлопнуть его по спине, но сентиментальность была уж и вовсе не в его правилах, хотя она нередко, вопреки здравому смыслу, на него и находила, и он лишь дольше обычного задержал на Журбе участливый взгляд своих усталых добрых глаз.

— Я не сказал, что не одобряю, я сказал, что человек в тепле отходчив, — вымолвил Рогачев, поправляя сползавшие с затылка на шею бинты. — Потому-то, должно быть, у огня к нам приходит желание помечтать. За день во мне набралось столько злости, что подумалось, теперь ее хватит на всю жизнь, а у печки все растаяло, как будто ничего и не было. Для полного счастья мне сейчас недостает только кружки крепкого чая и ломтя хлеба...

Журба вмиг преобразился, мечтательную его сонную вялость сдуло как ветром. Отшвырнув в сторону кочергу, он вскочил на ноги, за метался по комнате, то и дело выскакивая в холодные сенцы и появляясь вновь на пороге с какой-либо посудой или снедью в руках.

На плите появился старый чайник из жести, закопченный до такой степени, что с него уже можно было скоблить смолу, на столе — щербатая глиняная миска, граненый стакан и алюминиевая кружка, искрящийся кристаллами крупной соли брусочек сала, некрашенная деревянная ложка и вилка со сломанным зубцом, несколько мелких луковиц и буханка пшеничного хлеба, из которой торчал всажженный по рукоятку кухонный нож.

— Давно бобылем живешь? — спросил Рогачев, наблюдая за неловкими домашними хлопотами председателя сельсовета.

— Недавно, с демобилизации... Пока на границе служил, хата опустела, чужие люди схоронили деда и бабу. А что? — неожиданно спросил он, вскинув голову. — Не одобряете?

— Хозяйку тебе в дом надо бы, — улыбнулся Рогачев. — Жениться пора...

Журба застыл посреди комнаты, будто примерз к полу. Медленно передвинув с затылка на лоб кубанку, надломив густые черные брови, он поглядел на Рогачева в упор долгим, недоумевающим взглядом. Вся его поза выражала возмущение и протест.

— Да вы что, шутите? — после долгого молчания наконец спросил он.

— С чего ты взял?

— Чудно мне от вас, старшего товарища, такое слышать! Да можно ли теперь, в бурное время, об том даже думать? Партия ломает в душе крестьянина-собственника вековые устои. Дух захватывает только от одного того, в какие революционные преобразования мы живем, да я за новую жизнь хоть сейчас готов принять смерть, а тут... жениться! Вы гляньте на некоторых моих погодков и на их примере увидите всю погибель подобного дела: те самые, кто меня не послушался, пообзаводился семьями, чуть ли не начисто сгинули для мировых дел, от них за версту несет пеленками, а не боевым пролетарским духом.

Они ж позарывались в личные хозяйства, как те кроты, ничего не видят, что творится вокруг. А я себя не жалею, я хочу без остатку быть полезным делу советской власти и жить перед всеми нараспашку... Да нет, то вы в шутку! — неожиданно прервал он сам себя и улыбнулся мягкой, доверительной, мальчишеской улыбкой.

И снова Рогачев ощутил, как толкнулось и сжалось у него в груди сердце. «И откуда ты тут такой взялся?» — подумал он, вновь испытывая желание как сына обнять Журбу за плечи и привлечь к себе. Но и на этот раз он не стал этого делать по той же самой причине — стыдился сентиментальности. Ему вспомнилось, что когда-то по молодости лет он тоже был склонен к ложному аскетизму во имя революции, во имя «мировых дел», что и сам был в ту пору готов на любые жертвы, даже и на добровольную смерть, но когда ему как-то случайно довелось прочитать слова одной видной революционерки, что жить во имя революции гораздо труднее, чем за нее умереть, он многое в своей жизни пересмотрел заново, отбросил все случайное, наносное, ничего общего с настоящей преданностью делу революции не имеющее. Именно поэтому-то он и не стал спорить с оцетинившимся, ершистым Журбою, не стал его переубеждать, а и всего-то что взглянул на него тепло и участливо, с той самой терпимостью, с какой родители смотрят на свое детище, достигшее переходного возраста: минует время, и все станет на свое место! Взглянул, усмехнулся и просто, задушевно сказал:

— Жизнь нам дается одна, и не нужно отказываться от любви и семейного счастья... Никому это не нужно, поверь мне, — ни тебе, ни партии, ни советской власти!..

Журба весь вспыхнул, иссеченное ветрами лицо его почти слилось с алым цветом шелковой кавказской рубахи, на которой, отражая дрожащий свет керосиновой лампы, переливались в длинном густом ряду перламутровые пуговицы. Он бросил на Рогачева недоверчивый взгляд, хотел было что-то сказать, но не произнес ни слова, а только огорченно махнул рукой и, ссутуля плечи, отошел к окошку, уперся ладонями в стену, долго стоял не шелохнувшись, невидяще всматриваясь в ночную темень.

Не ведал Рогачев, да и откуда же ему было знать, какую смуту он посеял своими словами в душе Журбы, какие всколыхнул в нем чувства и как, сам того не желая, больно ранил его сердце, и без того измученное постоянной борьбой с самим собой. Кто из юношей не был переполнен мечтами, не носил в себе сокровенной тайны? Была она и у Журбы, и доверить ее он решился лишь одному человеку — тому, кто разделял его взгляды и поступки и кто теперь одиноко лежал в старом сарае во дворе сельсовета, унеся с собою от всех эту тайну навечно.

Нет, не мог Журба, несмотря на все свое старание, на призываемую на помощь силу воли, на громкие слова вычеркнуть из собственной жизни когда-то пришедшую к нему светлую и чистую юношескую любовь. Поселилась она в нем однажды прочно и свято и жила неподвластная его убеждениям. Кто знает, быть может, теперь, в наши дни, кто-нибудь его и осудит, назовет чудаком, возможно, и не некоторым, а многим сейчас его жизнь покажется причудливой и даже смешной и не вызовет сочувствия, но что поделать, если он был на самом деле таким — тут ничего ни отнять, ни прибавить. Детство его совпало с бурными годами революции и гражданской войны, юность — с годами становления молодой Советской республики. Все это не могло не вдохнуть в него свежего ветра того времени: он хотел жить в ногу с эпохой, стремился стать новым человеком, свободным от всех

пороков, предрассудков и пережитков прошлого, и потому всегда был готов пойти на любые жертвы ради благополучия и счастья других.

Навалившись руками на скосы окошка и загородив его своим телом, задумчиво вглядываясь в кромешный мрак позднего часа, Журба снова, в который уж раз за последние годы, свежо и отчетливо, с горечью и щемящим чувством невозвратимой утраты видел перед собою ту далекую и тоже осеннюю ночь, откуда брала начало, подобно ручейку из затравеневшей, но чистой криницы, и его душевная мука.

Ему припомнилась последняя ночь перед его уходом вместе со своими одногодками на службу в армию. По давней казачьей традиции хутор провожал призывников поголовным хмельным загулом — пили даже в тех хатах, где и не было хлопцев призывного возраста и из которых никто никуда не уходил: «За кумпанию!» Но ни Журбу, ни Пашу не веселило застолье дружеской пирушки, и хотя они сидели в душевной, прокуренной махоркой хате рядом, им казалось, что их все время разделяла друг от друга стена шумного, вразной, говора, звона посуды, громких тостов, пьяных поцелуев и тягучих кубанских песен. Им мечталось побыть наедине, чтобы и помолчать, и душевно поговорить, и посмотреть на прощанье один другому в глаза, чтобы надолго запомнить любимые черты, сохранить их на долгие годы разлуки в памяти. И вконец истомившиеся чужим весельем, не притронувшись ни к налитым рюмкам, ни к разносолу закусок, они выбрались в глубокий час ночи из-за стола, вышли на свежий воздух и молча, взявшись за руки, долго брели по укатанной колесами до блеска дороге, потом по заросшей ковылем степи, вдоль плавней, пока не очутились у старого насыпного кургана, на котором в старину возвышалась казачья сторожевая вышка, а теперь хуторские парни и девчата устраивали по праздникам гулянки.

Степь звенела от неумолчных трелей цикад, перепелиного посвиста и устрашающего зудения комаров, кружащих в полном безветрии над плавнями черными тучами. Из замерших неподалеку камышей доносилось сонное покрякивание диких уток, гогот гусей, всплески гуляющей на лимане крупной рыбы. В предрассветной нахолодавшей поре ночи медово пахли увядшие степные травы, дышала терпкой горечью полынь. Луна висела на чистом небе круглая и белая, как только что вынутый из макитры со сметаной блин. Свет ее заливал всю окрестность прозрачным стылым туманом, он, казалось, даже не лился, а стекал с нее на землю, густой и тягучий. Но когда Журба, чтобы отогнать комаров, наломал сухого камыша и разжег костер, свет луны померк, поднялся кверху и окрасился в багрянец пламени, лизавшего языками небо.

Они уселись на расстеленном чекмене, смотрели на огонь и не нарушали молчания. Молчали не потому, что им нечего было сказать друг другу на прощание, а потому что оба, тяжело переживая предстоящее расставание, боялись простых слов, которые, хотели они того или нет, а должны были коснуться разлуки и их судьбы. И первой отважилась нарушить тягостное молчание Паша.

— Три года не век, — глядя на языки пламени, промолвила она. — Раньше казаки и того дольше служили... Я тебя ждать буду, только скажи...

Подбрасывая в огонь ломкие камышины, вспыхивавшие, будто порох, Журба глухо, преодолевая сдавившую горло сухоту, вымолвил:

— За твои, Паша, слова — спасибо, а только такой жертвы от тебя я принять не могу. Не нужно нам, советским гражданам, перенимать обычаи из темного прошлого. У нас мужчина и женщина во всем равные, а в том, что ты себя словом свяжешь, уже есть подневолье. Не должен один человек другого в чем-либо притеснять, верх над ним



братъ. Я хочу, чтобы ты счастливой весь век свой прожила, ни в чем своей свободы не утратила, на все вольными глазами глядела и чтобы никто и никогда тебя ничем не унизил. Мало ли чего может приключиться за нашу разлуку, сама знаешь, куда еду. А если вернусь, если невестой будешь, приду свататься и верности своей не изменю до гроба, а замуж выйдешь — ни в чем не попрекну, одного только добра желать буду в твоей жизни...

Пока он говорил, Паша не сводила с него широко раскрытых, полных удивления глаз, и они у нее все больше и больше набухали слезами, отражавшими пляшущий огонь костра. Он видел, что она не понимала его, оставаясь глухой ко всем его словам, и лишь время от времени машинально и беззвучно повторяла вслед за ним то, что он произносил, не вникая в суть, едва заметно шевеля сухими, сочно-яркими от тепла и света костра губами. И стоило ему умолкнуть, как она, словно в подтверждение его догадки, грустно и смущенно улыбулась и, отведя глаза в сторону, промолвила слово в слово то же самое, что прозвучало из ее уст всего несколько минут тому назад:

— Я тебя ждать буду, только скажи...

— Ты опять за свое! — в сердцах воскликнул Журба, с досадой швырнув в костер охапку камыша, тут же ярко вспыхнувшую. — Ну, никак мы не найдем об жизни с тобою общего языка, я ж кажу — все у нас должно складываться по-новому, а ты меня в старину тянешь...

Она вздрогнула, подняла на него большие испуганные глаза и, закрыв руками лицо, уронила на колени голову с двумя белесыми, свесившимися в такой же белесый ковыль косами. Но тут же вскочила на ноги, движением гордо запрокинутой головы отбросила за спину косы и, кутая в полушалок плечи, с горечью вымолвила:

— Не любишь ты... Не нужна я тебе, так бы и сказал, а то... — И, направляясь от костра в сторону хутора, уже через плечо обронила: — Ты же мне ни разу в любви своей не признался, не поцеловал даже... и еще упрекаешь!..

«Не поняла, ничего не поняла...» — с горечью подумал Журба, глядя ей вслед.

Так они и расстались. А когда Журба демобилизовался и вернулся на хутор, то ему тут же стало известно, что Паша встречается с батраком Хоруженко, ее одногодком, сиротою Трофимом. Как ни было ему больно, как он ни переживал — своего чувства ничем не выдал, остался верен своему слову, своему взгляду на жизнь и при встречах с Пашей оставался спокойным, приветливым, но далеким и, как всем казалось, равнодушным. И вот теперь простые слова Рогачева все в нем всколыхнули с новой силой...

...На раскалившейся докрасна плите зафыркал, гремя крышкой и пуская к потолку пар, закипевший чайник. По светящимся малиновым отсветом конфоркам с треском покатались во все стороны блескучие и живые, как ртуть, капли крутого кипятка. Хата наполнилась баннным теплом, и тогда еще сильнее Рогачев ощутил запах пшеничного хлеба, умело, по-домашнему, заквашенного какой-то хозяйкой, в меру пропеченного, пахнущего хмелем, и проглотил подступившую слюну.

— Придвигайтесь до стола, будем поспешать вечерять, а то, видать, в лампе кончается последний керосин, — сказал Журба, отходя от окна и снимая с плиты окутанный паром чайник.

Он со стуком, словно чугунную гирю, опустил его на доски стола, потом выхватил из буханки нож и, о чем-то думая, принялся не глядя нарезать в щербатую глиняную миску увесистые ноздреватые ломти, прижимая буханку к груди. Сходя в — в который уж раз за ночь — в сенцы, он вернулся оттуда с начатой плиткой спрессованного до уголь-

ной окаменелости и черноты фруктового чая, молча принялся размывать ее над раскрытым чайником.

— Погоди, не заваривай, у меня в чемодане немного настоящего чая есть,— сказал Рогачев, поднимаясь с табуретки, и прибавил с усмешкой: — Гулять так гулять...

### Глава семнадцатая

Заканчивали ужин почти в темноте, с трудом различая друг друга при скудном мерцании чадившей и все более угасавшей лампы. И уже в совсем круто замешанном мраке, в котором едва угадывались очертания окошек, укладывались спать: Рогачев на железной хозяйской койке, Журба — на придвинутом к стене кухонном столе, на том самом, где у них состоялось ночное пиршество с настоящей чайной заваркой. Завернувшись в свою бурку, как в черный кокон, поскрипев ножками стола, укладываясь поудобнее, Журба тут же затих. В хате послышалось его спокойное и ровное дыхание.

Устало вытягивая на прикрытых ветхим старым рядом досках гудящие ноги, Рогачев тоже надеялся уснуть сразу же, едва его голова коснется подушки, но то ли от всего пережитого за день, то ли от предутреннего часа, готового, похоже, вот-вот выбелить рассветными сумерками стекла окошек, сон не шел.

Рогачев вспомнил, что и вчера в районной хате для приезжих он пробудился в такой же ранний час и уже больше уснуть не смог, и причиной тому были вовсе не горластые станичные петухи, как подумалось ему тогда, а многолетняя привычка подниматься на работу по заводскому гудку в одно и то же время. Басовитый и протяжный гудок всегда раздавался минута в минуту и надолго повисал над рабочим поселком, настойчиво призывая людей на трудовую смену. К гудку бутылочного завода издали присоединяли свои голоса заводы химический и стекольный, а из-за реки Торец — зеркальный. И стоило им умолкнуть, как тут же в сумерках начинали скрипеть двери одноэтажных и двухэтажных кирпичных домов, обнесенных палисадниками и похожих друг на друга, как близнецы, начинали хлопать калитки, и ведущие к бутылочному заводу четыре прямые улицы поселка с засыпанными угольным шлаком дорогами оглашались гулким, все более и более нарастающим перестуком шлер — кустарной обуви на толстой деревянной подошве, предохраняющей от порезов и ожогов раскаленным стеклом. А на высокой круче обрыва по ту сторону реки, в Новоселовке, неподалеку от дощатого, на низких замшелых сваях моста начинали ходить по кругу две старые, слепые, выбракованные из соляных шахт лошади. Они приводили в движение огромное деревянное колесо, мокрое и скрипучее, с жестяными ковшами, непрерывно черпавшими из Торца воду и с плеском, под звон капель, уносившими ее вверх — на полив огородов колонии болгар-переселенцев...

Не одну, должно быть, тысячу верст исходил за многие годы работы на заводе по одной из шлаковых дорог Рогачев, не один десяток износил шлер, но всякий раз, когда он вливался под знакомый, милый сердцу стук самодельной обуви в людской поток и шел плечом к плечу с другими такими же, как он, рабочими к заводским воротам, он всегда испытывал чувство необычного душевного подъема, волнующего и наполнявшего его всего тихой и спокойной радостью. И теперь, вдалеке от родного завода, когда все это припомнилось, у него тоскливо защемило сердце и на душе стало горько и пусто, словно он потерял невозвратно самое дорогое в жизни, не успев как следует его оценить.

Рогачев ворочался на жесткой койке с боку на бок, зарывал лицо в пахнущую сыростью подушку, укрывался с головою успевшей просохнуть у печки меховой курткой — и все напрасно, на сон не оставалось никакой надежды. Под ним ходуном ходили, грохоча и прогибаясь, узкие горбатые доски, и вовсе отгоняя сон.

— Не спите? — неожиданно раздался в хате веселый и свежий, точно умытый, как подумалось Рогачеву, голос Журбы. — Жестко, видать, вам на моей койке...

— Ты же спишь?

— Я привычный! А поначалу и мне было жестко, уснуть долго не мог, но все-таки устоял, превозмог себя!

Рогачев вспомнил роман Чернышевского «Что делать?», лежавший рядом с брошюрой «Коммунистический манифест», усмехнулся и спросил:

— Ты что же это, видать, как Рахметов, закаляешься, что ли?

— Ага, закаляюсь,— встрепенулся Журба и охотно, с детской доверчивостью признался: — Да только где мне до его воли, он на гвоздях, вы ж знаете, спал... Однако и я, честное слово, не хваюсь, уже кое-чего успел достигнуть в направлении своей воли! Сами посудите, табак и самогонку, ну, само собою понятно, и всякое там виноградное вино я для себя начисто из жизни исключил, от частной собственности, как видите, по мере сил освобождаюсь, ну и в другом... личном... тоже себя сдерживаю, не даю разным пережиткам прошлого брать надо мною власть...

Поняв в конце концов, что заставлять себя уснуть насильно не имеет больше смысла, Рогачев перевернулся, загрохотав досками, на спину и осторожно, чтобы не потревожить рану, подложил под затылок свои шершавые, в застарелых мозолях ладони. И все же он нечаянно задел жесткими мозолями бинты, и острая боль пронизала его голову, не отпуская, и он надолго умолк.

— Что ты думаешь об убитом, кто мог совершить такое? — едва почувствовав небольшое облегчение, спросил он.

В темноте заскрипел всеми ножками, с явным, казалось, намерением развалиться на части, под Журбою стол, затем по глиняному полу прошлепали босые ноги, прошуршала бурка — и снова все стихло. С минуту в комнате стояла такая глухая тишина, что Рогачеву почудилось, будто он остался в хате один на один со сверчком, изредка и опасно подающим из-под печки признаки жизни.

Рогачев скорее догадался, чем увидел, что хозяин хаты стоит у едва посветлевшего окошка, и только потом, некоторое время спустя, уже разглядел его в накинутой на плечи бурке, прижавшегося лбом к стеклу.

— Светает, скоро запоют петухи,— неожиданно сообщил Журба, отходя от окна, так и не ответив на вопрос Рогачева. — Мне пора вставать...

Нет, не хвастался Журба — он и в самом деле держал самого себя, как принято говорить, в ежовых рукавицах. Он, в какой бы поздний час ни ложился, заставлял себя подниматься в одно и то же время, ни минутой раньше, ни минутой позже. Ополоснувшись до пояса прямо у колодца ключевой водой, растеревшись до красноты полотенцем, он наскоро выпивал стакан чая с хлебом и отправлялся в сарай сельсовета, где стояла его иноходец. Там он любовно чистил коня, накидывал на его гладкую спину седло и рысью уезжал в степь. Изо дня в день, в любую погоду — ему не могли помешать ни дождь, ни град, ни метель, ни пыльная буря! — на рассвете его можно было видеть скачущим по степи в развевающейся по ветру бурке или без нее, в неизменной красной рубахе, выполняющим один за другим замысловатые

приемы джигитовки. А ровно через час, с первыми лучами солнца, он подгарцовывал к крыльцу сельсовета, пружинисто спрыгивал на землю, отводил скакуна в конюшню. Загрубелое от хлесткого ветра лицо его после джигитовки дышало возбуждением, глаза так оживленно сверкали, были такими горячими, полными огня, словно он только что участвовал в степи в жаркой сабельной схватке с врагами и вышел из нее победителем.

Хуторская жизнь ставила перед молодым председателем сельсовета каждый день столько неотложных задач, что он, переступив порог сельсовета, уже до самой ночи не принадлежал самому себе, нередко забывая даже пообедать: тут тебе и земельный вопрос, и раздел имущества, и хлебопоставки, и обеспечение начальной школы топливом, и своевременное погашение налогов жителями хутора, и распространение крестьянского займа, и регистрация браков, и помощь бедноте, и подготовка к весеннему севу — засыпка семенного фонда, очистка и протравка семян. Тут тебе и ликбез, и работа сельских общественных учреждений — избы-читальни, агропункта, медпункта и ветпункта, и содержание в чистоте хуторских улиц и колодцев, высадка новых деревьев — всего и не перечислишь! А последние месяцы ко всем заботам прибавилась еще и новая, теперь уже самая главная, хотя не сбросишь со счета и не переложить на чьи-нибудь чужие плечи все остальные, — это забота о создании колхоза. Партия приступила в стране к проведению в жизнь решения о сплошной коллективизации.

На хуторе с организацией колхоза пока ничего не получалось — все стояло на мертвой точке. По этому поводу уже перебивало на хуторе немало инструкторов и уполномоченных, самого Журбу почти каждую неделю вызывали для «накачки» и вынесения различных вопросов в райком партии, то в райисполком, но дело от этого с места не двигалось. Как ни бился Журба над решением этой таинственной загадки, понять ничего не мог — всем его действиям, всем стараниям противоборствовала чья-то крепкая невидимая рука, а кому эта рука принадлежала, он разобраться был не в силах, потому что не было у него ни опыта, ни необходимых знаний, ни, самое главное, классового чутья. Для него все жители хутора хотя и делились на бедняков, середняков и кулаков, все равно оставались гражданами Советской страны, его земляками. Со всеми он как представитель власти стремился по мере возможности сохранить добрые отношения, в рамках законной конституции. Оттого-то он и не смог сразу ответить на вопрос Рогачева, несмотря на то, что сам не переставал о том же самом думать все время, как только узнал об убийстве. Зверское надругательство над дорогим ему человеком потрясло его до глубины души, но и из него он не сумел сделать для себя каких-либо действенных выводов, терялся в догадках.

— Ты что же не отвечаешь на мой вопрос? — спросил Рогачев.

— Не имею я права кого бы то ни было раньше срока подозревать, нету пока у меня никаких доказательств. Я ж ненароком могу тем самым того обидеть, кто ни в чем и не виноватый, — сказал Журба и направился к печке, где стояли его сапоги и висели для просушки портянки. — Надо же сначала отыскать следы, а по следам найдут и преступника.

— Охотники говорят, что нечего искать следы, если ты видел самого медведя, — возразил Рогачев, задумчиво глядя в потолок, и немного погодя спросил: — На хуторе много кулаков?

Журба пересек хату с сапогами и портянками в руках, присел на койку, принялся обуваться.

— Вот вы упомянули про охотников, а и они могут ошибиться, —

вымолвил он, натягивая сапог.— Этой ночью — я вам доверюсь одному как другу — один такой в плавнях из засидки на кабанов в меня картечью из двух стволов вдарил, за дикого кабана, должно, в темноте принял... А потом напугался сам и затаился, бедолага...

— Сегодня?

— Ну да, когда я со станицы на хутор вертался.

Рогачев удивленно вскинул на Журбу глаза, с недоверием оглядел его спокойное, высветленное рассветом лицо.

— И ты думаешь, что это ошибка? — спросил он, приподнимаясь на локтях.— Это ж в тебя стреляли!

— И я вначале тоже так подумал, когда джигитовку применил, а потом вернулся на то самое место — никого. А если б в меня стреляли, так могли б еще пальнуть, я ж весь на дороге на виду был,— с улыбкой отозвался Журба и добродушно добавил:— Та и за шо в меня стрелять, я ж никому зла не желаю...

Он встал, постучал сапогами по глиняному полу, плотнее насаживая их на ноги, и, стянув через голову нижнюю сорочку, захватив полотенце, вышел из хаты. Вернулся он не скоро, весь красный от умывания холодной водой и растирания полотенцем, молча принялся одеваться. Накинув на плечи бурку и напялив на голову кубанку, направился к двери. У порога задержался, взглянул на Рогачева.

— Я зараз вернусь, и будем завтракать,— сказал он.— Надо мне насчет похорон распорядиться...

— Ты погоди, сядь-ка,— твердым голосом, исключаящим неповиновение, произнес Рогачев, не спуская с Журбы глаз, и, когда тот присел у порога на лавку, спросил:— Откуда ты тут такой миротворец взялся? Я хочу знать, от кого или из каких таких источников ты набрался подобного благодушия? Ты что, и на самом деле думаешь, что стреляли не в тебя?

— Та давайте мы лучше об том забудем,— досадливо поморщившись, смущенно попросил Журба.— То я вам только одному доверился, еще скажут — хвастаюсь.— И, помолчав, перевел разговор на другое:— Вы о кулаках пытали, так они у нас есть, как и всюду. Но налоги все платят государству справно, ничего за ними такого не наблюдается, мирно вырастают в социализм...

Рогачев при последних словах молодого председателя сельсовета нахмурился, снова откинулся головой на жесткую подушку, подложив под раненый затылок ладони, закрыл глаза. Мысли унесли его за пределы хаты, хутора, края, вернули в родной рабочий поселок, на бутылочный завод, в семью. Опять припомнилась жена, в беспамятстве привезенная на подводе из села, снова встали в памяти длинные очереди у магазинов за хлебом, опустевшие базары, водянистые супы и жидкие перловые каши в заводской столовой, голодные обмороки рабочих у стекловарочных печей, переполненные больницы, детские гробики, которые чуть ли не ежедневно несли на длинном рушнике или просто под мышкой на кладбище то с одной, то с другой улицы поселка...

У него запершило в горле, острая, бросившая в жар боль захлестнула сердце, свинцово затяжелел затылок. Не открывая глаз, он горько, стянув к переносью брови, усмехнулся уголками упрямо поджатых губ и с горечью про себя повторил: «Мирно вырастают в социализм...» Повторил и весь наполнился такой жестокой ненавистью к этим словам, что почувствовал сам, как медленно, стыло бледнеет. Он внезапно ощутил удушье и замер в ожидании приступа раздирающего грудь кашля, вцепился руками в прутья железной койки.

— Партия уже много лет борется с оппортунизмом, а ты, ком-

сомolec, толкуешь о мирном вращении кулака в социализм,— отдышавшись, сказал Рогачев.— Откуда у тебя такое?

Журба вскинул голову, гневно сверкнув глазами.

— Вы меня к оппортунистам не причисляйте, я за партию, за наш народ отдаю жизнь! — запальчиво выкрикнул он.— Слышите, жизнь! Хоть сейчас!

— А я в этом и не сомневаюсь, иначе бы я у тебя не находился,— спокойно и миролюбиво отозвался Рогачев.— Ты думаешь, я сам все понимаю? Нет, я же не партийный работник и не пропагандист, я простой рабочий, стеклодув, и мне, как и тебе, еще никогда не приходилось создавать колхозы. Но я вижу, что кулаки объявили советской власти войну, они решили заморить рабочий класс голодом и потом снова вернуть власть богачей. Я вижу своего классового врага!.. А кто такой оппортунист? Это тот, кто его не видит! Ты сиди, слушай,— продолжал он, заметив нетерпеливый жест Журбы,— я с тобою хочу поделиться своими мыслями, а не в чем-либо тебя обвинять. Мы же будем делать одно общее дело, ты сам же сказал: нам вместе работать. Так вот, когда меня включили в число двадцатипяти тысячников, которых партия направила в деревню проводить сплошную коллективизацию, я перечитал почти все, что по этому вопросу писал и говорил Владимир Ильич Ленин. И осталось в моей памяти, чего мне теперь не забыть до самой смерти, потому что я испытал это в гражданскую войну на своей шкуре, что кулаки самые грубые, самые зверские, самые дикие, как указывал наш вождь, эксплуататоры. Они не раз в истории способствовали возврату власти помещиков, капиталистов, царей и попов. И если мы, советские люди, будем продолжать жить и строить свое молодое государство при мелких, раздробленных крестьянских хозяйствах, хотя и свободными гражданами на свободной земле, нам все равно не избежать гибели, потому что эти самые хозяйства порождают капитализм каждый день и каждый час... И я так понимаю: хотим мы сохранить свое Советское государство — надо продолжить революцию, довести ее до конца и довершить то, чего не могли сделать сразу после семнадцатого года. Нам нужно ликвидировать класс кулаков, создать колхозы, которые обеспечат нашу страну хлебом. Другого пути нет, ты это, пока не поздно, пойми, дорогой мой председатель сельсовета. Мир с кулаком — наша погибель. Это только на первый взгляд кажется, что мы воюем с кулаком за хлеб, а на самом же деле идет решительная, не на жизнь, а на смерть борьба за социализм!..

Рогачев умолк. Молчал и Журба. В хате было тихо, и Рогачев, лежа с закрытыми глазами, продолжал думать о той нелегкой борьбе, которая уже столько лет велась в самой партии после смерти вождя — с троцкизмом, с правыми и левыми уклонистами. С новой силой она вспыхнула теперь, когда на своем XV съезде партия вынесла решение о сплошной коллективизации, когда начала проводить свою политику в жизнь. Генеральная линия партии считала на данном этапе главной опасностью правый уклон. Рогачев понимал это душой и прежде, но, ступив по зову своего сердца, по долгу коммуниста на кубанскую землю, убедился в том окончательно. И какими же ему показались жалкими те партийные работники, которые из-за своей политической близорукости, утраты классового чутья призывали партию не трогать кулаков, а иные даже более того — призывали на них опираться в развитии сельского хозяйства как на «хозяев с большим опытом». К какой катастрофе могли бы привести народ сторонники правого уклона, если бы у руководства партий не находились верные ленинцы, закаленные в революционной борьбе коммунисты?

— Мне подсказывает мое сердце, что тропки и от письма Иисуса

Христа, и от явления божьей матери народу, и от твоей затеи с колоколами, и от убийства хуторского активиста приведут в одно место, — в раздумье произнес Рогачев. — И все это ножи нам в спину, подрыв политики партии в деревне...

Взметнувшись вихрем с табуретки, Журба в несколько прыжков, крылом потянув за собою бурку, подскочил к койке и вцепился руками в железную спинку кровати, словно намереваясь поднять ее вместе с Рогачевым в воздух.

— Видали! — воскликнул он, испепеляя Рогачева заполыхавшим взглядом. — Религия всему виною и есть! Но мы тоже не лыком шиты, от нас смутьяны не скрылись, сидят, голубчики, под замком в амбаре, и она сидит...

— Кто это «она»? — перебил его Рогачев.

— А та, что вас шкворнем рубанула, тетка Ефросинья Чайка...

— Ефросинья?

— Ну да, есть у нас тут такая, вдовая середнячка, все в кулаки норовит выбиться, с ними все больше и якшается. Муж ее есаулом карательной сотни был, зверюга, говорят, и пьяница, в гражданскую войну красные расстреляли. Она всему у церкви заводилой у баб и была. Но вы не беспокойтесь, теперь ей от суда не уйти, могла ж вас и насмерть зашибить...

Не дослушав Журбу до конца, Рогачев рывком, поморщившись от боли в затылке, вскочил с кровати, схватил с табуретки брюки, косооборотку и пиджак, принялся торопливо одеваться.

— Вы что вскочили? — удивленно вскинув брови, спросил Журба. — Вам треба отлежаться...

— С тобою отлежишься, час от часу не легче! — огрызнулся Рогачев, вынимая из духовки сохшиеся башмаки.

Башмаки, заскорузло задравшие тупые носы, внутри были все еще сырыми и никак не хотели налезать на ноги. Сидя на кровати, Рогачев, чертыхаясь, с побагровевшим от натуги лицом делал отчаянные попытки обуться, в запальчивости не замечая, что хозяин хаты уже давно терпеливо держал перед ним на весу за парусиновые ушки пару еще совсем новых, пахнущих кожей яловых сапог.

— Примеряйте мои армейские, может, в самый раз будут, — наконец сказал Журба. — По кубанской грязюке ваша обувка и дня не прослужит, в ней из простуды не выбраться! Берите, не поносить — на-совсем отдаю...

Рогачев поднял на него глаза, смягчаясь, с молчаливой благодарностью протянул к сапогам руку. Они прились в самый раз. С удовольствием, деловито, как это недавно делал Журба, Рогачев постучал подошвами добротных сапог по земляному полу, подтянул голенища и молча направился к выходу, коротко на ходу обронив:

— Идем!

Но у него вдруг, как и в доме священника, перед глазами все поплыло, закружилось, и он, чтобы не упасть, опустился у двери на лавку. Спустя минуту Рогачев беззлобно, сделав даже попытку улыбнуться, вяло махнув рукой, сказал:

— А ну тебя к черту, сам заварил кашу, сам иди и расхлебывай. Что я тебе, нянька, что ли? Ступай и освободи всех немедленно и извинись, обязательно извинись, слышишь? — выкрикнул он уже Журбе вдогонку, когда тот был в дверях.

Оставшись в хате один, Рогачев какое-то короткое время сидел неподвижно, приходя в себя, потом поднялся и, опираясь ладонью о стену, подошел к грязному, в сухих дождевых потеках окошку. На улице было почти совсем светло, и ему не пришлось напрягать зрение, чтобы увидеть Журбу: вот он в покачивающейся, как колокол, бурке

пересек двор, вот вывел из хлева оседланного коня, вот вскочил на него верхом, а вот и направился со двора, понуро опустив голову в низко на глаза нахлобученной кубанке.

Как не похож он был сейчас на того бравого всадника, на всю жизнь, похоже, врезавшегося Рогачеву в память, который с воинственным видом носился на коне за оградой церкви в развевающейся по ветру бурке, в шелковой красной рубахе. Теплое чувство к молодому председателю сельсовета снова овладело Рогачевым. Он поглядел ему вслед оттаявшими, подобранными глазами и вслух по-отцовски душевно произнес:

— Ничего, обомнется, любая наука на пользу...

...Журба вернулся не скоро, и вернулся совсем не таким, каким уезжал со двора. Был он по-прежнему порывистым, жизнерадостным, возбужденным и неумным от бродившей в нем молодой силы. С его приходом в хате все ожило, в ней даже, казалось, стало светлее и уютнее.

Швырнув на койку бурку и кубанку, Журба принялся готовить завтрак, с восхищением, как о ком-то другом, а не о себе, рассказывая:

— Все сполнил, всех выпустил, перед всеми повинился! Ну, посмеялись, та и разошлись. Все обошлось миром. Только от одной тетки Ефросиньи схлопотал по шее, так и то она шутя, безо всякой злости... И, спасибо вам, у самого с души отлегло, право слово...

### Глава восемнадцатая

Свадебное торжество в курене Хоруженко началось затемно.

Еще задолго до рассвета во дворе слышались шаги, приглушенные голоса, около кошары, птичника и свиного катуха замечались керосиновые фонарики «летучая мышь», и вскоре тишина ночи огласилась истошным поросычьим визгом, криканьем уток, кудахтаньем кур, клекотом индюшек, гусиным гоготом, бляением овец и телячьим мыком. Потом все враз стихло, замерло, и только птичий пух, будто снежные хлопья, кружил над двором, напоминая метель, то и дело заново поддуваемый кверху длинными юбками спящих взад-вперед стряпух.

К утру из труб всех печей, какие только имелись в хозяйском доме, хате работников и летних кухнях, повалил густой и гривастый, буланой масти кизячий дым. Зыбко струясь в быстро светлеющем небе, он был прибит потянувшим из плавней ветром книзу и растекся по ближним проулкам и улицам горьковато-терпким туманом, косматыми облачками навис над лужами с отстоявшейся за ночь дождевой водой.

А вслед за дымом какое-то время спустя поднялся над двором и перевалил через высокий забор, распространяясь по сонно-тихим окраинам хутора, такой густой запах запеченной с чесноком, луком и душистым перцем телятины, свинины и баранины, запах жареных гусей, уток, кур и индюшек, что все окрестные собаки будто перебежались. Они, скуля и подывая, подняли истошный лай, перебудораживший весь хутор.

Запах жареного и вареного мяса с каждым часом крепчал все больше и к наступлению полудня, казалось, пропитал весь хутор сплошь — от края до края, от завалинок до верхушек тополей, — дразня и дурманя казачьи головы в предвкушении давно невиданного разгула, суля и хмель и сытость грешной утробе. Даже вода в хуторских колодцах стала отдавать вьедливым духом бараньего сала, чему немало подивились казачки, хлопотавшие по своим дворам по хозяйству.

После полудня ворота куреня Хоруженко распахнулись во всю



ширь, и под звуки гармоней, лихой молодецкий свист, разноголосицу разудалых выкриков и звон бубенцов на улицу выкатились одна за другой шесть расписных, сверкающих черным свежим лаком тачанок — по-свадебному «карет». Шесть пар вороных и серых в яблоках рысаков в начищенной до слепящего блеска сбруе, увитой разноцветными лентами, выстилаясь над дорогой, понесли переполненные тачанки вдоль улицы, оглушив ее галопным топотом копыт. Над всем свадебным поездом, шумным и торжественным, развевались, хлопая на ветру, кумачовые полотнища флагов на новых, видно, выструганных за ночь сосновых древках.

Ядовито-яркие, готовые словно бы вот-вот от лучей солнца вспыхнуть бумажные цветы горели повсюду, где только и на чем только могли держаться: в гривах коней, на чекменях и бешметах, на картузах и кубанках, в волосах казачек, на платках и полушалках, на хомутах и дышлах, на расшитых петухами полотенцах, перехлестнутых через плечи. Все это пестрое многоцветье издалека бросалось в глаза, ослепляло, настраивало на праздничный лад.

На головной тачанке, зажатая с боков девчатами, опустив на грудь голову, красивая в своей скромной покорности сидела в подвенечном наряде невеста, на замыкающей — хорохорился бойцовым петухом среди парней жених. На нем пламенела щегольская малиновая черкеска с позолоченными газырями, перехваченная в талии наборным кавказским ремешком, — с него меж колен свешивался тяжелый кинжал в ножнах черного серебра. Синие касторовые шаровары были заправлены в мягкие, гармошкой сапоги, нагутаалинные до зеркального лоска. Из-под курчавой новой кубанки, лихо заломленной на затылок, клубился жесткий, завитый на нагретом гвозде чуб.

Вся одежда Трофима, насквозь пропахшая в сундуке нюхательным табаком, хотя и была наскоро отутюжена, все равно сидела на нем с той неизбежной мешковатостью, от какой не избавиться никакими силами, поскольку взята она с чужих, более размашистых плеч. Она как будто бы назло бросалась каждому встречному в глаза, всем своим видом, казалось, кричала назойливо и хвастливо о том, что принадлежит совсем другому хозяину, а этому служит всего-навсего по чьей-то милости короткий и тяжкий для нее срок. Но Трофим, увлеченный свадебным вихрем, ничего этого не замечал. Он видел уже себя богатым хозяином, которому все подвластно и все дозволено, и у него перехватывало дыхание от привалившего неожиданно-негаданно счастья.

Увешанные гирляндами бумажных цветов тачанки, набитые до отказа дружками, «бойрами», сватами и свахами, не взяли сразу же направление от ворот на церковь, а, на диво жителям, помчались вначале за хутор, в степь. Поднимая шумом в воздух перепелов, жаворонков, скворцов и даже непугливых кобчиков, загоняя в норы хомяков и сусликов, тачанки обскакали по дорогам и целиною опустелые по осени поля Хоруженко, не пропустив и тех земель, какие он негласно арендовал у хуторской бедноты. Затем они протарахтели мимо выстроенной на пастбищах турлучной кошары, где укрывались в непогоду его пастухи с отарой овец, объехали вокруг стоявшей на холме ветряной мельницы и под все те же залихватские звуки гармоней, песни, свист и гиканье снова ворвались на хутор. Свадебный поезд долго, как было ясно видно, нарочито долго, не раз проскочив с развевающимися флагами мимо сельсовета, каруселил из конца в конец, словно кому-то бросая вызов, пока не миновал все улицы и все проулки. Тачанки угомонились лишь на площади перед церковью, сбившись у чугунной ограды в кучу. Осаженные на всем скаку, кони тяжело всхрапывали, мотая под звон бубенцов головами, раздувая

мокрые бока,— на потемнелых от пота лоснящихся крупах белели прожилки взмыленной пены, дымившейся в стылом воздухе.

Звонарь Амвросий ударил на колокольне во все колокола.

...Трофим не догадывался, да и не могло ему такое прийти в голову, когда у него она шла кругом и без вина, и он все принимал по своей сиротской простоте за чистую монету, что весь этот показной, долгий и путаный путь тачанок до венчального обряда в церкви был задуман и указан его хозяином — он как бы должен был всем показать: «Смотрите! Все смотрите! Это мое! Все мое! Никому не отдам!»

Малограмотному же темному батраку, оглушенному размахом свадьбы и от которого был скрыт истинный смысл ее, думалось совсем обратное. Он все по наивности относил на свой счет и, живя последние часы как в чадном угаре, был твердо убежден, что все делалось ради него одного, что именно ему, молодому хозяину, близкие и дальние родственники Хоруженко, заполнившие тачанки, угождая уже заискивая, стремились показать все его будущие владения. И вот только потому-то все, что возникало отныне у него перед глазами, воспринималось им совсем по-новому, и хотя это хозяйское чувство было для него еще непривычным и странным, оно уже по неписаным законам собственности поселилось в его душе прочно и навеки. И если, бывало, прежде, когда он выезжал с такими же, как сам, батраками Хоруженко в степь, на пахоту и сев и, положив руки на чапиги плуга, окидывая тоскующим взглядом уходящий за горизонт, казалось, не имеющий конца и края надел земли, испытывал всегда перед ним страх, то теперь тот же самый клин земли показался ему на удивление даже малым — слишком быстро его обскакали кони! И о прежней тревожной и гнетущей мысли: «Да можно ли это все когда-нибудь запахать и засеять, хватит ли сил?» — даже и не вспомнилось. Наоборот, Трофим, глядя на хозяйские земли, думал теперь о том, что он молод, полон здоровья и за свою жизнь сумеет прибавить к ним еще столько же — разве мало на хуторе безлошадников, которые за пяток-другой мешков пшеницы с радостью отдадут ему в аренду часть своих наделов! Выстроил он уже мысленно, пока тачанки колесили по степи, и вторую на пастбищах кошару, и расширил за счет соседских дворов свой собственный, и поставил на кургане рядом со старой новую ветряную мельницу...

Ветряная мельница...

Нет, не знал Трофим, не мог знать, да и не способен был о том думать, что можно потерять совесть, загубить свою честь, даже продать черту душу, но нельзя, трудно, почти совершенно невозможно обмануть собственное сердце, изгнать из него любовь не так-то просто. Исушающим зноем опалило его изнутри, острой болью и мучительной тоской до краев налилось сердце, породив безысходность и отчаяние, когда свадебные тачанки стали на сумасшедшем галопе огибать сторожевой курган, на котором возвышался ветряк.

Стоило лишь Трофиму обратить свой взор в сторону ветряной мельницы, на которой он, должно быть, на всю жизнь пропитал легкие мучной пылью, как тут же едва не вскрикнул от охватившего его неведомого чувства, от яркого, словно вспышка, пронизавшего голову прозрения памяти. Из него точно холодным сквозняком выдуло тяжкий угарный дурман, и он, светлея разумом, враз осунувшийся и утративший петушиную напыщенность, пережил заново, в одно мгновение, до мельчайших подробностей последнюю встречу с Пашей, припомнил все, о чем они говорили и в чем клялись на мельнице друг другу.

Он увидал перед собою полные слез ясно-голубые, схожие с незабудками глаза с густыми, длинными и слегка загнутыми кверху черными ресницами, увидал дрожащие, скорбно поджатые свежие губы...

И совсем неожиданно почти физически ощутил на утонувшей в ворота чужой черкески шее теплые, всегда теплые и всегда ласковые руки. И следом за этим отчетливо услышал точно наяву милый голос, то взволнованный и надрывный, то нежный и тихий, то отчужденный и грустный, то безудержно веселый и счастливый, а то до того сладкий и убаюкивающий, что от него, в каком бы ты состоянии ни был, становилось тепло и покойно... И когда все это на Трофима обрушилось, в ушах его зазвучал еще один голос, в котором он не сразу узнал свой, принадлежавший ему, настолько тот был жарким и страстным, с непреклонной убежденностью, что именно так оно и будет на самом деле: «...Никому тебя не отдам, ни на кого на свете не променяю, на самую что ни на есть красавицу, до гробовой доски с тобою не расстанусь, порази меня гром и молния, провались я к сатане в пекло, отсохни язык мой начисто...»

После всего, что Трофиму внезапно привиделось, ему бы спрыгнуть с тачанки на землю и, зажав ладонями уши, чтобы не слышать ни звуков гармоней, ни горластых песен, ни хмельных голосов, пуститься бежать без оглядки через степь в плавни, забраться в самые что ни на есть непроходимые заросли, где бы его ни за что не могла отыскать ни одна живая душа. Но он не спрыгнул, никуда не убежал, а остался покорно сидеть на тачанке. Он, стиснутый с боков дружками и «боярами», лишь когда тачанки проскочили мельницу, обернулся ей вслед и тут же уселся поудобнее — страх перед утратой дарового хозяйства оказался сильнее его любви. Однако давно уже не покидавшее его чувство невосполнимой утраты, опустошенности, тоски, предчувствие беды, готовой вот-вот разразиться, подобно черной буре, уже не оставляло его до самой церкви. Не рассеялось оно и тогда, когда он поднялся рядом с невестой на паперть, вел ее, взяв за руку, по расстеленной ковровой дорожке, под венцом. Его не покидало странное ощущение, что все, что с ним происходило, происходило во сне, и он терпеливо ждал, что неминуемо в конце концов проснется, очутится на своем топчане в хате работников и все потечет как было. И занятый своими мыслями, он прослушал обращенные к нему слова отца Якова и вздрогнул, едва не выронив из рук свечку, когда священник пробасил вторично уже над самым его ухом:

— По доброй ли воле венчаешься, раб божий? Согласен ли ты взять себе в жены рабу божью Клавдию?

Трофима бросило в жар.

— Да! — метнув глаза на лики святых, краснея, прокричал он, как ему показалось, чуть ли не на всю церковь. На самом же деле он трижды едва слышно прошептал: — Да... да... да...

### Глава девятнадцатая

Проводив со двора тачанки, Хоруженко опустил за воротами на врытую под забором скамейку и, жуя урюк, долго сидел в тяжелом раздумье, поглядывая время от времени в конец улицы, где над соломенными и камышовыми крышами хат, вровень с верхушками тополей полоскался в небе, будто в зыбучей морской воде, то волнисто вытягиваясь во всю длину, то опадая на мачту и натуго ее пеленая, флаг сельсовета. С этим постоянно новым, постоянно красным и вечно куда-то летящим полотнищем, хотел того он или нет, а вот уже более, должно быть, десятка лет тесными узами переплелась ему назло его судьба. Именно этот флаг, как он считал, был повинен в том, что одно за другим обрушивались на его голову нежданно-негаданно всякого рода огорчения и беды. В ту самую взбудоражившую всю Россию пору,

когда Журба-старший, первый на хуторе представитель советской власти, привез на волах из Темрюка корабельную мачту со старой рыбацкой шхуны, вкопал ее перед хатой сельсовета в землю и поднял на невиданную высоту флаг,— и покинула Хоруженко спокойная жизнь, та самая, что досталась ему по наследству, как и хозяйство. И мог ли он знать, что на его долю выпадет столько тревог и переживаний, сколько бы не смогли насчитать и несколько поколений его рода, взятых вместе?

Деньгам все можно, деньгам все дозволено, деньгам все подвластно, деньгам все прощается, деньгам открываются все замки и двери! Деньги... Деньги... Все зависит от них, и только от них! Так думал Хоруженко, в этом он был убежден непоколебимо, привыкнув к власти денег с малых лет и не раз в том успев увериться за свою не короткую жизнь. Ничего не поделаешь, как ни молодись он перед огненно-рыжей казачкой Ефросиньей, а за плечами без небольшого шесть десятков. Правда, седина пока пощадила его вислые запорожские усы — крупнолобую голову он зимою стриг под машинку, а летом брил,— однако и сутулость, и грузная, с шаткой валкостью походка, и дряблые мешки под глазами после сна, и глубоко врезанные две морщины меж густых кустистых бровей, и одышка к вечеру давали знать о прожитых годах.

В его ли возрасте сносить тяжкие заботы, ловчить, подлаживаться, менять уклад жизни? Не раз уже, как и всякий в годах, здорового ума человек, видел он в думах своих сытую спокойную старость в крепком своем хозяйстве, мечтал о внуках, продолжателях его старинного казачьего рода, да, видно, как ни прикидывай, не судьба — жизнь распорядилась иначе. По-разному, против его воли, но ушли со двора сыновья, и, хотя он не терял надежды на их возвращение, легче все годы от этого не становилось. А дочка? Что дочка? Отрезанный ломоть — так считалось истари. И теперь эта свадьба!.. Разве такую свадьбу он мечтал устроить любимой дочери? Думал породниться с бывшим атаманом станицы Полтавской, давним своим другом, а что получилось? Атамана самого раскулачили, выслали с семьей на Соловки, ни слуху о нем, ни вестей от него. Давно и навечно была похоронена надежда, рожденная нэпом, когда казалось, что можно приспособиться, можно ужиться с советской властью и «хозяйничать» на свое благо и процветание — хлеб, мясо, молоко, масло, овощи и фрукты народу нужны при всякой власти, без них людям не прожить, ученые пока еще только ищут какие-то таблетки, как пишут в газетах. А пока... Нет, своего хозяйства он даром не отдаст! «Еще померяемся силой, посмотрим кто кого!» Надо только продержаться, полки «наших» уже стоят на границе, ждут сигнала изнутри страны, папа римский готовит крестовый поход, большевикам осталось недолго властвовать, всех до одного скинем в Черное море! Всех до одного, до последнего, никому не будет пощады: ответят за все...

Тягостное раздумье опалило сердце, всколыхнуло в нем незабытые и непрощенные обиды, жгучую ко всему новому ненависть. Хоруженко отвел от развешивающегося над сельсоветом флага замутившийся взгляд и, вздохнув, поднялся с лавки, направился к калитке. Однако не успел он еще и распахнуть ее, как до его слуха донеслись звуки гармонии, но не те, с какими отправились со двора тачанки, а медленные, похоронные, берущие за душу, послышалось чавканье ног по грязной, расквашенной дождями дороге. Он обернулся и увидел, что из ближнего проулка, затопив всю улицу, вышла толпа людей, двинулась мимо его куреня в сторону хуторского кладбища.

Впереди похоронной процессии в своей неизменной косматой бурке, доставшейся ему в наследство от отца, один вид которой всегда

вызывал у Хоруженко недобрые воспоминания и предчувствие новой беды, шагал председатель сельсовета Журба. Он нес перед собой на вытянутых руках выцветшее кумачовое знамя с облупившимися меловыми буквами: «ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!» Рядом с Журбою Хоруженко увидел высокого сухопарого мужчину в меховой потертой куртке, новых яловых сапогах, густо смазанных дегтем, и суконной кепке, из-под которой белели бинты,— ему не составило большого труда догадаться, что перед ним и был тот самый приезжий рабочий, о ком он уже успел наслышаться и за каждым шагом которого следил через верных ему людей неусыпно.

Пряча за нахмуренными бровями любопытство, невольно вспыхнувшее в его глазах, Хоруженко осторожно, искоса оглядел, ощупал приезжего с ног до головы, будто примериваясь силой. А когда процессия поравнялась с его двором, он снял свою лебяжью папаху, двумя руками прижал ее в скорби, как малое дитя, к груди белой черкески с горевшими на солнце золочеными газырями.

Пара костлявых серых волов, натужно налегая на ярмо, пустив меж передних ног на грязную дорогу вязкие слюни, тащила за собой старую скрипучую арбу. На положенном поперек ее боковин дощатом помосте, высоко над головами людей один в голубом небе покачивался сосновый гроб с красной, отливающей шелком крышкой. На весь гроб, видно, не хватило пламенно-алой казачьей рубахи Журбы— Хоруженко узнал ее по цвету и, должно быть, в спешке не срезанному ряду перламутровых пуговиц,— не укрыла она всю крышку, кое-где виднелись желтоватые, со слезками смолы голые доски. Он перевел глаза на Журбу— из-под бурки у того теперь выглядывала вместо щегольской рубахи застиранная красноармейская гимнастерка.

Следом за арбою брел худощавый подросток в потрепанной буденовке с нашитой матерчатой звездой и длинном, до пят, видно, с отцовских плеч рваном зипуне. То и дело поправляя движением головы шлем, сползавший ему на глаза, подросток, угрюмо сдвинув белесые брови, растягивал мехи потрепанной гармошки и сосредоточенно, со старанием начинающего музыканта перебирал худыми пальцами белые клавиши. Но несмотря на затрапезный вид гармониста, на неказистый вид гармони— не чета свадебным баянам!— гармошка в руках подростка неожиданно для всех издавала мощные и чистые звуки. Похоронная музыка лилась, вернее плыла по улице под аккомпанемент множества ног; она, суровая и печальная, наполнила собою все окрест и, казалось, заставила утихнуть ветер, застыть на месте одинокие облака, вытянуться и замереть вдоль обочин, точно в почетном карауле, пирамидальные тополя.

Само собою ли так получилось или же было задумано ранее, однако напротив двора Хоруженко похоронный марш вдруг оборвался, и школьники, а за ними и хуторская молодежь— девчата и парни, прошли мимо стоявшего смиренно у своих ворот хозяина в немом молчании, тесно сомкнув ряды. Молчаливо проковыляли вслед за ними и старики со старухами, приставшие к колонне молодежи по дороге, влекомые неумным людским интересом к таинству смерти. В наступившей тишине слышались только шаги, шаги и шаги. Но едва последний человек миновал двор, как словно по чьему-то мановению снова, уже вдали, заиграла гармонь и над растянувшейся по всей улице толпой взлетел хрипловатый басок Журбы:

Ты умер, товарищ, на славном посту,  
Ведя на борьбу миллионы...

Хоруженко, сузив в прищуре глаза, холодно поглядел вслед похоронной процессии, нахлобучил на голову папаху и, криво ухмыльнувшись,

шлись в усы, ударом плеча распахнул калитку. Двор его, кипевший с ночи, жил по-прежнему как ни в чем не бывало своей отгороженной от улицы суетной жизнью, бурно готовился к встрече гостей и тачанок из церкви: от кухонь к кладовым и обратно сновали разжарившиеся у печей стряпухи, нанятые на дни свадьбы батраки и батрачки, выкачивали из погребов бочки с вином, солеными арбузами, огурцами, помидорами и капустой, моченым виноградом и мочеными яблоками, накрывали льняными накрахмаленными скатертями столы, заполнившие все пространство от дома до амбаров, расставляли тарелки и рюмки, раскладывали ножи и вилки. Во дворе стоял звон посуды, топот ног и оживленный говор.

Хоруженко окинул все вокруг довольным взглядом и, вынув изо рта обсосанную косточку, перевел глаза на крышу дома, где возвышался на гребне воинственный запорожец. Похожий на своего хозяина, казак — который уж год! — стоял на своем посту верным стражем, угрожая всему и всем на свете вскинутой над головою кривой саблей.

### Глава двадцатая

С похорон Журба и Рогачев вернулись в сельсовет.

Лавки, на которых утром возвышался посреди хаты гроб, стояли уже на своих местах вдоль стен, земляной пол был чисто подметен, кумачовая скатерть со стола выстирана и выглажена, печь натоплена, и даже из углов под потолком исчезла бахрама закопченной паутины. Были заботливо вымыты пыльные с лета, в дождевых потеках окошки — сквозь них теперь в комнату вливались слепящие лучи осеннего солнца!

— Вот это тыждневая! Вот это я понимаю, сразу видать, шо заступила на дежурство хозяйка! — воскликнул Журба. — Спасибо тебе, тетка Ефросинья, уважила...

— Ты дывысь, який племяш выискался, всю жизнь мечтала! — отозвался из глубины хаты грудной насмешливый женский голос. — Раз наступил мой черед тыждневать — в грязюке сидеть не стану. Не думай, не тебе, советской власти уважила. За меня мое дальше сыновья отдежурят, а я на свадьбу должна, не обессудь...

— Да ты, тетка Ефросинья, не сердчай за старое, ну ошибся я, так повинился же, пропади они пропадом, те колокола, — вешая на гвоздь бурку, миролюбиво откликнулся Журба. — Это скажи товарищу приезшему спасибо, он на тебя зла не поимел. А по мне, так я бы ни за что не выпустил, сослал куда подальше. Это ж надо до чего озверела — на человека руку подняла!

Войдя следом за Журбою в сельсовет, Рогачев с уличного света не сразу разглядел в простенке меж окон, за легшим на стол лучом солнца статную огненно-рыжеволосую казачку. Но еще прежде, чем ее увидал, лишь услышав знакомый, как оказалось, не позабытый за столько лет голос, он неожиданно для самого себя, чего даже и не ожидал, ощутил то особое волнение, которое неизбежно при встрече с дорогим тебе человеком после долгих лет, где и радость, и настороженность, и нетерпение, и страх разочарования, и добрая надежда сливаются воедино. Хотя Рогачев и думал, когда ехал в эти места, о возможной встрече с Ефросиньей и в душе надеялся, что она состоится, он никак не предполагал, что будет так глубоко ею взволнован.

С зачастившим сердцем он рванулся вперед, пересек луч солнца и остановился перед казачкой, с трудом переводя дыхание.

— Здравствуй... Фрося... — сказал он, сам не расслышав своего голоса.

За все эти годы, что они не виделись, она почти совсем не изменилась. Быть может, только резче стали черты ее смугловатого, скуластого лица да слегка округлилось, оплыв от плеч до бедер жирком, крупное и сильное, дышащее здоровьем тело. Но ее карие, точно желуди, в узком, по-восточному, разрезе век глаза утратили и свою былую робость, и чистую незащищенность, и залегший в них, на самом дне зрачков, постоянный испуг. Они смотрели теперь на Рогачева, как и на все вокруг, в упор, дерзко, с вызовом и все-таки с напускной — от него это не ускользнуло — храбростью скорее отчаяния, чем уверенности.

— Ну, что же ты, Фрося? Здравствуй! — повторил Рогачев, протянув ей руку.

Глаза казачки округлились, выдав растерянность; она, вспыхнув, залилась густым румянцем, охватившим незагорелую за воротом сатинового бешмета шею, и из всколыхнувшейся, заходившей ходуном ее груди, подобно стону раненого, выплеснулось:

— Не може того быти!

Она закрыла лицо руками, потом бессильно уронила их, как плети, и в смятении, загнанно метнув взглядом по сторонам будто в надежде на какую-то подмогу, со слезами на глазах выбежала из сельсовета, протянув за собою до дверей запах высушенной полевой ромашки.

Рогачев догнал ее далеко на улице, у гряды корявоствольных тополей с грачинными гнездами на верхушках, загородил собою дорогу. Она прислонилась спиной к стволу ближнего дерева, устало опустила веки и, отвернув в сторону голову, перебирая в пальцах кисти накинутаго на плечи полушалка, цветастого, как у цыганок, глухо спросила:

— Чего тебе? Чего увязался?

— Узнала? Чего ты такая?

— Какая?

— Ты думаешь, я забыл, что обязан тебе жизнью?

— А воротился зачем? Мою загубить?

— Опомнись, что ты говоришь? Кто тебе мог такое внушить?

— Ни в какой колхоз я не пойду и хозяйства своего ни за что не отдам! Слышишь, не отдам! Не бывать по-твоему!

— Да что ты, успокойся, никто тебе никакого зла не желает и не причинит, — с улыбкой сказал Рогачев, упираясь рукой в ствол тополя и тем самым как бы преграждая Ефросинье отступление. — Хочешь жить, как жила, — живи, не хочешь вступать в колхоз — не надо, дело добровольное, хозяйничай сама, единолично. Не поняла, к чему призывает крестьянство партия сегодня, — поймешь завтра, коллективизация не на один год, а навсегда. Но зачем же себя распалать ненавистью к новому? Злоба — плохой советчик, она человека делает слепым, дурманит хуже водки...

Она вскинула на него глаза, прищурилась.

— Уже учуял? Тебе-то что за печаль?

— Мне ничего, ты себе сама хозяйка, — ответил Рогачев и перевел разговор на другое. — Вижу, на свадьбу торопишься, идем, я тебя провожу.

— Свадьба не волк, в лес не убежит, — покривив губы, отозвалась Ефросинья и после недолгого молчания, окинув себя взглядом, призналась: — Переодеться мне еще надо...

— Ну что ж, провожу до дома. Не возражаешь?

— Провожай, коль охота, дорогу не стопчешь...

Рогачева поразили порядок, чистота и уют, которые он никак не ожидал встретить у давно овдовевшей казачки. Всю переднюю часть двора укрывал вьющийся виноград. Рядом со старой саманной хатой

под истлевшим камышом стояла новая, хотя и тоже саманная, но уже крытая оцинкованным железом, на кирпичном засмоленном фундаменте — она слепила свежей побелкой, окна ее, ровно обведенные по стене синькой, поблескивали протертыми до родниковой прозрачности стеклами. Конюшня, коровник, свиной катух, кошара, погреб и рубленый амбар были тоже побелены, они протянулись вдоль высокого плетня до самого сада. К ним от дома вели выложенные красным кирпичом дорожки, по бокам которых отцветали поздние розы, гвоздика и мальвы. Во всем на дворе чувствовались зажиточность, хозяйский глаз, неутомимые руки.

Достав с притолоки ключ, Ефросинья сняла навесной замок, отодвинула массивную железную задвижку, ногой толкнула внутрь некрашеную дверь. Из глубины хаты запахло лимонами и геранью.

— Проходи в хату, гостем будешь, а только угощать тебя мне часу нету, — насмешливо промолвила она. — В другой раз как-нибудь...

— И на том спасибо, — сказал Рогачев, окидывая взглядом светлую и чистую горницу с лимонными деревцами в приземистых кадках на деревянном, выскобленном и вымытом до желтизны полу. — Не такой, Фрося, я представлял себе нашу встречу. Изменилась ты...

— А ты будто остался таким же?

— На себя со стороны не глянешь...

— А ты и не гляди! Живи, как живешь, и других не учи, не встречай в их жизнь, своего им не навязуй, так-то оно праведнее будет!

Рогачев снял кепку, ладонью пригладил на макушке вихор. Взгляд Ефросиньи скользнул по его забинтованной голове, и она умолкла. В горнице стало слышно, как стучат на стене в соседней комнате ходики. Он перехватил ее взгляд и усмехнулся:

— А рука у тебя, Фрося, того... тяжелая...

Стоя у зеркального шкафа, Ефросинья распустила на затылке пучок своих огненно-рыжих волос, расплела толстую косу и принялась ее расчесывать роговым гребнем. Волосы под гнущимися зубцами издавали легкий треск, они, волнисто струясь, сплошь закрыв ее лицо, спадали чуть ли не до колен, и от них исходил запах полевой ромашки. Рогачев вспомнил, что и тогда, в то далекое время их первой встречи, они тоже пахли ромашкой, потому что она мыла их настоем высушенных цветов, которые сама собирала и заготавливала впрок в разгар сенокоса. И оттого ли, что он об этом вспомнил, или просто оттого, что рядом была та самая женщина, с которой когда-то накоротке связала его судьба и которая, как теперь он почувствовал, все эти годы оставалась в его сердце, на душе у него стало вдруг удивительно спокойно, и его невольно потянуло на откровенность. И как-то так получилось само собою, естественно и сердечно, что он, пока Ефросинья причесывалась, а затем в соседней комнате, не закрывая дверь, переодевалась, рассказал ей о себе почти все: и как он до этого жил, и какая случилась в его семье беда, и почему он оказался на хуторе. И его простые слова, и приметная напряженность волнения в его голосе, и, самое главное, доверительный тон, с которым он все это рассказывал, нашла, как бы там ни было, тропинку в смятенное сердце Ефросиньи, всколыхнули в ней самой прежнее, казалось, давно забытое, заставили взглянуть на прожитый путь по-иному, будто бы со стороны. Она слушала Рогачева внимательно, не пропуская ни единого слова, сочувствуя и в душе за него переживая, и в то же самое время, как порою бывает при чужом рассказе, в ее собственных мыслях отчетливо, с мельчайшими подробностями протекала своя, внезапно припомнившаяся жизнь.

...Ефросинья родилась в бедной казачьей семье, из шестерых детей она была старшей. Отец и мать с рассвета и до темна — в степи, на



своем клочке земли, и все домашнее хозяйство лежало на ней одной, старшей...

Видела Ефросинья, отец с матерью выбивались из последних сил, белого света не замечали, от зари до зари трудились в поте лица, а нужда их двор не покидала. Год от года семья жила все хуже и хуже, не заставило себя долго ждать и то время, когда стали перебиваться с хлеба на воду, а вскоре и вовсе пришлось коротать дни впроголодь — еле-еле до нового урожая дотягивали, да и то на отрубях и лебеде, на жесткой, как кость, макухе.

Однажды по весне черная буря закрыла, будто копотью, солнце, налетела на степь, пронеслась по посевам и подняла в воздух с облаками густой пыли их большую часть, унесла невесть зная куда. У семьи Ефросиньи вся надежда была на уцелевший клочок, каким-то чудом не затронутый бурей, на него молились, его оберегали, да все напрасно: пришла одна беда — жди другую! Не успели хлеба налиться восковой спелостью, как подул сухой «астраханец», он опалил своим горячим дыханием колосья пшеницы, сморщил зерно и вышелушил на раскаленную, точно печь, землю. Но и на том не ушла беда со двора. Станичный кулак, в кабале у которого уже давно находились родители, сославшись на недород, на будто грозящее ему разорение, угнал за долги волов и корову. Вся семья валялась, обливаясь слезами, у его ног — не помогло. А потом за налоговые недоимки пустили с молотка и хату-завалюху. Так и распалась семья, разметало всех по разным сторонам, как перед этим всходы озимой пшеницы черной бурей...

Долгие годы прожила Ефросинья в наймичках. Горек чужой хлеб и тяжелы побои. Нет, никогда она не забудет, как, наломав за день на жаре в поле спину, она до утра не смыкала глаз, укачивая хозяйских детей. А чтобы она, не дай бог, не уснула да не опрокинула коляску с ребенком, хозяйка заставляла ее взбивать всю ночь коровье масло, шелушить кукурузу, перебирать фасоль или чинить старые чувалы. На рассвете же снова в степь, снова дотемна гнуть спину на чужом поле за кусок хлеба и миску борща.

И кто знает, как бы сложилась судьба Ефросиньи, на чьем хозяйском дворе она покорила бы своей старости, не надели ее природа по-мужски недюжинной силой и выносливостью, на диво приметной, броской степной красотой кубанских казачек. К двадцати годам она так пышно расцвела, так захорошела лицом и налилась телом, что перед нею поблекли все первые невесты станицы. Увидал ее на базаре сын станичного атамана — и потерял голову.

Против воли отца, не пожелавшего породниться с «голью перекаточной», с бездомной семьей батраков, он обвенчался с Ефросиньей на хуторе Прикубань тайно и уже с молодой женою явился пред очи родителей. Атаману ничего другого не оставалось, как сменить гнев на милость. Гнев унял, но невестку в дом не принял: «Где венчались, там и плодитесь!» Он купил молодым на хуторе усадьбу, выделил из своего хозяйства пару лошадей и пару волов, дал корову, поросенка, несколько штук овец, кур, уток и гусей — и благословил на самостоятельную жизнь. Отделил и как острой саблей перерубил дорогу — ни их к себе в гости не звал, ни к ним не ездил.

Ефросинья же и на том была счастлива без меры. Она стала хозяйкой — чего ей еще желать? У нее от радости не переставала кружиться голова, перехватывало дыхание, когда доводилось ей по какому-либо поводу промолвить: «моя хата», «мой двор», «мои лошади», «моя корова» или «моя земля», «мой сад»... С невиданным рвением, позабыв о покое, отказывая себе и в сне, и в еде, и в нарядах — во всем, она словно одержимая принялась за хозяйство. Как ни тяжела, ни

однообразна, ни беспросветна потянулась ее жизнь, Ефросинья не могла нарадоваться на свою судьбу, благодарила за нее бога, ставила на молебнах в церкви угодникам-спасителям свечки. Не замечала, да и не хотела замечать, в какую рабскую кабалу собственного хозяйства попала, как иссушилась и черствела ее душа, переполнялась ненасытной жаждой наживы. Не было детства — пролетела незаметно и юность, пролетела на сладкой каторге надежды. А надежда у Ефросиньи была одна — разбогатеть, чтобы встать вровень с теми, на кого она еще недавно гнула спину, от кого сносила обиды. «Гляди, Фроська, неровен час, надорвешься, на всю жизнь себя скалечишь!» — предупреждали ее соседки. Да где там! Она принимала их слова за зависть, весело отмахивалась: «Ничего со мною не станется, я двужильная!»

Но хвастовство хвастовством, а непосильный труд на поле, на дворе и по дому даром с рук ей не сходил. Три года подряд она рожала то на пахоте, то на сенокосе, то прямо в хлеву мертвых детей. Ей бы унять себя, не надрываться, начать другую жизнь, а она о том не хотела и слышать. Чем больше крепло ее хозяйство, тем становилась она ненасытнее, росли ее запросы, подхлестывали желания. Ей не давала покоя, наводя ужас, не покидавшая ее ни на час, ни на минуту память о том, как в одно лето разорились вконец родители, как из бедных хозяев стали совсем нищими, пошли по миру. И, опасаясь повторения подобного, страшась неурожайного года, она изо всех сил стремилась себя обезопасить нажитым богатством.

Постепенно, исподволь, неприметно пришла к Ефросинье скупость. В душе ее поселилось, не отпуская, ощущение нависшей над ее хозяйством какой-либо беды, начали преследовать по ночам во сне кошмары. Пробуждаясь в холодном поту, она подолгу лежала с открытыми глазами рядом с храпящим мужем, настороженно улавливая чудившиеся ей звуки и шорохи, шаги и голоса. То ей казалось, что кто-то крадучись ходит по хате, роется в сундуках, увязывает узлы, то слышался скрип ворот и топот угнанных лошадей, то доносилось из глубины двора скрежетание амбарного засова, то... Да мало ли страстей, от которых немели руки и ноги, стыло, обливаясь кровью, сердце. Доводя себя надуманными страхами до отчаяния, Ефросинья вскакивала с кровати, с топором в руках обходила двор, проверяла замки. Изо дня в день их становилось все больше и больше. Они висели повсюду — на сундуках, на кладовке, на шкафу и комодке, на всех пристройках, на погребе и воротах и даже на колодце с дождевою водой во дворе, но покоя по-прежнему не было, по-прежнему не покидало ее беспокойство. И целиком занятая своим хозяйством, за трудом и хлопотами она недоглядела, пропустила, как и когда разладилась, дала трещину и пошла под уклон ее семейная жизнь. А когда спохватилась, то сама поняла — поздно!

У мужа с некоторых пор завелись дружки, стал он погуливать, принимал участие во всех попойках и кутежах, пристрастился играть в карты. По целым, бывало, неделям не заявлялся домой — жил у приятелей в станице. Возвращался на хутор всегда опухший, требовал на опохмелку вина, а на выплату очередного карточного долга — денег. Опохмелившись, кричал о своей загубленной жизни, укорял ее прежней бедностью, попрекал рождением мертвых детей и, случалось, вымещая на ней злость от проигрышей в карты, избивал до беспомысленности.

Молча, терпеливо, на удивление соседям, Ефросинья сносила все — и бражный загул мужа, и побои, и незаслуженные оскорбления, и его измены на виду всего хутора. Никто не видел ее слез, никто не знал, как до ломоты холодело ее сердце от одного лишь сознания, что он проигрывал и проматывал нажитое ее усилиями, ее потом, ее загрубелыми до роговых мозолей руками. К вынужденному смирению Ефро-

синью толкал страх за свое хозяйство, она боялась потерять то, что привыкла именовать словом «мое» и без чего уже не представляла себе жизни. Мысль о том, что она может снова стать батрачкой, что вновь ей придется скитаться по чужим дворам, гнуть спину на чужом наделе земли, убивала в ней малейшее чувство протеста, склоняла к покорности.

А когда ей наконец удалось благополучно разрешиться двумя рыжеголовыми, похожими на нее как две капли воды близнецами, то она, казалось, и вовсе превратилась в смиренную тихоню, по-монашески набожную, молчаливую и замкнутую. Глядя на нее, никому и в голову не могло прийти, какая смута творилась в душе молодой матери, какую жуткую вынашивала она тайну и какой страшный будущий грех замаливала перед иконами, не пропуская ни одной церковной службы.

Хладнокровно, ни в чем не перечая мужу ни единым словом, Ефросинья, прикидываясь ласковой и угодливой, изо дня в день, из ночи в ночь спаивала его мертвецки, доводя до белой горячки. И ее план уже было почти удался — муж таял на глазах, стал ко всему безразличным, отстранился от всех дел, от всего на свете — только пил да спал. Он оброс волосами, будто отшельник, исхудал так, что на него без содрогания не могла смотреть даже сама Ефросинья. Дни его, казалось, были уже сочны, но разразившаяся империалистическая война повернула жизнь по-своему.

Едва вестовой с красным флажком на пике обскакал округу — знак о мобилизации, — как на хутор нагрянул со своей войсковой свитой станичный атаман. Проведя на плацу казачий смотр, он зашел к валявшемуся на кровати в пьяном беспамятстве сыну, постоял, подумал и, ни словом не обмолвившись с невесткой, не пожелав даже взглянуть на близнецов-внуков, увез его к себе домой. За несколько месяцев выходил, откормил и, справив коня и снаряжение, проводил с казачьим полком на фронт. С той поры и стала Ефросинья солдаткой, а вскоре, после революции, и вдовой...

Стоило Рогачеву, излив душу, умолкнуть, как тут же спутались мысли Ефросиньи и оборвалась нить ее воспоминаний. Слушая Рогачева, она и не заметила, как заплела расчесанные волосы в тугую косу, как закрутила ее в огненно-рыжий большой пучок и укрепила на затылке шпильками и двузубым перламутровым гребнем — подарком Хоруженко. Когда он замолчал, она стояла в дверях, прислонившись к косяку округлым плечом. На ней ладно сидели, обтекая сильное тело, атласный кремовый бешмет и длинная, в крупную клетку вишневая юбка — из-под нее выглядывали носки черных начищенных сапожек. Высокую грудь облегалы связки разноцветных стеклянных монист, а мочки маленьких, прижатых волосами к голове ушей оттягивали большие, червонного золота, полумесяцем серьги.

— Вот и все, Фрося, — сказал Рогачев, встретившись с ней взглядом и поднимаясь из-за стола. — Не скрою, напросился я к вам на хутор не потому, что тут мне кулаки вырезали на спине звезду и у меня с ними свои счеты. Мы, коммунисты, не мстим — просто наступило время совершить то, чего нельзя было сделать сразу после революции, но что было нам завещано Лениным. Меня, Фрося, потянула в эти места надежда тебя встретить, захотелось узнать о твоей судьбе... может, помочь в чем...

Ефросинья горько усмехнулась.

— Поздно же ты схватился...

— Я понимаю, виноват перед тобою, но не мог я тогда с тобою проститься, не мог ждать до вечера. На меня наша разведка наткнулась — с ними и ушел... А потом завертела на своих дорогах жизнь,

понеслись дни за днями. Думаешь, не вспоминал? Да что теперь о том говорить, ни к чему тебе мое покаяние...

— Сиди, чего встал?

— Пойду я, тебе на свадьбу пора.

— Сиди, успеется. Скажи, вина выпьешь? Со мною...

— Спасибо, но я вина не пью.

— Чего так? Впрочем, бог с тобой, я и одна выпью, а тебе из погреба холодного молока достану. Садись, я мигом.

Не прошло и минуты, как она вернулась. В одной руке несла запотелую кринку с молоком, в другой — соленый огурец, который надкусывала со смачным хрустом, вытряхивая всякий раз из него, прежде чем поднести ко рту, рассол прямо на пол — боялась закапать новый бешмет. Глаза ее увлажнились и весело поблескивали, уголки губ подрагивали в добродушной ухмылке. От нее пахло холодом погреба и виноградным вином.

Поставив перед Рогачевым кринку и граненый стакан, она зашла со спины, положила ему на плечи руки и долго стояла неподвижно — тихо и молча. Рогачев слышал ее затрудненное дыхание, слышал и стук ходиков в соседней комнате.

— Запал ты тогда мне в душу, сама не заметила, как такое случилось, — нарушила наконец затянувшееся молчание Ефросинья. — И, на мою беду, почуяла я в себе такое не тогда, когда тебя в плавнях выхаживала, а потом... когда ушел ты... Я в ту ночь одна в пустом шалаше просидела, слезами вся изошлась... — Она вздохнула, сняла с его плеч руки, отошла в сторону и с напускным весельем расхохоталась: — Что это такое со мною, старею чи шо, в воспоминания ударились! Ты про мои слова забудь, то, прожитое, уже будяками поросло, не сыскать дороги...

Рогачев поднял на нее глаза и, смущенный ее словами, остро переживая свою старую вину, чувствуя, что краснеет, с надеждой спросил:

— Может, хоть тропка еще осталась?

Ефросинья покачала головой.

— Нет, Николай, не осталась...

— А имя мое не забыла?

— Ты же мое помнишь?

— Я — другое дело, ты мне жизнь спасла, я его до могилы обязан помнить.

— Раз спасла, раз чуть не спровадила на тот свет, стало быть, сквитались, никто ни у кого не в долгу, — снова взглянув на забинтованную голову Рогачева и отводя глаза в сторону, промолвила Ефросинья.

— Это простая случайность, не для меня же ты тот шкворень припаса, — сказал Рогачев. — Забудем о том навсегда.

— Мне по сердцу, что ты зла не помнишь...

В хату с улицы донесся колокольный перезвон. Ефросинья прислушалась и, сдернув со спинки стула кремовую с алыми маками шаль, накинула ее на плечи.

— Амвросий во все колокола ударил, стало быть, молодые из церкви на паперть вышли, — сказала она. — Мне пора, я посаженная мать, их должна у ворот встренуть..

— Что ж, пойдем, мне тоже пора в сельсовет. Мы с Журбою батрачко-бедняцкий актив там собираем.

— Придется вам у двоих заседать...

— Почему?

— Так весь же хутор на свадьбу приглашенный, поглядела б я, кто до вас зайвится!

— Кому надо, тот и явится, — сухо обронил Рогачев.

— Про молоко ты чего ж, забыл? Пей, помнится мне, ты его раньше любил,— перевела разговор на другое Ефросинья.— Худой ты дюже, поправляться тебе надо. На квартире у кого будешь стоять, у Журбы? Я тебе с моими хлопцами парного присылать стану.

— Я не худой, я жилистый,— улыбнулся Рогачев.

— Оно и видно! — отозвалась Ефросинья, ласково глядя ему в глаза, и, помедлив, пригласила: — Ты заходи, Коля, дорогу теперь знаешь...

Рогачев вскинул на нее глаза:

— Ты ж сказала, что дорога заросла будяками?

— Не лови на слове... Сама не знаю, что со мною... — тихо вымолвила Ефросинья, направляясь к двери.— Замутил ты своим приездом весь белый свет, будто на каком-то распутье я очутилась, сама не своя стала... В глазах темно и на душе — ночь...

### Глава двадцать первая

По своему размаху свадьба превзошла все ожидания хуторян.

Несмотря на то, что к буйному и бесшабашному разгулу по любому поводу в кубанских степях привыкли с давних пор, такого пиршества не помнили даже самые дремучие старики. Что-то, а пображничать — у каждого казака в крови, и толк в том понимает всякий. Берет свое начало тяга к загулам издавека, из глубины веков, когда после походов и сражений казаки по неделям теряли удалые головы в хмельном угаре: до хрипоты горланили песни, до одури плясали гопака, смертельным боем состязались на кулаках и глушили стаканами кислое домашнее вино, клянясь собутыльникам в верности до гробовой доски, меняясь конями и оружием, хвастаясь один перед другим своими заслугами и шрамами...

Помнил о таком и Хоруженко и на это рассчитывал, устраивая свадьбу дочери. Знал он — так уж повелось исстари,— что если у кого гулял казак, то, случись в том надобность, пойдет он за хозяина двора в огонь и в воду, а надо будет — отдаст не задумываясь в сабельной рубке и самую жизнь. Таким, ничего не поделаешь, выковался казацкий характер, не в одну сотню лет взращенный на рубежах извечных тревог — Сечи Запорожской, а затем на «дарованных царицею таманских землях», как сами о том с гордостью оповещали кубанцы селившихся на окраинах их станиц и хуторов пришельцев с дальних земель.

Прибывшие на свадьбу гости из окрестных мест, родственники и знакомые, забили тачанками, линейками, бедарками и бричками перед сельсоветом всю площадь. Они стояли впритык друг к другу, подперев небо густым частоколом поднятых вверх оглобель. Площадь пропиталась запахами конского пота, сена, колесной мази, дегтя, кожаной сбруи. В воздухе не умолкая стоял перестук копыт, хрумкий хруст овса, ржание и неутомонный щebet воробьиных стай, слетевшихся сюда на свежий навоз, казалось, со всей Кубани. Опоздавшим на площади места уже не было, и они распрягали свои упряжки на соседних улицах и в проулках.

Гостей набралось столько, что нечего было и думать разместить их всех в доме и даже на таком большом дворе, каким славился Хоруженко. Собранные чуть ли не со всего хутора столы пришлось расставить и в хате работников, и в амбарах, и под навесом для машин, и в саду, и на приусадебном винограднике между рядами лоз. Накрытые льняными скатертями, они гнулись под тяжестью посуды с вином, под блюдами и тарелками с закусками, под горами пирогов и белыми

ломтями ноздреватого, как швейцарский сыр, хлеба, под корзинами с фруктами, разжигая аппетит прибывавших и прибывавших на свадьбу гостей.

Но все шло по часам, как и положено, с соблюдением обряда. От паперти до тачанки-«каretty», на которую молодые теперь уже сели вместе, они прошли через живой коридор, образованный хлопцами в казачьей форме. Для полного ритуала не хватало лишь сабель — их положено было скрестить над головами обвенчанных. Польшал по обычаю и костер в воротах, через который промчалась «каretty» с молодыми, оставив за собою в хвосте свадебный поезд. Была у ворот и охрана, потребовавшая за въезд выкуп. И отец с посаженной матерью встречали молодых у крыльца, и благословили их иконами спасителя и матери божьей, и обсыпали их на счастье и сытую жизнь с головы до ног отборной пшеницей — гарновкой, смешанной с серебряными монетами. Были и девочки, усевшиеся на места жениха и невесты и уступившие их молодым тоже только за выкуп. Не забыла и невеста, опускаясь на свой стул, забросить подол подвенечной фаты на стул жениха, чтобы он на него сел, — на случай, если кто-либо вздумает ее «украсть».

Все было... Было, как и положено... Только не было веселья, легкого и свободного, присущего всем счастливым свадьбам...

Правда, лишь до первой рюмки!

В доме пировали хуторские и окрестные богачи, а потому и самые почетные и самые желанные гости. По одну сторону стола сидели бородатые и усатые казаки в шафранных, малиновых, синих, белых и черных чекменях, пахнущих от сундуков, как и одежда на Трофиме, табаком и нафталином. По другую — казачки, стареющие, уже в годах, но напудренные, нарумяненные и надушенные, в ярчайших кофтах и юбках, увешанные сверкающими монистами. Они не просто сидели, а хорохорясь одна перед другой, восседали, важные и напыщенные, будто святые на иконах.

Молодых, как и положено, поместили на почетное место, под обрза. На другом конце стола расположился сам хозяин в атласном красном бешмете, перехваченном в давно оплывшей талии кавказским ремешком, выложенным белой резной костью. Распаренный духотой горницы, красный, как и его бешмет, он весь лоснился сытым довольством, пышал жаром — казалось, поднеси к его лицу спичку, и она вспыхнет. По бокам Хоруженко сидели его давние и самые близкие друзья — бывший станичный атаман, еще крепкий, жилистый, высохший, как мумия, старик, убеленный сединою, и священник отец Яков в бархатной фиолетовой рясе, с обвисшим на тяжелой золоченой цепи кованным из серебра крестом.

Трофим впервые в жизни сидел за одним столом с хуторскими и станичными богачами, о чем еще несколько дней тому назад не мог и мечтать, и весь обливался жарким потом. Он и робел оттого, что не знал, как себя вести, и смущался по всякому поводу, и терялся, готовый провалиться под землю, когда гости кричали «горько!» и ему приходилось вставать и целоваться с Клавдией, — и все-таки, несмотря ни на что, был счастлив. Одно лишь сознание, что все эти солидные бородачи и их разряженные молодящиеся жены собрались сюда из-за него, батрака-сироты, что он теперь стал тоже, как и они, хозяином, всем ровня, туманило ему голову, наполняло томительно-сладостной радостью. Все вокруг было ему по сердцу, все сидящие за столом казались настолько хорошими, дорогими и милыми, что только боязнь сделать что-нибудь не то и не так, вызвав тем самым гнев хозяина, смиряла его жгучее желание вскочить со своего места и броситься к каждому с распростертыми объятьями. Охваченный новым, неведомым ему чув-

ством, напрочь забывший о Паше, он даже к Клавдии не испытывал прежней неприязни. Пронизывая тюлевые занавески, на Клавдию падали солнечные лучи, и предательски яркий свет оттенял на ее лице, несмотря на толстый слой самодельных «мазил» и пудры, каждую рябинку, открывал красноту кожи на месте выщипанных и подведенных карандашом бровей, выдавал нанесенный помадой румянец и тщательно припудренные под восковым венчиком фаты прыщи на лбу. Но если прежде, когда Трофиму доводилось смотреть на лицо Клавдии, все это вызывало в нем физическое отвращение, то теперь, в состоянии охватившего его восторга, безотчетной любви ко всем окружающим, он не замечал ее недостатков. Даже более того, тихая, смиренная, молчаливая и задумчивая, какой и полагалось быть на свадьбе невесте, неловко подогнувшая под стул короткую ногу, она неожиданно вызвала у него чувство жалости, сострадания, и он, нащупав под столом ее влажную руку, слегка ее пожал, приветливо улыбнувшись. И тут же мысленно попробовал себя сам убедить: «Ничего, привыкну, она добрая... Ко всему можно привыкнуть... с лица воду не пить...» Подумал и залпом выпил стоявшую перед ним граненую рюмку водки.

— Кушайте, дорогие гости, кушайте,— потчевал гостей Хоруженко.— Хозяйки у нас в доме нету, живем мы с дочкой сиротинушками, так что не обессудьте за малый разносол, угощайтесь чем бог послал!..

В горнице становилось все более душно и шумно. Не прошло и часа, а куда и подевалась недавняя чопорность! Распаленные вином и сытостью, расстегнувшие от жары все что только было прилично, казаки и казачки уже безо всякого приглашения хозяина сами наполняли свои рюмки, накладывали из блюд и мисок лакомые куски зажаренных до румяной корочки, с хрустцой, гусей, индюшек, уток, кур и молочных поросят, тянулись через весь стол, макая рукава в рассолы, к соленым огурцам, пылающим помидорам и арбузам, к увесистым, как утюги, пирогам с мясом, печенкой и капустой с яйцами.

В горнице стоял неумолчный звон посуды, шорох одежды, смачный хруст хрупких костей домашней птицы на зубах и все более шумный, вразнобой, оживленный — кто во что горазд! — разговор. И среди общего шума, перекрывая его, то на одном, то на другом конце стола порою раздавались невпопад хмельные, во всю пьяную глотку выкрики:

— Горько! Та горько ж!

— Тю, бисова душа, чи у вас водка с польнею, чи шо?

— Го-о-о-орька-а-а!..

— Це дило треба подсластити!..

И Трофим в ответ на выкрики покорно поворачивался лицом к Клавдии, всякий раз при этом пламенно вспыхивавшей до корней волос и устремлявшей на него похотливо-блескучие глаза, через силу прижимался губами к ее мелко дрожащим, холодеющим, должно быть, от нетерпеливого желанья, томившего ее в ожидании ночи, напряженным губам. На миг притихшая горница взрывалась оглушительными хлопками, разноголосым хохотом и топотом ног. И снова:

— Го-о-о-орька-а-а!..

— Ой, боже ж мий, ну хто ж так челомкається?! — не выдержав воскликнула уже подгулявшая, раскрасневшаяся Ефросинья, выбираясь из-за стола.— Глядит, желторотые скворченята, як надо любитися!

Опрокинув на пути стул и трахнув об пол разлетевшуюся на мелкие осколки рюмку, она метнулась из конца в конец горницы, и, изогнув по-змеиному гибкое тело, уронила себя на колени Хоруженко, обвила рукой его бычьей, налитую кровью шею, и надолго, примяв усы, припала к его губам. И уже под общий смех, одобрительные возгласы

казаков и осуждающие взгляды ревнивых казачек она переметнулась на колени священника Якова, ожгла долгим поцелуем его и тут же скользнула к бывшему станичному атаману и вытянулась на его коленях, откинув на пол руки, закрыв будто в сладком изнеможении глаза. Не успели все трое опомниться, а она уже стояла посреди горницы, по-озорному улыбаясь, сверкая глазами, уперев кулаки в широкие, растянувшие юбку бедра. И неожиданно расхохотавшись, звонко, хмельно выкрикнула:

— Ну шо, бачили? Учитесь, пока тетка Фросинья пьяная!  
Над столом взлетел высокий мужской голос:

Ой, доки ж мы, браты милы,  
Ой, будемо спаты,—  
Чи не чуєте, як плаче  
Рядна Кубань-маты...

Старинную казачью песню поддержали дружно, разноголосым хором да с такой силой, что кое-где зазвенели на столе пустые, сдвинутые попарно рюмки, но Хоруженко поднялся с места и помахал над головою рукой, недовольно нахмурившись.

— Ни, зараз такое спивать не треба,— сказал он, с усмешкой обводя гостей многозначительным взглядом.— У нас красная свадьба, с тачанками и флагами, и давайте спивать революционные песни! Ну хотя б оцю, чи шо? Забув, як называється...— И запел:

Вихри враждебные веют над нами,  
Темные силы нас злобно гнетут.  
В бой роковой мы вступили с врагами,  
Нас еще судьбы безвестные ждут...

Никто из гостей слов не знал, подхватить песню не смогли, не знал ее до конца и сам Хоруженко — ему когда-то, где-то и почему-то запомнился всего лишь один начальный куплет,— и за столом произошло замешательство. Досадливо махнув рукой, Хоруженко наполнил до краев рюмки отца Якова и бывшего станичного атамана водкой и, чокнувшись с ними, с маху выплеснул свою рюмку в рот. Раздирая за ножки зажаренного в сметане, истекающего соком курчонка, негромко предложил:

— Нехай гости тут гуляють сами, не станем их стеснять, а мы ходимте до моей молельной, там то ж самое... есть шо и выпить, есть шо и закусить... Там и побалакаем...

Едва Хоруженко покинул дом и вышел на крыльцо, как из горницы полились слова родной, дорогой его сердцу, выдававшей на глаза слезы песни:

Ой, доки ж мы, браты милы,  
Ой, будемо спаты,—  
Чи не чуєте, як плаче  
Рядна Кубань-маты...

Во дворе веселье шло вовсю, шумно, с накалом. Гуляли здесь широко, независимо и раздольно — по вековым казачьим традициям. Вино не на словах, а на самом деле лилось рекою — бочки из подвалов на середину двора выкатывались одна вместительнее другой. Любая ярмарка могла бы умереть от зависти, доведись ей глянуть на пестроту одежды гуляющих гостей. Ей было далеко и до многоголосого шума двора, не знала ни одна из них и таких жарких страстей, которые разгорались и гасли здесь же. Тут все, разгоряченные вином, в общем гаме, переходящем в гул, уже давно друг с другом не разговаривали, а перекрикивались, чтобы уловить хотя бы единое слово, спорили с пеной у



рта чуть ли не до драки, ссорились не на жизнь, а на смерть, но зато и мирились так трогательно, целовались с таким при этом неистовством, взасос, что у каждого постороннего начинали чесаться губы. Гулянье всего-то только и начиналось, а хмель уже сморил не одну слабую на вино голову — пьяные спали мертвецким сном в пожухлых лопухах под высокими помостами амбаров, куда их спроваживали соседи по столам, чтобы они не мешали пировать остальным, еще далеко не утратившим силу в единоборстве с зеленым змием. Из конца в конец двора, с виноградника и из сада несло одновременно столько песен, что нечего было и думать их все пересчитать. Гармони и баяны тоже разошлись вовсю — они играли каждый сам по себе и больше для тех, кого вино потянуло не на спор, и не на песни, и не на сон, а на пляску.

Хоруженко спустился с крыльца во двор и тотчас же попал в тесное окружение гостей. Две дородные пышнотелые казачки, празднично разодетые, со сбившимися на плечи пестрыми полушалками, дробно выбивали каблуками разноцветных сапожек — желтых и синих — лихую цыганочку. Гармонист, сидя верхом на пустой бочке, с цыганочки переходил на припевки, и тогда какая-нибудь одна из казачек подавала голос:

Як на горки, на гори,  
Там деруща комары.  
Два деруща,  
Два смеюця,  
Два убитые лежать...

— Гуляйте, дорогие гости, пейте и кушайте досыта. Ни в чем себе не отказывайте, не обижайте хозяев, — сказал Хоруженко, разлив по лицу улыбку и пробуя выбраться из круга. — Примите от меня и от молодых большое спасибо, что оказали нам честь, уважили, пришли поздравить. Мы такого не забывали и не забудем, щиро вас дякую...

Перед ним неохотно расступались, каждый норвил показаться ему на глаза, пожать руку, сказать доброе слово или же просто коснуться его одежды. Находил и он для всех в ответ доброе пожелание, заставлял всех улыбаться меткому своему замечанию, беззлобной шутке. Гости вязко следовали за ним толпою по двору, готовые, казалось, в любую минуту подхватить его на руки и нести высоко над головами, выказав тем самым свою безграничную любовь и преданность. Нет, не ошибся Хоруженко со свадьбой — мягчит сердце казаков вино, забывают они и про обиды и про многое и многое другое.

— Ларион Степаныч, благодетель ты мой, дай я тебя обниму, не побрезговай, — бормотал над ухом Хоруженко, обдавая его винным духом, следовавший за ним по пятам пьяный седоусый казак в рваном чекмене. — Ты прикажи только, и я в огонь и воду, хоть на смерть! Ты вникни, какой я верности человек? Потому как люблю тебя и уважаю... Ты мне простил мой долг, и я теперь за тебя помру, а раскулачивать не дам. Вот я какой казак... Идем с тобою выпьем того напитокку, шо дружбу скрепляет...

— Щиро дякую, милый друже, не запомню и я своего долга, услуга за услугу, добро за добро, — с улыбкой вымолвил Хоруженко, обнимая за плечи седоусого казака. — Тильки чего це мы будем считаться, кто кому помог, у всех нас, казаков, пупки повязаны суровой ниткой, наш общий долг проявлять друг о дружке заботу, под одним небом ходим и одна под нами земля...

Он обошел все столы, не забыл и тех гостей, которые гуляли в саду и на винограднике, посидел с кем нашел нужным, перекинулся по душам словом, не один раз чокнулся и пригубил за здоровье молодых стакан с вином и вернулся в дом, гудящий от топота пляски. В горницу

заходить не стал, а прямо с террасы направился на свою половину, тихо приоткрыл, оглянувшись по сторонам, дверь молельной комнаты.

Отец Яков и бывший станичный атаман были уже на месте. В ожидании хозяина дома они стояли у окна и через густые тюлевые занавески молча смотрели на гуляющих во дворе гостей. Обоих точно подменили — от недавнего миролюбия и веселости на их лицах не осталось и следа, оно сменилось печатью озабоченности, нелегкими, по всему видно, мыслями.

Сбросил с себя маску щедрого хозяина и Хоруженко, едва закрыл за собою на ключ дверь. Он перекрестился в сторону распятия, грузно опустился на тахту, до пола примяв ее своей тяжестью. Отец Яков и бывший станичный атаман уселись у окна, по плечи погрузившись в жесткие, плетенные из лозы кресла. В молельной комнате долгое время стояла глухая тишина, все трое молчали, не глядя друг на друга, занятые каждый своим делом: отец Яков, выкатив на грудь жирный второй подбородок и сцепив на округлом животе руки, крутил пухлым и белым большим пальцем вокруг другого, такого же белого и пухлого; бывший станичный атаман поочередно оттягивал книзу свои и без того обвислые седые усы; а Хоруженко, ссутулившись, уперев в колени локти, привычно гонял языком за щекою обсосанную косточку урюка и задумчиво, отсутствующе обводил глазами иконостас.

Накануне свадьбы через верных людей из Новороссийска Хоруженко снова, как когда-то из Тамани, неожиданно-негаданно, давно потеряв на то всякую надежду, получил известие о старшем сыне, и что бы теперь ни делал, о чем бы ни думал, тот все дни преследовал его неотступно, занимал целиком все мысли. Он стоял перед глазами как живой, но только виделся теперь, как ни странно, не таким, каким был в последнее свидание в Тамани — молодым, статным, задиристым, под сильным хмельком казачьим офицером в белой черкеске, в белой папахе и на белом же скакуне, с ног до головы увешанный драгоценным оружием, а таким, каким явился во сне в одну из предсвадебных ночей.

...«Поднимайтесь, батько, а не то проспите все на свете! — сказал Илья, входя в спальню Хоруженко с высоко поднятой над головою керосиновой лампой. — Вы нас ждали — мы пришли. Гляньте, сколько казачьего войска я вам привел на выручку из-за границы!»

Хоруженко вскочил с кровати, в одном исподнем белье прошлепал босыми ногами по крашеному полу к окну, волоча за собою штрипки кальсон, и, загородив от света лампы ладонями лицо, прильнул к стеклу. На дворе было еще темно, но край неба на востоке уже тронула заря, она полыхала над горизонтом, слизывая кровавыми языками звезды, будто там, за сторожевыми курганами, разгорался большой пожар. В отсветах костров на фоне светлеющего неба поблескивали казачьи пики, сверкали над точильными брусками, роняя искры, сабли и кинжалы.

«Добре, сынку, добре... — вымолвил Хоруженко, вытирая рукавом исподней рубахи текущие по щекам в усы слезы. — Заждались мы вас до смерти, думали, уже и не явитесь, а вы в аккурат успели, в самое время пришли... спасители наши...»

«Это еще не все, мы авангард, а следом за нами идут регулярные казачьи полки, основная сила, и уже за ними — войска под знаменами римского папы, крестоносцы. Они затопят кровью всю Русь, ни одного антихриста-коммуниста в живых не оставят, — отозвался Илья. — А как ваши казаки? К выступлению готовы?»

Хоруженко поморщился, как от зубной боли, досадливо махнул рукой.

«Где он на нашу голову взялся, тот приезжий рабочий, все нам

карты спутал,— с горечью вымолвил он.— Мы тут с батюшкой Яковом такое задумали, что от нашей местной власти и помину б не осталось, все б казаки за нами пошли... У нас для такого дела и оружие есть, и винтовки, и пулеметы, и патроны к ним, с гражданской войны еще в церкви припрятано. Я через верных людей председателя сельсовета с комсомолом на снятие колоколов толкнул, с того бы все и должно было начаться, а тот приезжий рабочий у церкви очутился — планы наши порушил...»

«Не переживайте, за все теперь расцветаетесь»,— сказал Илья.

Он сидел, развалясь, нога за ногу, на кожаном диване и курил дорогую заморскую, с золотым ободком на мундштуке папиросу. Хоруженко видел, что перед ним его старший сын, и не верил своим глазам. От бывшего красавца офицера не осталось и следа. За эти долгие годы разлуки Илья превратился почти в старика — он облысел, лицо его, худое и небритое, запыленное в дальнем походе, сплошь покрывали морщины, черные отцовские глаза ушли, как и у самого Хоруженко, под надбровные дуги, сухо и гневно горели. Уголки тонких губ нервно подрагивали, когда он после глубокой затыжки вынимал изо рта дымящуюся папиросу.

«Ну, нечего нам тут точить балясы, ходимте до войска, пора начинать рубать коммунистов. Кто вас тут забижал?»

«Да я уже с одним через верных казаков сам расправу учинил, с комсомольцем-избачом...»

«А еще от кого пришлось стерпеть обиду?»

«Петрусь меня обидел, со двора ушел... В Краснодаре на заводе токарем работает...»

«Младшего брата я уже порубал! Еще кого надо?!»

«Сын того Журбы, что я в Тамани прикончил, тут верховодит...»

«Его я тоже порубал!»

«А командировочного рабочего?»

«Порубал!»

«И когда ж ты управился?» — недоверчиво спросил Хоруженко.

«Долго ли умеючи! К тому сколь годов за границей готовились, за тем же ж сюда и с войском пришли,— зевая и проводя морщинистой ладонью по лысому желтому черепу, лоснившемуся в свете керосиновой лампы, как перезрелая тыква под дождем, отозвался Илья.— Но запомните, ничего за будь здоров вам иностранные государства делать не станут, за усе запросють плату, так там заведено. И нам треба будет не скупиться и отдать им шо пожелают, они до земель России издавна свой интерес имеют, а за то нам помогут возвернуть обратно на трон русского царя-наследника. Только вы, батько, кажись, в Тамани имели на то свои возражения — не хотели допускать на Русь иноземцев. Так какое на то теперь будет ваше решение?»

Стоя в исподнем белье посреди спальни, Хоруженко ребром ладони, точно саблей, рассек впереди себя наискось воздух:

«Та хай ей грець, той России, нехай жруть ее хоть усю с потрохами, нам и одной Кубани хватит! Стори оно все начисто, провались в тартарары, захлебнись кровью, потопни в потопах, шо хочь сделайся, а лишь бы иноземцы моего двора не тронули... Чуешь, не зачипили б — м о е!»

Пробудившись в поту и слезах, Хоруженко долго лежал в темноте с открытыми глазами, уставившись в потолок, и тяжелые думы, навеванные странным сном, одна горше другой не дали ему уже уснуть до самого утра. Сон не только растревожил изболевшее по старшему сыну сердце, всколыхнул бывшее, приглушенное временем к любимому чаду отцовское чувство, но и наполнил душу такой неизбежной к нему жалостью, будто и на самом деле состоялась их встреча. С того самого

часа, сколько он ни пытался, никак не мог освободиться от поселившегося в его душе диковинного чувства — Илья теперь виделся ему уже не как прежде молодцеватым, на белом коне, офицером, а худым, сморщенным, лысым старцем с упрятыми под надбровные дуги жесткими, точно навеки оледеневшими глазами...

Однако была в том сне и добрая сторона. Богомольный с малых лет, веруя во всякие приметы и отроду мнительный, Хоруженко, как и всякий бы на его месте смертный, уповающий на бога человек, охотно принял сон за доброе предзнаменование и еще сильнее прежнего утвердился в благополучном исходе противоборства гибельной для него коллективизации. И хотя он понимал, что сон породила радостная, полученная с оказией весть о старшем сыне — жив, здоров, служит в казачьем войске, которое вот-вот должно выступить на родину, — он все равно приписывал ему божественное истолкование. Тем более что и сон и весть об Илье тесно переплелись в его голове с сообщениями газет, будто глава католической церкви римский папа Пий XV собирает под знамена Ватикана всех верующих для крестового похода на коммунистов. Оба эти известия пришли как нельзя вовремя, ибо Хоруженко, хотя в том и не желал сам себе признаться, начал уже терять надежду на лучшие времена. Но после ночного свидания с сыном, хотя и во сне, после раздумья до самого рассвета он укрепился в мысли, что для спасения своего хозяйства ему во что бы то ни стало следует продержаться в прежнем его положении на хуторе — продержаться, пока не вспыхнут вслед за Кубанью восстания и на Украине, и на Дону, и в Поволжье, и в Закавказье, где действуют, как он знал, надежные и верные присяге царю люди. Вот именно тогда-то и пришла к нему мысль о свадьбе как самое легкое и доступное ему решение вопроса — разгул на его дворе мог на какое-то время отодвинуть угрозу его хозяйству.

Нарушая долгую, ставшую всем троим в тягость тишину моленной, Хоруженко, хлопнув ладонями себя по коленям, молодцевато крикнув, поднялся с тахты и перенес из дальнего угла на середину круглый, покрытый скатертью столик. На нем среди различной снеди возвышался его любимый хрустальный графинчик с плавающими в нем тремя красными перчинами.

Он наполнил настоящей водкой рюмки, выплюнул в кулак обсопанную косточку и, сунув ее в карман шаровар, подняв на гостей тяжелые, с глухой, глубоко упрятанной тоскою глаза, нарочито весело, разудало и беззаботно выкрикнул:

— А ну, казаки, выпьем по чарке, шоб дома не журылысь! Чи мы с вами не на свадьбе, а на поминках, шо понадувались, як индюки? Берить ваши полные чарки, моя хвямильная водка враз вам придасть бодрости духа, спалить печаль!

Но ни отец Яков, ни бывший станичный атаман не откликнулись на его призыв к бесшабашному веселью. Они, не проронив ни слова, не чокаясь, не глядя друг другу в глаза, послушно, но без всякого смака осушили свои рюмки и, обмахивая жарко заполыхавшие от перца губы, молча принялись за закуску. Продолжая стоять у столика, Хоруженко покривил уголки губ, поглядел на своих гостей угрюмым, недобрым взглядом и, опрокинув залпом в рот рюмку, не притронувшись к еде, а лишь достав из кармана шаровар урюк, вбросив его с ладони в рот, отошел к окну, на ходу обронив:

— С вами погуляешь...

Бывший станичный атаман вскинул на него мутные, водянистые глаза, будто наполненные зеленоватой сывороткой, и кончиком языка слизнул с усов капельки растаявшего телячьего холодца.

— Ты на меня, Ларион, не серчай, — сказал он. — Ну нету мне на

твоей свадьбе радости, да и только, ничего не могу с собою поделать. Другим такое и невдомек, а я-то знаю, на что она тебе нужна, лучше б ты мне и не открывался! До чего ж мы дожили, очи мои на такое не глядели бы...

— Истинная правда, кусок в глотку не лезет,— поддакнул священник, раздирая за ножки заднюю часть румяного, с хрустящей корочкой поросенка.— И пью и ем, насилуя свою утробу, против естества, безо всякого аппетита...

— А мне, думаете, как? Каково моему отцовскому сердцу на все глядеть? — вздохнул Хоруженко, исподлобья глядя на гуляющих за окном казаков и казачек.— А чего поделаешь, надо терпеть — ради нашего общего дела, сами знаете, я ни перед чем не остановлюсь. Скоро, даст бог, старое назад воротится — кто ж нам тогда запретит другую свадьбу сыграть? Ровню и дочке подберу, а по теперешним временам, когда кажинный божий день того и жди заявятся на твой двор «раскулачивать», выбирать нет часу, зять гарный отыскался, в аккурат, с охотой на то идет, он моему хозяйству верным сторожем будет, не хуже нашего волкодава, хотя его на цепь и не посадишь! В сельсовете на молодых хозяйство отпишу, так оно вернее будет, а наши казаки нам на выручку из-за кордону придут, власть нынешнюю скинем — мое обратно ж ко мне и возвратится. Так-то оно, располагаю, понадежнее будет...

— Дожили, на такие посрамления идем!.. На своей же ридной Кубани и не хозяева! — вздохнув, с тоскою вымолвил бывший станичный атаман и поднял над головою за тонкое горло хрустальный графинчик: — Выпьем, шоб дома не журьлысь!

Расплескивая водку на скатерть, он наполнил рюмки, встал и выкрикнул звучно и раскатисто, как на строевом плацу:

— За успех нашего святого дела! За вестового с флажком на казацкой пики, что скоро проскачет по нашим станицам та хуторам и подасть народу сигнал — выступать в поход!..

## Глава двадцать вторая

В пору поздней осени, когда устанавливается, хотя бы и ненадолго, в кубанских степях сухая погода и днем случается быть такому же почти теплу, как и летом, за хутором Прикубань, за сторожевыми затравеневшими курганами, выстилалась по горизонту огненными сполохами, едва ли не до самой полуночи отцветают в стороне зеленого разлива плавней ни с чем не сравнимые пламенеющие закаты. И хотя не покоем, а непонятно отчего щемящей и тихой грустью, даже, пожалуй, какой-то необъяснимой тревогой охватывает тебя всего в те часы после захода солнца, ты все равно от вечерней зари бываешь долго не в силах отвести зачарованного и затуманенного душевным состоянием взгляда.

Не сразу, не вдруг разгораются и начинают полыхать над плавнями осенние закаты. Они вызревают подолгу, чуть ли не с полудня, набирают силу исподволь, медленно-медленно, и почти до той самой поры, пока отары кипенно-белых облаков, точно породистые меринсы в стрижку, не сбросят лениво и нехотя на землю по горизонту свои пышные овчины, а низины балок не укроют густые молочные туманы.

И вот тогда-то, в ту минуту, когда начнет заметно смеркаться, твоему взору небо от края до края откроет свою светлую голубизну, нежную и хрупкую, и на твоих же глазах начнет подниматься, уплывет, уйдет вверх на недосыгаемую головокружительную высоту. И вот

именно тогда-то — ни на мгновение позже! — заалеют, вспыхнут и расстелются во все стороны над бескрайней полосой камышей пламенно-яркие, тончайшей выделки шелковые полотнища заката. Подсвеченные снизу лучами уже невидимого с земли солнца, то и дело меняя оттенки, от бледно-розового до густо-багряного, и тем самым создавая впечатление быстро бегущих волн, они особо напоминают знамена, раскрыленные на праздничном ветру. Их растекающийся по степи отсвет заливает всю окрестность, и тогда на хуторе в окнах хат вспыхивают пожары, на беленые стены их ложатся румяные тени и, как созревшие красные перчины, встают над крышами — там, где топятся печи, — горьковато-душистые кизячные дымки.

И ты — где бы ни находился, чем бы ни был занят! — невольно оглянешься, вскинешь повыше голову и устремишь глаза на флаг у сельсовета. Только он один не изменит на закате своей окраски, останется таким же, как и всегда, и тем самым как будто сделается тебе еще дороже, еще роднее. Он, должно быть уставший полоскаться высоко в небе за весь долгий день, но подхваченный снова упругим вечерним ветром, опять выгнется на закате во всю свою длину и огненно-пылающий, будто пропитанный кровью, гордый, трепетный, легкий устремится навстречу зоревым знаменам с такой неудержимой страстью, с таким порывом и горячим желанием слиться с ними, что покажется — не выбеленная дождями шхунная мачта, а только святой долг удерживает его на месте, над двором хуторского Совета...

Освещенный с ног до головы полыхающим закатом, Рогачев стоял на пороге сельсовета и задумчиво, не отрываясь, смотрел на макушку высокой мачты, где развевался красный флаг — предмет неустанных забот молодого председателя. И в ушах его будто наяву прозвучали слова Журбы, оброненные им как-то при разговоре без малейшей тени хвастовства, просто и по-деловому, как нечто само собою разумеющееся, без чего он и не представлял себе жизни:

— ...Не подумайте, что я жалуясь вам, но сколь я на такое дело своей зарплатой стратил — одним хуторским хозяйкам известно! В райисполкоме разве ж кумачу разживешься, у них у самих нету и в кооперации нету, так я у казачек втридорога все, что по цвету подходит, покупаю... Из сундуков, ну, там кофты, бешметы, рубахи, платья или чего другое, когда из сатину, когда из шелку, когда из атласу, когда шерстяное достанется, — мне их потом моя свояченица перешивает. Материи на ветру, да под солнцем, да на дожде надолго ли хватает? А допустить того, чтобы флаг над сельсоветом был не в порядке, я не могу, не имею на то, считаю, права, потому как он о пролитой в революцию крови каждому напоминать должен, к новой звать жизни, советскую власть на земле утверждать! Может, вы такое и не одобрите, может, станете надо мною шутки шутить, может, еще и чудачком назовете, но я вам признаюсь: мне на флаг ничего не жалко, я на одном хлебе да воде буду перебиваться, а на материю для него отдам все что имею, до копейки...

Рогачев был озабочен в то время какими-то своими делами и не обратил тогда на слова Журбы внимания, ничего ему не ответил. А вот теперь, столкнувшись на хуторе с трудностями порученного ему дела, он, возвращаясь из школы в сельсовет после первого собрания бедняцко-батрацкого актива — Ефросинья ошиблась, собрание они с Журбою хотя пока и с малым количеством хуторян, но все-таки провели, и это уже было добрым началом! — задержался на пороге и, глядя на развевающийся флаг, прислушиваясь к доносившимся со свадьбы звукам гармоней, неожиданно для себя вдруг понял, что на месте председателя сельсовета, должно быть, поступал бы точно так же. Кто знает, как

бы он отнесся прежде к словам того, кто стал бы уверять, что бывает такое состояние, такие минуты, когда полутораметровое полотнище, парящее день и ночь в небе, может стать тебе таким же необходимым, желанным и дорогим, как любимый, близкий человек? Кто знает...

На своем веку Рогачеву довелось повидать немало флагов. Память хранила всякие: и измятые, выхваченные из-за пазухи, еще, казалось, теплые от человеческого тела, наскоро вздетые на древко и гордо поднятые над головою... и растоптанные на булыжных мостовых конскими копытами казачьих карательных сотен... и обгорелые... и залитые свежей кровью... и истрепанные до локутов ветрами... и изрешеченные пулями... и пробитые рваными осколками снарядов... и на пиках... и на трехгранных штыках винтовок... и просто зажатые в мертвеющих руках на поле боя...

Их в последние годы в дни первомайских и октябрьских праздников стали поднимать в его родной Константиновке на самый верх заводских труб, водворяли рядом с громоотводом, и они оттуда, хотя и походили на крохотные флажки, какими обычно размахивают в колоннах участники торжественных демонстраций, были видны отовсюду и всем. Сколько раз, бывало, проходя в колонне заводских рабочих по площади мимо украшенных кумачом, лозунгами и знаменами трибун, Рогачев всякий раз как-то невольно для самого себя устремлял взгляд вдаль и отыскивал среди многих кирпичных, уходящих в небо высоких труб свою, родную, ставшую за многие и многие годы работы на заводе до боли близкой и дорогой сердцу. На ней, как и на трубах других предприятий, рядом с громоотводом развевался, купаясь в лучах солнца, — так почему-то врезалось в память, хотя далеко и не всегда в праздничные дни бывало солнечно, — красный флаг, ничем будто бы и не примечательный, самый что ни на есть обыкновенный, из полотнища кумача. Рогачеву теперь было трудно вспомнить, о чем в те праздничные минуты он думал, что испытывал и что переживал. Скорее всего флаг на трубе родного завода вызывал у него в душе простое и естественное чувство обычной рабочей гордости — не отстали от других, шагали в выполнении производственного плана со всеми в ногу — и только. Да, пожалуй, так оно на самом деле и было, ни больше ни меньше... Но здесь, на хуторе, вдали от своего завода, в обстановке для него новой, трудной и сложной, отношение к флагу неожиданно родило в его душе новое чувство. Между ним и простым кумачовым полотнищем, устремленным навстречу знаменам огненного заката, словно бы, как ему почудилось, протянулась невидимая, тонкая, чувствительная, как воспаленный нерв, нить. Именно вот этот красный флаг, устремленный навстречу огненному закату, будто бы связывал его со всею страню — от Балтийского моря до Тихого океана, с его родиной — Донбассом, с дорогой его душе Константиновкой. И он увидел флаг не только глазами Журбы, и понял думы и чаяния того, первого, зарубленного в гражданскую войну, кто в свое время издалека привез на волах мачту со старой рыбацкой шхуны, вкопал ее в землю посреди хутора и укрепил на ней полотнище кумача...

Занятый своими мыслями, навеянными красочным осенним закатом, Рогачев не услышал за своей спиной ни осторожных, с предательским скрипом новых полусапожек, крадущихся шагов, ни шуршания шерстяной юбки, задевавшей саманную стену сельсовета, ни затаенного и все же шумного дыхания и невольно вздрогнул, когда вдруг рядом с ним раздался веселый от хмеля хохот Ефросиньи.

— Ага, бачишь, напужался, а я думала, то храбрее тебя никого на свете нету! — вымолвила она, давясь смехом и прикрывая ладонью

блеск здоровых, один в один, белых зубов.— Не переживай, я на кого схочешь могу страху нагнать...

Растянув за крученые кисти на всю ширину цветастый полушалок, наброшенный поверх кремового атласного бешмета, Ефросинья слегка откинула назад огненно-рыжеволосую голову и, скосив на Рогачева свои желудевые глаза, поводя из стороны в сторону плечами, не стогая с губ бражной ухмылки, спросила:

— Не ждал?

Рогачев окинул ее взглядом с головы до ног, разряженную и веселую, и отвернулся, ничего не ответив.

— Какой ты сурьезный, а я ж из-за тебя свадьбу спокинула, по-за чужими дворами, як дивчина до парубка на грешное свидание, пробиралась, все колени в бурьяне обкrapивила, огнем жгут, и сердце ж, обратно, в груди колотится— не унять никак,— притворно тяжко вздохнув и не спуская с Рогачева смеющих глаз, произнесла Ефросинья.— Ну, да я на тебя не в обиде, помню, перед тобою я виноватая...

— Перестань,— поморщившись, досадливо перебил ее Рогачев.— Никакой вины твоей нету, я уже про то и думать забыл.

— Ты-то, может, и забыл, да я помню...

Она подошла к нему почти вплотную, обдав жаром разгоряченного ходьбою тела и легким запахом вина, и, выпростав из-под полушалка руки, заботливо поправила на его лбу сползшую на брови марлевую повязку. Встретившись с ним взглядом, спросила:

— Болит?

— Заживает.

— Ну, дай бог...

Отступив на шаг в сторону, Ефросинья прислонилась спиной к стене хаты и, катая носком полусапожка подвернувшуюся под ноги морскую гальку, тихо и задумчиво, опустив глаза в землю, промолвила:

— Не хмурься, я не про ту вину тебе напомнила, ту, знаю, ты мне простил. Вижу, не по душе тебе, что я на свадьбе у Хоруженки гуляю, вместе с его дружками вино у него пью, в веселье ударилась...

— Ты сама себе хозяйка,— сухо обронил Рогачев.

— Сама себе хозяйка— это ты верно заметил, я над собою ничьей власти не потерплю. А только по нынешним временам все в голове перепуталось, ни зги не видать, дороги своей не разгляжу, живу в тумане густом, впору хоть в омут...

— Вином туман из мозгов не прогонишь!

— Стало быть, осуждаешь?

— А ты как бы хотела? У тебя выросли парни-близнецы, давно надежными помощниками стали, а ты им какой пример показываешь? И не совестно тебе всеми днями во хмелю ходить?

— Я их под сердцем носила, они мать поймут, не без причины я вино пью...

— Гляди, Фрося, не потерять бы тебе сыновей,— неожиданно мягко и задушевно произнес Рогачев.— Я с ними уже не раз беседовал, не хотят они по-старому жить, к новому труду тянутся, по твоей дороге не пойдут...

Ефросинья, вспыхнув, обожгла Рогачева злобным и в то же самое время растерянным взглядом и порывисто, будто вмиг озябнув, запахнула спереди, спеленав высокую грудь, концы полушалка. Припухлые ее губы мелко задрожали, и она плотно их закусил.

— Вот чем, стало быть, ты за старое добро платишь— детей на родную мать натравил? Так знай, пусть только против моей воли поднимутся, я с них обоих шкуры спущу, ничего не дам, ни соломинки,



нехай телешом в ваш колхоз вступають, голыми задами светят! — потупив глаза, полыхая злостью, глухо вымолвила она и внезапно запричитала в голос, как плакальщицы на похоронах: — Ох, шо ж я, дура баба, наробыла, мне ж бы було самой тыждневать, а я их, несмышленишей малых, своими же руками на дежурство спровадила. Верно кажут, шо отнимет бог разум, так и сатана попутает, сама, сама ж, выходит, я виноватая, и виноватить мне в том некого, сама послала сынов, шоб им в сельсовете головы задурили, шоб начисто лишили рас-судку, шоб замутили светлые души байками про райскую жизнь в коммунии, шоб застили ясные очи их ночью вечною, шоб сбили с пути истинного, шоб...

Пока она, раскачиваясь из стороны в сторону, выговаривалась, Рогачев не сводил с нее пристального, добродушного взгляда, и едва заметная улыбка временами вздергивала уголки его жестких, обветренных губ. И все-таки эта его слабая улыбка не ускользнула от причитавшей Ефросиньи, она оборвала сама себя на полуслове и вскинула на Рогачева глаза.

— Надсмехаешься?

— Нет, Фрося, жалею,— уже открыто улыбнувшись, сказал Рогачев.

— Мне в жалости твоей нужды нету!

— Не тебя, себя жалею, что вот приходится мне такое выслушивать. Ни в чем моей вины перед тобою нету, с открытым сердце рядом стою и никому тебя в обиду не дам. Знала бы, Фрося, с каким я чувством сюда ехал, не на такую надеялся нашу встречу. Сама судьба нас когда-то свела на одной тропке, и не врагами, а друзьями нам суждено быть, одной дорогой идти.

Он умолк и, засунув руки в карманы распахнутой меховой куртки, терпеливо ждал, что она ответит ему на его слова. Но Ефросинья тоже молчала. Освещенная вечерней зарей, она снова принялась задумчиво катать носком полусапожка гальку, неторопливо перебирала пальцами крученые кисти полушалка. В тишине наплывающего сумрака со свадьбы доносились звуки гармонии и казачья песня, с окраины хутора — карканье летящих со степи на ночевку под купол церкви грачей, от Кубани — разноголосые тревожные гудки двух встречных пароходов, видно, расходившихся в узкой горловине фарватера под высокой кручей, где в такое время уже всегда бывает темно и нависает туман.

— Уехал бы ты, мучитель, от нас, не баламутил бы народ, дал бы всем покойно по своим дворам жить самим себе и своему добру хозяевами, как с давних годов жили тут казаки, прадеды, деды и отцы наши,— нарушила наконец Ефросинья долгое и томительное молчание.— Ну что тебе, городскому, до нашей жизни, что ты можешь в ей понимать? Отступишь, спокнишь хутор, век буду молиться за твое житие-здравие...

Рогачев, уже наслышанный о своенравном, независимом характере Ефросиньи, ожидал услышать от нее в ответ на свое невольное признание все что угодно, был готов даже к любой ее сумасбродной выходке, но то, о чем она его попросила — со слезами на глазах и с дрожью в голосе,— озадачило и отозвалось в сердце обидой, тоскою. Почувствовав, как к забинтованному затылку прихлынула, разламывая, казалось, его на части, кровь и как запершило в горле, обметанном от волнения сухостью, он было хотел повернуться и молча уйти в сельсовет, хлопнув с досады дверью, однако сумел себя переломить и остался на месте, еще глубже сунув руки в карманы. И спустя какое-то время, окончательно овладев собою, глядя на развевающийся в вышине флаг, спокойно и без какой-либо обиды произнес:

— Нет у меня, Фрося, такого права — отступить. Я коммунист и выполняю на хуторе политику партии... по зову своего сердца и партийной дисциплины. И никуда я отсюда не уеду, пока не выполню доверенного мне дела, не стронусь с места до тех пор, пока не потребуюсь партии где-нибудь на другом участке. И, поверь мне на слово, я сделаю все для того, чтобы меня на хуторе поняли, чтобы мне поверили, чтобы за мной пошли. И ты, Фрося, поймешь, на чьей стороне правда, с кем тебе по пути, я от тебя не отступлюсь...

Ефросинья вздохнула, колыхнув грудью и звякнув связками мохнат, и накинула на рыжеволосую голову, казавшуюся в отсвете багрового заката еще более огненной, цветастый полушалок. Лицо ее стало печальным — недавней веселости как и не бывало, казалось, что и хмель ее давно уже выветрился.

— Ну, как знаешь,— сказала она, обматывая конец полушалка вокруг загорелой шеи.

Рогачев удержал ее за локоть, заглянув в глаза, спросил:

— Скажи, Фрося, ты сама надумала сюда прийти или же по чьей-то просьбе... с белым флагом ко мне явилась?

— Своим умом живу...

— Ты домой или на свадьбу?

— А тебе-то что за печаль?

— Если домой, я провожу... немного...

— Провожай,— обронила она безразлично.

### Глава двадцать третья

Он вернулся в сельсовет уже в сумерках.

На стволе старой акации, невесть когда спиленной и, видно, с давних пор заменявшей посетителям сельсовета скамейку, одиноко восседал Мирошка Чумак. Он даже не шелохнулся, однако встретил Рогачева вопросом, отрешенным своим видом выказывая, что никакого ответа не ждет и в нем совершенно не нуждается.

— Ты никак со свадьбы вертаешься? — спросил он. — И я тож держу туды путя, а сюды завернул поквасить дегтем чеботы... на дармовщину...

— Запаздываете, там уже давно песни горланят,— сказал Рогачев, опускаясь на бревно рядом с Мирошкой Чумаком. — На кулацкой свадьбе небось накормят и напоят досыта, хлеба от государства припрятано много.

Мирошка Чумак вынул из-под седых усов трубку, оглядел ее, прищурившись, со всех сторон и, выбив о торец бревна пепел, запихнул в карман чекменя. Рогачев ждал, что он что-то скажет, но старый казак, по-прежнему отрешенно глядя перед собой, продолжал хранить молчание, сидел с таким утомленным видом, словно затем лишь сюда и забрел, чтобы отдохнуть после долгого пути перед новой дальней дорогой. Рогачев поднялся, намереваясь уйти в сельсовет.

— Приятного вам аппетита,— сказал он. — Хорошо побеседовали, не хуже чем с парнем с паромной переправы...

— Ты парубка с парому не замай, он отроду у нас мозгой слабый, да и глухонемой к тому ж,— неожиданно отозвался Мирошка Чумак. — Бачу, ты с ним в разговор пускался — не ты первый, не ты, должно, и последним будешь, такая уж у него судьба... — Он немного помолчал и, снова вытащив из кармана чекменя трубку, вертя ее в коричневых, точно обугленных, в морщинах руках, доверительно продолжал: — Один я тому свидетель, какое ему еще в утробе матери вынести довелось. Я тебе скажу, ты за голову схватишься! Он же Хоруженке родным сыном доводится, об том, обратно ж, один я знаю,

сколь годов молчу. До революции была у него батрачка, собою ладная дивчина, так он ее насильничал, жить с собою принудил, тайком само собою. А она вскорости возьми та и понеси. И шоб ты думал? Мы трое в степу на ту пору случились, скрывала она от него, боялась, и, по всему выходит, не понапрасну, сердцем свою беду чуяла. Я в тень под бричку забрался, а они до Кубани купаться пошли, дуже жаркий день выдался. Меня уже дрема стала одолевать, как вдруг слышу от реки ее голос, на крик кричит, неначе с ее живой шкуру сдирают. Я из-под телеги выскочил, а он ее чеботами, чеботами по животу, она по траве катается, руки до него тянет, от слез все лицо потное, косы растрепались, по земле волочатся, он прямо по ним вокруг нее топчетя и чеботами, чеботами по животу, шоб, стало быть, прежде срока скинула дите. Я на выручку подался, та где там, у самого от страху поджилки сводило, всего и смог, шо собою прикрыл. Дуже я на ту пору Хоруженку пужался, та оно ж и яснее ясного, я ж у его в долгах, шо в трясине, увесь со всеми потрохами увязнул. Он сел в свою бедарку и до дому на хутор подался, а я бедную дивчину насилу прилочками на берегу отходил, она на моих глазах вся синяками черными, будто пузырями, взялась. На двор она к нему больше не вернулась, по соседним станицам ушла батрачить, там вскорости и преставилась на родах, а дите жалостливые люди родичам привезли, та лучше бы ему и не жить, ничего в жизни той хорошего не бачит, чего уж там балакать...

Мирошка Чумак умолк и принялся набивать самосадам трубку. Рогачев еще с минутою постоял около старого казака в раздумье и снова опустился рядом с ним на ствол акации, осторожно снял кепку и подставил холодавшему к ночи ветру забинтованную голову — у него каждый день под вечер наливался тяжестью затылок, начинало стучать в висках, отчего отказывали, немея, руки.

— Он что ж, его за сына не признает? — спросил Рогачев после недолгого молчания, растирая поочередно ладонями затекшие пальцы рук.

— Чего схотел! Хлопца кто накормит — тот ему, бедолаге, и отец, а Хоруженке для чего ж тайну раскрывать? А все ж таки когда-никогда, замечаю, ему то пряник медовый подарит, то денежку какая поновее, тому и в радость. С несмышленного чего возьмешь?.. Голова-то болит? — неожиданно спросил, в свою очередь, Рогачева Мирошка Чумак, опять не проявив при этом никакой заинтересованности в ответе.

— Пройдет...

— Отчаянный ты, в самую кутерьму полез.

— А чего ж мне еще оставалось?

— И то правда... — вздохнул Мирошка Чумак, и, попыхивая трубкой, не глядя на Рогачева, снова спросил все тем же равнодушным тоном: — Признала тебя Фросинья, за столь годов не забыла?

От неожиданности Рогачев резко повернул голову в сторону старого казака, но тут же уронил ее на грудь, поморщился и, стиснув зубы, поднес к затылку ладони, прижал их к бинтам. Сузившиеся его глаза наполнились глухой болью, но и сквозь нее, подобно дальнему огоньку из ночного тумана, пробилось наружу искреннее удивление. Рогачев было попробовал даже через силу улыбнуться, однако улыбка не получилась, она лишь едва скользнула по его губам, утонула в уголках рта.

— Вам и о том известно? — откидываясь спиной на стену хаты, вымолвил он, когда боль немного отпустила затылок.

— А меня бог припожаловал такою, не ведаю за яки таки грехи, чудною судьбой: где, когда и в который час ни выпадает произойти какой ни на есть случай, меня туды, скажи ты на милость, як ветром

перекати-полю, на мое ж несчастье беспременно закатит,— попыхи-вая дымком сипящей трубки, с прежним равнодушием отозвался Мирошка Чумак.— И такой разгон, я тебе поясню, моя планида взяла с самого моего выхода на божий свет, что всю свою сознательную жизнь, как себя помню, я на людское горе або на беду только и натыкаюсь, будь они неладны! За свои долгие года всякого такого разного нагладелся, одной крови до того богато перевидал своими глазами, что другому и во сне не снилось. Нет, ты не думай, не на войне — на войне то особо, там и сам бог велел,— а тут, в мирной, як кажуть, жизни, когда кругом тишина и благодать...

Мирошка Чумак внезапно умолк, выбил из трубки пепел, вмял в нее новую заправку самосада, неторопливо высек на ватный фитиль кресалом искру и, раздув жар, поднеся его к табаку, принялся посасывать мундштук, глубоко втягивая в себя небритые щеки. Все это он проделывал с тем же самозабвением, с тем же трудолюбивым усердием, что и в первую их встречу, и Рогачеву, как и тогда, показалось, что старый казак давным-давно потерял нить их беседы, совсем забыл о его вопросе и о нем самом, весь погрузившись в свои воспоминания. Но он и на этот раз ошибся — стоило ему только слегка пошевелиться, как Мирошка Чумак тут же, будто и не умолкал вовсе, продолжал:

— Ты башку ломаешь, откуда мне про тебя и про Фросинью дано знать, а то, видать по всему, тебе невдомек, отчего и по какому случаю твой конь не на чей-нибудь еще, а беспременно на ее двор доставил твое пораненное тело? — вымолвил он.— То ж меня, как водится по моей судьбе, угораздило с ним нос к носу столкнуться, когда он тебя, бездыханного, по проулку на одном стремени по пыляке волок. Из тебя уже и кровь кинула текти, не застонай ты, где ж бы мне было и признать, что ты живой, за мертвяка бы посчитал, ну, а мертвому, сам знаешь, куда дорога. Им хоть плетень подпирай — ему все одно, и сколь в бане ни парь — не вспотеет. А к кому ж мне было коня твоего завернуть? Я ж знал, что Фросинья, как и я сам, к новой власти тянулась, к ей имела сочувствие, потому как из бедного роду вышла...

— Спасибо вам,— сказал Рогачев.

Мирошка Чумак молча поднял на него глаза.

— За выручку,— пояснил Рогачев.

— Хватилсь! Никакого долга за тобою я не считаю. На том свете все сочтемся...

— А не рано вы на тот свет собрались? — улыбнулся Рогачев.

— В аккурат дозрел... глаза б мои ни на что не глядели...

— Бедность не порок,— сказал Рогачев.

— Не порок, верно, да каждому в тягость, она из людей не одни жилы выматует, она наперед всего душу, что сухой зерно, сморщит, будто огнем ее опалит, дотла иссушит. Бедняк та невезучий завсегда в худые свидетели попадают, такое, мабуть, про меня сказано. Ты слухай, я тебе мою мысль как на духу поясню...

Мирошка Чумак вынул изо рта трубку и, зажав ее, слабо чадившую дымком, в кулаке на коленях, продолжал:

— Началось в моей судьбе такое, прямо тебе откроюсь, с самого малолетства, с той самой поры, как себя помню. Тянулся мне шестой... Чи седьмой? Не, дай бог память, кажись, шестой... Не, я правильно говорю — седьмой годок, а може, и шестой, ну, одним словом, шоб тебе сказать короче, послала меня моя бабка пригнать с Кубани на двор гусей, они у нас там день-деньской пропадали, дома кормить было нечем. Выломал я на берегу лозину, гоню. И надо ж тебе такое — сделался мой головной гусак на хуторе як бешеный, правил себе в чужой проулк, никакого с ним нету сладу, траву зеленую побачил. Я ему

дорогу перестрену, выгоню на простор, а он, окаянный, обратно норочит в проулок, та ще и за ноги щипается, а они и без того, як у всех пацанов такого возраста, в кровавых ципках... больно. И тут, чую, стали раздаваться всякие крики, затоптели ноги, от ближнего плетня треск пошел. Бачу, через него перемахнули два хлопчика, а за ними — в расхристанной рубахе бородатый казак с берданкой. Остановился на месте, прицелился — и бабахнул, меня аж горячим воздухом всего охватило, волосья на голове торчком встали. Один хлопчик убег, а задний носом в пыляку около моего гусака ткнулся, руки, будто на кресте распятый, раскидал — из пальцев яблоко по дороге покатилося мокрое, видать, в ладошке отпотело. А казак кричит: «Теперь запомнишь, як на чужое зариться!» А где ж ему, бедному хлопчику, было время запомнить, когда ему зарядом дробы всю спину до нутра разворотило, он в лужаке крови весь плавал?.. — Мирошка Чумак пососал погасшую трубку и, безнадежно махнув рукой, вздохнул: — С того раза и пошло на меня такое разное наваждение...

Вечерняя заря успела отполыхать. Небо из кроваво-красного стало белесым, оно тут же начало синеть, опускаться к земле все ниже, и на нем проступили первые редкие звезды, широким высветом обозначился Млечный Путь. Прошло совсем мало времени, и небо, хотя его и сплошь уже усеивали звезды, стало совсем темным — по нему со степи к церковной колокольне пролетела запоздалая стая грачей, но птиц в сумерках не было видно, их путь лишь угадывался по долетавшему сверху карканью. Ветер, как и положено в пору поздней осени, без всякого усилия выдул с хутора остатки дневного тепла, наполнил его сырým, потянувшим из плавней болотным холодом. Флаг над сельсоветом на мгновение обвис, укутал собою верхушку мачты, однако тут же, почти уже черный, взвился кверху опять, вытянулся на всю длину и снова затрепетал, захлопал, полетел, не покидая своего места, вслед опустившимся за горизонт зоревым знаменам. Не доносись со свадьбы звуки гармоной, топот пляски, голосистые песни и порою во все горло пьяные выкрики, то и площадь перед сельсоветом, и главная улица, и все проулки, и каждый двор погрузились бы уже в этот час до самого рассвета в ту неповторимую тишину, глубокую и спокойную, которая доступна на кубанской земле только одним лишь хуторам — в станицах постоянно зазвучит где-нибудь в ночи гармошка, где-нибудь проскрипит арба, где-нибудь загремит колодезная цепь, где-нибудь хлопнет калитка ворот. На хуторе ложатся спать рано, и редко что уже может нарушить ночной покой, нависшую тишину.

— Или, для пояснения расскажу тебе такой случай, — продолжал Мирошка Чумак, заново набив трубку и попыхивая дымком. — Сядю как-то в хате, курю и чиню потертый хомут, то ще когда у меня коньяка була. И надо же такое, на новый гуж не хватило мне сыромятного ремня, самую что ни на есть малость. Другой бы на моем месте махнул рукой, та и забрался б на печку спать, дело к ночи шло, а мне як сатана в зад шило вштрыкнул, собрался до свояка за гужом иттить. Чую, неначе меня туды кто волоком тягнет, нету сил на печку залезть. Надел шапку — пишов! В хате у свояка темно, а в хлеву, бачу, из-под низу дверей во двор свет пробивает. Прислухался — голоса, шум, чую, лаются. «А ты его наживал? Тут все мое!» — кричит свояк. Мне б, хрычу непутевому, завернуть до дому, так нет же, я дверь отчиняю, пропихиваю свое тщедушное тело в хлев. И шоб ты думал? В тот самый момент батько с сыном хватают друг дружку за грудки, рвут на лоскуты бешметы и пускают в ход кулаки. А у кажного, шоб не сбрехать, кулаки по пуду! Мои ноги, на их беду, як приморозило, не могу шагу шагнуть, да и только. Пока очухался да с места стронулся, уже им моей подмоги не требовалось — батько ухватился за вилы, а хло-

Пец вывернулся та и с размаху угодил ему, як молотом, кулаком промеж глаз. Свояк и всего-то шо икнул, кровью залился, да и вытянул на соломе ноги. То они, я потом узнал от его жинки та невестки, в хлеву овец делили, сын на самостоятельное житье запросился, а мне, как ты помнишь, гуж позарез потребовался, ото ж меня туды и зятнуло...

При последних словах Мирошка Чумак сунул под усы чубук дымящейся трубки и, сделав несколько затяжек, отрешенно глядя на иссиня-черное небо, молча, думая о чем-то своем, покачал головой. Рогачев невольно тоже поднял глаза вверх — ему теперь уже с трудом удалось отыскать в темноте полотнище флага. Оно стало почти совсем невидимым, сквозь него, как показалось Рогачеву, а быть может, так оно было и на самом деле, просвечивали звезды, и по тому, как они мигали, то исчезая, то появляясь вновь, не представляло труда догадаться, что это бежали на полотнище под напором ветра упругие складки. Пока Рогачев всматривался в ночной флаг над сельсоветом, старый казак успел докурить свою трубку, и снова зазвучал рядом его бесстрастный скрипучий голос:

— На что, возьми к нашему разговору, мирное дело свадьба, а на моей и тут кровь пролилась, будь она неладна! Сидим в хате я с невестой рядком, гости кругом стола, гуляем свадьбу, хотя и по-бедному, но по всем обычаям, со всеми обрядами и бочками домашнего вина, не хуже, чем у других. Пьем, закусьваем, спиваем песни, сполняем с невестой под «горько» желание каждого гостя—чего, скажи ты мне, другому на моем месте було б ще желать? Так нет же, я с дверей глаз не спускаю, и тянет меня нечистая сила до моих дружков-парубков, шо на двори с дивчатами кохаются, выйтить. Чую, ну, нету моей мочи на месте усидеть, да и только, неначе под мой зад на лавку черти угли подсунули, аж взмок увесь, будто живьем жарюсь. Встал — и пишов як зачумленный вроде б то покурить, а ей-богу ж, и сам не знаю и до си, шо за нечистая сила меня туды потянула. И шоб ты думал? В аккурат и поспел, будь проклята моя доля! «Отдашь чи нет? Кто тебе дозволил взять без спросу мою гармонию?» — кричит один парубок. «Ты ж грать не умеешь, зараз я трохи пограю для дивчат и хлопцев, нехай потанцуют», — отвечает ему другой. «Моя гармония, отдай!» — обратно кричит первый. «Ты шо, сказывся, чи шо? Моя, моя! Научись раньше грать. А будешь приставать, так я дам тебе по твоей музыке!» — со смехом отвечает ему гармонист. «Ах, так!» И не успел я моргнуть глазом, як хозяин гармошки выламуе из плетня дрючок и двумя руками, с разбегу, рубает, як шаблокою, парубка по голове — и насмерть. Иди после того и разбирайся, чи свадьбу дальше справлять, чи убитого хоронить та иттить на поминки. А то ще, помню, было со мною такое...

Старый казак положил на колено Рогачева свою тяжелую узловатую руку, словно удерживая тем самым его на месте, около себя, и, передохнув, продолжал:

— Вскорости после того, як у нас на хуторе переменилась власть, Журба, царство ему небесное, — не подумай худого, то я не теперешнему желаю, батьке его, — организовал в оцей хате перво-наперво сельсовет, привез землемера, ну и начали, само собою, наделять каждого землю — по новому, стало быть, декрету. Ты б побачил, что тут в ту пору творилося, так схватился б за голову, позажмурял очи та и забег бы от нашего хутора подале, а не то шо до нас по своей охоте, как зараз, ехать. Но об тех страстях у другой беседе мы с тобою потолкуем, а теперь я тебе за свою линию жизни поясняю, и нечего нам скакать с пятого на десятое. Получил я надел, подоспела пора сеять, всю ночь прособирался, еще затемно запряг быков, кинул на бричку

плужок, поехал на степ. Думал, первым буду. Где там! Кругом брань, ну, ще там на кулачки схватятся, а у моей межи кровь пролилась, мне назло. Один сосед другому не позволял межу перепахивать — тут прежде его полоса проходила, — и ничего другого он признавать не желает. Рубаху на себе в лоскуты разорвал, под ноги коней и под плуг кинулся, руками распростертыми землю обхватил, голосит, як бешеный: «Не дам мое перепахивать!» И шоб ты думал? Тот, другой казак, сосед его, не моргнул и глазом, знай себе погоняет своих коней. Кони и те, бессловесная тварь, перешагнули лежачего, а казак злости своей не унял, он и не помыслил до горы плуг поднять, сильнее на него налег, да так бедолагу поперек тулова и перепахал, суродовал насмерть, кишки на борозду выпустил, себе под грязные чеботы...

Глубоко и шумно передохнув, Мирошка Чумак полез было в карман шаровар за кисетом, но, повернув голову в сторону двора Хоруженко, откуда по-прежнему доносились и топот пляски, и песни, и звуки гармоней, поднялся с бревна и с напускной досадой махнул рукой.

— Мне иттить треба, а я тут с тобою лясы точу, — сказал он. — И ничего с собою не могу поделывать, ось так кажинный раз, покуда не выбалакаюсь — не подниму, скажи ты на милость, собственных ног, будь они неладны!

— Так ступайте, чего уж там! — насмешливо вымолвил Рогачев. — А то на кулацкой свадьбе все выпьют и все поедят. Поторапливайтесь!

— За то можно не бояться, хватит там и закуски, хватит и выпивки, — не обратив внимания на тон Рогачева, спокойно отозвался Мирошка Чумак. — Я по другой куда заботе направляюсь, об том речь покуда вести не будем, оно одного меня касается. Ты, я бачу, крепко на нас осерчал, шо мало бедноты в сельсовет на собрание явилось, — так ведь свадьба! Все ж там гуляют, а ты как бы хотел? Тут, я тебе поясню, прицел дальний, сам должен соображать что к чему, сердчай не сердчай! Мне оно все без надобности, я до всего охолонутый, а другие знают, до чего желание имеют, они своего не упустят...

Мирошка Чумак умолк, и они оба долго не нарушали установившейся на хуторе тишины. Она наступила неожиданно, сразу, едва на дворе Хоруженко умолкли гармони, растаяли в темноте приглушенные голоса расхопившихся по своим хатам гостей. Тишина была такой крутой, такой спокойной и такой глубокой, что ее даже не нарушали, а, наоборот, еще, казалось, более подчеркивали и редкое пофыркивание лошадей на площади, и тоскливый крик сыча, и бормотание, видно, заблудившегося в ночи гуляки, шарившего по плетням соседнего проулка и то и дело со слезою вопрошавшего: «Люди добри, ну де ж моя хата? Чи вы не чуєте? Ох, люди, люди!..» Время шло к полуночи, и хутор все больше и больше погружался в покой. Над плавнями поднялась луна, огромная, круглая, молочно-белая, но ее сильный свет, хлынувший в проулки, улицы и дворы и затопивший их, ничуть не пригасил сверкания звезд, теперь уже сплошь усыпавших черное небо, — они по-прежнему переливались то фиолетовым, то голубоватым, то синим цветом, по-прежнему в какой-либо стороне одна из них внезапно срывалась с места и, ослепительно перечеркнув на своем пути мигающую россыпь, исчезала где-то далеко-далеко за растушеванным до невидимости горизонтом. Ветер уже давно утих, и флаг над сельсоветом, будто большая птица, сложил на мачте темные крылья, недвижно замер.

— Не, что ты там ни кажи, а от своей судьбы никуды не денешься, як тебе на роду написано, так оно и пойдет, — и на этот раз первым

нарушил молчание Мирошка Чумак, снова принимаясь за свое священнодействие с раскуриванием трубки.— Якой тебя господь наделил судьбою, с тою и проживешь, хоть ты на весь свет караул кричи..

— Вы ж в бога не веруете,— с улыбкой заметил Рогачев.— И в черта как будто тоже?

— Бачу, памятью тебя не обделили, запомнил, а только у каждого свой бог и своя вера. Ни во что не веровать — тоже вера..

— Выходит, вы проповедуете смирение?

— Я не поп, и ни до кого и ни до чего мне дела нету, пропади оно все пропадом. У кого було, у того прибудет, а у кого ничего не було, так и последнее, як талою водою в половодье, смоеет, да и по миру пустит. Не бачу я в жизни такого, чтоб за нее чипляться. Вот ты зараз попрекнул, что я на кулацкую свадьбу иду, а того ты и не знаешь, яку каменюку мне Хоруженко в душу клал. Мало ему було моего поту, моих жил, моей крови, что я в его хозяйстве страшил, так он и до дочки моей добрался, парубка, что до нас в зятя набивался, и того забрал, мешок гарновки с ним же прислал, вроде бы как откупную. Чудная свадьба, в разум не возьму, на что она ему сдалася, а хлопца виноватить грех, ему, видать, от радости — может хозяином стать! — очи замутило — сиротская доля не медом мазана. Да и слава богу, от такого зятя мне все одно проку бы не видать. У кого в очах на чужое добро зависть поселилась — добра не жди..

— Она что же, любила его? — спросил Рогачев.

Мирошка Чумак долго молчал, попыхивая трубкой, и, когда наконец вновь заговорил, в голосе его впервые за весь вечер не было ни прежнего равнодушия, ни холодной отрешенности. Наоборот, в нем зазвучали и обида, и горечь, и душевная боль.

— Что ж теперь про то толковать... Дитё у ей от него будет,— вымолвил он и тяжело вздохнул.— Зараз кажную ночь жди — хлопцы ворота дегтем намажуть..

— Чепуха, не те времена, кто теперь на такое внимание обращает,— сказал Рогачев, обнимая старого казака за плечи.— В обиду не дадим, пусть знает, Найдет еще она свое счастье, мало ли что в жизни бывает. Вы ее утешьте.

— Нашел утешителя,— с грустью усмехнулся Мирошка Чумак. — Ее не утешать, а арапником бы поперек спины отходить, да я сроду ни на кого руки не поднимал. Дуже, видать, она мається..

— Плачет?

— То-то ж и оно, что нет! Не исть, не пьет, в кладовке сховалася, не догукаешься. Я своей старой дал наказ, шоб с хаты ни шагу, не дай господь, придет дурь в голову в петлю полезти..

Рогачеву стало искренне жаль старого казака. Время хотя и великий лекарь, а еще не успело приглушить в его душе собственную боль, не унесло острое чувство уже ничем и никогда, казалось, невосполнимой утраты. И потому-то, как и всякий человек, на которого в жизни обрушивалось не одно горе, он не мог оставаться безучастным к несчастью и страданиям другого, остро ощущал чужую беду, готов был постоянно прийти кому-либо на помощь. Всякий раз, когда в его помощи кто-нибудь нуждался, а в его силах было помочь, он шел на это всегда с готовностью, как будто это ему ничего не стоило, как будто он только ради этого и живет на белом свете. И как всякий чуткий и скромный человек, лишенный тщеславия, он тут же забывал о совершенном поступке, никогда и в мыслях даже не помышляя о благодарности, и если же ему доводилось ее выслушивать, то неловко при этом переминался с ноги на ногу и всегда смущенно краснел. Такая черта его характера не могла не притягивать к нему окружающих, он всюду, куда бы ни посылала его партия или, как говорят в народе, ни



забрасывала судьба, легко и свободно сходилась с людьми, был постоянно окружен товарищами, приобретал верных и надежных друзей. Хороший человек угадывается сразу, и, быть может, только этим и можно объяснить, что угрюмый и отрешенный от всего на свете Мирошка Чумак потянулся к нему душою, словно бы доверил ему свою судьбу.

— На свадьбу вы уже, видно, опоздали,— сказал Рогачев, поднимаясь с бревна и напяливая на забинтованную голову кепку.— Идемте, я вас провожу до вашего двора, а дозволите, и гостем побуду.

— Та хай ей грець, той свадьбе, ты и взаправду, мабудь, поверил, шо я на нее поспешал,— отозвался Мирошка Чумак, запихивая в карман погасшую трубку.— Идем, коли моей хаты не чураешься, прежние уполномоченные с городу, те у богатых хозяев на постой становились и гостевали — и харч сытый, и постель мягкая...

Рогачев сходил в сельсовет, погасил лампу, запер на замок дверь и, положив в указанное ему Журбою место ключ, вернулся к поджигавшему его у спиленной акации Мирошке Чумаку. Они свернули в ближний проулочек и зашагали серединой дороги, обходя залитые лунным светом и до краев наполненные звездами — хоть черпай пригоршнями! — лужи. Хутор был погружен в сон. С площади, где хрумкали сеном около своих тачанок, линейек и бедарок кони гостей, душисто тянуло сухими травами, медовым ароматом увядавших степных цветов. За плетнями и заборами белели стены саманных хат, в каждой окна были заложены ставнями, лишь кое-где сочился сквозь щели тусклый свет керосиновых ламп — кто знает жизнь хутора, тот с уверенностью мог бы сказать, что это припозднившаяся хозяйка ставит опару на завтрашнюю выпечку хлеба или же молодайка поднялась покормить захныкавшего своего первенца, — других дел в такую пору уже не бывает. Сторожко дремлет скотина в хлевах, спят даже стражи дворов — собаки, погромыхивая в конурах цепями.

— Шо ж ты надумал робить? — нарушил тишину проулочка Мирошка Чумак, шагая рядом с Рогачевым.— Свадьба угомонится не скоро, теперь долго будут гулять, покуда от хмелю не очухаются — опять же ж мало кто до вас с Журбою на собрания явится, сколь ни зови. И моя помочь ничего не даст, хоть бы и была на то моя охота... — после недолгого молчания то ли в шутку, то ли всерьез добавил он.

— Ничего, пусть гуляют, мы потерпим,— раздумчиво отозвался Рогачев.— То у таких, как Хоруженко, последняя гулянка...

— А шо будет опосля?

— А потом мы соберем собрание бедноты и середняков, организуем колхоз и ликвидируем кулаков как класс. У нас, коммунистов, закалка крепкая. Мы совершили Октябрьскую революцию, и если уж партия и рабочий класс с трудовым крестьянством решили провести коллективизацию и повернуть сельское хозяйство на новый путь, то от своей линии мы, коммунисты, не отступим. Считайте, что так оно и будет!

— А ты ненароком не боишься, что и тебя, як того хлопчика, в бричку уложуть та ще и такую ж коняку запрягут?

Рогачев замедлил шаги, не спеша обошел лужу и, когда снова поравнялся с Мирошкой Чумаком, тихо, дрогнувшим слегка голосом произнес:

— Они мою жену уже в нее уложили, наперед со мною рассчитались.— И, немного помолчав, уняв глубоким вздохом зачистившее сердце, закончил: — Ну и что же? На ее место пошел я. А страха во

мне никакого нет, поверьте коммунисту на честное его слово. Мне в жизни довелось повидать и пережить всякое...

— Орден у тебя за шо?

— За разгром Врангеля и взятие Крыма.

— Счастливый ты...

— Чем же это?

— Шо страху ни в чем не ведаешь...— ответил Мирошка Чумак.—

А ты б в мою душу глянул, там такая кутерьма, такая метель... И все через тот самый колхоз. Ну, ты сам помысли, что у меня за хозяйство — одна срамота! Хата-завалюха, бык от ветру с ног валится, по мелочи там разная живность, а як подумаю, что мой надел земли — хоть им сколь годов уже не я, а Хоруженко арендой владеет, — будет не мой, обратно ж мой бык будет тоже ж не мой, так веришь — нет, все в нутре так захолонет, нету мочи. И обратно нету никакой силы с собою совладать. А у кого хозяйство посправнее, тому и подавно страшно. И как в том общем хозяйстве будет, яка жизнь, и самому госпуду богу мабудь не ведомо. Я тебе про людей всякого разного сколь набалакал, а ты хочешь всех до одной кучи собрать, всех одною веревкою повязать...

— Не всех! Только бедняков и середняков,— сказал Рогачев.— А кулачество мы ликвидируем под корень, выселим в отведенные места, пусть добывают на земле хлеб своим трудом. Мы им эксплуатировать бедноту, на чужом горе наживаться больше не позволим! Коллективизация — это тоже революция, а в победную революцию всегда гибнет какой-либо класс, настал час и кулаков.

— Так-то оно так, а все одно под дыхалом сосеть! — вздохнув, признался Мирошка Чумак.— Сосеть, и никакого тебе продыху...

*(Окончание следует)*



---

---

ВАЛЕНТИН ПРОТАЛИН

★

## ОГОНЬ

Все, что со мной,  
поймешь ты без труда.  
Все, что я знал,  
ты испытала тоже.  
И не случайно судьбы так похожи:  
нас всех весьма далекая звезда  
звала, сияя смутно,  
временами,  
и со стоянок юности сняла.  
Потом все остальное было с нами...

Ты — женщина,  
и более смела,  
и сдержанна,  
и на слова скупая,  
ступив на борт нестойкой лодки чувств,  
ты круто,  
безоглядно поступаешь.  
И этому я у тебя учусь.  
Но помня прежде пройденный урок,  
ты бережней теперь с любовью нашей.  
Так первый человек огонь берег,  
пролитый кем-то из небесной чаши.  
Любимая,  
как хочешь,  
так и выйдет.  
Твой свет горит еще и для того,  
чтоб мог я силу ощутить его  
и лучше все вокруг себя увидеть.

\*.\*

Что может быть мучительнее, хуже —  
перед самим собою быть в долгу,  
«не время...» —  
отговорку на бегу  
заученно твердить одну и ту же.

И обещанья некому вернуть,  
и только дальше недовольство множишь,  
когда сполна все выполнить не можешь,  
но и не хочешь делать как-нибудь.

А потому не любим обещаний.  
И рады бы давать от всей души.  
Но сам изведал —  
с важными вещами  
будь очень осторожен, не спеши...  
За то, что не допью твоей росы я,  
всех песен не смогу своих сплести,  
прости меня,  
прости меня, Россия,  
и, вся земля,  
прости меня,  
прости.

\* \* \*

И странно мне,  
что я еще живу,  
течет апрель капризною весною,  
что небо чернь,  
что небо синеву,  
меняясь, раскрывает надо мною.

Что вот опять, застав момент врасплох,  
я как со стороны себя заметил,  
развев эти собственные нети,  
души творенье — одинокий бог.

И все сильна во мне привычка жить,  
и я не знаю ничего сильнее.  
А жизнь...  
Я разговариваю с нею  
все об одном и том же:  
как мне быть?

Что сделать?  
Может, так себя взять в руки,  
чтоб вообще не знать,  
что я в пути,  
и, не заметив бестолковой муки,  
мимо себя когда-нибудь пройти.

\* \* \*

И молодость по-своему права,  
когда вступает в спор со стариною.  
Она права уж тем,  
что не нова  
в готовности назвать себя весною.  
Пускай свершает свой веселый суд,  
пускай опять смеется,  
одержима  
своим, еще бродящим содержимым,  
что налито, как в новенький сосуд.  
Спешит, легко готовая в полет.

Груз для нее —  
 не память и не пытка.  
 Его не разобьет,  
 так разольет,  
 еще на вкус не разобрав напитка.

Ведь это надо:  
 начинать с азов  
 и от избытка силы веселиться.  
 И в их толпе,  
 расслышав отчий зов,  
 мелькнут сосредоточенные лица.

Пускай пока справляет новоселье..  
 Еще узнает горький привкус слез,  
 еще успеет  
 оробеть пред целью  
 и «кто же я?»  
 задаст себе вопрос.  
 И будет трудным возведение крова,  
 и жертва — не одна принесена.  
 Но все это не так уж и сурово —  
 была б лишь дальше  
 празднику верна.

### НОЧЬ В МАЛАХОВКЕ

Машинально ловлю я забытые звуки  
 и не очень растроган,  
 но мне не до сна.  
 Вот пролаяла хрипло соседская сука,  
 и опять обступила меня тишина.

Даже горн самолетный,  
 от аэропорта  
 поднимаясь,  
 скользнет, лишь задев тишину,  
 на поверхности черной поднимет волну,  
 а внизу, как была,  
 тишина распростерта.

Ночи юности дальней,  
 от вас я отвык.  
 И судить не берусь,  
 хорошо или плохо,  
 что ваш тихий, мечтательный,  
 добрый язык  
 для меня все равно,  
 что иная эпоха.  
 Надо спать.  
 И заснуть я стараюсь покорно.  
 Но с запретною радостью слушать не прочь —  
 с механическим шумом  
 покинув платформу,  
 электричка пилою вонзается в ночь.

## КЛЕН

Поблескивал листьями клейкими  
и цепко  
сплетением веток  
ловил разыгравшийся ветер,  
как будто зеленою клеткою.

А ветер,  
устав от игры,  
валялся в гнезде зеленом...  
Но все-таки лишь до поры  
прощал эту щедрость клену.

И в знойную, душную тишь  
себя распаляя,  
он  
сорвался с соседних крыш,  
сломал задремавший клен.

Но тут же пришла расплата:  
и сам он взглянуть не смел —  
зеленый титан висел,  
на собственных ветках распятый.



---

ВЛ. ВОЛКОВ

★

## БАЙГУРСКАЯ ШКОЛА

Где это — ученая обитель Байгур? И кто это — одареннейший профессор Бозых? Не стоит заглядывать в энциклопедии или осведомляться в научных кругах: бесцельно наводить справки о том, что однажды возникло и зажило своей жизнью лишь в воображении литератора. Впрочем, потребность наводить такие справки едва ли появится у читателя: весь склад повествования в «Байгурской школе» раскрывает некоторую условность замысла.

Автору не столь уж важна иллюзия житейской реальности всего, что происходит в далеком Байгуре и постепенно превращает этот вымышленный городок в удивительный научный центр мирового класса. Иное правдоподобие заботит его: ему хочется, чтобы мы уверились в конструктивной возможности и психологической состоятельности созданного им образа идеального работоспособного коллектива ищущих ученых. Коллектива молодого, истинно творческого и позволяющего каждой незаурядной индивидуальности выразиться сполна. И потому игра воображения автора, порою произвольная и окрашенная мечтательностью, на самом деле вся заземлена в современность и устремлена в завтрашний день нашей науки...

Наверняка у читателя найдется, о чем поспорить с автором. Но главное — найдется, о чем подумать вместе с ним. Байгурская школа — не только вымысел литератора. Она — замысел ученого. Суть в том, что Вл. Волков един в этих двух лицах: доктор физико-математических наук, он выступает как писатель. Выступает впервые. Однако давно замечено — лиха беда начало.

Д. ДАНИН.

### 1

**Х**орошо в пятьдесят лет иметь прошлое, не вызывающее желания забыть его. Твое прошлое, отделившееся и живущее независимой жизнью, но одновременно с тобой. Хорошо иметь при этом будущее, уверенное, хотя и не слишком очерченное, достаточно размытое, чтобы быть будущим, а не повторением прошлого и настоящего. И видеть, что кривая в будущее идет пока вверх, растет. И кривая роста растет. И кривая роста кривой роста тоже растет. И так далее — далекая экстраполяция, конечно, недопустимое превышение точности, — но загиба не видно, это факт.

Такое редко бывает в науке. В искусстве, в практических областях и в пятьдесят и в семьдесят можно работать не хуже, может быть, и лучше, чем в тридцать. Опыта больше, а дело то же: составлять новые сочетания из тех же элементов, слов, красок, положений. Накопленный опыт подхватывает и несет, сочетаний элементов бесконечно много, никогда не переделаешь, поэтому всегда открытая перспектива. В науке то, что ты уже знаешь, больше не помогает. Опыт может быть полезен, а может — вреден. Ты ничего не знаешь, ты все-

гда в тупике. И никто не знает, и не знал, и не мог знать. Кроме бога, замыслившего этот мир. Последний термин — для нас и для древних в равной мере — формулировка веры в красоту и смысл среди хаоса. Неколебимой и недоказуемой, как и надлежит быть истинной вере.

Повезло ли ему в жизни? Наверное, надо ответить: да. Только люди со сверхдарованием мало подвержены превратностям судьбы. Его нормальные исходные данные не могут одни объяснить его значение в науке.

Но и не то чтобы сочетание случайных обстоятельств выдвинуло его. Не слепое везение. Нет, у него было дополнительное качество, определившее успех. Качество, тоже само по себе не такое редкое, как не редко и научное дарование. Но у него оказалось одновременно два качества, может быть, надо сказать — несколько, очень гармонично сочлененных.

Он обладал умом. В самом бесхитростном смысле слова, не вызывающим еще необходимости углубленного анализа этого понятия, анализа, от которого возникает лишь зыбкость. Большинство людей, талантливых в науке, тоже обладают умом. Но их ум подчинен дарованию, его высшему назначению. Это хорошо, это освобождает от неплодотворных сомнений, позволяет идти вперед не оглядываясь, не думая о последствиях. Но это и вредит. Это приводит к неоправданной настойчивости, то есть упрямству, к потере понимания границ своих и своего направления возможностей, постепенной деформации личности.

У него был свободный ум. У него был ум, способный критически оценивать других и себя. Этот ум никак внешне не проявлял себя в период ученичества, проб и поисков, по-видимому, у него, у ума, не было тогда других функций, кроме наблюдения. А потом — это было всего дважды или трижды за всю жизнь — ум сумел сделать правильный выбор. В жизни человека вообще бывает немного таких моментов, два-три обычно, когда умный поступок решительно отличается от глупого. И то это отличие бывает видно только много времени спустя. В этом и состоит главная трудность в анализе качеств ума. Но теперь прошло много лет, и факт: он поступил правильно, он поступил счастливо, он поступил умно. И в том не было натуги, не было ставки на карьеру. Все было органично. Может быть, ум, собственно, здесь и ни при чем. Но какое-то свойство, не важно, как назвать, свойство, не слепая стихия.

Первым таким поступком было возвращение домой. Теперь видно, какой это был решающий, мудрый и смелый шаг. А как легко он был совершен, почти без размышлений. Он был единственным из группы шести молодых людей, отправленных «для дальнейшего усовершенствования», кто вернулся, не воспользовавшись возможностью остаться в одном из научных центров страны. Центров со сложившейся научной атмосферой, традициями, материальными возможностями для экспериментальной работы. А дома была пустота. Он это хорошо понимал. И после восьми лет жизни в насыщенной атмосфере вернулся в пустоту.

Он вовсе не был слабейшим из этих шести. Может быть, наоборот, сильнейшим, хотя вся группа была сильной. И все стремились к настоящей науке, и все друг друга поддерживали. Скорей он был не сильнее других, а только образованней. Конечно, оказаться в такой компании, отправиться вместе туда, где делается наука, было уже жизненной удачей, но удачей «нормальной», так сказать, рядовой и естественной.

По-видимому, идея возвращения была подготовлена всем строем его поведения в течение всего этого периода, столь отличным от принятого его товарищами. Каждый из них довольно быстро нашел себя,



«стал человеком». Но их впитала и так давно и хорошо удобряемая почва многочисленных научных центров. Эта почва плодоносила и без них, продолжает плодоносить и теперь. Внесли ли они свой вклад в развитие науки? Да, конечно, но что это реально значит? Только вклад гениев, истинных гигантов что-нибудь означает после того, как прошло двадцать—тридцать лет. Но про гениев — это приятно читать в книжках. Сами же они за минуты божественного озарения платили годами последующих страданий в попытках сделать еще что-нибудь в том же масштабе, если только не оказывались сверх того счастливыми, умиравшими молодыми.

Его товарищи находились в центрах настоящей живой науки, развивая интересные направления, делали хорошие работы. И на это ушли их годы, их двадцать и несколько сверх того лет. Вот его ближайший друг Борис. Он работал у Федора, он первый досконально измерил характеристики закисы меди. Он первый наблюдал дырочную проводимость. Кто сейчас помнит об этом? Конечно, в указателе трехтомника «Полупроводники» можно найти перечень четырех десятков его публикаций. Но кто ими пользуется? Даже в диссертациях упоминают скопом: «Ссылки на более ранние работы можно найти в\*\*\*». Это специалисты. А «широкая публика»? Когда-то хоть было утешение ее принципиальной неосведомленности, теперь и этого нет: «Как же, слышали, транзисторы и все такое...»

Второй товарищ работал у Димича. Интерференционные опыты в разных диапазонах. Было интересно? Да. Остался ли след? Не ясно, скорее нет. Потому что молодые люди, занимающиеся локацией планет, вряд ли могут понять, что его тогда волновало. Так в небытие ушли и остальные: кто расставлял счетчики на горных пиках, кто исхитрялся домашним способом и без затрат сжигать газы. Об этом можно лишь прочитать в развлекательных сборниках, среди других анекдотов.

Трагедия или только трагикомедия, но возникло какое-то несоответствие: время, отсчитывающее смену поколений в науке, опережает биологическое время. Его сверстников встречают с удивлением, в котором внешняя почтительность прячет насмешку: как, вы еще живы? Так бы встретили хоть самого Ньютона с его громоздкими методами расчетов и грубыми спектрографами. Но Ньютон успел умереть, пока современники осваивали его методу. Умереть еще не понятым — насколько это лучше, чем жить полностью усвоенным, то есть превзойденным и ненужным.

В отличие от своих товарищей он долго не вступал на четкую колею. Он поработал и у Федора, и у Димича, и у Белого, и у других, сделал работы, мог бы продолжать, но не остался ни у кого. Вначале им двигала любознательность, мешавшая полному сосредоточению. Зато он приобрел многих впоследствии удивлявшую широту. Широта не может не нести в себе элементов дилетантства. Но все зависит от масштабов, чувства меры и способности к самоконтролю (ум! Он обладал умом). Он проработал достаточно в каждой области, чтобы не только понимать, но и чувствовать, что как делается. Он не знал лишь того, что набирается уже по крохе в течение многих лет и делает людей безусловными авторитетами в определенной узкой области, — такими и стали его товарищи. При этом он четко себе представлял, чего не знает и с кем и по какому вопросу полезно побеседовать.

Они добродушно подтрунивали друг над другом, он называл их «занудами», они его — «продюсером». Он их шокировал, утверждая, что их трудолюбие есть лишь маскировка лени.

— Вы тратите девять десятых времени на пайку и наклейку течей в установке и кажетесь себе героями-тружениками, не гнушающимися

черной работы ради науки. А это всего лишь умственная лень, дешёвая растрата сил. А я за то же время продумаю новые постановки опытов, рассчитаю эффективность установки и прикину, подумаю, зачем вообще все это нужно в свете вот этой новой работы Имре.— И он помахивал свежим выпуском журнала.

— А что там?

Имя знаменитого теоретика делало их робкими; вообще, занимаясь слишком много проверкой теоретических предсказаний, они испытывали священный ужас перед неожиданными поворотами теоретической мысли. А он не боялся теории, не боялся расчетов (у него даже была совместная с Имре работа), это был его главный козырь перед экспериментаторами классической школы — такими были воспитаны его товарищи.

— Это незаконный прием,— говорили они ему.— Ты можешь так великолепно бахвалиться именно потому, что мы трагично живем на пайку. Но никто за нас это не сделает, и тогда опыты останутся и твои новые установки и формулы Имре будут ни к чему.

— Ценю ваше смирение,— отвечал он,— но отвергаю выводы, я не собираюсь жить за чужой счет. У меня никто не будет паять и проверять течи. Я спроектирую установку, а выполнит ее промышленность. И это не будет жизнью за чужой счет, потому что конструкторам и технологом будет интересно делать эту установку и, кроме того, они научатся на ней делать другие подобные вещи для разных других нужд. И установка будет изготовлена так, что две или три недели будет работать безотказно, а потом пойдет на слом. И за эти две-три недели будет выполнена серия измерений не над двумя десятками образцов, над которыми вы мучаетесь здесь, а над десятью тысячами образцов или десятком миллионами. А образцы эти, различные сплавы, мне изготовят металлурги, и им будет интересна эта работа, и они привлекут из этой работы пользу по своей части. И над данными измерений тоже никто не будет корпеть, ни я сам, ни лаборанты или студенты. Измерения будут записаны и представлены в обозримой форме. Как? Этим будут заниматься люди, посвятившие себя специфической, интересной для них области — это будут математики, слаботочники и так далее. Потому что век университетских форм науки заканчивается, начинается индустриальный век.

— Интересно, а что будешь делать ты сам?

— А я буду работать. Я буду сидеть в своей рабочей комнате за своим большим столом. А на столе будет все, что помогает работать: хорошая бумага, например, последняя работа Имре, прочее в таком роде. А позади стола на стене — большой экран. И я скажу: «Маша, покажи-ка, как там влияла присадка ниобия». И на экране появится кривая, температура перехода как функция содержания ниобия. «Так, а теперь дай кривые Холл-эффекта для этих образцов». На экране появится серия кривых. «Хорошо, отпечатай мне их в полугарифмическом масштабе». И я протяну руку к левому углу стола и выну из лотка кривые. А потом я напечатаю формулу, суну ее в прорезь справа и скажу: «Маша, это надо проинтегрировать при параметрах, взятых из Б-двадцать четыре, и сделать фит на кривые частотной зависимости К-один, укажи ошибки». Вот так я буду работать — не отрываясь, не суетясь. Когда на экране загорится надпись «Закончен пересчет подобия для проекта П-двенадцать», я скажу: «После контроля по К-три на выход». Вот как я буду работать.

Все весело смеялись, он громче всех.

— А где же это все будет помещаться — твой продюсерский офис и «Маша»?

— Конечно, у нас дома, в Байгуре.

Стало еще веселее, Борис долго не мог прийти в себя. Уже, казалось, успокоившись, он снова вскакивал, хлопал друга по плечам и лопаткам и кричал как пьяный:

— В Байгуре! Ах ты молодец! Слушайте, в Байгуре!

Это было в тот вечер, когда он так легко и просто закончил первый период своей жизни и отправился в неизвестность — домой, в Байгур.

## 2

В купе было еще двое. Почему такой темно-синий папа, когда такая светлая дочка? Потом он вспоминал и не мог понять, как это он сразу решил, что это отец и дочь, больше уже никогда он не замечал между ними сходства. Папа испытующе посмотрел из-под темно-синих бровей и произнес:

— Очень приятно.

А дочка протянула руку и сказала:

— Маша.

Он едва не прыснул, настолько еще находился сам под впечатлением своей недавней неожиданной импровизации и возбужден ею.

— А у меня тоже есть Маша,— вдруг ответил он.

Она удивленно подняла глаза, с обидой, как ему показалось. Инстинктивной обидой молодой девушки на молодого человека, у которого уже есть своя Маша,— это вовсе не означает, что она сама хотела бы стать его Машей, это безусловный рефлекс.

Он поторопился объяснить, кто такая его Маша. Сначала это получилось сбивчиво и неубедительно, следовательно, непонятно. «Маша не женщина», «Маша — машина» — объяснения выглядели по-дурацки, Маша морщилась, как от вульгарных слов, а папа ерзал и прятал голову в плечи. Потом вдруг как для самого себя, не поясняя терминов, не рассказывая, как возник этот образ, он стал продолжать описание своей рабочей комнаты со столом и экраном, своего диалога с Машей, удивительных способностей, которыми она обладает. И Маша — эта Маша в купе — стала светлеть, тень обиды исчезла. И когда папа надумал с запозданием спасти положение, начал приготовления ко сну, а он встал, Маша громко и безапелляционно сказала: «Нет, нет», положила пальцы обеих своих рук на кисть его руки и потребовала:

— Пожалуйста, еще про Машу.

И все восемь суток пути прошли под знаком Маши. Как ему было интересно выдумывать и рассказывать все новые истории про Машу. И как Маше было смешно и интересно узнать, что Маша в отличие от людей, уже умея вычислять со страшной скоростью, совсем еще не умела узнавать лица, как она постепенно научилась слышать, а говорить и по сей день предпочитает письменно.

— А читать она умеет?

Да, она так быстро и толково это делает, что он избалован и почти перестал сам читать. Маша прочтет, четко изложит суть, жидкость отождествит, ерунду опустит, из тома сделает две страницы и положит на стол. Можно попросить ее перечитать, обратив внимание специально на какой-то вопрос. Она помнит все, что он знает, из новой литературы она включает в свои сводки только то, что действительно ново. Один раз он попросил ее помочь редакции журнала (он произнес длинный набор терминов, образующих заглавие журнала). Дело в том, что журнал задыхался от потока статей. За два дня Маша прочтала и запомнила всю литературу по тематике журнала. После этого она устроила буквально разгром редакционного портфеля, найдя в нем только четыре абзаца новизны. Редакция была смущена, извинилась

и отказалась от дальнейших услуг. Но Маша не поняла и продолжала свою деятельность. Покончив с портфелем, она приступила к выработке статей из уже вышедших из печати томов. И не хотела останавливаться, пока не выключили питание.

Маша хохотала, и, поощряемый ее смехом, он смело стал выводить Машу за рамки служебной деятельности. Вдруг он, к ужасу своему, почувствовал, что буксует на месте, повторяя одну и ту же схему с примитивной подстановкой одних слов вместо других. То Маша быстро штудирует кулинарную книгу и с виртуозностью готовит банкет. То Маша изучает теорию джаза, овладевает синкопами и голубыми тонами и делает блюз из хорала Баха. Он почувствовал, как покрывается испариной. Непосредственность исчезла, голова стала быстро наполняться пустотой, язык во рту разросся и одеревенел. Он замолчал, погружаясь в трясину.

Заметила это Маша или нет, но она его выручила. К счастью, по поводу Баха и джаза ей было что сказать, и он мог вздохнуть. Маша сама была музыкантом, она окончила училище в Байгуре, и целью их нынешней поездки был выбор места для дальнейшего учения, теперь решено, что через год она поступит в Рижскую консерваторию. И когда он поверил, что катастрофы не произошло, Маша вернула ему инициативу: она опять взяла в свои пальцы кисть его руки и сказала:

— Ну пожалуйста, еще про Машу. Как на самом деле. Я, наверное, пойму, я способная.

И он обрел дар речи. Наверное, тогда в нем и проснулся педагогический талант, о котором по сей день не забывают упомянуть, когда хотят перечислить, что он сделал в своей жизни. Он потом всегда жалел, что не нашел времени восстановить то, что он тогда рассказывал Маше, увы, такое невозвратимо. То, что делалось потом, было лишь слабой тенью этого рассказа. Да он не рассказывал о науке, не излагал ее, освещение не попадало на объект от постороннего источника, объект освещался изнутри. Но скорей всего это ему так показалось; может быть, это было так интересно, могло быть так интересно только им двоим?

О чем он говорил? Как будто обо всем и без системы. Но это было не так (или ему только казалось), все было пронизано замечательно стройной логикой. Он начал с того, что рассказал, как работает лифт и как работает автоматическая телефонная станция. И что нужно, чтобы лифт принимал заказы от всех пассажиров на всех этажах и сам разбирался в очередности и возможности остановок. Потом выяснилось, что количество кнопок и проводов катастрофически растет, и вот непринципиальные досадные обстоятельства переходят в разряд главных, тогда они перестают быть досадными, а становятся уже интересными и благородными. Потом был рассказ об электронах и о вакуумной трубке. Отступление о том, что такое остроумие, когда речь идет не о сочетании слов, а о сочетании явлений. Потом следовала история радиолампы. Потом шла притча о зернах на шахматной доске. Он извинился:

— Я не сомневаюсь, что притча вам известна, но я подробно расскажу, чтобы вы услышали, как неожиданно надвигается бесконечность. Сначала ничего, кладем на первую клетку два зерна, на вторую четыре, на десятую приблизительно тысячу, ничего страшного, сколько это, скажем, сто грамм. А на двадцатую сто килограмм, а на тридцатую сто тонн — тоже еще ничего страшного, но ведь клеток шестьдесят четыре, а шаги приближаются.

Здесь, на тридцатой клетке, пришлось сделать перерыв. Потому что перерывы для сна были. Других не было. Восемь суток. Папа мог

слушать, если хотел, но развитие продолжалось и без него, когда папа изнемогал и уходил, чтобы прилечь.

Назавтра он уже сам не совсем понимал, какой особо яркий и таинственный смысл он вкладывал в эти самые шаги бесконечности. Назавтра шла другая глава. Что такое память и как извлекать нужный предмет из переполненной кладовой. Почему умственное развитие не передается по наследству или не происходит автоматически, как физическое развитие организма. Почему есть произведения искусства, которые не могут надоесть,— в них актуальная бесконечность элементов.

— Пожалуйста, прервите меня, можно на любом месте.

— Нет, очень прошу вас, все про Машу.

На шестой день папа решительно настроился выяснить, кто же, в конце концов, их молодой попутчик и есть ли у него серьезная профессия. За завтраком он умоляюще-строго посмотрел на дочь и начал обстоятельно рассказывать о своей работе в гидрологическом управлении, о Машиных успехах, о поездке в Ригу и другие города, о родственниках, живущих в этих городах. Говорил он долго и тягуче, все время казалось, что его речь вот-вот иссякнет и он мучительно думает, как ее продолжить, а продолжать он должен, хотя сам не заинтересован в том, чтобы его слушали. Он только ждет, он все время вопрошающе подымал глаза, ждет, чтобы его прервали и стали ему рассказывать то, что ему интересно. Маша была погружена во что-то свое, затем обвела взглядом обоих мужчин и улыбнулась.

— Сергей — физик, папа, он будет работать в Байгуре.

— В Байгуре? — Папа почувствовал облегчение оттого, что Маша взяла нить разговора в свои руки, теперь он мог задавать вопросы.— В Байгуре? В какой школе? — Термин «физик» вызывал у него только гимназические ассоциации, таким было его время.

— Сергей будет профессором в университете. (Он не говорил ей этого.)

— Профессором, университете, Байгуре,— как-то растерянно, как текст телеграммы, повторил папа.

— Да, в Байгуре ведь есть университет, помнишь помещение Первой гимназии? Сергей получил степень и теперь будет в нашем университете.

— Из столицы... в наш...

— Да, он создаст здесь школу. (Тоже ее собственный вымысел.)

— Школу, да... да...

Видно было, что папа совсем запутался, отказывается верить чему бы то ни было, но сдаётся, затраченные усилия переутомили его. В остальные дни он просто выключился. Быть отцом взрослой дочери нелегко.

Повезло ли ему в жизни? Да, и это случилось тогда, когда он поехал в Байгур и приехал уже с Машей.

### 3

У них не было детей, но была большая семья и шумный дом. Центром его была Маша, а заполнением — ребята, его мальчики. Они как-то сразу появились вокруг него, чуть ли не в первую неделю после его возвращения в Байгур. Во всяком случае, когда осенью ему отгородили под квартиру бывшую малую рекреационную бывшей Первой гимназии, то ребята уже участвовали под Машиним руководством в ремонтных работах. И сумели втащить в квартиру большую классную доску, это без Машиного ведома, когда она спохватилась, было поздно, проход был замурован. Так у них дома появилась «классная». В этой класс-

ной сразу же пошли занятия, веселые, нерегулируемые, нескончаемые. У ребят был оборудован лаз, при помощи которого они могли «поддерживать состояние приличия», то есть появляться иногда на официальных занятиях. Конечно, фиговый листок, все было всем известно, но в «Первой гимназии» смотрели на это сквозь пальцы.

Смотрели сквозь пальцы и даже поощряли, потому что любили его. Вообще со дня приезда он чувствовал себя будто погруженным в струю фена, потока горячего воздуха, подымающегося с моря, переползающего горный хребет и делающего такими неожиданно теплыми предрассветные часы на противоположном склоне. Такое бывает только в старых, далеких от мировых центров городах, в которых жизнь еле теплится, но десятилетиями и веками хранится не то память, не то сон об иной, возвышенной жизни. А сон создает единение, разрушаемое лишь возбуждением. И он не встретил ни зависти, ни подозрительности, а встретил доброжелательство и гордость как за сына, отчего становилось неловко. Все знали и все радовались, что вот вернулся Сергей Бозых, а он восемь лет провел в столицах, он знаком со всеми мировыми светилами и он профессор и доктор наук, а молодой, и что-то такое он тут совершит, отчего их город, их край станут интересней, значительнее. Тот факт, что здесь нашлись мальчики, тоже следствие духовной атмосферы такого города, этих мальчиков не найдешь среднестатистически определенными пропорционально плотности населения. Плотность определяет только общую массу мозгов, но не их направленность, способность к проявлению; для последнего нужна история — здесь существовала история. Без такого благодатного и возбуждающего материала, каким были его мальчики, невозможны были бы все эти «игры», полностью поглотившие его на несколько лет.

Интересно, как память человеческая сохраняет только внешние и, вообще говоря, случайные обстоятельства, как она не способна непосредственно фиксировать процессы, происходящие в глубине, единственно имеющие объективный смысл. Это свойство памяти иногда возмущает своей несправедливостью, но человечество примирилось и признало его неизбежность, человечество использует его на пользу истории, нарочито как бы устраивая ритуалы, которые, не имея абсолютного смысла сами по себе, содержат указания, служат метками, зарубками: смотри, подумай, здесь что-то было. Может быть, существовали цивилизации, поднявшиеся столь высоко, что не терпели уже ничего внешнего, — о них мы потому ничего и не знаем.

Мальчики же были юными создателями новой цивилизации — и они творили ритуалы. Они провозгласили образование академии под названием «Скола Прима де ла Байгур», сокращенно СПб. Ребята получили торжественное звание сколаров, а он сам — титул Боза Сколы. Его дом стал именоваться Бозонией. Вообще награждать кличками, причем так крепко, что вскоре все, включая самого окрещенного, уже и не помнили, что тот когда-то назывался иначе, было органично для ребят и не содержало ни малейшей нарочитости. Это было их близостью к детству. Какой удачей было то, что в смысле принадлежности к поколению он оказался для них еще на грани «своего». Важную роль в таком сближении сыграла Маша, которая действительно была их ровесницей. Поэтому он стал Бозом не только заочно, но и в лицо. Маша имела титул Бозини Сколы, но вскоре стала просто Машенькой — тут не было фамильярности, потому что это было не ласкательным именем, а прозвищем, как другие. И все они были на ты — как это произошло и как быстро, трудно вспомнить, периода на вы он просто не помнит, хотя такой должен был существовать. Но ритуала перехода не было — это значит, что и барьеров для перехода не было.

Потом было торжественно решено, что раз есть академия, то, во-первых, она должна заседать — и в Бозонии стали еженедельно собираться хуралы. Во-вторых, она должна издавать свои труды. Они будут печататься в виде отдельных выпусков «Известия из Сколы Прима де ла Байгур», сокращенно ИСПБ. Затея имела неожиданные по масштабу последствия.

Началось с того, что на очередном «классе» каждому сколару было предложено к следующему понедельнику представить свой проект множительного аппарата.

— Главное для решения любой задачи, — заявил он (в этот период он любил произносить перед ребятами назидательные речи), — это убеждение, что решение есть и оно доступно. Мы с вами знаем десятка два эффектов: магнитооптических, фотоэлектрических, гальваноэлектрических и других, для того чтобы найти удачную комбинацию для решения нашей практической задачи.

Он говорил неправду, потому что между возможностью в принципе и действующим устройством лежит пропасть, преодолеть которую научные средства в собственном смысле бессильны. Здесь господствует совершенно другая, но столь же удивительная, как наука, область человеческого духа — технология. Наука и технология (первая всегда пользовалась второй, потом вторая добилась быстрого продвижения благодаря первой) — это разные, совсем разные миры. Он говорил неправду как отец, прикрывающий своих детей от холода этого мира, — иначе невозможно войти в мир и такова родительская миссия. На самом же деле у него уже была припасена технологическая идея. Его широта включала любовь к хитрой технологии, недаром он поработал у Белого, еще тогда он припас и запрятал в памяти на будущее свою идею. Он подсунул ее ребятам невзначай тогда, когда они проанализировали десяток принципиальных возможностей и сами почувствовали, что возникает именно технологическая проблема.

Тогда они начали конструировать и строить и сконструировали и построили «множительный аппарат широкой апертуры», сокращенно МАША, ставший материальной основой для издания ИСПБ. Эта работа тоже была веселой игрой и продолжалась свыше трех лет.

Первый выпуск ИСПБ содержал описание и чертежи аппарата МАША. Потом пошли регулярные выпуски с продолжениями «Байгурской школы». Это было изложение их «классов», его лекций. Чего он только не читал своим ребятам в первые годы! Даже математику он не хотел уступать посторонним, когда она предназначалась для его мальчиков. «До сих пор принято излагать математику так, — писал он потом в предисловии к типографскому изданию первого тома «Байгурской школы», — как если бы автор имел перед собой крайне подозрительного и недоверчивого читателя или слушателя, который все время полон решимости уличить автора в передергивании. Отсюда главные усилия — не жалеть средств, сил и времени; строгость и логическая безупречность. Моя аудитория — это доверчивые юноши, им нужен язык, инструмент для работы, они знают, что я их не обману». «Байгурская школа» появилась удивительно своевременно, когда во всем мире стали ощущать необходимость реформ преподавания, она не опережала время, она лишь реализовала то, что требовал современный уровень. «Байгурскую школу» стали переиздавать и переводить, и в течение десятилетия она завоевала мир.

Так выпуски ИСПБ приобрели известность. Заинтересовавшись их содержанием, обратили внимание на новую технику издания. И всем захотелось печатать и рассылать свои работы поскорей, без рецензентов и типографий, без преувеличенной ответственности. Это начиналась новая эра в научном общении. Это восстанавливалась старинная

традиция — ученые обмениваются письмами с изложением своих опытов и размышлений. И в Байгур полетели запросы: нельзя ли приобрести экземпляр МАША, нельзя ли приобрести лицензию на производство МАША, нельзя ли приехать в Байгур для знакомства с техникой МАША?

Байгур ликовал. Конечно, никто не сомневался в Сергее Бозых, но все-таки никто не был непосредственно подготовлен к успеху: переход уверенности в действительность — одно из самых удивительных явлений. Было созвано специальное заседание местного исполнительного совета для обсуждения вопроса о концентрированном развитии Байгура как центра производства научного оборудования и автоматических устройств. Было решено создать производственную фирму с исследовательским центром. От Бозых потребовали обеспечения научным руководством и кадрами.

В этот решающий момент он опять оказался подготовленным. У него был сформулированный организационный принцип. Принцип состоял в том, что гвардия при любых обстоятельствах не растрачивается, не расплывается. Его «Скола» остается университетской ветвью. Она расширяется, но ее финансирование никак не должно связываться с доходами, которые принесет фирма или любое другое предприятие подобного типа, которое может возникнуть впредь. Финансирование должно быть стабильным и консервативным, то есть предсказуемым. Развитие и расширение будет, естественно, обеспечиваться тем, что будет фиксировано не абсолютное число в денежных единицах, а относительное число как доля общего дохода края. Эта идея понравилась своей простотой, необычностью и отсутствием пугающих обычно многозначных цифр и легко прошла законодательные инстанции. Конечно, потом, когда коэффициент перевода этого малого относительного числа в именованное число, денежные единицы, стал катастрофически расти, его неоднократно уменьшали. Но сам принцип остался нетронутым — и это было главным, принцип обеспечил ему в решающие моменты желанную свободу рук.

Большие затруднения вызвала проблема официального наименования «Сколы», ибо, с одной стороны, ясно, что нельзя оставлять этот детский набор слов, а с другой — сочетание букв ИСПБ уже всемирно известно, так что надо подобрать имя под эти инициалы. В конце концов, остановились на названии, которое звучало — особенно поначалу, потом привыкли и перестали замечать — напыщенно и смешно. Так возник Институт синтетических проблем в Байгуре, сокращенно ИСПБ.

#### 4

А пока на видимой поверхности происходили эти события, в глубине шли настоящие серьезные процессы — мальчишки зрели.

Первым возник Ном. Когда он стал тем, кем продолжает оставаться и сейчас для байгурской школы? По-видимому, в самый ранний период. Для ребяты практически мгновенно. Об этом свидетельствует само имя — Ном. Оно образовалось от «номер», подразумевалось «первый номер». В тот период, когда происходило образование имен, ребята увлекались собственной классификацией. Их возраст и преданность науке делали эту игру бесстрастной и точной. Место Номы было для них столь очевидно, что второй номер после него уже никому не был присужден. Сравнительным анализом легко установить, что элементы цифры «три» прослеживаются в ряде имен-прозвищ, следов же «два» или «второй» нет вовсе, между Номом и остальными оставлен интервал. Потом классификация усложнилась, стала многомерной и наконец потонула, затерялась в чисто звуковой канве.



Уже на первых своих «классах» он ощутил на себе этот взгляд, в котором, иначе не сформулируешь, были элементы магического. Это и был Ном, студент, который «все знал» — таково было абсолютное убеждение его товарищей. Эта вера имела, конечно, и благотворное обратное влияние на Нома — под давлением ее невозможно было ни в каком случае сдаться, не найти решение: ведь «Ном все может». Во взгляде Нома было веселье, для него было наслаждением узнавать новое. Во взгляде Нома было внимание и требовательность, он был ненасытен и ждал незамедлительного продолжения: дальше, это ясно, а что дальше? И во взгляде Нома было одобрение и доверие, которым поневоле дорожишь.

Уж он постарался тогда, чтобы этому парню не было скучно. Он нагружал его задачами, рано впряг в ярмо текущего потока литературы. Он подбрасывал еще и еще. И Ном принимал. Быстро, спокойно, уверенно. И, приняв, сохранял навсегда, ничего не терял. И действительно «все знал». Давно уже привык он сам: при затруднении, с новой мыслью или «просто так» первый порыв — надо поговорить с Номом.

Какая это непостижимая вещь, способность восприятия науки. Не ее внешних форм, не концепций, не рецептов, а живого существа. Что такое это «существо»? Его невозможно выразить, всякое изложение науки тоже только ее внешняя форма, «мысль изреченная». Факты, теории — это камни ее здания, а камни мертвы. Живое можно наблюдать только в живом носителе. Таким носителем был Ном.

И Ном был его учеником. Сам Имре поздравил его с таким учеником, когда Ном опубликовал свою «Теорию систем с отрицательной температурой». Это он сформировал Нома в настоящего теоретика, эта частица его духа возгорелась так ярко. Но его дух не исчерпывался Номом, у него был еще Ксы.

Имя Ксы, заменившее детское Кась, свидетельствовало о полном равнодушии его обладателя к принятому произношению букв греческого алфавита. С таким же равнодушием он относился и к любому алфавиту и любой грамматике. Замечательно, что это ему не мешало, а скорее помогало при общении с иностранцами. Там, где другие, лучше его знавшие язык, должны были все же думать о построении фраз, Ксы непринужденно обходился несколькими английскими глаголами и существительными, большинство последних были интернациональными терминами. И его лучше понимали, он лучше излагал свои мысли, потому что думал только о сути дела. Немного тщательнее он строил свою речь и на родном языке. Это была не неряшливость, не косноязычие, это была постоянная сосредоточенность на своем, на «деле». Чужие «дела», конечно, тоже существуют, он их в принципе уважает, в частности и искусство слова и науку о слове, но к его делу они не имеют отношения, для своего дела он должен пользоваться наиболее экономичными средствами извне, самыми необходимыми. Его отношение к математике не отличалось от отношения к языку. Ее изящные способы выражения, ее удивительной общности образы — это тоже было важным, достойным и уважаемым «делом», но не его делом. Наверное, если бы не предупредительная помощь его друга Нома и не понимание учителя, не преодолеть бы ему своего органического неприятия требований официальной учебной программы.

Что было его делом, у Ксы не было сомнений. Он воссоздавал явления природы. Явления не лежат на поверхности вещей, их надо выделывать из хаоса повседневности. Для этой цели Ксы умел придумывать и делать приборы, установки. Когда они выполняли свою миссию, он безжалостно уничтожал вещественные доказательства годов труда — приборы как таковые его не интересовали, его интересовали явления.

По мере того как эксперименты Ксы усложнялись, это его пренебрежение к вещам стало угрожать мезью с их стороны. Схемы, источники, насосы загромождали беспорядочно столы, стулья и пол, провода, шланги пересекались запутанными гирляндами, малейшее неосторожное движение расстраивало хлипкую гармонию опыта, и явление исчезало. Приходилось все заново проверять, заново монтировать, нетерпение оборачивалось потерей времени. Трудно сказать, удалось ли бы Ксы обуздать свою чрезмерную стремительность и немного переделать свой характер. Тут вмешалось всевидящее око Боза, который имел твердое убеждение, что переделывать свой характер человеку не стоит, что каждый должен развивать то, что ему дано. Он невзначай подсунил Ксы компаньонов, Тера и Рика. Теру не надо было делать над собой усилие, чтобы уйти на время от основной цели, заменив ее другими техническими, технологическими. Рик шел еще дальше в этом направлении. Он обладал особым вкусом к архитектуре вещей. Он испытывал неудовлетворенность и внутреннее беспокойство, если элементы установки располагались «некрасиво». Некрасиво — означало без внутреннего смысла, если можно так и эдак, как случайно получилось, без однозначной определенности. Красота есть, например, в механизме часов, где ни одно колесико нельзя сдвинуть, чтобы не нарушить основное свойство системы — способность хода. Красоты нет в схеме, в которой лампы, трансформаторы, конденсаторы можно располагать почти как попало. Это эстетическое преимущество механических систем над электрическими травмировало Рика. Когда нет красоты — это значит, что соответствующая область находится еще в эмбриональном периоде своего развития. Годы Рик искал и ждал — одному невозможно повлиять на целую область, — и время пришло, и Рик занялся разработкой интегральных электронных элементов, замечательных приборов с наперсток величиной, заменивших целые горы ламп, сопротивлений, конденсаторов, вороха кабелей и прочего.

Вскоре эта троица так срослась, что получила общее прозвище — Териксы. Легенда утверждает, что вообще никто никогда их не видел порознь, а на изобразительных памятниках эпохи они сохранились в образе трехглавого крота на гусеничном ходу, вгрызающегося в каменный грунт.

Явление надо не только воссоздавать, но и измерять. Без измерений нет и явлений. Новые явления требовали новых типов измерительных приборов — Териксы умели их придумывать и осуществлять. Что остается после того, как явление воссоздано и измерено? Остаются числа: но иметь дело с числами — это ведь математика. Нет, это не математика, или, точнее, не та математика, которую Ксы пропускал мимо своего сознания. Такая математика была уже его делом, и он прекрасно умел обращаться с ней. Для этого тоже было достаточно нескольких «глаголов» и «существительных» и устремленности к сути дела. Замечательно, что появление быстродействующих счетных машин явилось торжеством психологии Ксы. Потому что оказалось, что язык, на котором человек может говорить с машиной, выдавать ей задания, запрашивать у нее сведения, состоит только из двух десятков слов, самых простых слов, среди которых нет даже таких, как «синус» или «логарифм».

Он, Боз Сколы, сформировал и Нома, и Ксы, столь разных, как символы теории и эксперимента, и Тера, и Рика, и Фоку, возникновение которого было внешне совсем алогичным. Этот студент производил впечатление живущего во сне, невозможно было понять, что же его интересует. Он как бы нехотя и лениво, словно проявляя снисходительность, лишь давал возможность обнаружить существовавшие у него знания, почему формально к нему нельзя было придаться. Потом

его долго невозможно было заставить заговорить о чем-либо, кроме как о земном магнетизме и шаровой молнии,— по всеобщему убеждению, нет тем более бесплодных и более приспособленных для маскировки лени. К счастью, в «Сколе» был принцип никого не выгонять, надо каждому терпеливо предоставить возможность выбора — такой выбор благодаря постоянному расширению «Сколы» и дочерних институтов был широким,— и Фоку оставили в покое. От шаровой молнии он не торопясь перешел к плазме и звездным атмосферам. Потом выяснилось, что он занят математической логикой.

— Зачем это тебе? — спросил Ксы.

— Мне нужно построить схему численного обсчета плазмы.

— Не балагань.— Для Ксы конкретное дело было конкретным делом, а обоснования в абстрактных сферах — надувательством.

Но у Фоки уже был проект вычислительного агрегата, и Ксы замолк, замолк восторженно, потому что если каша сварена, то не наше дело, какой топор автор всунул в котелок вначале. С тех пор Фока так и остался в сфере вычислительной техники и методики, к звездным атмосферам он пока не вернулся.

Эти пятеро определили стиль байгурской школы. Остальные уже тянулись за ними, остальные уже были в поле созданного стиля. Каждый по мере сил и наклонностей находил свое место и раньше или позже приобретал объективную ценность, это значит — находил себя. Так и возникает школа, в которой все друг друга понимают, друг друга дополняют, отчетливо представляют себе, кто что может. Так возникает единый организм. И если члены организма молоды, они хорошо срастаются, и здоровое тело легко справляется — конечно, до поры до времени, ничто не вечно — с ядами тщеславия, неизбежно выделяемыми этими членами, как-никак помнящими свою биологическую рознь.

Следующий из выпусков ИСПБ, который был всеми замечен, назывался «Обзор применения высокотемпературных сверхпроводников». Вводный параграф начинался со слов: «Странное название, ведь таких веществ не существует как будто пока. Но что такое «высокая температура» и что такое «пока»? Нет сомнения, что температурная область существования сверхпроводников будет расширяться, а степень их недоступности падать. В этой работе нас не будет интересовать вопрос о том, в какой точке кривой «время—температура» окажется удобным технически и доступным экономически использование рассмотренных ниже эффектов и аппаратов. Но нет сомнения, такая точка существует». Это была неопровержимая логика, это был стиль байгурской школы. Когда та самая точка мировыми усилиями была достигнута, то байгурская работа оказалась исчерпывающей, она содержала все что нужно. В ней не было выдающихся провидений, это была именно работа. Коль скоро работа выполнена, ею пользуются.

Конечно, всякий результат содержит элемент удачи. Но удача приходит — чаще или реже, — если работаешь постоянно. Если постоянно следишь за тем, что происходит в мире. И если специально ее, то есть удачу, не вымогаешь.

Так и работала «Скола». Она решала свои «синтетические проблемы», то есть делала что могла. Нельзя думать, что самому можно и выковать меч и ударить им. Делай возможное, не жди. И если есть идея хорошего опыта, требующего миллиона, а этого миллиона нет, не бросай думать. Может быть, когда будет миллион, думать будет поздно. Или, может быть, у кого-то этот миллион есть, но он не догадывается, как его использовать. Да не опускаются руки.

У них был период увлечения проектами в стиле сверхпроводникового. Это возникло как продолжение школьного процесса. Был проект «Фазовое фотографирование» — это было еще тогда, когда не

знали мощных когерентных пучков. Размышления над тем, откуда их взять, привели к «Теории систем с отрицательной температурой» Нома и к возникновению впоследствии в Байгуре лаборатории, разрабатывающей лазеры. Был начатый Риком проект «Интегральные электронные элементы», потом в Байгуре возникла и такая лаборатория. К таким же последствиям привели большие поля Ксы и агрегаты Фоки. Один из них, «Мощный алгоритмо-синтетический агрегат», сокращенно МАСА, привел к включению СПб в международную коллаборацию по изучению трансформаций частиц высоких энергий, после чего миллионы метров отснятой на гигантских установках Москвы, Женевы и Чикаго фотопленки прибывали для обсчета в Байгур. Так они стали органической частью мировой науки.

Хорошо иметь прошлое, свое прошлое, не вызывающее желаний забыть его. Но почему оно кажется самому себе таким прямолинейно-выдуманым, таким ограниченно-правдоподобным? Будто это не воспоминание, а сон, вот он проснется и увидит себя в вагоне на верхней полке, он едет в Байгур, в неизвестность, внизу спят Маша и ее папа— Маша не сон, но ведь она может выйти на следующей станции в неизвестность,— он едет и жаждет оправдать свой поступок, оправдание в этом будущем, которое прошлое. И оно все-таки прошлое. Неверно думать, будто прошлое определенной будущего. Наоборот, неоднозначность будущего ограничена малой областью твоего предвидения — вот на этой площади, между этой и этой кривой — это все, что ты можешь придумать. А прошлое, оно не выдуманное, а что не выдумано, в том сидит бесконечность, прошлое бесконечно многозначно. И из этого клубка бесконечной многозначности ты вытягиваешь нить, одномерную натянутую нить, четкую как сталь,— она реальна, эта нить, она не выдумана, но она не единственная в клубке. Прошлое было, и оно неоднозначно. Будущего еще не было, потому оно не так неоднозначно. Настоящее — что о нем можно сказать, оно ведь точка или что-то в таком роде, не имеющее размеров, оно нулевой меры. Как бы много оно для нас ни значило, оно «меры ноль».

И хорошо, если без хитрости из клубка вытягивается такая нить. И хорошо, если не появляется другая, еще более стальная, такая страшная своей ослепляющей беспощадностью в темный час бессонницы. Хорошо не знать этого часа, бодрствовать днем, не просыпаться среди ночи. В сорок, шестьдесят и далее.



Женщинам свойственна бескорыстная любовь к учению. В наиболее примитивной форме это свойство проявляется у женщин праздных, не обремененных постоянными семейными или служебными обязанностями. Они постоянно числятся, посещают, оканчивают — к неорганизованному самообразованию они относятся с недоверием — какие-нибудь курсы: иностранных языков, киноведения, кинологии и другие. По мере сил и возможностей найти свободное время учатся и женщины отнюдь не праздные, а деятельные и занятые, но не служащие — не отдавая себе отчета в различии между работой и службой, службой и делом, они ученьем пытаются парализовать угнетающее действие взглядов превосходства, которыми их одаривают служащие женщины. Конечно, Маша была предельно далека от этих основных двух категорий учащихса женщин, жизнь ее была содержательна и полна, и она отчетливо сознавала это. Но природа, наделяя все живое защитными средствами, щедра и не отбирает однажды данное. Часто орган, ставший ненужным в процессе эволюции, находит важное неожиданное

применение — так из жаберной кости возникли детали нашего слухового аппарата.

Маша брала уроки английского языка. В течение многих лет у одной и той же учительницы, старой одинокой женщины. Получилось так, что эти уроки стали для Маши постоянным источником радости. Во-первых, она полюбила свою учительницу, и та отвечала ей взаимной привязанностью. Сначала Маша была восхищена педагогическим умением миссис Берты — уже за первый год Маша сделала успехи, очень ее самое поразившие. Потом миссис Берта с такой мягкостью и одновременно непреклонной однозначностью — раз и навсегда — пресекала в корне Машину попытку принять в ней благотворительное участие, что этот эпизод, не оставив у Маши следа неловкости или стыда, привел к сближению ученицы и учительницы. Они по-настоящему подружились, стали друг другу Бертой и Машенькой. Для Маши и внешне Берта изменилась, она перестала ощущать разницу в возрасте как сколько-нибудь определяющее обстоятельство. Последние же годы, по мере того как Маша сама стала приближаться к сорока, возраст ее друга вызывал в ней новые импульсы восхищения. Она пристально следила за поведением Берты. Никакой деформации, так же ровна, благожелательна к людям, без раздраженности, без ущемленности. Вот такой быть в старости! Как этого достигнуть? Что это, воспитанность, умение ничего не пропускать наружу — но при таком длительном и совершенном осуществлении не равнозначно ли такое естественному состоянию? Или это следствие того, что получено достаточно от жизни в молодости — но что означает «получить», «достаточно»?

Вторым источником радости, содержащимся в уроках английского, были для Маши ее «экспромты». Эти сочинения на произвольную тему были, по методике ее учительницы, обязательным содержанием каждого урока. Ученица представляла написанное дома, потом оно разбиралось, потом происходила беседа по теме, вокруг и вне темы сочинения. Есть лица, которые, страдая заиканием на родном языке, лишены этого недостатка в иноязычной речи. Это происходит потому, что причиной заикания у них является не какой-либо органический недостаток органов речи, а психическая травма, происшедшая в детстве, которая, естественно, не сказывается в речи на другом языке, изученном позднее. Такого типа явлением, по-видимому, было и то, что Маша, никогда в школе не блиставшая своими сочинениями и не умевшая писать письма, получала истинное наслаждение, занимаясь писанием на английском языке своих «экспромтов», так стала называть их Берта, вкладывая в этот термин тот смысл, который он имеет в музыкальной литературе. Произвольность содержания, отсутствие ответственности, кроме как грамматической, никаких предварительных требований законченности, или убедительности, или даже правоты. Свободно, легко (с точностью до словарного запаса, но это не трудность, в чужом языке нет забот о стиле) черпала Маша из накопленного внутри. Радостный процесс — писать по внутренней потребности. Что еще нужно пишущему, когда у него сознание собственной неисчерпаемости? Нужно еще признание. Признание — это реакция другого, независимого человеческого существа. Потребность такой реакции — явление, лежащее глубоко в природе человека. Количественное различие, миллион читателей или один, ничтожно в сравнении с различием один или ни одного — здесь пропасть. Маша это отлично понимала, она жила в научной среде и знала, как важно для автора напечатать работу и сколько бывает читателей у опубликованной статьи. У нее был читатель, который с интересом ждал ее новых произведений. Берта искренне ее хвалила: и потому, что «экспромты» становились и по языку все более совершенными, и потому, что она любила свою ученицу и радо-

валась ее энтузиазму, и потому, что через вольные «экспромты» Маши, через ее мир, она чувствовала и себя связанной с большим миром.

Маша имела одного читателя, потребности в большем числе она не только не испытывала, подобная мысль даже показалась бы ей абсурдной. Но у нее не было и стыдливости относительно своих писаний, что несомненно было бы, если бы «экспромты» писались на родном языке. Чужой язык прикрывал интимность ее излияний, делал их внешне чужими. И так как Маша к урокам аккуратно переписывала на машинке свои сочинения и потом хранила их, то она, естественно, хорошо их помнила и иногда цитировала. Так получилось, что некоторые отрывки стали употребляться в кругу байгурской школы как афоризмы или поговорки. Желавшие могли изучить и первоисточники.

Особенную популярность в течение длительного времени имел «экспромт», приобретенный в СПб название «Спектральный принцип».

«В музыкальном училище я очень увлеклась чтением музыки «про себя». Я могла часы и дни проводить за томами фортепьянных сочинений. Для того чтобы читать симфоническую музыку по партитуре, я даже целый год посещала оркестровый класс. Я умела уже, сидя за нотами, слышать оркестр и отдельные голоса в нем. Тогда я поставила себе целью добиться беглого чтения — и потерпела полную неудачу. Концерт, длящийся в исполнении час, я не могла никак прочесть ни за пятнадцать минут, ни даже за пятьдесят минут, я переставала слышать. У нас был преподаватель музыкальной акустики, такой милый, добрый старичок, еще ученик Римского-Корсакова, вот что он мне сказал: «Музыкальное произведение не существует вне длительности. Как и отдельный музыкальный звук. Возьмем струну, настроенную на основное «ля», будем щипком извлекать из нее звук и сразу же демпфировать его. При длительности полсекунды, одна восьмая или одна шестьдесят четвертая секунды это будет еще хорошее «ля», при одной двести пятьдесят шестой — похоже на «ля», а при одной тысяча двадцать четвертой — вовсе не музыкальный звук. Но звук еще не музыкальная фраза, а фраза не существует, пока она не воплощена во времени. И фраза еще не музыка, а часть сонаты не музыкальное произведение. Поэтому-то и запрещены хлопки в паузах концертов. Поэтому-то музыкант не может восхищаться ни ударом, ни пассажем, если есть удар и есть пассаж, то это аттракцион. В музыке их нет, как в звуке «ля» нет кусочков по одной тысяча двадцать четвертой доли секунды. Если ты не можешь сократить длительность — значит, ты действительно слушаешь музыку, а не листаешь ноты, поздравляю тебя, милая, молодец». «Ну а как, например, дирижер, он ведь может пробежать глазами партитуру перед исполнением?» Тут он мне стал говорить много технических подробностей, которые я плохо понимала. Я восприняла одну мысль и перестала слышать дальнейшее, мысль такую простую, что потом я уже не могла понять, что же в ней было разительно нового, ведь все и так это знают. Она состояла в том, что есть музыка во времени и есть ее образ, который вне времени. Соната номер восемь Гайдна длится шестнадцать минут, и нельзя сказать «я наслаждался сонатой в течение пяти минут», это бессмысленное сочетание слов. Но при словах «соната номер восемь», если я ее знаю, возникает образ сонаты (всей, обязательно всей, у образа нет частей). Звуки рассеиваются в воздухе, а образ хранится, смысл музыки в образе.

Эта мысль словно опьянила меня, все явления жизни вдруг по-новому осветились, я стала ко всему применять этот принцип, мне казалось, что я все стала понимать, тысячи вопросов стали простыми и ясными. Как много встречаешь сочетаний слов, имеющих только внешнюю видимость смысла. Например, нет смысла в предложении

«они любили друг друга два месяца», хотя можно сказать «они жили совместно два месяца» — это как разница между аттракционом и музыкой. Нельзя, например, быть ученым ни год, ни десять лет. Сказать так бессмысленно. Если хочешь определить что — не сможешь сказать когда. В этом, как я теперь понимаю, состоит основной принцип квантовой теории».

Впечатление, которое произвела на школьников неожиданная концовка, содержавшая лаконичную формулировку понятия дополнительности, никак нельзя объяснить только их любовью к Маше. Мерой всеобщего восторга был состоявшийся по этому случаю в очередной день хурала спектакль.

Перед собравшимися была разыграна музыкальная история о том, как Нильс Бор явился верхом на осле в Байгур, но был изгнан Машей как неподлинный, ведь поскольку он здесь, то он живой, значит, жизнь его не завершена, а раз так, то он еще вовсе не Бор, а неизвестно кто, только жизнь в целом составляет определенность.

Маша беззвучно смеялась и чувствовала, что тяжесть капель слез смыкает ее веки. Эти сценки представляли собой как бы вариацию первого из рассказов Сергея о «Маше», первой истории из серии восьми дней их первого путешествия, того совместного путешествия, в котором и сложился в ее душе образ ее, их с Сергеем, жизни. Тот образ был для нее музыкой, уже написанной музыкой, и они только исполняли ее, и хотя каждая следующая страница была им неизвестна, — а значит, ее исполнение содержало трудности, — но каждая страница была из той уже написанной, ожидаемой, интересной музыки. Поэтому Маша считала, что она живет легко, и она действительно жила легко, если легко означает, что каждый следующий день однозначно вытекает из предыдущего. А когда живешь легко, то автоматически источаешь радость для всех окружающих тебя хороших людей. Потому что хорошим людям приятно тогда на тебя смотреть, они рады твоей легкой поступи и черпают в ней бодрость; они, окружающие тебя хорошие люди, теряются лишь тогда, когда ты вдруг теряешь эту свою легкую поступь, ногу твою заедает, и ты начинаешь бегать по кругу, смотря на них вопрошающими глазами. А пока ты живешь легко, ты и внешним обликом не меняешься, как не менялась двадцать лет Маша. Потому что неверно думать, что облик твой определен заранее генетической записью — в ней заданы только этапы подъема и спуска, и в твоей воле вести по горизонтали между этими двумя вспышками табло.

Может быть, Маша слишком ригористично придерживалась своей теории образа. Но в ее поведении не было педантизма, у нее просто не возникало сомнений, ей не приходилось мучительно выбирать. И вообще она не занималась философией вне ограниченных задач своих «экспромтов», и не все ее сочинения содержали «принципы».

После успеха «Спектрального принципа» Машу настойчиво уговаривали выступить со своими «экспромтами» перед широкой аудиторией, принять участие в «концертах», которые регулярно дважды в месяц давала «Скола» в помещении небольшого концертного зала музыкального училища. Эти «концерты» — так их называли не только в СПб, но и в городе — официально назывались чопорным именем «Байгурские беседы» и сначала имели целью привлечение школьников в Байгурский университет, эти «беседы» также издавались методом МАША и были как бы подготовительным отделением байгурской школы.

Потом эта цель «концертов» потеряла свое значение, привлекать в университет не было нужды, но «концерты» сохранились и стали популярны в городе не меньше, чем литературные и музыкальные вечера. Содержание и стиль их соответственно постепенно деформиро-

вались. Все школяры считали, что именно «Спектральный принцип» Маши положил начало «концертам» в том виде, в котором они потом существовали много лет. Именно тогда Ном прочел свою знаменитую лекцию «Электричество во влажном мире». Это была история развития физики в воображаемой стране, в которой из-за большой влажности атмосферы невозможно, потеряв кошачьим мехом стеклянную палочку, получить электрические заряды. Поэтому первым электрическим явлением, осознанным там, был свет. Каким образом физики этой страны дошли до изобретения конденсатора и до закона Ома, это было содержанием исторического очерка.

Соревнуясь с Номом, Ксы дал «концерт» на философскую тему «Гипотезы и факты». Он использовал мало слов. Вначале был показан кинофильм под названием «Почему кошка падает на лапы». Фильм был краток. Зрители видели сначала кошку, которую сбрасывали с разных высот в разных позах. Полет, приземление всегда на лапы. В чем причина? Гипотеза номер один: регулятор — хвост. Зрители видят кошку без хвоста, ее сбрасывают с разных высот в разных позах, опять приземление всегда на лапы — гипотеза опровергнута. Гипотеза номер два: регулятор — голова. Зрители видят кошку без головы, полет, приземление плашмя. Фильм окончен, гипотеза номер два подтверждена. Почему же мы не удовлетворены? Вы скажете: голова кошки — сложный немеханический объект. Но как знать заранее, если мы имеем дело с объектами, с которыми мы не так часто общаемся, как с кошкой. Далее Ксы демонстрировал явления, которые кажутся понятными на уровне теории падения кошки, и говорил о простых предметах, внутри которых может оказаться «голова кошки».

Рекордом совершенства формы была признана серия «концертов» Фоки. Каждый был посвящен одному и тому же — шаровой молнии. На каждом проводились демонстрации, каждый заканчивался полным и убедительным объяснением всех явлений — полной, простой и понятной теорией шаровой молнии. И каждый следующий начинался с простого и естественного объяснения, подкрепленного демонстрациями того, что все сказанное в прошлый раз — чушь и самообман, а завершался новой простой и убедительной, объясняющей все факты теорией.

«Концерты» стали новой формой игры для уже созревших школяров. Эти игры давали им удивительно непосредственное ощущение радости познания, которая только и могла возникнуть от соприкосновения вполне современного профессионализма со старинно-провинциальной жадной образованности. А в городе о «концертах» стало модно говорить и спорить, газета печатала рецензии и обсуждения, публика интересовалась выступающими как артистами.

Но Маша отказалась выступить со своими «экспромтами». Маша не согласилась официально возглавить популяризацию науки в СПб, стать издателем «Байгурских бесед». Маша отказалась не задумываясь, в ее душе при этом ничего не дрогнуло, не завibriровало тоскливо. Как не задумываясь оставила когда-то профессиональные занятия музыкой. Как не пленилась возможностью вместе с ребятами учиться у Сергея. Ведь для Маши, Бозини Маши, жизнь действительно была уже написанной музыкой. Она даже не спорила, когда говорили о влиянии ее «экспромтов» на стиль «концертов» «Сколь», она лишь молча улыбалась — она-то знала, что все это развитие той самой музыкальной темы, восьми дней их первого с Сергеем путешествия, музыка едина. Как хорошо, что и это свое свойство Сергей передал мальчишкам, так должно было быть. Маша жила легко, ее жизнь не нуждалась в побочных линиях развития, пусть они сами по себе интересны, но они не из той музыки, в музыке нет прошлого и будущего, она неделима.



## 6

Почему внуки желанней детей? Производя детей в молодом возрасте, человек еще не понимает смысла смены поколений. Бодрый и веселый слепец, он не задумываясь мчится к приготовленной для него ловушке. В капкане ответственности за созданную жизнь он едва-едва начинает прозревать, когда подходит старость. Начав стареть, он примирен, ему приятней и спокойней не роптать, он делает попытку сознательно восхищаться мудростью природы. И та великодушно предоставляет человеку возможность повторить цикл с пониженной ответственностью — она отпускает дополнительное время, достаточное для того, чтобы воспитать внуков. Он получает возможность быть не только бессознательным звеном стабильности вида, но и элементом стабильности цивилизации.

Когда Сергей Бозых достиг такой степени зрелости, у него не возникло и тени сожаления об отсутствии детей. Дети не могли заменить ему учеников. Дети появляются не тотчас пригодными к усвоению «Байгурской школы» и не в таком количестве, чтобы образовать школу. Так что его педагогический инстинкт не был сродни родительскому. Но он и возбудил в нем тоску по внукам.

Внукам в буквальном смысле слова. Внучатые ученики и ученики собственные второго и последующего поколений уже не давали ему той радости, как первые его ребята, его мальчики. Образовался разрыв поколений, с их стороны появилась почтительность, обращение на ты стало невозможным, оно звучало бы глупо-пародийно или, хуже того, стало бы односторонним, «ты — вы». Только с настоящими внуками вновь возможны товарищеские отношения, только в них можно осторожно вкладывать кусочки своей души и наблюдать за свежими ее ростками.

Боже и черт, почему у его ребят нет детей? Почему они все не женаты? Это даже как-то неправдоподобно. В их возрасте вполне могли бы уже иметь ну хоть по десятилетнему. Дюжина детей, выросших практически в его доме... Пусть они были бы по исходным данным всего лишь не хуже своих отцов. Напитавшись атмосферой этого дома, каким материалом стали бы они уже теперь для него. И к двадцати годам... Сколько ему будет тогда?.. Но их нет пока, совсем нет этого материала. Ну а если бы они появились, скажем, через год, что это могло бы дать? Надо ждать десять лет... подготовившись, можно начать с семи.

— Маша, как ты думаешь, почему ребята все сплошь не женаты?

Они были вдвоем в той же «малой рекреационной», но территория за стеной была уже не университетской, университет выехал в новое обширное здание, а «Первая гимназия» была целиком передана институту СПб; на месте когда-то замурованной двери был проделан вход, над которым кто-то привесил надпись: «Бозония». Было время хурала, сегодня ожидалось обсуждение «Ярской проблемы» — так называлась тема, неожиданно возникшая и грозившая вытеснить все другие проблемы обсуждений в Байгуре.

Маша улыбнулась, как если бы ожидала этого вопроса.

— Я думаю, из-за прогресса авиации.

Маша умела давать на нелепые вопросы четкие, категорические ответы, это было ее защитной реакцией, выработанной за годы жизни внутри СПб.

— Машенька, я серьезно, мне очень важно понять, почему ребята не женаты.

— Серьезно, Сережа, у них никогда не было тех восьми дней пу-

ти, которые были у тебя. Никакое их путешествие не занимало больше восьми часов без пересадки.

Глава байгурской школы посмотрел на свою жену и задумался. Перед ним прошел весь путь ребят. Всегда вместе, всегда увлеченные задачами, они никогда не скучали. Вот в чем дело, им никогда не было скучно, у них не было пустот, не было одиночества. Всегда весело вперед, всегда одержимые. В этом сила школы. Странно, он никогда не задумывался: то, что ребята не женаты, оказывается, органично связано с успехом школы. Это другая сторона единого явления.

Любая неприятная вещь становится приемлемой, когда выясняется, что она не случайна, что «иначе и быть не могло».

— Но, Маша,— он уже внимательно исследовал предложенную ею версию,— ты-то знаешь, что ребята не какие-нибудь абстрактные маньяки, а нормальные молодые люди и всегда такими были. Они путешествуют, плавают, играют в теннис; они ведь даже отпуск берут каждый год.

Минуты две Маша молчала.

— Помнишь, Сережа, Новый Свет?

Он хорошо помнил. Это было двенадцать лет тому назад. Они вдвоем бродили по восточному Крыму. Переночевав в Старом Крыму, они возвращались на побережье. Вскарабкавшись на груды гранитных плит, они спустились с противоположной стороны образованного этими плитами холма и оказались перед огромной естественной аркой почти правильных округленных очертаний, но с непропорционально малым отверстием. Это был проход в маленькую бухту, укрытую с трех сторон скалами. Несколько каменных тумб образовало спуск к морю. Было знойно и ярко. Отсюда не хотелось уходить, резко очерченная граница моря притягивала.

Они пробыли здесь часа два, когда услышали резкий звук сирены. Мимо мчался маленький катер. Он так быстро пересек их узкое поле зрения, что они бы ничего не заметили, если бы над катером не взметнулась обнаженная фигура со сложенными рупором у рта руками и не раздался очень четко и весело прозвучавший клич: «Боз, вырчай!»

Потом выяснилось, что катер увозил Нома, Рика и двух девушек, задержанных за нарушение правил подводной охоты. Призыв с катера звучал так бодро, с таким отсутствием беспокойства, что они тоже весело, но не теряя времени побежали искать пристань, к которой направлялся катер. Когда они пришли в поселок Новый Свет, то застали захваченных, с еще синеватыми под наброшенными на них куртками телами, за оживленной беседой с командой катера. Вскоре сюда прибыли Ксы и Тер, остальные две компоненты Териксов, с одеждой.

— Помнишь, ты тогда возвращался прямо в Байгур, а я отправилась на неделю в Ригу. От Москвы я ехала поездом и оказалась в одном купе с Ниной, одной из тех двух девушек. Мы с ней разговорились, чувствовалось, что это ей было необходимо, она была как-то очень растерянна. Эти две девушки, Нина и Маргарита, обе студентки Рижской консерватории, только устроились на туристской базе, когда встретили нашу великолепную четверку, Нома и Териксов. Первое впечатление от южного моря слилось для них с атмосферой праздничного веселья, которую мгновенно создали вокруг них ребята. Им предложили учиться подводному плаванию, уступили снасти. Вынужденная прогулка на катере была тоже веселой и праздничной. Очень естественно последовало предложение путешествовать дальше вместе. Оно вызвало у девушек удовлетворенную улыбку, хотя в первый момент они не приняли его всерьез; кроме всего, как быть с путевками, с тур-

базой? Им не дали времени на раздумье, Тер и Ксы буквально выхватили у них из рук квитанции и сбегали на базу за рюкзаками.

То, что произошло потом, Нина не могла выразить сколько-нибудь членораздельно. «Это было ужасно, это ужасно», — как стон произносила она. Что же было? А было как в первый день. Передвигались по десять — двадцать километров в день на запад, плавали, готовили еду. «Они были очень милы и внимательны к нам», — несколько раз повторяла Нина, предупреждая мои вопросы. Все было хорошо, но девушки ждали развития отношений, а этого не было. Простые и непринужденные отношения в группе установились сразу. Но отношения в группе — это, собственно, никакие отношения. Девушки ждали личных отношений, а их не было. Более остро первой это почувствовала Маргарита. Она с первого момента выделила для себя Рика. Остальные должны были стать фоном. Ей хотелось быть с ним. С ним — это не значит только с ним вдвоем. Ей бы не мешали остальные, если бы она чувствовала, что при всей компании он именно с ней. Но этого не было. Ее попытки не отвергались, их не замечали. Девушек непринужденно как бы пасовали друг другу, они были общим достоянием, как окрестный пейзаж. Рик мог идти рядом с Маргаритой и, оставаясь в пространстве здесь же, на самом деле как бы мгновенно исчезнуть, обращаясь к Ному и продолжая начатый утром спор.

Эти споры и разговоры о науке! Сначала они очень развлекали девушек. Слушать сочетания, в общем, известных слов, образующих в совокупности что-то уже лишенное для них смысла, видеть реакцию других на эти бессмысленные сочетания и ответы, построенные тоже как будто грамматически правильно, но без смысла, — это было ново, интересно и смешно. Но потом, потом это перестало казаться столь забавным. Они были очень внимательны, ребята. Они несли рюкзаки девушек, они ставили и снимали их палатку, они справлялись, не нужно ли сделать привал, советовались, выбирая место привала. Спрашивали, что хочется — поужинать на биваке или сделать набег на цивилизованные места. Они ходили за водой, разжигали примуса, выполняли безотлагательно любые поручения. Их разговоры не препятствовали всему этому — они их просто не прерывали, занимаясь хозяйственными делами. А прервав, продолжали внутри себя и могли возобновить спустя много часов, как будто перерыва и не было. Они жили своей внутренней жизнью, которая продолжалась на любом фоне. Фоң включал дорогу, море и их, девушек. Все это им было нужно в равной степени.

Кризис наступил в тот вечер, когда около Никитского сада к ним присоединилась группа Фоки, тоже четверка. Эти были в горах Западного Кавказа, затем спустились к морю у Сухуми. Они тоже не прерывали основного течения своей жизни, и в связи с этим им срочно понадобилось повидать Ному и Териксов. Зная, куда те направились, они вычислили точку встречи и появились здесь. Как они набросились друг на друга, как многоголосо звучали те же уже ненавистные девушкам нелепые сочетания слов! Ни слова о путешествиях, о том, кто где был последнее время. Девушки как-то пригласили внутренне, незаметно шли за компанией к месту бивака, незаметно поужинали и незамеченные ушли к себе в палатку. И долго еще слышали голоса.

Ночью Маргарита плакала, а утром объявила, что отправляется на турбазу в Мисхор — как раз по путевке завтра надо быть там. Нине не оставалось ничего другого, как присоединиться к Маргарите. Сожаление было высказано очень единодушно. Голоса Рика и Ному не выделялись среди других, все равномерно уговаривали в течение некоторого времени остаться, потом все дружно и торжественно собрали прощальный завтрак с особыми припасами, произнесли тосты, друж-

но и торжественно вышли на шоссе, шумно ловили проходящие машины, поймали, усадили девушек, откуда-то появилось два букета. И все. Наверно, сразу продолжили свой разговор с прерванного места. Никому не пришло в голову обменяться адресами. Все. Нине показалось, что Ном понимающе и грустно посмотрел на нее. Но, может быть, это ей только показалось. Знаешь взгляд Нома, он кажется грустным, если не заметить в центре тонкий веселый луч.

Теперь слушай разрешающую каденцию, она принадлежит моему рижскому кузену, тогда студенту-второкурснику. Так как повествование Нины меня очень взволновало, то я все время думала о нем, а вечером в Риге за ужином пересказала его, выдав лишь за прочитанное в дороге, в присутствии многочисленного семейства тети и гостей, приглашенных по случаю моего приезда. И вот этот юный профессионал психолог-социолог сразу вынес категорическое суждение, вызвавшее ужас тети и смех младшего поколения. Такое поведение молодых людей, сказал он, возможно только в условиях глобальной сексуальной обеспеченности.

Маша замолкла с улыбкой.

— Да, я помню, в тот год они были увлечены проектом детектирования гравитационных волн.

Маша с тревогой посмотрела на склоненную голову мужа. Слушал ли он ее? И что он слышал? О чем он думает?

## 7

«О чем он думает?» — этой формулой, четко выражающей эгоцентрическую природу женщины, Маша никогда ранее не пользовалась. Вообще в СПБ избегали проявлять сколько-нибудь явный интерес к тому, кто о чем в эту минуту думает. Поскольку считалось, что постоянно думать — профессиональная привычка каждого, это работа, а половину работы никому не показывают. То есть показывают, если хотят помощи, участия, обсуждения, сами хотят. Если же не хотят, то молчат. На суд других каждый выходит сам.

Это был неписанный, произнесенный, но строгий закон столь фундаментального значения, что вряд ли кто вообще отдавал себе отчет в его существовании. Всякий закон хорош тогда, когда его выполнение обеспечено автоматически, когда не возникает нужды становиться под его защиту. При этом существование закона отнюдь не тривиально, он выражает дух общества, в котором господствует. Этот закон не сделал общество СПБ молчаливым и замкнутым, вовсе нет, но он создал каждому ощущение независимости и полноценности. Только на основе такого ощущения возникает атмосфера равенства, несмотря на явное неравенство индивидуальностей. Масштабы индивидуальностей могут отличаться на много порядков величин, и это отличие молчаливо признается без болевых эффектов и травм, если признается постулат априорного равенства. Единственная альтернатива состоит в полной и гласной иерархической структуре, которая, обладая многими преимуществами, никогда не может, однако, быть сколько-нибудь справедливой хотя бы уже потому, что иерархия — это одномерная шеренга, а индивидуальности многомерны и нет пределов искажению масштаба при проецировании.

Обычно в людских коллективах закон СПБ не может действовать. Обычно — это когда прошло большое время и когда индивидуумов очень много. Тогда возникает иллюзия возможности неограниченного сближения. Как будто природа знает только равномерные шкалы, простую миллиметровую бумагу. Как будто всюду действуют простые правила

сложения и вычитания. Как будто после девяти десятых пути остается пройти только одну десятую. Да, в каком-то интервале шкала равномерна и двигаться легко. Но достигнув некоторого пункта, часто уже невозможно установить, что дает дальнейшее движение — сближение или удаление. Эти термины уже не подходят для описания того, что происходит. Не следует переходить эту критическую точку.

Но СПБ был не обычным коллективом. В нем еще не были нарушены условия действия закона. Настолько, что никто не осознавал еще его существования. Только когда условия применимости для закона уже нарушены, начинается сознательное изучение его основ.

И Маша бессознательно следовала правилам поведения СПБ. Они, конечно, не могли распространяться на их с Сергеем отношения. Но вопрос «о чем он думает?» раньше ведь не возникал. Почему же он возник теперь? Потому что ответа нет и у Сергея. Мысль его блуждает, и он не знает, как быть. Мысль заходит в тупик и расслаивается на тонкие нити, ползущие в неведомые дебри, неожиданно близко расположенные к обжитым местам. Впервые за все эти годы он не знает, как быть. Как быть с Ярской проблемой. Которую надо решить, нельзя не решить.

И неизвестно, что думают о ней ребята. Они сейчас придут, а с чем, он не знает.

Ярская проблема. Свалилась неожиданно, и никуда от нее не деться. Неожиданно. Конечно, неожиданно, но ведь обязательно должна была свалиться. Не она, так что-нибудь другое, надо было понимать, что обязательно что-то свалится на голову. Когда имеешь кривую, которая все время растет и все ее производные все время растут, то не надо поминутно следить за безукоризненностью ее формы, не надо подрисовывать ее, как женщина свою бровь. А надо понимать, что что-то произойдет, неминуемо должно произойти.

Все сейчас помешаны на этих перегоняющих друг друга кривых. Через эн лет число журналов превысит число грамотных. Через эн лет число ученых станет больше числа земных жителей. Через эн лет вес человечества обгонит вес планеты. Из всей этой чуши следует лишь то, что нет на самом деле никаких таких гладко растущих кривых. Нет и не может быть стационарных решений для Вселенной в целом. И нет их, конечно, в человеческой жизни. Иначе зачем бы ей каждый раз кончатся и начинаться вновь?

Хорошо бы вовсе не знать этой нелепой кривой. Можно ли от нее избавиться? Удалось ли это его другу Борису, который тридцать лет все в той же своей лаборатории исследует ту же свою закись меди? Достиг ли он мудрого спокойствия?

Ярская проблема. Все было ясно, никаких сомнений у него не было, пока не дошло до дела. Пока не было принято решение. Теперь возврата нет. В Ярске будет создан научный центр. Конечно, в Ярске, не в тихом Байгуре, а в громадном Ярске. И конечно, крупный центр, самый крупный, крупнейший в мире. Центр, научный городок, городище, империя. Научная империя. Это не Байгур с его потешной академией, а империя. Байгур будет окраинной территорией этой империи. В империи не место потешным войскам, в ней будут подразделения.

Когда-то он нахально возвестил в обществе своих друзей-однокашников: университетский век науки кончается, начинается век индустриальный. Вот теперь и начнется этот век, байгурский период не был индустриальным, им будет ярский период. Индустриальность не в том, что у них есть МАСА и прочее современное оборудование. Они остались в университетской патриархальной эпохе.

Они росли, как растет организм или патриархальная семья. Будущее неторопливо выросло из настоящего. Неторопливо и неподвижно

денно, без единого плана. Вся прелесть их жизни была в этой непредвиденности. Не было равномерного движения по всем направлениям. Где был успех, туда и шел рост.

Для Ярска этот путь не годится. Ярск не может развиваться двадцать лет, ярский центр должен быть создан сразу. Он должен быть создан не как биологический организм, а индустриально. Биологический организм возникает малым, но уже действующим, его детские сосуды уже наполнены кровью, затем его надо только питать, и он разовьется, сосуды будут расти и наполнение увеличиваться. В индустриальном организме сначала строят сосуды, огромные и пустые сосуды. Потом уже их наполняют при помощи доноров, потом отлаживают взаимодействие органов. Индустриальный организм, начав жить сразу, должен стать могучим — с заданными свойствами, без непредвиденностей. Но сначала надо построить сосуды, огромные пустые сосуды.

Он был отцом семьи, президентом потешной академии. Теперь его приглашают стать президентом ярской империи. Всем представляется это естественным, достойным продолжением его жизни. Продолжением его кривой. Но он-то знает, что это не так. Это не продолжение, а обрыв, конец. Конец прежней жизни, в которой все было легко, просто, естественно.

Конечно, кому еще стать во главе Ярска, как не Сергею Бозых. С его опытом, широтой, многогранностью. Все это звучит, но что реально значит?

Он будет сидеть в огромном кабинете, заключенном внутри огромного корпуса, который будет называться административным. В кабинете будет огромный шкаф, заполненный гудящими зуммерами и мигающими лампочками с ответвлениями в виде трубок и кнопок. Он — точка пересечения связей неспособной на полную саморегуляцию системы. Очень нужная точка, без нее в организме может возникнуть анемия, или уремия, или еще что-нибудь. Он берет одну трубку, выслушивает просьбу, потом берет другую, передает распоряжение или передает просьбу во внешний мир. Он высокоуважаемый, высокооплачиваемый, снабженный современными средствами связи и транспорта главный диспетчер. И его ребята будут сидеть в таких же кабинетах, поменьше объемом, с меньшими шкафами — участковые диспетчеры.

А империя будет действовать. Будет получать научные результаты, как получала их байгурская «Скола», но в большем количестве. Да, будет получать. Но как-то по-другому. Не результаты составляли содержание их жизни, а то, как они приходят.

Отказаться? Но Ярск должен строиться, он понимает, что он будет строиться, не может не строиться. И все равно байгурской школе не существовать так, как она жила до сих пор. Империя всосет ее. Удалиться бы, построить школу на берегу озера, воспитывать мальчиков. Сделал ли бы он это, если бы у него было двенадцать внуков?

Или бросить все это? Оставить себе маленькую лабораторию. Маленькую и изолированную. Как у Бориса. Невозможно. Чтобы стать Борисом, надо пройти его тридцатилетний путь.

Как было неправдоподобно отправиться домой, в Байгур, в пустыню, двадцать лет назад. И как ему был легок этот шаг. Как просто переехать из Байгура в Ярск и сесть за стол у шкафа. И как невероятно трудно на это решиться. Или отвергнуть. Трудно до тех пор, пока ты все понимаешь. Пока не потерял общего вида. Ведь сев у шкафа, будешь уже видеть себя президентом ученой империи, центром всего творимого. Всерьез будешь принимать знаки уважения. Всерьез будешь заседать с такими же президентами из Нагойи, Гейдельберга,

Кембриджа британского и Кембриджа массачусетского и планировать всю мировую науку.

Но всегда завидовать юнцу, чей кругозор не охватывает организованного единства империи, который наивно считает себя индивидуальным творцом, делающим то, что он придумал. И с опаской искать тень иронии в его почтительном докладе.

Раздался телефонный звонок. Оба, он и Маша, улыбнулись. Конечно, они потому только и сидят здесь, что напряженно ждут этого звонка. И твердо знают, что никакого хурала сейчас не может быть. Что могут они высказать вслух из хода своих мыслей? Кому-нибудь, даже друг другу? Но друг другу не надо и высказывать, не надо и задавать вопросов. И это хорошо.

Все хорошо, когда можно улыбнуться перед лицом того, что не может быть разрешено. Это значит, что ты еще не уничтожен. И хорошо, если не полностью, не до конца осознаешь всю неразрешимость проблемы, не только практическую неразрешимость, но принципиальную, настолько глубокую, что понять до конца означало бы почувствовать всю нелепость самой мысли о возможности поисков решения. И ты остаешься живым по-настоящему лишь в той степени, в какой такое ощущение в тебе еще смутно. Ты борешься, если привык к ясности мысли, но должен отступить в силу инстинкта самосохранения.

— Это Ном,— громко сказал Сергей и схватил трубку.

Это не значит, что постановка вопроса — просто глупость. Нет, проблема есть, более того, она даже решается. Но решается в совершенно другом классе предметов и понятий, чем те, которые есть в твоём, человеческом распоряжении, решается в расширенном пространстве, не нашем обычном. Не людьми, а богами, если пользоваться другой терминологией.

Проблема есть, и существует ее решение. И оно давно известно. Первым нашедшим решение исследователем был, насколько известно по доступной литературе, овчар Таммуз, тот самый, которого современники видели бродящим по небу среди своего огромного мерцающего стада и загадочно изменяющим день ото дня свой облик. Не исключено, конечно, что и он пользовался работами своих предшественников, следы их можно, наверно, найти, если порыться более тщательно. В дальнейшем, как обычно бывает, эта работа и забывалась и вновь открывалась, предлагались те же результаты как независимо найденные, но схема решения, по существу, не менялась. Она лишь принимала другие формы, излагалась в других терминах, в соответствии с той техникой, которой пользовались позднейшие авторы. По-видимому, решение вообще единственное, хотя это пока не всеми еще признается.

Закон Таммуза: «Умри и возродись». Чем не устраивает нас, людей, это правило вечной жизни? Только разрывами нити памяти в единой последовательности. Но зачем она нужна, непрерывная память? А если нужна, развивай воображение, может быть, и достигнешь непрерывности.

Это был Ном, он требовал Боза немедленно к себе. Появился какой-то японец, мы такого имени не знаем, он не физик, а сейсмолог, он возвращается к себе домой из пустыни Нагил, это где-то в Южной Африке, где проводил анализ сейсмических шумов, выделил компоненту, кратную частоте пульсара ЭнПе 0532, есть данные о направленности. Он выбрал путь через Лондон, Женеву, Мюнхен и Москву, всюду набирался идей и гипотез, а сейчас остановился в Байгуре, у него только четыре часа до самолета, чтобы обсудить свои результаты с авторами работы о приемниках гравитационных волн. Фока считает,

что подозрительно по чрезмерной интенсивности, Ксы вычисляет разность фаз Нагил—Байгур и готов соорудить установку в байгурских пещерах, одним словом, Боз, давай сюда.

И Боз мгновенно исчез, телефонная трубка не угопила контактных штырей, и аппарат издавал плачевные звуки. Маша положила трубку и снова улыбнулась. Ничего еще не изменилось, Сергей не президент и не почтенный мэтр, с теми так грубо не обращаются. Про хурал позабыли, о том, что их ждут, не подумали, в голову не пришло доложить: так и так, разрешите пригласить японца к вам; начали без него, а потом просто, чтоб было интересней: «Боз, давай сюда!» — и Боз побежал, как мальчишка. Как это хорошо.

Хорошо, что побежал, хорошо. Но это только бегство. Бегство не может дать ничего, кроме отсрочки. Краткой отсрочки. Либо они «закроют» японца, либо начнут заниматься этой задачей. Решаемой задачей. У них и так есть задачи. А что делать с нерешаемой задачей, что делать на следующем хурале, который, как и сегодняшний, не может не быть бессмысленным?

Краткая отсрочка. Краткая более или менее. Больше ничего и не бывает.

Мы не знаем, что будет, но ведь мы исполняем свою музыку. Очень трудное место...





---

---

ВАДИМ СИКОРСКИЙ



## СОВРЕМЕННОК

Бывали ль эпохи такие, как ныне:  
в огне север, запад, и юг, и восток,  
а будущий мир, словно на крестовине,  
на них твердо зиждется, прям и высок?..  
Ты фундаментальную принял эпоху  
как чернорабочий земли, а не гость,  
чтоб в ту крестовину хоть ладно, хоть плохо,  
но вбить бы по шляпку себя, словно гвоздь.

### ЗЕМЛЯ

О путеводный блеск вершин!  
Трудясь, Земля встречала зори.  
Сегодня даже у машин  
и то железные мозоли.  
У городов Земли в веках  
остались каменные раны,  
она ж витает в облаках  
и строит радужные планы.

\*.\*

В тебя, неся начало разрушенья,  
вдруг проникает чуждое, губя.  
А мир не полон — вот в чем суть решенья,—  
когда он есть за вычетом тебя.

И без твоей слезы, вопроса: «Так ли?»,  
без жеста в миг любви, всего, что ты,  
он как бы вдруг без отсвета в той капле,  
без нужной безднам, скажем, той звезды.

\*.\*

Мне не хотелось зрелым становиться —  
уж лучше в юности закаменеть,  
и песни петь, и щебетать, как птица,  
и глупым смехом до конца звенеть.

Пусть скажут про меня: большой ребенок.  
Я в детство не впадал, я вечно в нем.

А мир — он тоже вечно юн и звонок,  
и нам все время весело вдвоем.

\* \* \*

Тебя интересует, как я встал,  
как мылся из-под ледяного крана,  
потом глазами в зеркало вращал,  
как в неподвижный фильм телеэкрана.

А после кто-то жизнь мою крутил,  
приблизив детство методом наплыва:  
я радовался жизни, я кутил,  
а беды — это лишь места разрыва.

Я вырезал все темные куски  
и давние забыть старался съемки,  
я вытравлял из глаз налет тоски,  
зарей победной выжигал потемки.

К чему мне помнить детства старину?  
Таращусь и сейчас на мир младенцем,  
хоть я со щек сбрываю седину,  
смягчая кожу влажным полотенцем.

\* \* \*

Я вошел, поклонился солнцу  
и рукой помахал луне.  
В карауле почетном сосны  
в вековой стоят тишине.

Оттого ль, что все время где-то  
чей-то прах предают земле,  
оттого ль, что в мгновение это  
жизнь возникла в холодной мгле?

В мир все время приходит кто-то  
и приветствует, как и я,  
все глубины и все высоты,  
все фантазии бытия.

Уходя, поклонюсь я солнцу  
и рукой помашу луне.  
В карауле почетном сосны —  
вот последняя почесть мне.

\* \* \*

Искусство — для души надежный панцирь?  
В несходстве есть добро, но есть и зло,  
и точно так, как отпечатки пальцев,  
неповторимо сочетание слов.

Особенны изгибы дум и сердца.  
Все отпечатается, что таю.

Прочтут — и мне уже не отпереться,  
уже не скрыть беспомощность свою.

\*.\*.\*

Мне б легкое твое перо —  
скользить по контурам событий,  
гор окаймляя серебро,  
не погрязая в темном быте.

Пунктиром быстрым очертить  
эпох таинственных границы —  
чуть-чуть в грядущем почудить...  
А мысли вертки, словно птицы...

### МОРЕ

Я был крещен в иной купели —  
с речною пресною водой,  
но мне морские песни пели  
Гомер и Пушкин молодой,

и белый лермонтовский парус  
романтикой подкрасил Грин...  
И я в жаре июльской парюсь,  
чтоб с морем — месяц хоть один.

Нет, нет... Я все-таки заврался,—  
и мне январский лунный бор,  
куда сквозь замать лось забрался,  
милей, чем край морей и гор.

И скрип саней в глуши морозной  
милее скрипа мачт в шторма,  
милей теплыни пряной, звездной,  
прошитая пургой зима...

Но есть в душе струна, что вторит  
лишь волнам в штормовой набег.  
На душу наступает море,  
словно на сушу в давний век.

\*.\*.\*

Так нужно ль? Смерть была их молодою...  
И Пушкина кому-то видеть — страх:  
чтоб он седел с толстовской бородою  
и с гётевским спокойствием в глазах.

Чтоб Лермонтов согбенный, чтоб Есенин  
на пенсионный сквер пошли с клюкой...  
Эстет надмирный, твой ли дар бесценен,  
что ты судьбой их наградил такой?!

Не твой ли это замысел особый:  
в историю — их жизни врисовать

как некий штрих? Была ли жизнь их пробой  
твоей всеисильной кисти? Дай мне знать!

Но дай мне знать, надмирный грозный гений,  
что будут жить они когда-нибудь,  
иначе этих страшных украшений  
не надо — пусть их долг будет путь!

Дай им продлить прекрасное мгновенье,  
чтоб я, не восхищаясь их судьбой,  
упился лишь плодом их вдохновенья...  
Дай! На коленях я перед тобой.

### ДЕРЗАНИЕ

К тебе потерял интерес.  
Ты ясен. Жребий уготован.  
Давно уже ударил пресс,  
и до конца ты отштампован.

Весь контур личности твоей  
очерчен четко, неизменно.  
А дальше — ряд других людей  
плюс все безбрежие вселенной.

Ты ищешь выхода в труде,  
ты мыслью, что вольна, как птица,  
(по виду!) — тянешься к звезде...  
Но вдруг — железная граница:

скользнув крылом — назад, ни с чем...  
В незримой ты, но прочной сфере.  
Одной из множества систем,  
быть мыслям, и любви, и вере —

всему, что в мире значит: «ты».  
Ты ж об колено, в лом, линейку,—  
все рвешься за предел черты,  
все ищешь из себя лазейку.

\*.\*

Все — частности, подробности, мгновенья,  
и от всего отмахиваюсь я,  
как будто видит, знает вдохновенье  
какой-то высший кодекс бытия.

Как будто кто-то силу дал и право  
почти бесплотно и надмирно жить,  
смотреть и снисходительно, и здраво  
на смертных и бессмертию служить,

легко ступать по небу, сняв ботинки,  
не приминая белых облаков,  
и на мою рубаху ни пылинки  
не занесло из канувших веков.

Но кто-то выключает вдохновенье  
как радио: щелчок — и снова я,  
закованный законами мгновенья,  
тружусь в наземных службах бытия.

\* \* \*

Самое перспективное ожидается на стыках наук.

*(Из статьи)*

Есть ровные — (множество ликов!) —  
есть ясные целью своей.  
Я весь состоял из стыков  
надежд, устремлений, идей...

Смешение красок и бликов...  
Пророчество мудрых — вранье:  
я весь состоял из стыков,—  
а где же открытье мое?

### ЗНАНИЕ

И все-таки, все-таки, все же —  
что ж есть, если этого нет! —  
тебя я запомнил моложе  
на двадцать без малого лет.

Как географический глобус,  
географ, седой словно груздь,  
как критик классический опус —  
я знаю тебя наизусть.

Я знаю, как спор ты рассудишь,  
как странно поймешь все не так  
и как реагировать будешь  
на важное и на пустяк.

Когда пожалеешь устало  
иль ранишь до крови со злом...  
Я знаю, какою ты стала.  
И знаю, какою была.

Все знаю — до синенькой жилки,  
до нежности к тонкой тесьме,  
до иголок на пышном затылке,  
до буквы в давнишнем письме.

К другим я хожу на свиданье,  
впустую словами звеня,  
но это великое знание  
к тебе приковало меня.

\* \* \*

Насквозь я прошел по тем местам,  
я знаю тот край таежный,

я просто всего коснулся там  
молодостью тревожной.

Потом я вошел в мастерскую книг,  
где вышло ль огнем незримым  
с вечностью мимолетный миг  
спаять, задохнувшись дымом?..

Горело безлюдной зимы серебро,  
как волчьи глаза перелеска...  
О если б навеки тем светом перо  
раскалялось до блеска!

\*.\*.\*

Уже играют желваки на скулах.  
Ответить он готов, меня круша,  
и смотрит как из крепости — прильнула  
к бойницам глаз враждебная душа.  
А я еще не вымолвил ни слова  
и жестом той вражды не заслужил.  
Но человека, может быть не злого,  
вдруг вековой инстинкт насторожил.  
Он неповинен. Ни единым словом  
его не трону. То бы проклял я,  
что сделало его всегда готовым  
к злу,— давний черный контур бытия.

\*.\*.\*

Не земле-, не душе-, не жизнепроходец,  
что в черной храню глубине?  
Лишь память — как артезианский колодец,  
где чистое детство на дне.

Не жбан, не ведро — я железное сердце  
порой опускаю туда  
и долго гляжу, не могу наглядеться,  
на вычерпнутые года.

Быть может, нужны все былые породы  
и ценные блещут пласты,  
но счастлив, когда я, минуя все своды,  
из той зачерпну чистоты.

В последний свой миг быть бы мне у колодца:  
чуть к детским приближусь пластам —  
пусть в это мгновение цепь оборвется  
и сердце останется там.



---

---

# ПУБЛИЦИСТИКА

## НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

А. РОДЫГИН,

секретарь парткома КамАЗа



### ГЛАВНЫЙ ЭКЗАМЕН

**П**омнится, года полтора назад была у меня беседа с работником редакции журнала «Новый мир».

— Когда центр тяжести переместится со строительства КамАЗа на производство? — спросил он.

Сейчас можно сказать, что такое время настало.

КамАЗ готовится к выпуску первого грузовика, и на работников комплекса заводов ложится главная ответственность за то, чтобы знаменательное событие свершилось в намеченный срок.

Чем ближе окончание строительства первой очереди Камского автомобильного комплекса, тем чаще мне приходится слышать фразу: «Вы, камазовцы, принимаете эстафету от строителей». Выражение, конечно, образное, но не совсем верное. Не принимаем мы из рук строителей символическую эстафетную палочку, а давно несем ее, двигаясь вместе со строителями к одному заветному финишу.

Да, мы — заказчики, мы получим в свои руки комплекс заводов. Но разве мы пассивно ждем этот знаменательный день! Рабочие, инженерно-технические работники и служащие КамАЗа — активные участники создания автогиганта на Каме.

Забот у нас много, и самых разнообразных. Как известно, для ускорения сооружения комплекса проектирование и строительство ведутся параллельно. Около ста проектных организаций в разных концах страны участвуют в создании КамАЗа и города Набережные Челны.

Скоординировать их действия, обеспечить своевременную выдачу высококачественных рабочих чертежей и смет — эту непростую задачу решает генеральная дирекция комплекса.

А воплощением чертежей в натуре занимаются не только профессиональные строители и монтажники. Плечом к плечу с ними трудятся заводчане. В 1974 году на стройке работало свыше 11 тысяч рабочих и ИТР КамАЗа, в середине 1975 года — свыше 7 тысяч.

Заводы, кроме того, берут на себя некоторые работы строителей. Так, на прессово-рамном заводе уже в конце 1974 года было смонтировано собственными силами 40 мостовых кранов. Круглосуточная эксплуатация их оказала неоценимую помощь строителям в закладке фундаментов, устройстве полов. На литейном заводе своими силами выполнен трубопровод канализации общей длиной свыше двух с половиной километров.

В обязанности генеральной дирекции входит поставка для заводов различных видов оборудования. А если учесть, что его изготовляют около полутора тысяч предприятий страны, а также ряд зарубежных фирм, то станет ясно, сколь это нелегкое дело.

Но получить оборудование — только полдела. Нужно его собрать, устано-

вить и пустить в работу. 127 бригад из числа рабочих и ИТР комплекса занято на монтаже и пуско-наладочных операциях.

Коллективы заводов двигателей, автомобильного ведут монтаж технологического оборудования в основном своими силами, большие объемы работ по монтажу технического оборудования выполняются и на других заводах комплекса.

Много внимания уделяется и подготовке производства. Заранее разрабатываются технологические процессы, проектируется и изготавливается оснастка. Масштабы же таковы: рабочие технологические процессы и оснастку необходимо иметь на 4898 деталей и узлов автомобиля и двигателя.

Огромных усилий требует взаимосвязь со смежниками. Изделия для автомобиля «КамАЗ» будут поставлять 98 предприятий страны. Со всеми необходимы прочные деловые контакты. Неослабного внимания требуют другие дела. Надо обеспечить комплекс различными видами энергии, транспортом, связью, создать необходимые жилищно-бытовые условия для работающих. Всего не перечислить.

Сейчас, когда, образно говоря, мы вышли на финишную прямую, на первый план выдвигаются новые задачи. Предстоит сделать еще один, последний рывок, чтобы достигнуть цели — выпустить первые камские грузовики. Затем на очереди — завершение в 1976 году строительства первой очереди Камского комплекса заводов по производству большегрузных автомобилей, к чему обязывает нас постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР.

Уже сейчас мы заботимся о создании условий для ритмичного наращивания выпуска машин, об освоении проектной мощности, а впереди вторая очередь. У нас есть пример, достойный подражания, — опыт Волжского автомобильного завода, в короткие сроки достигшего запроецированного количества производимых «Жигулей».

Одна из главных задач сейчас — самое пристальное внимание качеству продукции. Проблему эту следует рассматривать в двух аспектах. Первый — добросовестное изготовление деталей, узлов, агрегатов на каждом рабочем месте; второй — не ослаблять творческих усилий над созданием принципиально новых машин. Уже сегодня управление главного конструктора разработало более совершенную модель «КамАЗа», которая вскоре будет проходить государственные испытания.

Таковы, на мой взгляд, основные задачи, которые стоят перед коллективом КамАЗа на ближайшее время.

Готовы ли мы к их выполнению? Мне думается, да!

Убеждение это основано на том, что у нас создан крупный, работоспособный коллектив, формирование которого партийная организация КамАЗа считала своим кровным делом.

Учитывая масштабность производства, принципиальные отличия КамАЗа от других предприятий в силу чрезвычайно высокой технической оснащенности его, партийный комитет твердо стоял и стоит за опережающий рост численности работающих. Преимущества такого подхода сейчас не каждому видны, но известный материальный урон сегодняшнего дня обернется несомненной экономической выгодой завтра.

Когда будут пущены заводы комплекса, мы не окажемся перед проблемой — как заполнить пустующие места у станков, агрегатов, механизированных и автоматизированных линий.

И что очень важно — к оборудованию встанут люди подготовленные, прошедшие не только теоретическое обучение, но и серьезную школу монтажа и наладки тех машин, на которых им придется работать. То есть мы будем иметь кадры, профессионально и психологически готовые к обслуживанию новой и сложной техники. Это полностью подтвердил опыт первенца КамАЗа — ремонтно-инструментального завода.

Один за другим вступали в строй действующих его цеха, и цеховые коллективы, собираясь под «родную крышу», сразу же приступали к выполнению производственной программы.



Надо ли доказывать, какое огромное значение для производства имеет тот факт, что в заводские корпуса придет коллектив единомышленников, который рождается сегодня в совместном напряженном труде, направляемом единой целью: дать стране камский грузовик.

Вот почему начиная с 1970 года мы заботились об укомплектовании КамАЗа кадрами.

Откуда мы берем людей? Буквально со всех концов страны. Огромную помощь и в этом, как и во всех наших начинаниях, оказывают ЦК КПСС и Совет Министров СССР, проявляющие неустанную заботу о КамАЗе — крупнейшем сооружении нашей эпохи.

Нам удалось достигнуть достаточно высокого профессионального и общего уровня работников комплекса. Так, 4—6 разряды имеют свыше 40 процентов основных рабочих. Около 70 процентов — с законченным средним, среднеспециальным или высшим образованием.

Среди инженерно-технических работников дипломированные специалисты составляют 96,6 процента, в то время как в среднем по отрасли — 82,4 процента.

Надо сказать, что коллектив Волжского автомобильного завода по уровню профессиональной подготовки кадров служит по справедливости неким эталоном по Министерству автомобильной промышленности. Поэтому любопытно привести сравнение характеристик двух крупнейших предприятий отрасли.

Так, средний индекс образования на ВАЗе равен 9,58, на КамАЗе — 10,27, средний процент дипломированных работников на ВАЗе — 24,9, на КамАЗе — 31,87, членов КПСС к общему числу работающих на ВАЗе — 10,68 процента, на КамАЗе — 11,67 процента, выше на КамАЗе и процент членов ВЛКСМ.

Заметно различие в качественном составе мастеров.

Так, на ВАЗе из общего числа мастеров дипломированные специалисты составляют 93,97 процента, на КамАЗе — 98,34 процента.

По среднему уровню образования, проценту дипломированных специалистов, среднему разряду рабочих, партийно-комсомольской прослойке наш коллектив характеризуется более высокими показателями, чем коллектив ВАЗа.

Совершенная технология, оборудование, отвечающие новейшим достижениям науки и техники, сложность и специфика самого производства и управления предъявляют особые требования в подготовке высококвалифицированных рабочих, инженеров, техников. Поэтому обучением кадров мы занялись сразу же. Уже на первом году строительства комплекса в дирекции был создан отдел технического обучения, организованы учебные базы со своими общежитиями в Минске, Ярославле, Горьком, Казани и в некоторых других городах, где мы использовали общежития родственных заводов. Опытные инженерно-технические работники и высококвалифицированные рабочие автомобильной промышленности и смежных отраслей проводят теоретические и практические занятия с людьми, принятыми на КамАЗ.

Особую благодарность испытываем мы к Волжскому автомобильному заводу, с работниками которого у нас установились хорошие деловые отношения. ВАЗ — школа, где наши специалисты осваивают новейшее отечественное и зарубежное оборудование.

Базой для обучения рабочих стал и наш ремонтно-инструментальный завод. В городе открыты автомеханический техникум, профтехучилище. Готовит нам кадры и факультет автостроения Казанского авиационного института.

Всего различными формами технического обучения за эти годы подготовлено свыше 35 тысяч рабочих, инженерно-технических работников и служащих. Но получение необходимых теоретических и практических знаний по технологии производства еще не означает полной готовности человека к работе на КамАЗе.

К нам приходят люди с разной степенью социальной зрелости, разным уровнем трудовой дисциплины и организованности.

Дело ведь не только в профессиональной подготовленности кадров, не менее важна нравственная, духовная сторона. Потому-то мы и не жалеем усилий на

повседневную воспитательную работу среди трудящихся. Разъясняем им сущность грандиозных задач, особенности обстановки, в которой им работать и жить.

При этом партийная организация комплекса опирается на помощь комсомольской, профсоюзной организаций и администрации, на многочисленный актив, действуя вместе с ними по единому плану.

Исходя из специфических условий КамАЗа, мы, разумеется, ищем наиболее приемлемые и эффективные формы влияния на людей.

В сети партийной и комсомольской учебы у нас 847 пропагандистов, 470 лекторов, 1069 политинформаторов. В общей сложности только актив, работающий в области идеологической пропаганды, составляет около пяти тысяч человек.

Мы дорожим этими людьми, организовали их обучение. Созданы и действуют школы идеологического работника, лекторского и пропагандистского мастерства, социологов, партийно-хозяйственного актива, постоянно действующие семинары пропагандистов и политинформаторов.

Назову некоторых передовиков в этой важной области нашей жизни — идеологической: агитаторы Сергей Васильевич Корчагин, Язгар Гасгарович Ганиев, Венедикт Васильевич Чекупаев, Вячеслав Николаевич Францев.

XXIV съезд партии отметил огромную значимость политической стороны в проблеме управления, активного участия руководящих работников в идейном воспитании членов коллектива.

Решения съезда по этому вопросу нашли дальнейшее развитие в постановлениях ЦК КПСС по Череповецкому металлургическому заводу, Минскому тракторному заводу и других, в которых намечен конкретный план действия по улучшению идейно-политического воспитания советских людей, развитию их творческой инициативы, трудовой и политической активности.

Эти постановления положены в основу нашей работы с руководящими и инженерно-техническими кадрами.

Деятельность хозяйственного руководителя на КамАЗе имеет свою особую специфику. Она определяется прежде всего масштабами производства. О каждом из заводов комплекса, а их семь, можно говорить как об уникальном, крупнейшем в отрасли.

Специфика определяется также чрезвычайно высокими темпами сооружения объектов (в сутки осваивается свыше одного миллиона рублей строительно-монтажных работ), неизмеримо более высоким, чем на старых предприятиях, техническим уровнем, быстрым ростом числа работающих, многочисленностью связей с другими организациями страны и мира, синхронностью выполнения всех этапов, связанных с созданием комплекса. Впервые в отечественной практике осуществляется параллельное проектирование, строительство и создание самого объекта производства — машин и силового агрегата.

К этому следует добавить сложность в формировании огромного коллектива, о чем уже говорилось, высокую концентрацию производства и новый уровень технологии.

КамАЗ — в то же время система, находящаяся в постоянном развитии, когда решение одной проблемы вызывает ряд новых.

Отсюда понятно, почему к руководящему составу комплекса предъявляются особые требования. Прежде всего — колоссальной работоспособности и высокой ответственности в принятии решений вследствие большого объема работы. Быстрой реакции и четкой ориентировки в ситуации, ибо сроки проектирования, строительства, монтажа, пуска оборудования, подготовки производства предельно сжаты. Глубокой профессиональной подготовки на уровне современной науки и техники.

У нас уже более 3500 руководящих работников и линейного персонала. Конечно, среди них разные люди по характеру, стилю работы, опыту, уровню подготовки. Партийный комитет видит свою задачу в том, чтобы, изучая кадры,

осуществлять дифференцированный подход в зависимости от конкретных условий. Одним нужно помочь, с других — потребовать, а третьих — научить.

Причем учебу мы выдвигаем на первый план.

Второй год по годичной программе идут занятия в школе организаторов производства, начала работать школа управления, программа которой предусматривает дифференцированную учебу руководителей разного уровня. Для руководителей подразделений и секретарей парторганизаций четвертый год действует школа партийно-хозяйственного актива. Учатся мастера, осваивая наряду с вопросами технологии производства и экономику, и управление, и коммунистическое воспитание трудящихся.

И наконец, у нас в 1975 году создан филиал Московского института повышения квалификации руководящих кадров Министерства автомобильной промышленности. Сама система учебы в сочетании с заботливым, внимательным и одновременно требовательным отношением к кадрам способствовали тому, что КамАЗ располагает десятками, сотнями отличных руководителей, выполняющих одновременно и хозяйственные и воспитательные функции.

Можно привести в пример директора прессово-рамного завода Валерия Николаевича Соколова. Пришел он к нам в 1970 году с должности начальника цеха автомобильного завода имени Ленинского комсомола. С первых дней проявил себя талантливым организатором и хорошим воспитателем. Такое сочетание возможно при рациональной организации труда.

— Не я управляю заводом, — говорит Валерий Николаевич, — заводом управляют мои заместители и специалисты. Основную свою функцию я вижу в координации их деятельности, выработке генеральных направлений развития завода.

Разделение полномочий — основной инструмент, которым пользуется директор завода. На прессово-рамном заводе создана обстановка доверия к руководящим работникам всех уровней. Доверие окрыляет, раскрывает потенциальные способности людей, дает возможность проявить инициативу. Освобождение директора от излишней загрузки текущими и второстепенными вопросами позволяет ему значительную часть времени уделять изучению работников, их воспитанию. У товарища Соколова находится время позаботиться о развитии спорта, организации культурного досуга трудящихся. А ведь, кроме директорских, у него есть большие общественные обязанности. Валерий Николаевич — член горкома КПСС, член партийного комитета комплекса, депутат городского Совета.

Правильно организуют свой труд и находят достаточно времени для воспитания подчиненных начальник цеха станкостроения ремонтно-инструментального завода А. М. Кучеренко, начальник инструментального цеха автомобильного завода И. С. Хайтман и многие другие.

На КамАЗе определен единый день — пятница, — когда руководящие работники освобождают его от всех иных дел для встреч с рабочими, выступают с докладами и проводят беседы. Полагаю, что меня правильно поймут: воспитательная работа — процесс непрерывный и нельзя отвести для него один день в неделю. Наши «пятницы» — это лишь одна из форм усиления этого процесса.

В условиях КамАЗа, когда каждый коллектив территориально разобчен и в него приходят люди, по-разному воспринимающие достаточно сложную обстановку на предприятии, его временные трудности, — чрезвычайно важное значение имеет постановка системы информации.

Раз в месяц руководители общественных организаций и хозяйственные руководители встречаются с вновь поступившими, рассказывают им о строительстве КамАЗа, его перспективах, зарождающихся в коллективе традициях.

Проводятся встречи по общежитиям — у нас их шестьдесят. Восемь комиссий парткома, состоящие из руководителей генеральной дирекции, парткома, завкома, комитета ВЛКСМ и ряда специальных служб КамАЗа, выходят в общежития по утвержденному графику.

По сложившейся традиции и практике так повелось, что на большинство

задаваемых вопросов тут же дается ответ или разъяснение, а на те, что требуют изучения, — на последующих встречах или в парткоме.

Такие встречи способствуют созданию нормального социально-психологического климата в коллективах, позволяют руководителям иметь достоверную информацию по вопросам, интересующим и волнующим людей, оперативно решать эти вопросы.

Велика роль социалистического соревнования в воспитании трудящихся. Развитию и совершенствованию его партком комплекса уделяет повседневное внимание.

Сегодня практически весь коллектив КамАЗа охвачен теми или иными формами соревнования. Оно идет между подразделениями комплекса, производственными бригадами, монтажными и пуско-наладочными бригадами за звание «Лучший по профессии» и т. д.

Наиболее оптимальным вариантом мы считаем сочетание коллективных обязательств с индивидуальными. Последние способствуют выявлению резервов на каждом рабочем месте. В 1975 году индивидуальные обязательства приняли свыше 36 тысяч человек.

Как только возник первый производственный коллектив на КамАЗе — строительно-монтажное управление, как тотчас же здесь разгорелось между бригадами социалистическое соревнование.

В ходе соревнования ремонтно-инструментального завода в конце 1972 года зародилось соревнование за право монтажа первого станка. Победила в нем бригада, возглавляемая коммунистом А. С. Акиньшиным. 8 января 1973 года в торжественной обстановке она смонтировала станок первый не только на РИЗе, но и в целом на КамАЗе.

Началу монтажа оборудования на РИЗе сопутствовало соревнование за право изготовления первой продукции. Инициатором его выступил токарь В. А. Вагагин. 14 марта 1973 года победители — токарь В. И. Ягуткин и фрезеровщик Б. А. Афонии изготовили первую деталь.

Партийный комитет комплекса одобрил такие формы соревнования и способствовал их утверждению и на других заводах. На автомобильном победителем соревнования за право монтажа первого станка вышла бригада Ю. А. Рыбакова. Свои обязательства она выполнила досрочно, все члены бригады овладели смежными профессиями и значительно превысили плановую производительность труда. Своим напряженным трудом участники соревнования приблизили время «большого монтажа».

Интересным начинанием явился «договор пяти». Его заключили пять лучших бригад заводчан, участвующих в строительстве, с пятью бригадами строителей. Итоги соревнования «пяти» подводятся ежемесячно. Несколько раз подряд лучшей называлась бригада Фариды Исянова с автомобильного завода.

Особого накала достигло социалистическое соревнование в связи с подготовкой к тридцатилетию Победы. Большинство коллективов работали под девизом «Десять ударных недель в честь городов-героев», многие комсомольско-молодежные коллективы подхватили почин «За себя и за того парня».

Для обобщения опыта и конкретных рекомендаций создан и успешно работает методический совет по совершенствованию социалистического соревнования под председательством начальника управления труда и заработной платы А. М. Попова.

Партийный комитет не забывает, какую роль в соревновании играет гласность. Достигаем мы этого с помощью устных выступлений, «экранов» соревнования, стендов, радиогазеты «Шаги КамАЗа», вечеров-портретов передовиков.

\* \* \*

Весной 1974 года строительную площадку КамАЗа посетила делегация из США, возглавлявшаяся министром торговли господином Дентом. В ее составе был президент национальной ассоциации станкостроительных фирм США господин Гайер.

Вот что написал после посещения КамАЗа этот американский бизнесмен: «Меня лично поражают масштабы Камского автомобильного завода. По своему размаху это совершенно необычайный индустриальный эксперимент. Ничего столь грандиозного нигде еще не предпринималось. Мы с интересом ждем результатов».

Господин Гайер констатировал истину — действительно ничего столь грандиозного в мире не предпринималось. Если говорить образно, КамАЗ — еще одна вершина, которую завоевывает советский народ, создавая материально-техническую основу коммунистического завтра.

Камский автомобильный — это целый комплекс специализированных предприятий. В него входят литейный, кузнечный, прессово-рамный, автомобильный, ремонтно-инструментальный, заводы двигателей и колес. Ритм работы сложного хозяйства будет контролироваться автоматизированной системой управления производством.

Технический проект КамАЗа разработан советскими проектировщиками и конструкторами на основе последних достижений мирового автомобилестроения и методов промышленного строительства.

Здесь осуществляется комплексная механизация всех основных и вспомогательных процессов.

Так, 89 процентов технологического оборудования литейного завода составят автоматы и полуавтоматы, на заводе двигателей предусмотрено установить 122 автоматические линии. Десять автоматических линий горячечовочных прессов, совмещенных с термическими агрегатами, будут действовать на кузнечном заводе.

Прессово-рамный завод невозможно представить даже тем, кто видел предприятия под таким названием, ибо подобных в нашей стране нет. Здесь будут штамповаться детали полутора тысяч наименований. В цехе рам установлена уникальная линия штамповки лонжеронов. Она состоит из двух гидравлических прессов усилием 6 тысяч тонн каждый и оснащена устройством для автоматической раскладки, очистки заготовок, подачи их в штамп, мойки готовых штамповок и укладки их в пакеты. В механосборочных цехах будут действовать свыше 150 километров подвесных толкающих конвейеров с автоматической системой управления и адресования деталей.

Новейшее оборудование, передовые технологические процессы обеспечат высокую производительность труда.

Напомним читателям, что при достижении проектной мощности КамАЗ будет выпускать в год 150 тысяч большегрузных автомобилей и 250 тысяч дизельных двигателей.

Камский автомобильный — своеобразный социалистический концерн, объединяющий в единое целое литейное производство и изготовление станков и инструмента, энергетическое машиностроение и автомобилестроение, сборку сложных машин и их ремонт, изготовление запасных частей и различных деталей для поставки их на другие машиностроительные заводы.

Сжатые сроки сооружения выдвинули перед проектировщиками, строителями и эксплуатационниками немало сложных задач. Для их решения потребовался принципиально новый подход в ряде направлений.

Я уже упоминал параллельное проектирование, конструирование автомобиля и двигателя и строительство заводских объектов.

Применялись новшества и в технологии строительства. В первую очередь назову использование в широком масштабе буро-набивных свай при возведении фундаментов промышленных зданий. Новшество позволило значительно сократить объем земляных работ.

Массовое внедрение метода крупноблочного монтажа металлических каркасов ускорило темпы строительства. Поточный метод при выполнении так называемого нулевого цикла позволил в короткие сроки подготовить производственные площадки под монтаж оборудования.

Говоря о КамАЗе, нельзя забывать, что здесь решаются не только производственные, но и крупные социальные проблемы. Десяткам тысяч людей, которые будут производить автомобили и двигатели, необходимо создать нормальные условия для труда, быта и отдыха.

Начало строительства КамАЗа совершенно преобразило Набережные Челны. Рядом со старым городом возникли новые жилые районы с многоэтажной застройкой.

В северо-восточной части города, где раньше было чистое поле, появилось несколько красивых микрорайонов с пяти-, девяти-, двенадцати- и четырнадцатипятиэтажными домами, прекрасными детскими садами и школами.

Специально для Набережных Челнов один из научно-исследовательских институтов переработал типовую серию жилых домов с улучшенной планировкой и отделкой квартир. Изделия для этих зданий выпускаются местным заводом крупнопанельного домостроения. Более двух миллионов квадратных метров жилья введено в городе с начала строительства КамАЗа.

За это время население города выросло более чем в шесть раз, и сейчас Набережные Челны по населению занимают в Татарской автономной республике второе место, после столицы.

На берегу Камы в сосновом лесу создается база отдыха автомобилестроителей.

В будущем город окажется около водохранилища Нижнекамской ГЭС, строительство которой ведется одновременно со строительством КамАЗа. Большие капиталовложения выделены на создание Пригородной сельскохозяйственной зоны. Здесь появятся крупные животноводческие комплексы, птицефабрика, тепличный комбинат.

КамАЗ, таким образом, является и крупным социальным экспериментом.

На его примере виден принципиально новый подход к созданию материально-технической базы как с точки зрения количества, так и с точки зрения качества. КамАЗ — в техническом плане — это не просто гигант, а гигант, вобравший в себя лучшее, что есть не только в стране, но и в мире.

В результате мы будем иметь наиболее высокую энерговооруженность, самую низкую трудоемкость изготовления продукции по сравнению с существующими предприятиями. Отсюда производительность труда должна быть в два-три раза выше, чем на других предприятиях и заводах страны.

КамАЗ показывает, как совершенствуются общественные отношения в нашей стране. Как известно, партия в этом направлении ставит две задачи: сближение умственного и физического труда и стирание существенных различий между городом и деревней.

На Камском автомобильном появляются такие профессии, где труд рабочего мало чем отличается от труда инженера. Взять, например, операторов и наладчиков автоматических линий, имеющих дело со сложной электронной техникой. Не удивительно, что уже сейчас почти шесть тысяч рабочих КамАЗа имеют высшее и среднее специальное образование.

Принципиально новая пригородная зона, основанная на индустриализации сельскохозяйственного производства, возникла вблизи КамАЗа.

Загляните в сельский поселок Новый: современные дома со всеми удобствами, Дом культуры, не уступающий городскому.

В плане общественных отношений хотелось бы обратить внимание еще на одно обстоятельство. КамАЗ собрал в одно место множество людей из разных населенных пунктов страны. Естественно, что они хотят передать ему то лучшее, что было в их краях, мужественно переживают трудности роста и становления молодого города, увлеченно благоустраивают и озеленяют его.

Охотно приходят люди на воскресники, с энтузиазмом работают. А тот, кто бывал на КамАЗе, знает, как ценится здесь время отдыха и что значит отдать городу воскресный день.

Вся жизнь КамАЗа, его трудовые будни проникнуты духом интернационализма. На нашем комплексе заводов работают представители 53 национально-

стей и народностей страны. Работают рука об руку, скрепленные узами товарищества, едиными стремлениями. К примеру, в бригаде А. М. Шитикова на автомобильном заводе трудятся представители 5 национальностей, а в бригаде А. Г. Довгополова на этом же заводе — 8 национальностей. Братская взаимопомощь, уважение друг к другу, идейная общность характеризуют отношения людей в этих бригадах.

Надо сказать, что в монтаже оборудования участвуют и иностранные специалисты ряда стран.

Клубы интернациональной дружбы, созданные на заводах комплекса, проводят вечера встреч представителей разных национальностей, лекции и беседы о странах, с которыми связан КамАЗ.

Нелегко рождается КамАЗ. Во всяком деле есть трудности, а в таком огромном — тем более. Не каждому по плечу камазовский ритм жизни. Но тот, кто выдерживает суровую школу крупнейшей стройки, закаляется, мужает, духовно совершенствуется. Понятно, почему особым уважением в коллективе пользуются ветераны — работающие с начала строительства.

Один из них Борис Иванович Лобода — ныне заместитель главного инженера комплекса. Он был среди тех, кто создавал службу заказчика.

Когда Борис Иванович приехал в Набережные Челны, в дирекции КамАЗа работало всего двадцать пять человек. Стройка только начиналась, и основные заботы легли на плечи работников Управления капитального строительства промышленных зданий и сооружений — ПромУКСа, как его сокращенно называли. Заместителем начальника ПромУКСа был товарищ Лобода. Те, кто работал с Борисом Ивановичем, знают нервную обстановку весны и лета 1970 года. Выдававшаяся в спешке техдокументация не всегда оказывалась качественно добротной, в ходе строительных работ приходилось вносить немало поправок, изменений. Это вызывало конфликты, усложняло отношения с подрядчиком.

Настойчивость, великолепное знание дела, колоссальная работоспособность помогли Борису Ивановичу создать боевой коллектив и сделали его одним из самых авторитетных людей в дирекции. Окружающие присвоили ему одно из высоких званий — звание хорошего человека. За годы, минувшие со дня создания УКСа, многие из тех, кого учил Лобода, стали начальниками отделов, заместителями директоров заводов. Они унесли в свои коллективы традиции, сложившиеся во время работы с Борисом Ивановичем.

Стройка такого крупного масштаба не может обойтись без своих фанатиков, подобных Василию Ефимовичу Маринчаку. Люди его типа сами ищут ноши потяжелее, дел необычных. Раньше работал он в Кустанайской области, был монтажником, мастером. Строил асбестовый комбинат. Хорошо зарабатывал, имел трехкомнатную квартиру... Уехал на КамАЗ. Пришлось строить своими руками квартиру, смирился и с уменьшившейся зарплатой. Позднее признавался: «Люблю, можно сказать, «месить» грязь на стройках. Прийти на чистое поле, смотреть, как ковш экскаватора землю поднимает, представлять, что возникнет на голом месте. Был я на ВАЗе. Но там я не строил, а мне нужно самому строить. Вот иду сейчас мимо здания ремонтно-инструментального завода и вспоминаю: здесь допустили небольшую промашку, а здесь сутками бились над неудачно уложенным бетоном».

На РИЗе Маринчак действительно все исходил, все прощупал своими руками. На его памяти и первый куб земли из котлована будущего завода и первые фундаменты. А когда ставили первый станок, он, крепкий мужчина, едва не заплакал от волнения.

Сейчас Василий Маринчак — заместитель начальника отдела капитального строительства РИЗа. Достраивает завод, ставший для него родным.

На КамАЗе долго не держатся люди с потребительскими настроениями. Своими становятся те, кто приносит ему свои силы, способности, опыт.

В 1972 году приехал на КамАЗ Мударис Абдуллоевич Исламгалиев, до этого прошедший большую производственную школу на заводах Таджикистана. Однако

оборудование, установленное на РИЗе, его удивило: на таких станках он еще не работал, но освоил их быстро.

В самом начале в цехе нестандартного оборудования между рабочими развернулось соревнование. Высокие темпы избрал в те дни Владимир Ватагин. Он изо дня в день перевыполнял сменные задания. И добивался этого за счет уплотнения рабочего времени. Примерно таким же путем шел и Мударис Исламгалеев. Оба вступили в соревнование за сохранность рабочей минуты.

Токари Владимир Ватагин и Мударис Исламгалеев вошли в коллектив с почином «шестидневное задание — за пять дней». Он был подхвачен в цехе среди токарей, а позднее и на заводе.

Исламгалеев заблаговременно рассчитывает свой рабочий день. Заранее спрашивает у мастера следующее задание, предварительно подбирает инструмент и оснастку, затачивает резцы, налаживает приспособления, изучает чертежи, чтобы с первых минут нового рабочего дня войти в нужный ритм.

Как бы ни была проста технология обработки детали, товарищ Исламгалеев тщательно продумывает ее, с тем чтобы определить, нельзя ли что-то изменить, ускорив рабочий процесс.

Мударис Абдуллович понимал, что приобретенных ранее знаний уже недостаточно, стал частенько заглядывать в техническую литературу, копаться в производственных журналах. Свои находки, открытия коммунист Исламгалеев не прячет, охотно делится ими с товарищами по цеху.

Анатолий Георгиевич Худяков возглавил монтажную бригаду на кузнечном заводе. Под его руководством бригада стала сплоченным трудовым коллективом, быстро и хорошо вела монтаж оборудования в ремонтно-механическом цехе. Полная взаимозаменяемость рабочих, овладевших смежными профессиями, позволяет бригаде товарища Худякова занимать призовые места в заводском социалистическом соревновании. Сам бригадир занесен в книгу почета кузнечного завода. В мае 1975 года партийная организация приняла Анатолия Георгиевича кандидатом в члены КПСС.

Школой для монтажников на заводе двигателей стала бригада Александра Владимировича Кузнецова, прошедшего стажировку на ВАЗе. Товарищ Кузнецов возглавил комсомольско-молодежную бригаду, которая ежемесячно перевыполняет производственные задания. Александр Владимирович учится в вечернем техникуме. Находит он время и для большой общественной работы — он член партийного комитета завода двигателей.

Широкие возможности дает КамАЗ для роста людей.

Примером может служить Вадим Георгиевич Мишин. Цену настоящего товарищества он познал в штурмовые декабрьские дни 1971 года, когда третья часть работников управления вышла на строительство жилых домов. Строители не успевали, и было решено — строить самим.

Неуемная энергия позволяла многое: и работать в мороз на сооружении жилых домов, в управлении, и выпускать стенную газету. Требовательный к людям, он порой вызывал нарекания, но со временем товарищи неизменно признавали, что Вадим Георгиевич имеет право на такую требовательность, ибо прежде всего сурово спрашивает с себя и любое дело, за которое берется, выполняет с максимальной четкостью и умением.

Партком по заслугам рекомендовал его в партийный комитет ремонтно-инструментального завода заместителем секретаря по идеологии. Осенью 1975 года Вадим Георгиевич Мишин избран секретарем партийного комитета ремонтно-инструментального завода.

Нельзя обойти молчанием наши крепнущие связи с деятелями советской литературы и искусства, уделяющими немало внимания КамАЗу. У нас побывали известные писатели, композиторы, театральные и музыкальные коллективы, популярные киноартисты.

Творческие работники неизменно восхищаются тем, что свершается на берегах Камы, и делятся своими чувствами с созидателями КамАЗа, которые в трудо-



вых буднях порой не замечают величия творимых ими дел. Посмотреть же на себя как бы со стороны и проникнуться гордостью за свое участие в грандиозной стройке очень важно.

Мы, разумеется, не только рассчитываем на приезд деятелей литературы и искусства из других городов, но и сами заботимся об эстетическом развитии работающих на комплексе заводов. У нас есть свои поэты, композиторы, художники. Хорошо известно на КамАЗе имя плотника ремонтно-строительного треста Евгения Кувайцева. Его стихи отражают атмосферу незабываемых лет стройки на Каме, боевой дух людей, сооружающих автогигант.

Я хорошо знаком с Женей Кувайцевым. Это скромный, работающий молодой человек. Свое основное дело — строительное — делает на совесть. И так же серьезно относится к поэтическому творчеству. Он один из руководителей городского литературного объединения «Орфей».

Поэтическим творчеством увлекаются гальваник РИЗа Георгий Куликов, слесарь кузнечного завода Чуберкис.

Местные агитбригады используют сценарии, написанные слесарем автомобильного завода Александром Никитиным. Самодеятельные композиторы Константин Меловский и Александр Палев сочиняют песни о КамАЗе.

На комплексе уже 112 коллективов художественной самодеятельности. Кузнец Андрей Андреевич Руди добровольно взялся за создание художественной самодеятельности на кузнечном заводе, нашел способных людей. Сам он занимается в театральном коллективе Дома культуры «Автозаводец», где в прошлом году сыграл роль старшины Васкова в спектакле «А зори здесь тихие...».

Осенью 1975 года на КамАЗе открыт первый университет культуры с факультетами литературным, музыкальным, изобразительного искусства.

Несмотря на большую занятость, камазовцы не забывают о физкультуре и спорте. Днем рождения коллектива физкультуры можно считать 21 февраля 1971 года, когда были проведены соревнования на первенство КамАЗа по лыжным гонкам.

С тех пор сделано немало. У спортсменов есть значительные успехи. Так, в соревнованиях на приз в честь освобождения Сталинграда, проходивших в 1975 году, команда легкоатлетов КамАЗа заняла первое место.

В 1975 году чемпионами спартакиады народов РСФСР стали слесарь экспериментального цеха УГК Н. Гаврилов, токарь завода двигателей Ф. Шаемов. Сборные команды ТАССР по велосипеду и баскетболу в основном состоят из спортсменов КамАЗа.

В 1975 году коллективу физкультуры комплекса присвоено звание спортивный клуб «КамАЗ».

Многие камазовцы увлекаются туризмом. Стремимся мы организовать полезно отдых и в общежитиях. В них работают клубы по интересам, проводятся встречи с передовиками производства и ветеранами войны, лекции, тематические вечера.

\* \* \*

КамАЗ не сулит молочных рек и кисельных берегов, нет у него «золотых гор». Здесь не преподносят к приезду квартир и не платят зарплату выше, чем на других предприятиях. Нет пока идеальных условий труда.

И люди не только приходят на КамАЗ, но и уходят с него. Но все-таки к текучести кадров нельзя относиться как к объективной неизбежности. Поэтому партком тщательно анализирует состояние текучести и принимает меры по ее сокращению.

Для этого важно знать причины — почему уходят люди. Представляется, что одну из них мы определили верно. Это недостаточная информированность трудящихся о самом КамАЗе, о городе, о перспективах его развития.

Попав в обстановку, сопряженную с временными трудностями, некоторые рабочие и ИТР воспринимают явления сегодняшнего дня как постоянные, не чувствуют изменений, происходящих ежедневно.

Поэтому очень важно рассказать им о том, что будет завтра, как решаются вопросы оплаты труда, быта, отдыха.

Я уже говорил о регулярных встречах в общежитиях. Выступления руководителей на таких встречах — главный источник информации, дополняемый выступлениями лекторов местного отделения общества «Знание» на темы «КамАЗ — детище девятой пятилетки», «КамАЗ и технический прогресс», «Набережные Челны в прошлом, настоящем и будущем» и т. п.

Важно информировать не только работающих на КамАЗе, но и членов их семей, находящихся временно в других местах. От их настроения во многом зависит, останется человек в Набережных Челнах или нет. В этом мы убедились, проведя небольшое социологическое исследование в одном из городов, откуда к нам приехали работники.

Оказалось, что подчас жены, дети, матери работников не знают истинного положения вещей, пользуются слухами, искажающими обстановку.

На КамАЗе — 57 общественных отделов кадров. Большинство из поступающих на производство проходят собеседование в таких отделах. Рабочего или служащего подробно расспрашивают о причинах, побудивших его приехать на КамАЗ, о его семье, о бытовых условиях на прежнем месте. Рассказывают ему, чего ждет от него коллектив, о будущих коллегах.

Беседы ведутся и с теми, кто решил уволиться. Общественники стараются досконально выяснить причины, побуждающие человека подать заявление об уходе. Подчас они кроются в невнимательном отношении того или иного руководителя к людям. Вовремя оказанная поддержка дает товарищу пересмотреть свое заявление.

Чтобы уменьшить текучесть кадров, очень важно предвидеть проблемы, которые могут возникнуть на том или ином этапе развития КамАЗа. Сошлюсь на такой пример. Мы произвели соответствующий расчет и уже сейчас чувствуем, что не сможем обеспечить работой всех жен наших рабочих и служащих, исходя из специфики производства. Поэтому ставим вопрос об организации в городе дополнительно предприятий с преимущественным использованием женского труда.

Если это не будет сделано, в какой-то период мы почувствуем отток прибывших кадров. Уйти работнику или остаться во многом зависит от того, какой социально-психологический климат создан в коллективе. А это в первую очередь зависит от командиров среднего звена — мастеров, начальников участков и т. д. Этой категории руководителей мы уделяем самое серьезное внимание.

Активно действует совет мастеров комплекса, который возглавляет Адам Михайлович Кучеренко.

Об этом командире производства хотелось бы сказать особо.

Когда он стал начальником цеха автоматизации и механизации РИЗа, в нем насчитывалось всего пять человек, самого помещения цеха вовсе не существовало. Было над чем задуматься!

Товарищ Кучеренко к тому времени был уже опытным производственником, прежде он работал на одном из машиностроительных заводов Украины начальником технического бюро. Там был действующий завод, сложившийся коллектив, да и состав бюро — инженеры и техники.

Здесь в первую очередь ему пришлось заниматься кадрами. Когда народу прибавилось, решил раз в месяц собирать всех на производственное совещание. С разных строительных организаций приходили люди в холодную прорабскую, притулившуюся в углу громадного корпуса, знакомились друг с другом, обсуждали насущные дела.

Адам Михайлович буквально по пятам ходил за строителями, поторапливал с полами. Но строители, как ни торопились, закончить своими силами помещение цеха в установленный срок не могли. И тогда рабочие цеха сами решили взяться за дело — приходиться в корпус после работы и помогать строителям в настиле полов. Адам Михайлович не принуждал людей к принятию подобного решения.

Просто исподволь готовил для него почву. На каждом совещании, при каждой беседе с рабочими рассказывал им о планах, которые предстояло выполнять коллективу в будущем, показывал техническую документацию, увлекательно говорил о тех новых сложных деталях, которые никто еще из них ранее не изготавливал.

День, когда рабочие высказали желание помочь цеху, Адам Михайлович считает днем рождения коллектива. Цех стал готовиться к монтажу оборудования. Опыта в этом деле ни у кого из них не было. Кучеренко засел за техническую литературу. Отобрал пятнадцать человек и стал обучать их монтажному делу.

В те дни шло соревнование между цехом автоматизации и механизации и цехом нестандартного оборудования. Тем и другим хотелось, чтобы станок на РИЗе установили в их цехе.

В предпоследний день 1972 года строители сдали первые тысячи квадратных метров производственных площадей. Цех Кучеренко приготовился к старту. 8 января 1973 года здесь установили первый станок. Кучеренко посоветовался с людьми: решили, что первую стружку снимет токарь Михаил Иванович. Этот рабочий стал известен всему КамАЗу. Адам Михайлович волновался не меньше Михаила. Начиналась новая полоса в жизни коллектива цеха.

С этого знаменательного дня цех автоматизации и механизации приступил к производственной деятельности. Началось еще более горячее время. Напряжение в цехе возрастало. Встали на свои места токарные станки, потом фрезерные. Кучеренко жил одним дыханием со своими подчиненными.

Дел было невпроворот, но при любой загрузке он не забывал о главном — о настроении людей. Заболел кто-нибудь — пойдет к нему сам или пошлет заместителя, мало у человека практики — приставит к нему специалиста или сам даст добрый совет.

Ко всем заказам, даже самым несложным, Адам Михайлович требовал относиться творчески. Сам инженер до мозга костей, он не любит шаблонного подхода к делу. К этому приучал и коллектив.

Мастера и рабочие вскоре усвоили почерк своего руководителя. С каждым месяцем цех набирал мощь, стал выходить победителем в социалистическом соревновании по заводу. Руководство завода решило послать Кучеренко на отстающий участок. Он стал начальником цеха станкостроения и вывел его в передовые.

Добрые слова можно сказать о начальнике цеха вспомогательного инструмента Павле Ивановиче Кулакове — председателе совета мастеров РИЗа, мастере Василии Григорьевиче Шмыгановском, начальнике участка цеха изготовления конвейеров РИЗа Борисе Павловиче Назарове и других руководителях, которые умеют организовать людей, заботятся об их нуждах.

С помощью сотрудников Казанского государственного университета мы провели социологические исследования на РИЗе по некоторым проблемам формирования коллектива. Изучили состояние трудовой дисциплины, социально-психологический климат, текучесть кадров. По проблемам стабилизации коллектива повторно провели исследования силами своего социологического отдела с привлечением широкого актива на всех заводах комплекса. Выводы исследований партком постоянно учитывает в своей работе с коллективом.

На КамАЗе особое значение приобретает совершенствование форм и методов управления. Разработка организационной структуры КамАЗа осуществлена Институтом США Академии наук СССР совместно с работниками комплекса.

Проектом организационной структуры предусмотрены три основных уровня управления: органы высшего звена (генеральный директор, его аппарат и заместители), органы среднего звена (руководители предприятий и функциональных подразделений), органы низшего звена (руководители производств и цехов). Высшее звено при этом ориентировано на стратегические и координационные функ-

ции, на принятие крупных производственных, хозяйственных и научно-технических решений.

Органы среднего звена наделены всеми необходимыми полномочиями и ответственностью для решения производственно-хозяйственных задач и обеспечения эффективного функционирования КамАЗа в целом и отдельных его подразделений.

Руководители цехов и производств преимущественно будут заниматься оперативным решением задач по рациональной организации производственных процессов и планомерному выпуску продукции в соответствии с установленными заданиями.

Как видим, уже в самом распределении функций между звеньями управления заложено отделение текущих вопросов от работы на перспективу. Это подкрепляется в высшем звене введением наряду с должностью главного инженера комплекса должности заместителя генерального директора по техническому развитию. Предполагается применить программно-целевое управление, признанное наиболее эффективной формой управления.

Принципиально важно создание в структуре управления социального блока, чего нет на других предприятиях. Он предназначен для решения широкого круга вопросов, непосредственно связанных с производством и касающихся работника, с одной стороны, как участника процесса производства и, с другой стороны, как члена трудового коллектива, в удовлетворении потребностей которого КамАЗ должен играть решающую роль.

Система управления трудом, кадрами и социальным развитием на комплексе в целом состоит из пяти частей:

комитет по кадрам и социальному развитию при генеральном директоре, осуществляющий на коллективной основе выработку общей кадровой политики и планирование крупных мероприятий по социальному развитию;

управление организации труда и заработной платы, подчиненное заместителю генерального директора по экономическим вопросам;

служба кадров и социального развития, возглавляемая заместителем генерального директора;

служба заместителя генерального директора по быту, предназначенная для удовлетворения социально-бытовых потребностей трудящихся; кадровые службы заводов и других подразделений комплекса.

Служба заместителя генерального директора по кадрам и социальному развитию играет в этой системе особую роль и включает в себя управление кадров и социологический отдел.

Вопросы изучения социальных процессов, овладение методами управления ими занимают все большее место в системе производства.

Социологический отдел призван содействовать формированию устойчивых, работоспособных производственных коллективов, выявлению социальных последствий технических, экономических и организационных изменений, совершенствованию различных форм творческой активности трудящихся, усилению их заинтересованности в достижении всех целей комплекса.

Отдел установил связи с ведущими социологами страны, заключен договор о творческом содружестве с работниками Института социологических исследований Академии наук СССР, которые неоднократно приезжали на КамАЗ.

Привлечение трудящихся к управлению делами производства осуществляется в различных формах.

Свыше 1800 инженеров и техников соревнуются по личным творческим планам. В 1975 году от внедрения рационализаторских предложений получен экономический эффект свыше 700 тысяч рублей.

Новый прилив творческой активности масс вызвало решение о созыве очередного, XXV съезда КПСС. В коллективах подразделений и в целом по комплексу приняты повышенные социалистические обязательства в честь съезда. Брига-

ды автомобильного завода А. Карнаухова, Г. Федосеева, В. Колесника первыми на комплексе решили начать соревнование за получение почетного звания коллектива имени XXV съезда КПСС. Инициатива этих бригад нашла широкий отклик.

За почетное звание соревнуются свыше 400 бригад, участков, цехов. Поддержку нашел и почин бригады монтажников автозавода В. Минкина: «XXV съезду КПСС — 25 ударных декад».

В минувшем году появилась новая форма социалистического соревнования на комплексе — соревнование за право участия в сборке первого автомобиля.

Многое сделано, чтобы во всеоружии встретить особой важности день — день выпуска первого автомобиля. Решающая роль в выполнении этой задачи принадлежит партийной организации комплекса. Она является ядром и боевым авангардом коллектива, сплачивает его и мобилизует на решение сложных и ответственных задач государственного значения.

20 апреля 1970 года коммунисты дирекции КамАЗа собрались на свое первое партийное собрание. Их тогда было 37 человек. На второй отчетно-выборной партийной конференции комплекса, проходившей 3 октября 1975 года, делегаты представляли 5700 членов партии.

Все эти годы коммунисты комплекса — на решающих участках и своим личным примером воодушевляли людей. Невозможно рассказать о всех, но некоторые имена все же назову.

Хорошо знаком я с газосварщиком РИЗа Алексеем Алексеевичем Морозовым. Он на КамАЗе с 1970 года. Производственные задания он выполняет на 120—125 процентов. Но главное в том, что у Морозова удивительно развито чувство хозяина, чувство ответственности за все, что происходит на предприятии.

В 1975 году трудящиеся избрали Алексея Морозова депутатом Верховного Совета Татарской АССР.

Коммунист Василий Иванович Рогачев работает в цехе приспособлений РИЗа. Ему как опытному специалисту поручаются самые ответственные, самые сложные задания, и всегда он выполняет их отлично и в срок. Хорошее знание оборудования, творческий подход к делу помогают ему постоянно перекрывать нормы выработки. 135—140 процентов — его обычные показатели. Сто процентов продукции он сдает с первого предъявления. Свои знания и опыт Василий Иванович охотно передает молодым рабочим, обучает их всем тонкостям профессии токаря-универсала. С января 1975 года он стал наставником бригады токарей, которой руководит товарищ Пилишин. Коллектив этой комсомольско-молодежной бригады соревнуется за право подписать рапорт Ленинского комсомола XXV съезду КПСС.

Василий Иванович не только хороший труженик, наставник молодежи, он — партгруппорг участка и член парткома завода.

Коммунист Владимир Поляков — слесарь-ремонтник ремонтно-механического цеха автомобильного завода. За короткий срок освоил строительную специальность. В 1973 году стал бригадиром комсомольско-молодежной бригады, занятой на строительстве своего завода. Бригада В. Полякова неоднократно занимала призовые места среди комсомольско-молодежных коллективов комплекса. Сам бригадир награжден почетным знаком «Ударник строительства КамАЗа».

Бригада, которой руководит член КПСС В. Х. Такшыетов, на четыре месяца раньше директивного графика смонтировала автоматическую линию обработки и сварки картера. Бригада слесарей-монтажников, возглавляемая членом КПСС Ю. В. Прониным, к 22 октября 1975 года выполнила годовой план монтажа оборудования.

И таких примеров немало. Задавая тон в соревновании, коммунисты ведут за собой сотни и тысячи соревнующихся. Но сознавая всю важность личного трудового вклада каждого коммуниста, партком комплекса понимает, что главное в деятельности парторганизации заключается в организаторской работе, в подборе и расстановке кадров и умелом их воспитании.

В специфических условиях строительства КамАЗа хорошо зарекомендовало себя, на мой взгляд, объединение усилий партийных организаций строителей, монтажников и эксплуатационников.

В сооружении КамАЗа заняты производственное объединение Камгэсэнергострой Министерства энергетики и электрификации СССР, Главное управление по строительству Камского автозавода Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР, организации Министерств транспортного строительства, связи, строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности.

У них есть свои достаточно сильные партийные организации. Но одно дело, если каждая партийная организация будет решать вопросы, ограничиваясь своими рамками и изолированно друг от друга. Другое дело, если усилия всех этих партийных организаций объединены и направлены по единому руслу для решения главных, кардинальных задач.

Поэтому главной формой воздействия на ход строительства автогиганта мы избрали тесное сотрудничество парторганизаций, взаимопомощь и взаимный контроль за выполнением директивных графиков и других документов.

Большую роль в этом направлении сыграл совет секретарей партийных организаций. Первый такой совет возник в порядке эксперимента на строительстве города в конце 1971 года для решения конкретной задачи — пуска тепла в жилой район. Задачу эту успешно решили, а эксперимент показал свою жизнеспособность. В 1972 году по решению бюро ГК КПСС был создан головной совет секретарей парторганизаций парткомов КамАЗа, Камгэсэнергостроя и Минмонтажспецстроя. По специальному плану проходят заседания совета, на которых с участием хозяйственных руководителей и партийного актива обсуждаются злободневные вопросы стройки, а также социальные проблемы.

Одной из новых форм объединения сил коммунистов разных партийных организаций явилось создание временных совместных парторганизаций и партгрупп, состоящих из строителей, монтажников и заводчан. Первая объединенная партгруппа была создана в 1973 году в СМУ-21 треста Спецстальконструкция на участке укрупнительной сборки блоков перекрытий. В короткий срок она сумела сплотить коллектив, создать здоровый дух соревнования, организовать обучение смежным профессиям. В результате темп сборки блоков значительно повысился. Позднее такие группы родились на всех наиболее важных объектах строительства.

Партком комплекса обратился с призывом объединить усилия к парторганизациям ста предприятий и организаций страны, выполняющих заказы КамАЗа. Большинство из них откликнулись на наши просьбы и приняли меры, помогающие выполнить наши обязательства.

Представители предприятий и проектных институтов, связанных с сооружением КамАЗа, принимают участие в партийных конференциях, собраниях партийно-хозяйственного актива. Такие встречи непосредственно в атмосфере стройки, посещение гостями промышленной площадки позволяют на месте решать проблемы, возникающие в ходе строительства.

Практика совместной работы различных партийных организаций заслуживает изучения, анализа и распространения на других крупных стройках страны.

Залог успеха — постоянный контроль за исполнением принятых парткомом решений. Осуществляя такой контроль, мы сочетаем уважительное отношение к кадрам с требовательностью к ним.

Подчас приходится принимать жесткие меры к безответственным работникам, вплоть до требования о снятии с работы.

Многогранная деятельность партийного комитета КамАЗа безусловно настолько велика по объему, что ее невозможно выполнить только силами штатных работников аппарата.

Марксизм-ленинизм учит, что только коллективный ум способен находить наиболее правильные решения, осуществление которых возможно только на основе коллективной деятельности партии, всех ее звеньев.

Большую роль в решении многих вопросов оказывают созданные при парткоме и в первичных партийных организациях комиссии партийного контроля деятельности администрации, внештатные инструкторы.

Партийный актив, как правило, состоит из общественников, которые выполняют те или иные поручения в свободное от работы время. От каждого из них требуется способность подчинить личные интересы общественным. Каждого из них мы можем назвать энтузиастом своего дела.

Всем на КамАЗе известна интересная краеведческая работа, которую проводит начальник бюро научно-технической информации А. Г. Дубровский, большой популярностью пользуются лекции о международном положении работника управления внешних связей Я. С. Песина. Эти люди обычно всегда заняты, часто их можно видеть в рабочих общеклассовых собраниях. Общественник не только отдает, но и приобретает, учится у людей, находит в этом большое удовлетворение.

Формирование партийного актива — сложный процесс, требующий тщательного изучения, а затем и проверки людей на конкретной работе. И начинается он с первой встречи с коммунистом, с той беседы, когда коммунист приходит к секретарю организации встать на учет.

В этой первой беседе выявляются склонности товарища, круг его интересов, предшествующая общественная деятельность.

С учетом этих факторов можно разумно и эффективно использовать накопленный коммунистом опыт и его личные качества.

Можно привести немало примеров, как коммунисты от поручения к поручению, от малого к большому проходят школу партийной работы и затем успешно справляются с ответственными делами. Например, коммунист Рудольф Васильевич Шуранов вначале выполнял отдельные поручения, потом был утвержден председателем методического совета завода. Хорошо зарекомендовав себя, он был избран секретарем партийного комитета ремонтно-инструментального завода. Сейчас Рудольф Васильевич — заместитель секретаря партийного комитета комплекса. Подобный путь прошел и Виталий Григорьевич Казаков. Вначале он был партгруппоргом, затем секретарем партбюро управления материально-технического снабжения, а ныне возглавляет партийный комитет ремонтно-строительного треста КамАЗа.

Но одно дело выдвинуть на руководящую работу или дать ответственное поручение, надо еще направлять товарищей, организовать их учебу.

В настоящее время при парткоме комплекса созданы и действуют школа партийного актива, постоянно действующее еженедельное совещание с секретарями партийных организаций, школа секретарей цеховых парторганизаций и партгруппоргов, школа молодого коммуниста.

Вот один из примеров того, как мы, опираясь на партийный актив, решаем наши задачи.

В прошлом году, учитывая сложность выполнения тематических задач, три ведущих парткома — строителей, монтажников и эксплуатационников — приняли обращение ко всем коллективам и работникам, участвующим в строительстве КамАЗа.

Нужно было в кратчайшие сроки не только довести содержание обращения до сознания каждого работника, но и организовать людей на успешное выполнение тематических задач. Эта работа была проведена при широком участии партийного актива, который организовал обсуждение в коллективах подразделений.

Была поставлена задача: дойти до каждого работника независимо от того, работает он в Набережных Челнах или за их пределами, а обсуждение проводить в бригадах, сменах, экипажах, то есть в самых низовых звеньях. Участвовали в ее решении более пятисот человек.

Когда мы говорим об опоре на актив, то имеем в виду не только партийных активистов, но и широкий круг общественности.

Нашими помощниками являются также профсоюзная и комсомольская организации, группы и посты народного контроля. При парткоме действуют тех-

нико-экономический совет, совет по наглядной агитации, методический совет по работе с политинформаторами и агитаторами и другие органы на общественных началах.

Большую помощь мы ощущаем со стороны Татарского областного и Набережночелнинского городского комитетов партии. Их руководящие работники — первый секретарь Татарского обкома КПСС Ф. А. Табеев и секретарь обкома М. Т. Троицкий — активные участники создания КамАЗа, отдающие ему свои силы, знания, энергию.

В 1974 году в Набережных Челнах состоялось собрание партийного актива республики и города. Именно на этом собрании была выдвинута задача дать первые автомобили «КамАЗ» в процессе пуско-наладочных работ к XXV съезду КПСС.

Сейчас мы находимся на пороге этого события.

Многотысячный коллектив завода по производству большегрузных автомобилей держит главный экзамен — экзамен на зрелость.





---

ВЛАДИМИР ШУБКИН,  
доктор философских наук



## НАЧАЛО ПУТИ

(Размышления о проблемах выбора профессии)

«Знаешь, кем бы я хотел быть?.. Понимаешь, я себе представил, как маленькие ребятишки играют вечером в огромном поле, во ржи. Тысячи малышей, и кругом — ни души, ни одного взрослого, кроме меня. А я стою на самом краю скалы, над пропастью, понимаешь? И мое дело — ловить ребятишек, чтобы они не сорвались в пропасть. Понимаешь, они играют и не видят, куда бегут, а тут я подбегаю и ловлю их, чтобы они не сорвались. Вот и вся моя работа. Стеречь ребят над пропастью во ржи. Знаю, это глупости, но это единственное, чего мне хочется по-настоящему».

*Дж. Д. Сэллинджер, «Над пропастью во ржи».*

**В**ступление молодежи в самостоятельную трудовую жизнь, видимо, можно было бы описать в терминах теории игр. Эта игра развертывается на огромном поле, на территории всей нашей страны, между миллионами молодых, стремящихся найти свое «место под солнцем». поприще для приложения своих жизненных сил, с одной стороны, и с другой — обществом: промышленностью, сельским хозяйством, сферой обслуживания, системой образования и пр. и пр., которые предлагают определенное число вакансий, мест работы и учебы. Но вряд ли математическая теория игр способна раскрыть всю сложность и глубину проблем молодежи.

Первый выбор — начало пути. К делу своей жизни человек идет до конца дней своих, все полнее самоосуществляясь, все глубже осознавая себя в этом мире.

Экономический человек трудоустраивается.

Человек социальный выбирает профессию.

Человек духовный ищет смысл жизни.

Такие этапы, такие слои угадываются за проблемой выбора. Просто человек — один в трех лицах. И каждый шаг его тройной. И ответственность тройная.

Понять, осмыслить во всей полноте эти экономические, социальные, психологические, духовные проблемы тем труднее, что каждый из нас подобен флюсу. У каждого свой профессиональный угол зрения. И нужно быть весьма самонадеянным человеком, чтобы претендовать на исчерпывающий научный анализ такой проблемы в целом.

Исследования проблем выбора профессии в Сибири, которые стимулировали эти размышления, не являются исключением. Это социологические исследования со всеми вытекающими отсюда последствиями: у них свой специфический подход, свой аппарат, свои пределы.

## БАНК ГРЕЗ И БАЛАНС СУДЕБ

В первой серии обследования (1963—1973) наша роль заключалась в том, чтобы, во-первых, весной с помощью «Анкеты выпускника» фиксировать личные планы, ожидания, отношение к различным профессиям тысяч юношей и девушек и, во-вторых, осенью собирать данные о том, какие профессии они избрали, в какой мере осуществили свои планы сразу после окончания средней школы. Здесь речь шла в основном о первых, всегда сложных самостоятельных шагах молодежи в возрасте семнадцати лет. Поэтому для себя мы называли это исследование «Проект 17—17».

Десять лет мы повторяли наши обследования. Год за годом мимо нас проходили тысячи семнадцатилетних, оставляя лишь краткую информацию о том, чего они хотели и что получили сразу после школы. Мы бережно храним их анкеты в своей лаборатории и в памяти электронно-вычислительных машин. Как принято теперь говорить, мы создали банк информации. Целый банк грез, надежд.

Банк надежд, банк стремлений позволил нам на массовом материале изучить личные планы молодежи Сибири и их реализацию, престиж профессий, социальную, профессиональную и территориальную мобильность при выборе профессии, шансы разных групп на получение образования и пр.<sup>1</sup>

Мы анализировали эти данные, сопоставляли грезы и судьбы, определяли зависимости, тенденции, пытались предсказать шансы новых поколений семнадцатилетних. Но мы не знали, что стало с ними в восемнадцать, девятнадцать, двадцать... двадцать пять лет. Как сложилась их профессиональная судьба? Как прошел первый год после школы? Нашли ли они дело своей жизни? Не разочаровались ли в двадцать пять лет в своей профессии те, кому в семнадцать лет все казалось ясным и простым? Намерены ли учиться дальше те юноши и девушки, которые стали квалифицированными рабочими? А если хотят, то ради чего? Как сказалось на их мировоззрении изменение демографической ситуации, рост конкурса в вузах? И т. д. и т. п.

Говоря несколько приподнято, семнадцать — двадцать пять — это судьбоносный период в жизни человека. Интенсивные поиски своего призвания, выбор профессии, переход от книжных, романтических представлений к столкновению с реальными институтами общества, профессиональное самоопределение, трудоустройство, любовь, становление семьи. Все это связано с такой острой эмоциональностью и психических переживаний, с таким количеством решений, которые нужно принять в кратчайший период и которые в огромной мере определяют судьбу человека.

Нелегко в одиночку разобраться в этой сложной ситуации и найти оптимальное решение. Ведь для этого нужно познать самого себя, свой характер, свои склонности и способности, сильные и слабые стороны. Но мало кто, особенно в юности, способен видеть себя объективно, со стороны. К тому же надо иметь представление о мире современных профессий, о специфике разных учебных заведений, об условиях и оплате труда и о тысяче других вещей.

Между тем именно на распутье после школы оказываются молодые люди. Школа окончена, влияние родителей уже не то, что прежде, друзья разлетелись. А вопросы обступают: кто я? кем быть? зачем?

И цена ошибки — не двойка, а порой бесполезно прожитые годы. Об этом немало могли бы рассказать не только педагоги, но и психиатры. Да и работники милиции знают, как первые срывы сказываются на статистике преступности.

Вот почему тысячи вопросов хотелось нам задать тем, чья «стартовая» информация хранилась в наших лабораториях и вычислительных центрах. А они тем временем становились квалифицированными специалистами, техниками, рабочими, женились, разводились, меняли фамилии, заводили детей, мигрировали по всей нашей стране. И единственная возможность разыскать их — последняя строчка в

<sup>1</sup> См. подробнее: В. Н. Шубкин. Социологические опыты (Методологические вопросы социальных исследований). М. «Мысль». 1970.

нашей анкете, где выпускники — мы уже имели тогда в виду необходимость новых контактов — указывали свое имя и фамилию.

Тем не менее мы решили ухватиться за эту ниточку, разыскать тех, кого мы обследовали три, пять, десять лет назад, и реализовать новое исследование — «Проект 17—25». Была создана специальная группа розыска, перед которой поставили задачу: найти максимум наших бывших выпускников. А к тому времени, когда первая тысяча была найдена, поспела новая анкета «Начало пути».

Итак, «Проект 17—17» и «Проект 17—25». Оба они неразрывно связаны между собой. Оба касаются тех же самых молодых людей, только на разных этапах их профессиональной карьеры, их жизни. Оба имеют дело с крайне сложной и противоречивой подоплекой, которая во многом определяет судьбы молодых.

### У ПИРАМИДЫ ПРОФЕССИИ

Начнем с самого простого. Предположим, что в данном обществе имеется какое-то число профессий. Причем нам известно: 1) сколько обществу требуется работников, то есть какова потребность в кадрах по каждой из этих профессий; 2) как относятся к этим занятиям юноши и девушки, то есть каковы привлекательность или престиж каждой из этих профессий среди молодежи, которой предстоит работать по этим профессиям; 3) сколько из них и куда намерены поступать, то есть численность желающих работать или учиться по данной профессии. Построим ранг профессий по привлекательности так, чтобы внизу располагались самые непривлекательные профессии, а сверху — самые привлекательные профессии. Потребность же в рабочей силе будем фиксировать по горизонтали.

Допустим, что потребность в рабочей силе по самой непривлекательной профессии самая большая, у следующей, более привлекательной профессии потребность меньше и т. д. По первой профессии (скажем, разнорабочих) нужно миллион 250 тысяч, а по наиболее привлекательной (допустим, космонавтов) — 30 человек. В итоге мы получим нечто вроде пирамиды. Она характеризует объективные потребности общества в кадрах по профессии, которые ранжированы нами по степени привлекательности.

А теперь давайте представим себе, что мы провели опрос среди тех юношей и девушек, которым предстоит работать или учиться и которые должны заполнить все те вакансии, рабочие места, аудитории университетов, техникумов, училищ, которые очерчены сплошной пирамидой. В этом случае, как это было обнаружено нами при проведении обследований среди молодежи Сибири, сплошь и рядом оказывается, что по одним профессиям желающих работать много, а по другим — мало. Как правило, больше всего желающих работать или учиться по самым привлекательным профессиям, в то время как потребность в рабочих кадрах здесь обычно невелика. Поэтому здесь, на вершине пирамиды, количество желающих значительно превышает численность вакансий. Напротив, меньше всего желающих работать по тем профессиям, которые имеют низкую привлекательность. Здесь число вакансий больше, чем число претендентов. Если мы пунктиром обозначим численность юношей и девушек, которые хотели работать по данной профессии, то у нас получится вторая (пунктирная) пирамида, которая является как бы зеркальным отражением первой, сплошной пирамиды.

Не нужно иметь слишком развитое воображение, чтобы за геометрическими формами этих фигур представить реальные жизненные судьбы миллионов людей, заполняющих их, разных классов, социальных слоев и групп, их надежды и разочарования, их взлеты и падения. В принципе можно попытаться даже измерить некоторые из них на основе довольно простой шкалы. Ну, скажем, одна группа — это те, кто при вступлении в самостоятельную жизнь полностью реализовал свои желания, то есть получил то, что хотел. А вторая, полярная группа — те, кто сорвался. Каждый знает, что если человек достаточно свыкся с мыслью о своей незаурядной роли в будущем, ему не всегда просто адаптироваться к роли, исполнять которую он должен на самом деле. Здесь много оттенков, и у исследователя велик соблазн выделить и некоторые промежуточные группы. Тех, кто сорвался

всего на одну-две ступени в отличие от тех, кто видел себя на вершине, а оказался у подножия. Во всяком случае, «пирамидальный подход» давал основания поверить некоторые из этих гипотез.

Первый вопрос, который возникает при знакомстве с этими пирамидами, таковой: должны ли они совпадать или, напротив, между ними должен быть разрыв?

В принципе могут быть три основных варианта.

1) Полное совпадение существующей ныне структуры желаний и структуры реальных вакансий общества. В этом случае каждый «мечтает» лишь о доступном и каждый получает то, о чем он мечтает. Но именно в силу этого общество в целом было бы консервативным и застойным, а жизнь обескрыленных людей стала бы тосклива и сера, как у бетризованных героев «Возвращения со звезд» Станислава Лема. Здесь именно тот случай, когда вместе с ликвидацией мечты исчезли бы стимулы к творчеству, к движению, и вряд ли это общество могло бы развиваться.

2) Антагонистом этого состояния является конфликт между мечтой и действительностью. Допустим, что общество через систему массовых коммуникаций или через систему образования год за годом сеяло иллюзии, создавало искаженный образ действительности и в конце концов преуспело: пробудило у людей такие стремления, желания, грезы, которые для подавляющего большинства людей не могут быть реализованы. Поэтому вступление в самостоятельную жизнь для молодых людей здесь связано с огромными разочарованиями, с утратой не только иллюзий, но и доверия к обществу, которое их обмануло. Видимо, можно предположить, что в этом случае мы сталкиваемся с целым комплексом самых противоречивых явлений, со взрывом негодования, с одной стороны, а с другой стороны — с деморализацией общества, бегством от действительности, наркоманией и т. д. и т. п. Нетрудно заметить, что эти процессы часто наблюдаются сейчас на Западе. «В тех случаях, — отмечает «Курьер ЮНЕСКО», — когда стремления молодежи находятся в противоречии с существующей структурой общества, возникают настроения тревоги, эскапизма, скептицизма»<sup>2</sup>.

По существу, здесь конфликт между мечтой и действительностью является отражением глубоких структурных противоречий, свидетельством серьезной болезни общества.

3) Наконец, можно, видимо, говорить и о промежуточном варианте, так сказать, об оптимальном соотношении мечты и действительности. В этом случае исключаются, с одной стороны, застойность общества, обусловленная совпадением норм и целей, а с другой стороны — конфликт, порожденный полным отрывом мечты от действительности. По идее, такое общество имело бы стимул к развитию и могло бы представлять собой здоровый, развивающийся, динамичный социальный организм.

Но как это сделать? Как достигнуть оптимального соотношения между пунктирной и сплошной пирамидами?

### В ПОИСКАХ ОПТИМУМА: ВАРИАНТ № 1

Первая мысль, которая возникает в связи с этим вопросом у многих социологов на Западе, связана с манипулированием пунктирной пирамидой. В самом деле, нельзя ли решить эту проблему, используя телевидение, систему образования, печать, кино, радио и т. п., воздействуя на сознание людей так, чтобы приземлить мечту или пробудить иные грезы?

Говоря о пунктирной пирамиде, нельзя не учитывать ряда специфических обстоятельств. Если раньше индивид был связан с человечеством в основном через систему разделения труда и обмена, то в результате гигантского скачка в развитии массовых коммуникаций в условиях современной научно-технической революции каждый человек оказался систематически связанным со всем обществом в целом. Если прежде социальные ожидания молодежи были четко дифференци-

<sup>2</sup> «Курьер ЮНЕСКО», 1969, № 148, стр. 4.

рованы по социальным группам и ориентированы на ближайшей ступеньке сплошной пирамиды, то теперь, когда все знают все, когда новые потребности, ожидания, моды молниеносно распространяются по всему миру и становятся всеобщими, отрыв пунктирной пирамиды от сплошной неминуемо должен был усилиться. С этой точки зрения развитие новых форм коммуникаций означало не только революцию в технике, но и революцию в общественном сознании и психологии сотен миллионов, и прежде всего молодежи.

Здесь, конечно, нужно иметь в виду принципиальное отличие этих процессов в условиях буржуазного и социалистического общества. Однако не следует думать, что эти проблемы совсем не касаются нас. И в наших условиях через массовые коммуникации можно в определенной мере воздействовать на пунктирную пирамиду.

Собственно, эти методы достаточно широко используются сейчас. Но вряд ли это путь единственный. При всем могуществе средств массовых коммуникаций в современную эпоху они не всеильны. Прежде всего потому, что в мире существуют две системы. Кроме того, один и тот же социальный факт может так переплавляться в сознании индивида, проходя ближайшие к нему «плотные слои», что он сделает выводы, прямо противоположные тем, которые были предусмотрены редактурой и режиссурой. Наконец, возможности массовых коммуникаций ограничены еще и потому, что реальный индивид от теоретического отличается, как нам кажется, наличием здравого смысла.

К тому же говоря о профессиональных стремлениях молодежи, надо учитывать еще ряд соображений. А именно: в какой мере можно полагаться лишь на желания? Не следует ли одновременно ставить вопрос об умении? Ведь давно известно: этот может, да не хочет, а тот хочет, да не может.

Могут ли и что они могут? Ответ на эти вопросы зависит уже от профессиональной подготовки, от того, то ли образование получили, ту ли профессию выбрали те, кто заполняет ячейки этой пирамиды. Это зависит и от того, какая система образования существует в стране, соответствует ли она (а если да, то в какой мере) возможностям общества. Тут уже не обойтись без уточнения ряда понятий. Ну, скажем, что это за штука — объективные потребности в кадрах по профессиям и в какой мере они реально осознаны обществом?

Как видно, наши пирамиды определяются достаточно сложным взаимодействием социальных факторов. И вряд ли можно надеяться, что оптимальное соотношение между этими структурами может быть достигнуто лишь за счет манипулирования пунктирной пирамидой. Массовые коммуникации могут и должны сыграть важную роль в другом — в социологическом просвещении, в пропаганде реалистической карты нашего мира. Это немало. Это важная вещь, крупный вклад, который уже сегодня социологи могут внести в управление общественными процессами.

### ...ВАРИАНТ № 2

Предыдущий анализ определенно вынуждает нас заняться первой пирамидой — структурой вакансий. Хотя она только что создана нами, нашим знанием, нашим воображением, она представляет собой весьма прочное сооружение. Ее прочность обусловлена достигнутым уровнем развития производительных сил, производственных отношений, особенностями исторических, культурных традиций и т. п. Сплошная пирамида — это, если угодно, синтетизированный выразитель общественного бытия. Вот почему об эту пирамиду на протяжении веков разбивалась уже не одна утопия.

Вглядимся в нее попристальнее. Миллионы людей, которые должны заполнить ее ячейки, — это создатели необходимых материальных и духовных благ. Стало быть, это работающая, производящая структура. Дитя экономики, она, в свою очередь, обуславливает экономический рост общества, его темпы и многое другое.

Различные этажи ее требуют в известном смысле разных людей, во всяком случае — с разной подготовкой. Вот почему ее эффективность предполагает учет в принципе не только стремлений, но и субъективных качеств людей, которые заполняют ее элементы. Чтобы быть достаточно эффективной, она, видимо, должна учитывать: 1) природные задатки каждого; 2) уровень образования и профессиональной подготовки; 3) способности, то есть задатки, развитые и отшлифованные образованием. Или, по крайней мере, второе и третье.

Как видно, сплошная пирамида — структура исторически переменчивая, но на каждом достигнутом уровне она выступает как относительно жесткое сооружение, как важнейший элемент общественного бытия. Вот почему нам следует уделить ее анализу должное внимание.

В самом деле, какова ее прочность и чем она определяется?

Можно ли воздействовать на нее, а если можно, то как?

Возьмем первый случай, когда эта структура определяется стихийно действующими законами, когда каждый делает свой бизнес и сам решает, что производить и в каком количестве, сколько нанимать и в каком качестве, что продавать и почему.

При этом, добавим, речь идет не просто о производстве материальных благ, но и о производстве услуг духовных, информации, знаний, что имеет в наше время первостепенное значение. Можно ли в этом случае перестроить данную структуру в нужном направлении, то есть так, чтобы она находилась в оптимальном соотношении с пунктирной пирамидой?

Преобразование подобной структуры предполагает, во-первых, реконструкцию либо по вертикали, либо по горизонтали.

Сначала рассмотрим возможности манипулирования сплошной пирамидой по вертикали, то есть попыток просто сломать ее хребет, ликвидировать или изменить иерархию престижа профессий, на котором она строится.

Говоря об этом, нужно ясно представлять себе природу оценок престижа профессий. Это, конечно, субъективные оценки, которые отражают отношение индивида, группы, слоя, класса к набору профессий. Но из этого не следует, что они случайны. Поскольку различия в объективных, реальных условиях существования, системе связей и отношений, в которых развивается человек, имеют черты определенного сходства и различия для разных классов и слоев, закономерно изменяются в пространстве и времени, постольку и «эхо» этого реального жизненного процесса, отражение его в головах людей, также имеет определенные закономерные различия и тенденции.

Престиж профессий — это та область общественного сознания и социальной психологии, которая весьма тесно связана с хозяйственной жизнью и в значительной мере определяется ее законами, в условиях капитализма законом прибавочной стоимости в первую очередь. Законы капитализма определяют шкалы престижа не только у буржуа, но и у других классов, что обнаруживается в ходе социологических исследований при изучении субъективных аспектов социальной дифференциации. Сплошь и рядом люди, зараженные мелкобуржуазной психологией, относят себя не к тем классам и слоям, к которым они принадлежат в действительности, а на одну-две ступени выше. Но главное при этом то, что само представление о «высоте» или «низости», сам хребет иерархии занятий отражает специфику системы социальных отношений в данном обществе. Вот почему, не говоря уже об утопичности попыток вообще ликвидировать иерархию занятий, радикальная перестройка шкалы престижа, детерминированной существующей системой социальных отношений, в условиях буржуазного общества оказывается невыполнимой задачей.

Особо следует подчеркнуть, что в этом обществе благодаря господствующей ориентации на наживу имеют место весьма упорядоченные и жесткие детерминанты, которые определяют не только шкалы престижа, но и существующее здесь общественное разделение труда, размер вакансий по различным профессиям, что безусловно ограничивает возможность сознательных и планомерных изменений по горизонтали. Следовательно, основные образующие данной структуры оказываются

ся, по существу, ориентированными не на интересы тех, кому в действительности предстоит трудиться.

Уже эти размышления подводят нас к выводу о том, что лишь коренные социальные изменения могут создать предпосылки для радикального преобразования подобных структур. Лишь обеспечив господство над собственными производительными силами, сознательное управление системой производства и системой общественного разделения труда, человечество создает условия для того, чтобы вырвать сплошную пирамиду из объятий закона прибавочной стоимости. При этом вместо бездушной погони за прибылью вырабатываются иные, более человеческие критерии. Социологические исследования<sup>3</sup>, например, дают основания полагать, что значительная часть молодежи Советского Союза в основу шкалы престижа выдвигает такой критерий, как творчество.

Однако главное — это то, что при такой радикальной перестройке общества создается возможность сознательного и планомерного изменения размера потребностей в рабочей силе по различным профессиям. Иначе говоря, благодаря обобществлению средств производства и планированию всего народного хозяйства создаются предпосылки для воздействия на систему общественного разделения труда так, чтобы сокращать, а в иных случаях и ликвидировать вообще на основе механизации и автоматизации самые непрестижные профессии, подчиняя тем самым материальные условия интересам и стремлениям людей.

Это важнейшая предпосылка свободного выбора профессии, всестороннего развития личности. «Всестороннее проявление индивида лишь тогда перестанет представляться как идеал, как призвание и т. д., когда воздействие внешнего мира, вызывающее у индивида действительное развитие его задатков, будет взято под контроль самих индивидов, как этого хотят коммунисты»<sup>4</sup>.

Это требует прежде всего обобществления средств производства. Но оно, разумеется, не решает всех проблем. Обобществление резко повышает требования к организациям, которые берут на себя миссию невероятно сложную — сознательно управлять процессами, которые прежде протекали на основе стихийных регуляторов. Это предполагает союз политики и науки, широкое развитие общественных наук. Это означает и новые, более высокие требования к общественным наукам. Они должны радикально перестраиваться, менять свой подход к действительности, в них должны были получить развитие новые отрасли, связанные с изучением механизмов принятия решений, прогнозирования, планирования и управления.

Нет, разумеется, это не означает, что здесь общество имеет возможность перекраивать сплошную пирамиду так, как ему вздумается. Определенные ограничения, порожденные конкретными историческими условиями и продиктованные необходимостью обеспечить потребности населения, соблюдать пропорции в развитии различных отраслей народного хозяйства, науки и культуры, соразмерять потребление и накопление и т. п., разумеется, останутся. Но в этом случае обеспечение оптимального соотношения между этими двумя структурами будет представлять собой процесс постепенного приспособления структуры общественного разделения труда к структуре потребностей и стремлений населения, своеобразной погоней действительности за мечтой.

## МЕЖДУ СЦИЛЛОЙ И ХАРИБДОЙ

Выбор профессии, первые самостоятельные решения молодежи во многом определяются школой. С социологической точки зрения система образования — это совокупность эскалаторов разной длины, каждый из которых выносит юношей и

<sup>3</sup> См., например, В. В. Водзинская. О социальной обусловленности выбора профессии (в кн. «Социальные проблемы труда и производства. Советско-польское сравнительное исследование». М. «Мысль». 1969, стр. 53).

<sup>4</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 3, стр. 282.

девушек на разные «станции», на разные ступеньки пирамиды профессий. На каждой из них свои горизонты свободы выбора и свои ограничения. На «станциях» имеются и переходы с одного эскалатора на другой. Только этими переходами не всегда можно в равной мере воспользоваться, и всегда они требуют усилий, способностей, воли, времени. Поэтому финиш зависит от старта, который во многом предопределяет не только выбор профессии, но и социальную позицию, образ жизни.

Если вернуться к нашим пирамидам и попытаться теперь дополнительно ввести новую, третью компоненту — систему образования, то она займет промежуточное положение — между структурой потребностей общества в кадрах (по профессиям) и структурой профессиональных склонностей молодежи. При этом требования соответствующего образования, наличие диплома и т. п. наиболее жестки наверху — там, где расположены самые престижные занятия, и более либеральны внизу, где находятся наименее популярные профессии и где, как отмечалось, спрос часто превышает предложение.

В разных условиях и по разным причинам система образования может оказаться более ориентированной то на структуру вакансий, то на профессиональные склонности. Поэтому противоречие между этими двумя структурами неизбежно находит отражение в спорах специалистов, в наличии различных концепций, вариантов развития, в конфликте ориентации, в самой системе образования, которая всегда должна считаться с ними.

Но не только с ними. Можно назвать целую «бойму» противоречий, которые постоянно сказываются на развитии системы образования: между задачей наиболее эффективного использования интеллектуального потенциала общества и задачей преобразования социальной структуры; между задачей подготовки квалифицированных специалистов для различных отраслей народного хозяйства, что предполагает специализацию, и проблемами передачи культуры, формирования всесторонне развитой личности, где узкая специализация противопоказана; между подходом к системе образования с позиций будущих, перспективных потребностей общества и подходом, ориентированным на ближайшие нужды; между новыми потребностями общества и сложившимися организационными структурами в системе образования; между имеющимися финансовыми возможностями общества и потребностями образования и пр., и пр.

В системе образования как в капле воды отражаются все противоречия общества, свидетельствуя о той исключительно важной роли, которую играет оно в современном мире, — в борьбе двух систем, экономическом росте, социальном равенстве, развитии демократии, наследовании культуры, формировании личности. И суть дела не в перечислении противоречий, а в подходе к анализу и разрешению их. А марксистский подход предполагает как минимум признание, что без борьбы противоречий нет развития, что противоречия всегда были и будут, что противоречие всегда имеет два полюса, их нельзя разрывать в анализе, ибо они нераздельны в жизни, что признание их свидетельствует лишь о том, что мы имеем дело с динамичной и развивающейся системой.

Так, например, система образования играет исключительно важную роль в развитии разнообразных способностей и задатков, в повышении эффективности использования интеллектуального потенциала страны. Само стремление к образованию, к знаниям является сегодня одним из важнейших элементов национального богатства. Пробуждать, стимулировать его — важная социальная задача, которая привлекает к себе внимание многих исследователей. С другой стороны, образование — один из факторов воспроизводства социальной структуры общества.

Эти две функции образования, как показывают многочисленные исследования, часто противоречат друг другу. Между тем одни буржуазные исследователи так анализируют проблемы использования интеллектуального потенциала общества, словно второй стороны — задач обеспечения социального равенства — не существует. Другие же из них, напротив, целиком замкнулись на роли образования в воспроизводстве социальной структуры.



## ТАЙНЫ СЕЛЕКЦИИ

В рассказе Айзека Азимова «Профессия» в обществе, отделенном от нас тысячелетиями, проблемы образования и воспитания решаются очень своеобразно. В День чтения детям вводят в интеллект такой объем знаний, что они сразу начинают читать. В День образования молодые люди тоже за один присест получают полный курс профессионального обучения и становятся «дипломированными специалистами». На олимпиадах молодые люди состязаются по профессиям, и победители получают направления для работы на самые лучшие, цивилизованные планеты.

Все обучение ведется с помощью лент, на которых записана необходимая информация. Однако ленты разные, одним можно дать знаний больше, другим — меньше. К тому же не все получают их.

Главный герой рассказа Джордж не получает ленту с записями в День образования, которая позволила бы ему стать «дипломированным специалистом». Его направляют в приют для слабоумных. Мучительно переживая свою неудачу, постоянно размышляя о ней, Джордж приходит к выводу, что ленты вредны. Они учат слишком многому и слишком легко. Человек, который получает знания с их помощью, не представляет, что можно учиться по-другому. Он способен заниматься только той профессией, которой его зарядили. А если бы вместо того, чтобы пичкать человека лентами, его заставили с самого начала учиться, так сказать, вручную, он привык бы учиться самостоятельно и продолжал бы учиться дальше. Разве это не разумно?

Чем дальше, тем больше убеждается Джордж в приюте для слабоумных, что Земля не может развиваться, не обеспечивая воспроизводства знаний. «А кто создает образовательные ленты? Специалисты по производству лент? А кто же тогда создает ленты для их обучения? Специалисты более высокой квалификации? А кто создает ленты... Где-то должен быть конец,— размышляет Джордж.— Где-то должны быть мужчины и женщины, способные к самостоятельному мышлению».

И тут Джордж делает ошеломляющее открытие: он догадывается, что приют для слабоумных на самом деле — Институт высшего образования, куда собрана самая творческая молодежь.

По каким же критериям отбирались сюда молодые люди? Как определялись способности к творчеству?

«— Мы умеем анализировать интеллект, Джордж,— поясняет ему психолог Омани,— определить, что вот этот человек может стать приличным архитектором, а тот — хорошим плотником. Но мы не умеем определять, способен ли человек к творческому мышлению. Это слишком тонкая вещь. У нас есть несколько простейших способов, позволяющих распознавать тех, кто, быть может, обладает такого рода талантом. Об этих индивидах сообщают сразу после Дня чтения, как, например, сообщили о тебе. Их приходится примерно один на десять тысяч. В День образования этих людей проверяют снова, и в девяти случаях из десяти оказывается, что произошла ошибка. Тех, кто остается, посылают в такие заведения, как это.

— Но почему нельзя сказать людям, что один из ста тысяч попадет в такое заведение? — спросил Джордж. — Тогда тем, с кем это случается, было бы легче.

— А как же остальные? Те девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять человек, которые никогда не попадут сюда? Нельзя, чтобы все эти люди чувствовали себя неудачниками. Они стремятся получить профессии и получают их. Каждый может прибавить к своему имени слова «дипломированный специалист по тому-то или тому-то». Так или иначе каждый индивид находит свое место в обществе. Это необходимо».

Специальный отбор — определение каждого десятого — осуществляется и в самом Институте высшего образования.

«— Мы помещаем вас сюда, в приют для слабоумных, и тот, кто не желает смириться с этим, и есть человек, которого мы ищем. Быть может, это жестокий

метод, но он себя оправдывает. Нельзя же сказать человеку: «Ты можешь творить. Так давай, твори». Гораздо вернее подождать, пока он сам не скажет: «Я могу творить, и я буду творить, хотите вы этого или нет». Есть около десяти тысяч людей, подобных тебе, Джордж, и от них зависит технический прогресс полутора тысяч миров...

— А как же с теми, которые... не вполне отвечают требованиям?

— В конце концов они проходят зарядку и становятся социологами... Сам я — дипломированный психолог. Мы, так сказать, составляем второй эшелон».

В обществе, описанном Азимовым, как видно, проблема использования интеллектуального потенциала, отбора «одаренных детей» решается весьма технократически.

Подчеркивая, что общество не может развиваться при простом воспроизводстве знаний, что запоминание и элементарная комбинаторика не обеспечивают прогресс, что для развития требуются люди с самостоятельным, оригинальным мышлением, что без свободы самовыражения нет творчества, А. Азимов, не сглаживая острые углы, не избегая проклятых вопросов, затрагивает важные функции образования, с которыми приходится сталкиваться во многих буржуазных странах. Однако он, по существу, не раскрывает тайны селекции, роль образования в воспроизводстве социальной структуры и власти. Такой подход характерен для целой группы специалистов, особенно педагогов на Западе.

Если же перейти к социологической литературе, то там как раз вопросы селекции, неравенства шансов, доступа к образованию находятся в центре внимания.

Американский ученый Г. Пассоу, например, анализируя материалы специальных обследований, проведенных ЮНЕСКО в десятках стран, признает, что, хотя большинство буржуазных правительств отнюдь не отвергают принцип всеобщего доступа к образованию, фактически огромное количество детей не в состоянии преодолеть преграды на пути к образованию.

В результате отсеиваются из школ, доступ к среднему и высшему образованию имеет ярко выраженный социальный, классовый характер.

По данным ЮНЕСКО, в Голландии в 1960 году среди мальчиков, поступавших в среднюю школу, было 67 процентов выходцев из высших слоев общества, 25 процентов представителей «средних классов» и только 7 процентов выходцев из малообеспеченных слоев. У девочек соответственно 63, 19, 4 процента. Аналогичное положение отмечается также в Англии и Уэльсе. Во Франции в 1963 году в среднюю школу перешло 55 процентов детей, окончивших начальное обучение. При этом получили возможность продолжать образование 32 процента детей крестьян, 45 процентов детей рабочих и 94 процента детей высших служащих и представителей свободных профессий.

Особенно отчетливо проявляется классовый характер селекции при поступлении в высшие учебные заведения. Относительные шансы поступлений в вуз для молодых людей — представителей привилегированных и непривилегированных слоев составляли в США в 1958 году 5:1, в Англии в 1961—1962 годах — 8:1, во Франции в 1964—1965 годах — 30:1, в Японии в 1961 году — 30:1, в ФРГ в 1964—1965 годах — 48:1, в Испании в 1960—1963 годах — 87:1, в Португалии в 1962—1964 годах — 129,6:1.

В результате среди студентов высших учебных заведений оказывается представитель рабочего класса: в Люксембурге в 1964 году — 3,2 процента, в ФРГ в 1964 году — 5,3 процента, в Японии в 1961 году — 8,7 процента, в США в 1958 году — 26,6 процента, в Англии в 1960 году — 27,2 процента.

Естественно, что такая система образования выполняет прежде всего задачу воспроизводства капиталистических производственных отношений, правящей буржуазной элиты. И выполняет замаскированно, как бы автономно, что особенно ценно для господствующих классов. Именно на это обращают внимание крупные французские ученые — президент Международного научно-исследовательского комитета по социологии образования профессор Пьер Бурдые и профессор Жан-Клод Пассерон в своих широко известных книгах «Наследники» и «Воспроизвод-

ство». «Именно благодаря своей относительной автономии,— резюмируют они свои исследования,— традиционная система образования способна внести специфический вклад в воспроизведение структуры классовых отношений, поскольку ей достаточно подчиниться своим собственным правилам, чтобы тем самым и как бы сверх того подчиниться внешним требованиям, которые определяют ее функции узаконивания существующего порядка, иначе говоря, чтобы одновременно выполнять свою социальную функцию воспроизводства классовых отношений путем обеспечения наследственной передачи культурного капитала и свою идеологическую функцию сокрытия этой (социальной) функции путем распространения иллюзии своей абсолютной автономии». Скрытые от постороннего наблюдателя механизмы селекции обеспечивают передачу собственности, власти, культуры детям из привилегированных классов. Тем самым система образования обеспечивает сохранение и воспроизводство всей системы буржуазных отношений власти, затрудняя эффективное использование интеллектуального потенциала общества.

### НАСЛЕДУЮТ ЛИ ДЕТИ ПРОФЕССИИ СВОИХ ОТЦОВ?

Выбирая профессию, молодой человек определяет свой будущий социальный статус и образ жизни, которые могут быть традиционными или, напротив, нетрадиционными для его семьи. Переходы из одной социальной группы в другую при выборе профессии — один из самых важных результатов функционирования системы образования. И не только при капитализме. При социализме эти процессы — ключ к пониманию реальных закономерностей движения общества по пути к социальной однородности.

Социологический подход к анализу их нацелен — в отличие от других — на то, чтобы установить, в какой мере и как влияет на сознание, психологию, поведение индивидов и групп социальная среда.

Социальное окружение, с которым от рождения и до смерти постоянно взаимодействует человек, крайне неоднородно и многослойно. Ближайший слой — семья. Далее друзья, знакомые. Затем такие социальные институты, как школа, производственный коллектив и т. п. Наконец, с обществом в целом индивид связан через систему массовых коммуникаций (печать, радио, телевидение и т. п.). Все эти элементы социальной среды взаимодействуют, а нередко и конфликтуют друг с другом, представляя собой факторы, которые оказывают важное влияние на систему ценностей и деятельность человека<sup>5</sup>.

В какой же мере дети сохраняют профессиональные и социальные позиции своих родителей?

В 1962 году, когда мы начинали в Новосибирской области «Проект 17—17», одна из проблем, которая сразу заинтересовала нас, была именно проблема социальной и профессиональной мобильности, обычно понимаемая как переход людей из одного класса, слоя, группы в другой.

Анализ материалов массовых обследований молодежи позволил установить, что социальный статус родителей оказывает определенное влияние на жизненную ориентацию детей, выбор профессии, обуславливает специфические социальные переходы. Эти различия выражаются в своеобразии личных планов юношей и девушек. Так, например, продолжать линию родителей желают 88 процентов сыновей техников и математиков, 56 процентов естественников и лишь 5 процентов гуманитариев. У дочерей же наоборот. Продолжать линию родителей хотят лишь 30 процентов дочерей техников и математиков, 46 процентов дочерей естественников и 50 процентов дочерей гуманитариев. В целом, если юноши ставят на первое место технические профессии, на второе — естественные, на третье — гуманитарные, то девушки, наоборот, лучшими считают гуманитарные, затем естественные и, наконец, технические.

<sup>5</sup> К этому при изучении общественного поведения людей, конечно же, следовало бы добавить, во-первых, действующие «изнутри» биологические факторы и, во-вторых, воздействие на человеческое общество окружающей природы.

Однако когда мы изучаем реальную мобильность, то обнаруживается, что жизнь вносит определенные коррективы. Они прежде всего связаны с тем, какие вакансии может предложить общество в данный момент и в данном регионе. Поскольку технические вузы — самые массовые в Новосибирской области, это не могло не сказаться на определенной деформации личных планов при реальном трудоустройстве. По техническим профессиям пошли работать и учиться 83 процента юношей и 45 процентов девушек. На втором месте идут гуманитарные профессии, по которым стали работать 30 процентов девушек и лишь 7 процентов юношей. На третьем — естественные профессии. По ним начали работать 19 процентов девушек и 8 процентов юношей. Следовательно, если ранг профессиональных склонностей был таков: технические, естественные, гуманитарные, — то при реальном трудоустройстве гуманитарии обошли естественные профессии и оказались на втором месте.

Это «горизонтальная мобильность», как называют подобные перемещения социологи, имея в виду не продвижение к более творческим, престижным или высокооплачиваемым видам труда, а лишь переход к занятиям иного рода, чем те, которые были у их отцов.

Наряду с этим большой интерес представляет и анализ «вертикальной мобильности». Правда, в методологическом плане такие разработки связаны с серьезными трудностями, ибо возникает вопрос, что понимать под продвижением вверх по лестнице социальной иерархии. Естественно, что в условиях социализма в корне меняются критерии этой вертикальной мобильности. Поэтому, учитывая, что большая часть молодежи полагает, что самое привлекательное в профессии — это простор, который она дает для творчества, именно этот критерий был положен нами в основу классификации. В связи с этим все занятия отцов на основе оценок экспертов были разбиты на три группы: первая — наименее творческие, вторая — промежуточная, третья — наиболее творческие профессии.

При анализе материалов была установлена следующая закономерность. Большинство детей — выходцев из первой группы стремится перейти во вторую. Большинство из второй группы — в третью. Большинство из третьей группы хочет в ней же и остаться. Те же тенденции были выявлены и при анализе реальных социальных перемещений в связи с выбором профессии.

Эта эмпирически установленная «ступенчатость» в стремлениях и переходах молодежи имеет, как нам кажется, важное значение для понимания целого ряда социальных процессов в нашем обществе. Чем больше простора для творчества дает та или иная профессия, тем больше преемственность между занятиями родителей и детей. Научно-техническая революция, механизация и автоматизация труда, постепенное вытеснение профессий нетворческих, а стало быть, повышение доли более творческих занятий, происходящие в ходе развития нашего общества, с одной стороны, расширяют свободу выбора, а с другой — сохраняют условия для преемственности занятий отцов и детей.

Вместе с тем эта «ступенчатость» в стремлениях и переходах различных групп молодежи обнаруживается не только при группировке занятий отцов по творческому потенциалу. После окончания школы большинство детей из семей колхозников и сельскохозяйственных рабочих хотят стать промышленными рабочими, большинство детей рабочих — служащими и работниками интеллигентного труда, большинство детей интеллигентов — остаться в этой же группе.

Воздействие семьи и школы на субъективные и объективные факторы социальной мобильности, как это было установлено, различно. Личные планы молодежи в меньшей степени зависят от социального положения семьи, чем реальные жизненные пути, избираемые молодежью. Школа, средства массовой информации как бы приподнимают личные планы над реальными условиями. В то же время они выравнивают, сглаживают в сознании молодежи те различия, которые еще объективно имеют место между детьми из разных социальных групп.

Как видно, общий вопрос — наследуют ли дети профессии своих отцов — при конкретном исследовании как бы расщепляется, ибо оказываются очень сложными и многообразными социальные перемещения в социалистическом обществе. Во

всяком случае, система образования здесь обуславливает интенсивную социальную и профессиональную мобильность при выборе профессии, что не может не сказаться и на воспроизводстве социальной структуры.

### ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ

Определенная дифференциация в социальном составе учащихся в разных типах учебных заведений, в выборе профессии, в мобильности неизбежна, пока существуют различия между городом и деревней, умственным и физическим трудом, в оплате, в образовательном и культурном уровне семей и пр. И систематические исследования этих проблем необходимы. Но это не значит, что мы имеем право игнорировать вторую сторону — повышение эффективности использования интеллектуального потенциала страны. Между тем если в анализе капиталистической системы образования буржуазными специалистами заметна тенденция игнорировать роль школы в воспроизводстве социальной структуры, то у нас некоторые социологи определенно упускают из виду — или, во всяком случае, недооценивают — роль образования в использовании всего разнообразия способностей и талантов подрастающего поколения.

«Нетерпение чувств», желание быстрее решить проблемы социального равенства, обеспечить пропорциональное представительство всех классов во всех учебных заведениях рождает время от времени предложения принимать в вузы не путем конкурсного отбора наиболее способных, а по социальному происхождению.

Действительно, используя процентные нормы или баллы за социальное происхождение, можно в кратчайший срок добиться пропорционального представительства всех социальных групп в составе учащихся. Но почему даже самые ярые эгалитаристы вносят такие предложения не очень уверенно? Откуда эти сомнения? Нет ли и в самом деле здесь подводных камней?

Представим себе, что при конкурсных экзаменах мы стали бы давать представителям некоторых групп дополнительные баллы за социальное происхождение. К чему бы это привело?

Начнем с того, что это весьма неблагоприятно сказалось бы на образовании взрослых, поскольку чем упорнее учился бы рабочий или крестьянин, чем выше образование он получал, тем ниже становились бы шансы его детей.

Практически осуществление такой системы в условиях динамичного, развивающегося общества связано и с другими проблемами. В условиях общественной собственности на средства производства и постепенного перехода к бесклассовому обществу, к социальной однородности, естественно, происходит не усиление социальных различий, а сближение различных классов и социальных групп. Высокая социальная мобильность, свойственная социалистическому обществу, ведет к тому, что масса семей по своему составу являются классово смешанными: рабоче-интеллигентскими, рабоче-крестьянскими, то есть муж — рабочий, а жена — педагог, муж — крестьянин, а жена — рабочая и т. д., что объективно создает трудности при решении вопроса о социальной принадлежности. Мы уже не говорим о том, что теоретически проблемы социальной структуры разработаны недостаточно, а точек зрения о границах классов и социальных групп с каждым годом становится все больше.

СССР в начале 30-х годов полностью отказался от каких-либо ограничений в области образования, ввел единый академический критерий — путь конкурсного отбора наиболее достойных, подготовленных и способных людей, что позволило успешно решить в кратчайший срок проблемы культурного строительства. Это обеспечивало, во-первых, предоставление всем группам молодежи одинаковых возможностей для получения всех видов образования. Во-вторых, стимулировало стремление к знаниям, образованию, науке, культуре, характерное для советской молодежи. В-третьих, способствовало и решению социальных задач.

Что же касается еще имеющихся различий, то опыт нашей страны свидетельствует, что подобно тому, как нельзя обеспечить высокие темпы роста общест-

венного производства при социализме на базе уравниловки, подобно этому нельзя обеспечить эффективное использование интеллектуального потенциала общества в условиях современной научно-технической революции на базе уравниловки в области образования и введения разного рода баллов или процентных норм. Вот почему система отбора для вузов, основанная на льготах за социальное происхождение, вряд ли приемлема для развитого социалистического общества.

В условиях развитого социалистического общества, когда все более усиливается движение к социальной однородности, расширяются и стираются границы между различными социальными слоями, когда выросли новый, социалистический рабочий класс, колхозное крестьянство, народная интеллигенция, имеются необходимые предпосылки обеспечить постоянное решение социальных проблем в области образования, одновременно повышая эффективность использования интеллектуального потенциала страны.

В этом плане постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР об организации подготовительных отделений при высших учебных заведениях безусловно является важным мероприятием, способствующим резкому повышению качества подготовки юношей и девушек, которые по тем или иным причинам (армия, работа на производстве и т. п.) не смогли сразу поступить в вузы. Это постановление намечает путь в правильном направлении, а именно: повышение уровня знаний у молодежи, которая должна прийти в высшие учебные заведения. При этом прием в вузы должен проходить для всех поступающих в единой приемной комиссии, по единым требованиям и критериям. Только в этом случае мы обеспечим отбор действительно самых способных юношей и девушек и не допустим снижения качества подготовки специалистов.

Повышение роли образования в движении нашего общества к социальной однородности отнюдь не сводится к отбору в вузы. Очень важно на данном этапе развития нашей страны осуществление широкого общего образования, что создает представителям всех социальных групп необходимые предпосылки для продолжения образования, трудоустройства и переквалификации. Этим же целям служат разработка и реализация программы непрерывного образования, то есть обеспечение прочной основы знаний и систематической переподготовки через определенный срок. Непрерывное образование в условиях научно-технической революции позволяет решать не только такие вопросы, как разгрузка учебных программ, но и вопросы социальные, поскольку оно создает возможность представителям всех общественных групп возобновлять обучение, непрерывно повышать свой уровень.

Особое внимание должно быть обращено на сельскую молодежь, образовательный и культурный уровень которой часто еще отстает от уровня городской молодежи. Одновременно с качественным улучшением учительского состава, укреплением материальной базы сельских школ и интенсивным использованием технических средств обучения (кино, телевидение и т. д.) целесообразно организовать широкое применение средств социального воздействия для выявления и направленного формирования у сельской молодежи интересов, склонностей и ценностных ориентаций, связанных с выбором профессии. Еще имеющаяся в области образования дифференциация, которая обусловлена различиями в материальных условиях семей, в образовании родителей, в размещении учебных заведений, в уровне преподавания, должна изживаться путем изменения не следствий, а причин — всего комплекса социально-экономических и культурно-бытовых различий.

Успехи нашей системы образования общепризнанны. Без преувеличения можно сказать, что в этом отношении опыт СССР имеет важное международное значение. После Великой Октябрьской социалистической революции наблюдался невиданный в истории порыв к знаниям и продвижение через систему образования к вершинам управления, науки и культуры самых широких народных масс. Из этой демократической системы образования родились наши успехи в космосе, в ядерной физике и в других областях науки и техники. Однако нужно ясно представлять себе, что сложившаяся однажды система образования не может в условиях научно-технической революции обеспечить решение все новых и новых задач

без постоянного совершенствования. Необходимо систематически изучать нашу систему образования, в частности ее роль в экономическом росте, в использовании интеллектуального потенциала страны, в воспитании трудящихся, в воздействии на социальную структуру общества и социальную мобильность, и планировать социальные изменения в этой области на перспективу.

Система образования всегда обусловлена существующими в стране производственными отношениями. Поэтому анализ ее не может быть эффективным без учета специфики социально-экономического и политического строя, при игнорировании реальных противоречий, с которыми постоянно сталкивается и будет сталкиваться она и которые обеспечивают ее непрерывное развитие.

Соединение преимуществ социализма с достижениями научно-технической революции требует реального учета противоречий общественного развития, повышения эффективности использования интеллектуального потенциала общества и ускорения развития по пути к социальной однородности, понимания, что «знания, человеческий гений становятся в наше время важнейшим источником прогресса и могущества каждой страны»<sup>6</sup>.

### РИТМЫ ПОКОЛЕНИЙ

Огромные, подчас скрытые силы постоянно меняют облик нашей страны. Развивается техника, наука, растет образование, возникают новые потребности и формы связей между людьми.

Эти изменения происходят не всегда синхронно. Профессиональные склонности, например, очень подвижны: молодые люди довольно быстро могут изменить свои планы. Система образования менее мобильна, но с годами и она все-таки поворачивается, меняет профиль, начинает подготовку по новым профессиям. Что же касается системы производства, которая, в конечном счете, определяет поступь всего общества, то не следует забывать, что создать новые вакансии, новые рабочие места равнозначно тому, чтобы построить новый завод, на что реально может уйти пять, а то и десять — пятнадцать лет. Не удивительно, что дисбалансы между новыми интересами и потребностями и сложившимися структурами здесь были, есть и будут. К тому же взаимодействие всех этих внешних условий выбора профессии еще более осложняется, потому что на развитие каждой такой структуры серьезное (а иногда и решающее) влияние оказывают демографические процессы, естественное и механическое движение населения, своеобразные ритмы поколений.

### ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ ЭХО ВОЙНЫ

Одно из таких любопытных явлений, с которыми нам пришлось столкнуться несколько лет тому назад при исследовании проблем трудоустройства и выбора профессии в Сибири, мы назвали «демографическое эхо войны».

Суть его довольно проста. В период Великой Отечественной войны в связи с массовым призывом в армию и тяжелейшими испытаниями у нас в стране резко снизилась рождаемость. Напротив, после окончания войны в связи с демобилизацией армии наблюдался на протяжении ряда лет значительный рост рождаемости.

Мы столкнулись с этим процессом, так сказать, опосредованно в связи с тем, что в 1962 году численность семнадцати-восемнадцатилетних достигла своего минимума, а затем стала быстро возрастать.

И вот демографическая волна, подобно цунами, пронеслась по судьбам наших детей и нашим, смешав такую, казалось бы, устоявшуюся, незамутненную картину нашего бытия.

Демографическая волна прежде всего сказалась на начальной школе. Число учащихся первых четырех классов сначала сократилось в 1953—1954 годах

<sup>6</sup> Речь Л. И. Брежнева на Всесоюзном съезде учителей. «Правда», 5 июля 1968 года.

(учащиеся 1943—1946 годов рождения) по сравнению с учащимися 1949—1950 годов (учащиеся 1939—1942 годов рождения) почти в два раза. Число первоклассников, например, в школах Новосибирской области уменьшилось за эти годы с 86 тысяч до 28 тысяч, то есть в три раза. Но именно в тот момент, когда учителя начальных школ, почувствовав разгрузку, вздохнули с облегчением и уже стали поговаривать, что теперь и дальше так пойдет, на них обрушился «девятый вал». Численность учащихся начальных школ в стране вновь увеличилась с 12,1 миллиона человек в 1953—1954 годах до 18 миллионов в 1958—1959 годах, а к 1963—1964 годам почти до 20 миллионов. И хотя полного восстановления сразу не произошло, да и не могло произойти, поскольку мы потеряли в войне 20 миллионов жизней, тем не менее наблюдалось резкое увеличение соответствующих возрастных групп. Численность учащихся восьмых классов составила в 1959—1961 годах 929 тысяч, а в 1963—1964 годах — 5 миллионов 654 тысячи; десятых—одиннадцатых классов соответственно—412 тысяч и 3 миллиона 34 тысячи. Естественно, что хотя в школах и имелся некоторый «запас прочности» (помещения, педагоги и т. п.), тем не менее они «затрещали» под напором молодежи, родившейся в послевоенные годы.

Десять лет спустя демографическое эхо войны коснулось судеб семнадцати-восемнадцатилетних. Их проблемы имеют особое значение, ибо это возраст окончания школы, поисков призвания, принятия весьма важных решений о выборе профессий. Семнадцати-восемнадцатилетние — это молодые люди, начинающие свою трудовую жизнь. Колебание их численности затрагивает уже не только сферу образования, но и сферу производства. От их численности непосредственно зависят трудовые ресурсы страны. Поэтому эти процессы должны особенно тщательно прогнозироваться и планироваться.

Сокращение численности учащихся в связи со спадом рождаемости в годы войны привело к уменьшению отсева, повысило процент окончивших школу. Это должно было уменьшить конкурс в вузах и техникумах, то есть увеличить процент поступивших в вузы и техникумы из числа принятых в первый класс школы.

С другой стороны, резко уменьшился процент выпускников, которые должны были работать сразу после окончания школы. Укрепилась «вузовская» ориентация, основанная на наивной вере в то, что вузы способны поглотить всех окончивших среднюю школу.

И наоборот. Рост численности семнадцати-восемнадцатилетних в связи с демографической волной создавал свои проблемы. Если принять во внимание темпы роста (в Новосибирской области, например, численность выпускников средних школ за пять лет — с 1962 по 1967 год — увеличилась в пять раз), то это означало не только рост трудовых ресурсов, но и серьезные трудности для органов управления, для планирующих организаций и работников просвещения. Рост численности молодежи требовал новых рабочих мест, новых штатов и вакансий, увеличения приема в вузы и техникумы, расширения профтехобразования и многого другого. Темпы роста численности выпускников средних школ в эти годы значительно превышали обычный прирост рабочих мест в народном хозяйстве и обычный рост приема в высшие и средние специальные учебные заведения. Разрыв между численностью молодежи, оканчивающей среднюю школу, и числом «посадочных мест» для нее в эти годы увеличивался.

Демографическое эхо войны сказалось на некоторых оценках и решениях. Оно исказило оценки эффективности производственного обучения в школах. Дело в том, что именно в тот период (конец 50-х—начало 60-х годов), когда у нас особенно интенсивно обсуждались проблемы производственного обучения и был принят ряд решений, началось резкое сокращение численности молодежи, которая оканчивала средние школы. Естественно, что большинство молодых людей, оканчивавших школы в этот период, имели возможность поступать в высшие учебные заведения, техникумы и т. п. Поэтому цифры, которые были получены в этот период о неэффективности производственного обучения, нужно рассматривать с определенными коррективами. Например, в печати приводились наши расчеты по Новосибирской области о том, что лишь 14 процентов детей, получивших специ-



альность в школе, работают по этим специальностям в дальнейшем. При оценке этих данных, конечно, необходимо учитывать конкретную ситуацию — то, что они отражают специфические условия периода спада, когда молодежи в возрасте семнадцати — восемнадцати лет по сравнению с предшествующим и последующим периодом остро не хватало.

В условиях, когда численность выпускников сокращалась, укрепилось мнение о том, что мы располагаем достаточными ресурсами для перехода к одиннадцатилетнему обучению. И такой переход был осуществлен. Но уже через несколько лет мы вновь перешли к десятилетке. А этот переход, осуществленный в 1966 году, в свою очередь, осложнил ситуацию, поскольку он означал одновременный двойной выпуск десятых и одиннадцатых классов в 1966 году. Разумеется, анализируя причины перехода к десятилетке или оценивая эффективность производственного обучения в школах, отнюдь нельзя все сводить лишь к демографическим факторам. Но то, что их нужно обязательно иметь в виду, не подлежит сомнению.

Здесь мы должны сказать о любопытном явлении, которое можно было бы условно назвать демографической компенсацией. Те, кто родился в самые тяжелые годы войны и принадлежит к самому малочисленному поколению, при прочих равных условиях имели наибольшие шансы на получение образования, наиболее высокую степень свободы при выборе профессии, должности, работы и т. п. И наоборот.

Поскольку это явление не было известно большинству взрослых (во всяком случае, оно не было научно осмыслено), то тем более о нем не знали сами юноши и девушки. Но о том, что эти процессы не прошли бесследно в сознании молодежи, испытавшей на себе действие данного явления в связи с увеличением или уменьшением конкурса, трудностями с устройством на работу и т. п., можно судить на основе косвенных данных. В наших ежегодных анкетных обследованиях постоянно фигурировал вопрос, обращенный к выпускникам средних школ: «Есть ли у вас уверенность, что вы сумеете приобрести любимую профессию?» Анализ отношения положительных ответов к общему количеству ответов показывает, что за ряд лет данный показатель заметно понизился, хотя и не столь круто, как выросла численность молодежи. Это не могло не сказаться на изменении ориентации молодежи в связи с ее реальным поведением при выборе профессии.

Следует отметить, что благодаря огромной работе партийных, комсомольских, профсоюзных и хозяйственных органов в центре и на местах и научным результатам, полученным социологами, в этой сложной ситуации были на деле, а не на словах использованы реальные преимущества нашего планового хозяйства.

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР приняли специальное постановление «О мероприятиях по расширению обучения и устройству на работу в народное хозяйство молодежи, оканчивающей общеобразовательные школы в 1966 году». XXIII съезд КПСС, формулируя главные социально-политические цели восьмой пятилетки, указывал на необходимость «обеспечить полное трудоустройство выпускников средних школ».

Эти директивы были подкреплены огромной работой на местах. В республиках и областях были дополнительно изысканы тысячи и тысячи рабочих мест, расширен прием в профтехучилища, техникумы и вузы. Проблемы молодежи находились в центре внимания партийных органов. Все это позволило «самортизировать» демографическую волну, создать благоприятные условия для юношей и девушек, вступающих в самостоятельную трудовую жизнь.

Но не являются ли эти ритмы, эти демографические волны уникальными феноменами? Достаточно пристально взглянуть в неровные очертания полувысоких пирамид, которые широко используются в науке о народонаселении, чтобы понять, что бурная история человечества, запечатленная в них, обуславливалась и будет обуславливать здесь непрерывные перемены. Через поколения до нас докатываются волны не только второй, но и первой мировой войны и других, казалось бы, давно минувших исторических событий, как бы напоминая о связи времен.

### ОХОТА К ПЕРЕМЕНЕ МЕСТ

Демографические волны, приливы — отливы, интерферируясь, сказываются и на механическом движении населения, не в последнюю очередь — на миграции молодежи. И хотя интенсивность, направления, мотивы ее дифференцированы, знаменитый статистический «закон больших чисел» помогает понять, куда стремятся молодые, чем обусловлена охота к перемене мест у разных групп юношей и девушек.

Конечно, лишь иногда в этой области можно поставить достаточно «чистый» эксперимент вроде того, о котором мне как-то рассказывали коллеги. Социологи решили изучить взаимодействие между системой массовых коммуникаций и сельским обществом. Они нашли в горах отрезанное большую часть года от жизни страны село, где не было ни телевизора, ни радио и где в значительной степени сохранился патриархальный уклад жизни. Научные работники обследовали жителей села, изучили их потребности, интересы, ценностные ориентации. Затем они привезли и установили в селе самый современный телевизор. Это окно в мир — непривычный, загадочный, влекущий — стало пользоваться все растущей популярностью среди жителей села, особенно молодежи. Год спустя социологи провели повторное обследование и установили, что структура ценностей жизни, прежде всего у молодых, резко изменилась, появились новые потребности, которых прежде не было. Но главное — это сказалось на реальном поведении молодежи: за год миграция из села возросла в три раза.

При конкретном исследовании территориальной мобильности молодежи Сибири и в личных планах и в реальных перемещениях отчетливо обнаруживается определенная последовательность: больше всего мигрантов из малых городов (вот она, «проблема малых городов»), затем из сел и деревень, средних городов. Меньше всего — из Новосибирска.

Юноши смелее и чаще мигрируют, чем девушки. Из детей служащих после окончания школы меняет место жительства каждый четвертый, из детей рабочих — каждый третий, из детей крестьян — каждый второй. Кривые миграции при этом наиболее близки у служащих и рабочих, заметно отличаясь от показателей крестьян.

По мере того как спад в численности семнадцатилетних, вызванный войной, исчерпывал себя, миграция стала возрастать, и довольно круто: за год процент мигрантов из рабочих и служащих вырос на 10 процентов, а из крестьян — на 15 процентов. Изменились и миграционные планы юношей и девушек.

Они, правда, более выравнены по сравнению с действительной миграцией, если брать сравнительные данные об отъезде из сел, малых, средних и крупных городов, то есть перепады в проценте мигрировавших больше, чем в миграционных планах. Здесь мы опять сталкиваемся с тем, что процесс выравнивания в области сознания (под влиянием школы, средств массовых коммуникаций и т. д.) как бы обгоняет изменение реальных социальных условий.

Идеи более мобильны, чем условия жизни. Городские потребности, интересы проникают в село быстрее, чем изменяются там производство, быт, культура. Город обеспечивает не просто более высокий уровень потребления, как это считают некоторые экономисты, а большие шансы в устройстве личной жизни, дает возможность получить и выбрать профессию, образование, повысить квалификацию, большее разнообразие в удовлетворении потребностей, которые уже обрисовались под влиянием городских ценностей в представлении юношей и девушек.

Надо ясно представлять себе, что, даже идеально выравнивая различия в экономике, образовании и пр., мы лишь несколько притормозим миграцию. Ликвидировать миграцию из села в город так же нельзя, как нельзя приостановить проникновение новых потребностей, новых идей в село. С этой точки зрения миграция всегда останется своеобразным способом разрешения противоречий между новыми потребностями, интенсивно проникающими в деревню, и еще не изжитым

до конца отставанием села от города по условиям труда, быта и культуры. Главным способом управления миграцией является изменение всего комплекса жизни сельского населения.

Приливы и отливы миграции, их своеобразная география, их зависимость от социально-экономических, демографических, национальных, культурных факторов — все это за последние годы становится объектом пристального внимания социологов, проясняет картину движения молодежи по огромной территории нашей страны.

### ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Так на протяжении десяти лет тысячи семнадцатилетних проходили мимо нас, оставляя лишь краткую информацию в анкете выпускника о том, к чему они стремились и чего добились на распутье...

И вот «Проект 17—25». Новые встречи, анкеты, интервью спустя три, пять, восемь, десять лет...

Как же сложилась их жизнь?

В какой мере они осуществили свои юношеские мечты?

Что волнует их сегодня?

Уже вскоре в итоге первых шагов однозначно определяемая прежде совокупность — выпускник средней школы — расщепляется на группы, каждая из которых получает свое имя: студент вуза, студент техникума, учащийся ПТУ, рабочий, колхозник, служащий — в зависимости от того, какую дорогу он избрал, в какой поток попал. И хотя это не жестко детерминированные потоки, поскольку можно «переплывать» из одного в другой, все же значение первого выбора недооценивать нельзя.

Число вакансий, которые может предложить в данный момент общество, всегда ограничено. И поскольку одни занятия кажутся молодым людям предпочтительнее других, то по одним из них число желающих больше, чем число вакансий, а по другим, наоборот, спрос превышает предложение. К тому же сами потоки предъявляют свои встречные требования. Вот почему, говоря о выборе жизненных путей, нельзя представлять его как односторонний процесс — «мы выбираем занятия по душе». На самом деле не только мы сами выбираем себе путь, но и дороги выбирают нас.

Из тех бывших выпускников, кто прислал ответы на наши вопросы, половина попала в вузовский поток, 20 процентов стали студентами техникумов, 2,5 процента — учащимися ПТУ, 16 процентов начали работать и еще 11 процентов совмещают свою работу с учебой в институте или в среднем специальном учебном заведении. Если посмотреть на эти потоки в динамике год за годом, то отчетливо обнаруживается, что их удельный вес неодинаков. Все более увеличивается ширина потока «работа», все более (относительно) сужается поток «вуз».

Принадлежность к тому или иному потоку сказывается на многих оценках, и не в последнюю очередь на том, как молодые люди относятся к образованию.

Те, кто окончил вузы, выше всех ценят образование по преимуществу как средство сделать жизнь интереснее, содержательнее. Полярный же поток — те, кто работает, — видит главным образом смысл образования в том, чтобы принести больше пользы обществу. Правда, среди последних больше всего и скептиков, которые полагают, что образование — это мода.

Похоже при этом, что каждый из потоков начинает вырабатывать свой специфический взгляд, который оправдывает и возвышает его реальную сегодняшнюю социальную позицию.

И как своеобразный намек на разработку такой «защитной идеологии» в связи с увеличением процента молодежи, которая идет после окончания школы на работу, — сокращение среди выпускников 1967 года по сравнению с 1963 годом доли тех, кто полагает, что образование необходимо, поскольку оно делает жизнь

содержательнее и дает возможность приносить больше пользы. Напротив, от выпуска к выпуску растет процент тех, кто согласен с тем, что учеба — это мода и что иметь хорошую работу и специальность ничуть не хуже, чем диплом.

Принадлежность к потоку сказывается и на престиже различных типов учебных заведений. Так, если мы возьмем различные типы средних учебных заведений, то по престижу с точки зрения тех, кто окончил вузы, они располагаются так:

- 1) средняя дневная общеобразовательная школа;
- 2) техникум;
- 3) профтехучилище со средним образованием;
- 4) вечерняя (заочная) средняя школа.

Тот же порядок мы наблюдаем и у молодежи со средним специальным образованием и у тех, кто совмещает работу с учебой.

Однако те, кто работает, на первое место ставят техникум. Они дают также более высокую оценку ПТУ. Видимо, реальный трудовой и житейский опыт ориентирует рабочую молодежь на такие типы учебных заведений, которые наряду со средним образованием дают специальность. Этим же можно объяснить, что вечерняя заочная школа стоит и у этого потока на последнем месте.

Какое же влияние оказывает различный образовательный уровень на отношение к труду?

Мы не были оригинальны в выборе методики обследования по этому вопросу. Мы использовали те вопросы, которые ставили авторы широко известной у нас книги ленинградских социологов «Человек и его работа». При этом, однако, мы обеспечивали свой угол зрения, а именно: сказывается ли принадлежность к разным потокам на отношении к труду; меняется ли она год от года?

Психологический подтекст высказывания «хороша любая работа, если она хорошо оплачивается» наши ленинградские коллеги видели в «преимущественном запросе (установке) на заработок»<sup>7</sup>. «Зарботок — главное, но надо думать и о смысле работы» — интерпретировалось ими как «преобладание установки на заработок перед установкой на содержание труда»<sup>8</sup>. «Нельзя забывать о зарботке, но основное — смысл работы, ее общественная полезность» — «преобладание установки на содержание труда перед установкой на заработок»<sup>9</sup>. Наконец, «хороша та работа, где ты приносишь больше пользы, где ты необходим» — понималось как «преимущественный запрос (установка) на содержание труда»<sup>10</sup>.

С учетом этих замечаний отметим, что по первому пункту, где грубо, в лоб ставился вопрос о том, что главное — деньги, в нашей выборке не оказалось ни одного человека, кто бы был согласен с этим.

С утверждением «зарботок — главное, но надо думать и о смысле работы» меньше всего согласных среди выпускников вузов. Но процент повышается для выпускников техникумов и работающей молодежи. При этом в каждом из потоков мужчины выше оценивают роль зарботка, чем женщины.

Свыше двух третей окончивших вузы согласны с утверждением «нельзя забывать о зарботке, но основное — смысл работы, ее общественная полезность». Выпускников техникума, согласных с этим утверждением, меньше. Еще меньше их среди работающей молодежи.

Категорические высказывания «хороша та работа, где ты приносишь больше пользы, где ты необходим» поддерживают лишь 17 процентов выпускников вуза. Но среди выпускников техникума процент выше. Еще выше он среди тех, кто работает. Опять, как и при оценке образования, мотив общественной полезности звучит громче, следовательно, у тех, кто работает. Особенно сильно подчеркивают общественно необходимую роль труда женщины.

<sup>7</sup> «Человек и его работа». М. «Мысль». 1967, стр. 147.

<sup>8</sup> Там же.

<sup>9</sup> Там же.

<sup>10</sup> Там же.

## В МИРЕ ПРОФЕССИИ

По подсчетам специалистов, в мире сейчас насчитывается 50 тысяч профессий. Каждая из них уже не поток, а ручеек, струя в потоке. Но именно она является пристанищем, конечной целью выбора. Правда, профессиональная карьера связана со сменой занятий. Но с каждым разом затухает диапазон колебаний, человек все дольше и теснее связан с данной профессией. Без этого не успеть, не добиться повышения квалификации, компетентности. Вот почему очень важно представлять себе, как с годами меняется отношение не только к потоку в целом, но и к отдельной профессии.

В основе отношения к миру профессий в семнадцать лет лежит заимствованный опыт — от родителей, знакомых, друзей, сверстников, из книг, кинофильмов, телепередач. Молодые люди, часто даже незаметно для себя, впитывают его, руководствуются им, оценивая различные варианты жизненных путей, примеривая себя к будущей профессии. Опыт этот обычно абстрактен, ибо он не пережит, не выстрадан. Сознательное или подсознательное ощущение того, что это чужой опыт, рождает у молодых людей, естественно, стремящихся к самостоятельности и самоутверждению, определенные комплексы. Они, в свою очередь, выражаются в максимализме, чрезмерной категоричности суждений. Если профессия А хороша, то уж она просто без единой тени, без пятнышка. Если профессия Б плоха, то хуже просто не придумаешь. Такое черно-белое восприятие наглядно проявилось в оценках профессии при реализации «Проекта 17—17», когда обнаружился растущий разрыв в отношении к профессиям физического и умственного труда в результате приближения мнений сельской молодежи к весьма контрастным городским оценкам.

После окончания школы начинается новый этап в жизни молодежи. Юноши и девушки сталкиваются с реальными социальными институтами нашего общества — заводами, колхозами, учреждениями, учебными заведениями. Начинается период интенсивного социального созревания, пересмотра стереотипов, проверка и замена заимствованных представлений собственным опытом.

Связано ли социальное созревание с изменением отношения к различным занятиям? А если да, то как же в этот период с семнадцати до двадцати пяти лет менялся престиж профессий?

Для того чтобы достаточно корректно судить об этом, нужно иметь «стартовую информацию», то есть данные о том, как оценивали различные занятия молодые люди в семнадцать лет и как они оценивают их теперь. Из нашего архива мы достали пожелтевшие уже анкеты выпускников, тех, кто заполнил и прислал нам теперь новую анкету «Начало пути». И вот перед нами выстроились ряды цифр, которые показывают, как с годами меняли они свое отношение к десяткам профессий физического и умственного труда.

Возьмем для примера два ряда: как оценивают в 1974 году профессии те, кто окончил школу восемь лет назад.

Если расположить оценки профессий по анкете выпускника от самых престижных к самым непрестижным, то восемь лет назад кривая, которая очерчивала их, характеризовалась очень высокой оценкой одних занятий и очень низкой оценкой других. Теперь же, спустя восемь лет, эта кривая определенно стремилась выпрямиться, преодолеть крайности. То есть оценки наиболее престижных профессий, связанных в первую очередь с научной работой (в области математики, физики, химии и др.), снизились, а оценки самых непрестижных профессий (официант, повар, продавец) возросли. Разумеется, разрыв между этими полярными группами профессий все еще велик, но он определенно сократился, наглядно иллюстрируя преодоление максимализма юношеских суждений, переход от черно-белого к цветному видению мира.

Этот процесс не без сюрпризов. На первое место вместо ученого-физика выдвинулся научный работник в области медицины. На второе место — и об этом очень приятно сообщить читателям — вышел теперь писатель, восемь лет назад занимавший восьмое место. Повысили свой ранг ученый-историк, журналист, пре-

подаватель, медсестра. Однако все еще низок престиж таких массовых профессий, как сварщик, почтальон, доярка, бухгалтер.

В данной статье нет возможности приводить подробные цифровые выкладки. Важнее, видимо, обратить внимание на то, что не только среди семнадцатилетних, которые сигнализируют о динамике своего престижа растущим конкурсом на гуманитарных факультетах, но и у молодежи от семнадцати до двадцати пяти лет за последние годы растет популярность медицины, гуманитарных наук.

Таковы те коррекции, которые вносят молодые люди в оценку профессии на основе собственного опыта, полуинтуитивно схватывая новые тенденции, которые еще только начинают осмысливать философы и социологи.

Об этих процессах в сознании молодежи очень важно знать. Прежде всего для того, чтобы судить о степени разрыва между мечтой и действительностью, между потребностями общества в кадрах и профессиональными склонностями молодежи. С этих позиций изучение престижа профессий — необходимый элемент эффективного планирования подготовки распределения кадров для народного хозяйства.

Однако здесь есть не только утилитарный, экономический резон. Оценки престижа профессий имеют глубокий социально-психологический смысл.

Завороженный мнением других, человек устремляется на ту ступеньку престижной лестницы, которая не соответствует его подлинным задаткам. И не срывется, а достигает ее, удерживается на поверхности, подавляя чувство собственной несостоятельности. Стараясь отделаться от этого чувства, он цепляется за эту ступеньку, любыми способами карабкается вверх, ибо спуститься ему уже кажется невозможным. «Заблуждение относительно наших способностей к определенной профессии, — писал Маркс, — это ошибка, которая мстит за себя, и если даже она не встречает порицания со стороны внешнего мира, то причиняет нам более страшные муки, чем те, какие в состоянии вызвать внешний мир».

Комплексы неполноценности, внутренняя дискомфортность, когда человек считает себя «несостоявшимся», вынуждают его нарушать свои профессиональные обязанности. Заметим, что хамство (а хамство — это не только неуважение того или иного работника к вам, но и неуважение его к собственной профессиональной роли), брак, пьянство, антиобщественное поведение — явления наиболее частые именно в зоне «престижного вакуума».

Человек должен себя уважать. И если он не может этого добиться через свое занятие, то формой компенсации становится культ вещей, потребление. Общество вынуждено доплачивать сегодня не только за содержание труда, его сложность, тяжесть, но и за непрестижность ряда профессий. Хотя все здесь, разумеется, взаимосвязано и повышение оплаты может сказаться и на повышении престижа, однако компенсация за непрестижность определенным образом сказывается на сознании определенных категорий работников. И было бы заблуждением не видеть то, что в зоне «престижного вакуума» человек уважает себя больше как «передовика потребления», стремящегося повысить самоуважение за счет приобретения.

Вопросы о престиже профессий тесно связаны с проблемой отцов и детей. И выглядит она далеко не просто. Производство меняется быстрее, чем представления о различных профессиональных ролях на производстве, особенно у людей пожилых, обладающих низким образованием. Их здравый смысл, их жизненный опыт уже в следующем поколении может оказаться предрассудком. Отцы как профориентаторы оказываются порой не на высоте положения.

Чем быстрее обесценивается «наследственная» информация, тем меньше роль семьи, тем выше ответственность общества, прессы, кино, телевидения за профориентацию молодежи. Мы еще мало пишем о профессиях, о том, какую роль избрать в жизни, какую судьбу, чтобы было по силам и по душе. Думается, что издание Советской энциклопедии профессий — обстоятельной, лишенной рекламности книги — оказало бы огромную помощь родителям, работникам прессы, педагогам, самой молодежи.

Чем быстрее развивается общество, тем быстрее меняется субъективное от-

ношение миллионов к различным профессиям, различным вариантам жизненных путей. Знать популярность различных профессий у тех, кто вступает в жизнь, видеть тенденции и закономерности, которым подчинен престиж профессий, — необходимая предпосылка эффективного социального планирования и управления.

### ЛИЧНЫЕ ПЛАНЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

Пока еще не опубликованы данные о трудоустройстве выпускников в прошлом году. Но, по подсчетам Госплана СССР, в 1975 году среднюю школу должны были окончить свыше 2,6 миллиона человек, из них 400 тысяч поступить в вузы, 550 тысяч — в техникумы и ПТУ, остальные, то есть миллион 650 тысяч, пойти на работу в народное хозяйство, занять рабочие места, этому хозяйству необходимые.

Такова ситуация. Таков реальный фон, на котором разрешаются противоречия между резким увеличением численности молодежи, окончившей десятилетку в результате перехода ко всеобщему среднему образованию, и реальными потребностями общества в кадрах различной квалификации.

В какой же мере сама молодежь, оканчивающая средние школы, подготовлена к восприятию этой реальности? Упорствует ли она по-прежнему в своей вузовской ориентации или все-таки адаптируется к действительности? В какой степени удовлетворены сегодняшним положением бывшие выпускники?

Вопросы эти сложны сами по себе, не говоря уже о том, что разные возрастные группы в различных районах страны могут дать на них различные ответы.

Что касается исследований семнадцатилетних, то за последние годы они выросли географически. Они проводились в Ленинградской области и среди малых народов Сибири и Дальнего Востока, в Эстонии, Латвии, Узбекистане, Армении, Таджикистане и ряде других районов страны. И результаты изучения ориентации на образование за все эти годы поразительно устойчивы: 80 процентов выпускников средней школы намерены продолжать учебу. Вместе с тем обнаруживаются и новые явления. Проанализировав 36 исследований по данной тематике, Т. Кончанин показал изменения в самой структуре ориентации на образование. Если в 1963—1965 годы соотношение между выпускниками школ, планирующих дальнейшую учебу в вузе, техникуме и ПТУ, было 4 : 1 : 0, то в 1968—1973 годах оно стало 1,8 : 1,0 : 0,2. То есть на смену почти поголовной вузовской ориентации у десятиклассников появляется стремление получить среднеспециальное и профессионально-техническое образование. Это становится характерным для большинства районов страны, где проводились обследования, и свидетельствует о сокращении разрыва между потребностями общества и профессиональными склонностями молодежи.

Что же касается молодежи в возрасте семнадцати — двадцати пяти лет, то нельзя не учитывать дополнительно еще и демографической ситуации, при которой они оканчивали школы.

Мы уже писали о демографических волнах, которые сказываются на судьбах молодых, в частности о демографическом эхе войны. С этих позиций 1963 год был довольно благополучным, поскольку подавляющее большинство выпускников средних школ могли поступить в вузы. Однако в дальнейшем конкурс стал быстро расти, а процент молодежи, поступающей в вуз после средней школы, падать. Расширение охвата средним образованием в эти годы форсировало эти тенденции. Так, в нашей выборке в 1963 году лишь 30 процентов поступало, но не поступило в вуз, а пять лет спустя уже вдвое больше.

Среди тех, кто окончил школу пять лет спустя, было уже значительно меньше удовлетворенных своим положением по сравнению с выпускниками 1963 года. Это касается всех категорий, кроме мужчин, которые работают, хотя они поступали, но не поступили в вуз.

Самое парадоксальное, однако, то, что удовлетворенность своим сегодняшним положением у тех, кто делал попытку поступить в вуз, но сорвался и стал рабо-

тать, не ниже, а выше, чем у так называемых благополучников, поступивших или окончивших вузы. Чем это вызвано? Пока изученный нами материал дает основание не для ответа, а лишь для постановки новых гипотез. Возможно, хорошее выполнение простой работы дает удовлетворение не меньшее, чем плохое исполнение сложного труда? А может быть, вуз наш больше разжигает жажду, чем утоляет ее?

Во всяком случае, все эти данные показывают любопытные изменения в сознании молодежи. На резкое увеличение числа выпускников в связи с переходом ко всеобщему среднему образованию и уменьшением в связи с этим процента выпускников, которые сразу после школы идут в вуз, молодежь отвечает адаптивными процессами. С одной стороны, семнадцатилетние, не снижая своей ориентации на продолжение образования, вовлекли в поле своего зрения техникум и профессионально-технические училища и сразу после окончания школы намерены продолжать свое образование там. С другой стороны, опыт прошлых выпускников, опыт молодежи от семнадцати до двадцати пяти лет показывает, что спустя восемь лет не поступившие в вуз в плане занимаемой ими социальной позиции чувствуют себя не хуже тех, кто поступил в вуз.

### БАЛАНСЫ И «МЕЗАЛЬЯНСЫ»

Этот вопрос не так прост, как кажется. Удовлетворенность — это дробь, числитель которой — то, что ты имеешь, а знаменатель — то, что ты хотел иметь. Здесь многое зависит от знаменателя. «Часто унывают вовсе не худшие, — справедливо отмечал А. В. Луначарский, — а те, которые являются наиболее требовательными к жизни... Надо идти на помощь таким людям»<sup>11</sup>.

Однако это лишь одна сторона дела. Сопоставляя спустя, скажем, восемь лет после окончания школы удовлетворенность своим статусом окончивших вуз и не поступивших в него, не будем забывать, что это не вполне корректные сравнения. Даже если отвлечься от того, что косвенным эффектом обучения в вузе является рост требовательности к жизни, данное сравнение не вполне корректно, ибо первые, только что окончив вуз, реально являются молодыми специалистами, в то время как вторые, проработав восемь лет, — зрелыми квалифицированными рабочими, которые вписались в рабочий коллектив, адаптировались, устроились с жильем, неплохо зарабатывают. Может быть, правильнее было бы сравнивать эти показатели у тех и других, скажем, через восемь лет после окончания учебы, хотя, впрочем, здесь возникают другие проблемы: они оказываются разного возраста.

Наконец, удовлетворенность достигнутым во многом зависит от того, в какой мере твоя реальная работа соответствует твоей специальности, квалификации, ожиданиям. А это, в свою очередь, от того, насколько точно они были определены плановиками, экономистами еще в то время, когда ты только выбирал профессию и приступал к учебе.

Сколько специалистов нужно нашему обществу?

Количественная и качественная сторона подготовки специалистов с разным уровнем образования заслуживает пристального внимания. Каждый этап в развитии общества требует своего специфического распределения людей по уровню образования. Если бы по оси ординат мы стали откладывать величину потребности, а по оси абсцисс уровень образования, начиная от низшего и до высшего, то мы получили бы кривую, подобную волне. Эта волна, соответствующая мерной поступи развития общества, производства, с годами постоянно движется слева направо, свидетельствуя, что объективно стране требуется все больше и больше высокообразованных людей. Эти объективные потребности могут находить в наших планах более или менее точное отражение — в зависимости от того, в какой мере мы познали эти очень сложные процессы.

<sup>11</sup> А. В. Луначарский. О быте. М.—Л. Госиздат. 1927, стр. 64—65.



К тому же, решая вопрос о том, кого готовить и сколько, всегда нужно идти с упреждением. Мы не имеем права легкомысленно относиться к будущему, к тому, как говорят, что будет, когда нас не будет. Речь должна, конечно же, идти не о сегодняшних, а о завтрашних потребностях общества, то есть о том отрезке времени, когда эти специалисты будут вносить свой решающий вклад в развитие общества, науки, культуры. Поэтому когда мы говорим об избытке или недостатке специалистов, следует иметь в виду не сегодняшние, а будущие потребности.

Есть образование общее, играющее важную гуманитарную роль, обеспечивающее преемственность культуры и «связь времен», расширяющее кругозор, развивающее личность. В этом случае затраты на образование равнозначны капиталовложениям в человека, их эффективность трудно измерить, но они обычно оправдываются сторицей. Например, затраты на гуманитарное образование женщин, которые, окончив вуз, вынуждены по семейным обстоятельствам не работать, при более пристальном рассмотрении окажутся весьма полезными, ибо благодаря им создается прежде всего в семье тот культурный микроклимат, который так важен для воспитания детей, для будущего нашего общества.

Есть образование техническое. «В отличие от знаний общих, обязательных, которые дает школа, и от знаний желательных, расширяющих кругозор, технический вуз дает знания специальные, имеющие точное предназначение, — справедливо писали в «Литературной газете» Э. Агаев и Р. Бахтамов. — Сопромат, к примеру, нужен для конкретной цели — расчета прочности конструкций. И уж совсем нельзя представить себе человека, который «для расширения кругозора» стал бы изучать промысловую электротехнику или канализацию».

Это образование может быть уже и шире. За последние годы некоторые технические вузы в связи с потребностями НТР дают более широкую, фундаментальную подготовку на первых трех курсах. Это облегчает профессиональную мобильность как при трудоустройстве, так и при переквалификации. Но и в этом случае профиль и уровень подготовки определяется не безграничными возможностями развития и совершенствования личности, а конкретными потребностями производства.

Наконец, нельзя драматизировать ситуацию и забывать о неформальных видах образования и воспитания. Нас учат семья, друзья, трудовой коллектив, книги, газеты, кино, телевидение, и подчас серьезнее, чем школы и институты, которые снабжают нас аттестатами и дипломами. Можно годы потратить на запоминание формул, приемов, постулатов и тем не менее оказаться, как говорят, «маловысококвалифицированным специалистом». Можно не сидеть после средней школы годы за партой, а работать и тем не менее с умом использовать свой досуг, стать человеком с широким кругозором.

Как видно, нельзя ставить знак равенства между потребностями объективными и осознанными, сегодняшними и завтрашними, развитием личности и овладением специальностью. Да, они тесно связаны между собой, но это все-таки разные вещи.

И если исходить из этих многообразных и противоречивых требований к системе образования, из перспективных потребностей нашего общества, то, видимо, все-таки нет оснований считать, что в нашей стране «образование перегоняет время», что мы должны сокращать темпы развития вузов и техникумов.

Иное дело — вопрос о профиле обучения и профиле будущей работы.

Несколько лет назад один из молодых научных сотрудников в Академгородке начинал очень важную тему. Она была связана с изучением бывших выпускников строительных институтов. Предполагалось ретроспективно, на основе представительного опроса среди тех, кто окончил вуз пять, десять, пятнадцать лет назад, оценить учебные планы строительных институтов. Одна из гипотез, которая предполагала эту эмпирическую проверку, была связана с тем, чтобы выяснить, нет ли перекоса в подготовке инженеров-строителей. Их в основном готовят как конструкторов, а нужны строители-менеджеры. Однако именно в области управления, работы с людьми они не получают необходимой подготовки. То есть пред-

полагалось конкретно выяснить, какие учебные дисциплины курса — с точки зрения практиков с различным стажем — и в какой степени им действительно были нужны на разных ступеньках их профессиональной карьеры, какие менее, а какие совсем не нужны. Результаты предполагалось использовать для совершенствования учебных планов и профили подготовки. К сожалению, болезнь и семейные обстоятельства аспиранта помешали довести это исследование до конца.

Между тем нужда в подобных работах, как представляется, весьма велика. Вуз, университет — эти крупные образовательные организации действительно обладают сильной инерцией. Это связано с объективным конфликтом интересов между сложившимся профилем подготовки, структурой кафедр, количеством специалистов в вузе и новыми потребностями производства, общества. Сокращение того или иного учебного предмета означает уменьшение нагрузки, сокращение нагрузки — переквалификацию или даже сокращение преподавателей. А это уже человеческие нервы, слезы и судьбы. Поэтому кафедры всеми силами отстаивают перед ректоратом, а ректорат перед министерством необходимость своей дисциплины, ссылаясь на авторитеты, НТР и т. п.

Да и правы они в чем-то: предложения о сокращении их курсов часто столь же голословны, как предложения об увеличении. Иное дело, если бы предложения эти базировались не на вкусах и мнениях того или иного руководителя, а основывались на мнении ее величества практики, выявленном вполне беспристрастно, научными методами. Тогда можно было бы своевременно перестраивать профиль подготовки, переквалифицировать определенную часть преподавателей на новые дисциплины, привлекать новых профессоров.

Вот почему эту работу было бы полезно поставить, как говорят, на научные рельсы, и пусть она с этих рельсов не сходит, ибо едва мы отказываемся от научной проверки подобных процессов, как вновь попадаем в объятия волюнтаризма.

Инерция профиля подготовки почти всегда следствие инерции мышления. Лишь преодолев ее, можно добиться, чтобы не только уровень, но и профиль подготовки был действительно оптимальным. И может быть, главный результат работы наших эконометриков за последние годы и состоит в том, что все большее число специалистов начинают мыслить и решать конкретные задачи в самых различных областях с позиций оптимального планирования. Планирование системы образования не должно быть в этом смысле исключением.

### ИЗБЫТОК ИЛИ НЕДОСТАТОК?

В связи с этим все чаще за последние годы возникает конкретный вопрос: нет ли у нас избытка инженеров?

Споры на эту тему то затихают, то разгораются с новой силой.

— Да, пусть у нас избыток инженеров по сравнению с реальными потребностями общества, — говорят одни. — Это прекрасно: завтра эти инженеры потянут общество, производство за собой — вперед и выше и сыграют безусловно прогрессивную роль.

— Совсем наоборот, — возражают другие. — Такой дисбаланс ведет лишь к тому, что эти неудовлетворенные избыточные специалисты будут лишь разлагать систему производства. Да и систему образования: при инфляции образования новые поколения будут лишь хуже учиться.

Можно спорить на эти темы до умопомрачения.

Возникает вопрос: если в этой области имеется относительно малое число вакансий, действительно требующих высшего образования, то полезен ли здесь «перебор»? Не оттягиваем ли мы в этом случае без нужды вступление молодого человека в самостоятельную жизнь? Не стимулируем ли мы тем самым социальный инфантилизм, о котором столько пишут и говорят теперь, в частности в связи с акселерацией?

В свете этого вряд ли можно считать беспокойство об избытке инженеров в ряде отраслей беспричинным. Можно, конечно, приводить примеры, свидетельствующие и о недостатке специалистов по некоторым профессиям. Но отдельные примеры не отменяют общей тенденции.

Чем же порождается этот избыток? Не в последнюю очередь ошибочным, идеализированным образом действительности, или, как говорят, отрывом от жизни, забеганием вперед. Кнопочно-автоматизированный, во всем сбалансированный рай, заселенный учеными и роботами, — таким рисуется некоторым публицистам наше ближайшее будущее. Такие статьи приятно читать на ночь глядя: сон после них спокойный и безмятежный. Беда лишь в том, что ты остаешься в плену этих розовых идей и исходя из них — как бы со сна — начинаешь оценивать действительность и принимать соответствующие решения: то отстаивать идею о незамедлительном переходе ко всеобщему высшему образованию, то восхищаться тем, что среди простых рабочих оказывается все больше кандидатов наук. «Проблема ясна как апельсин, все идет как надо, всюду ростки будущего» — такое эйфорическое восприятие действительности лишь поощряет волюнтаризм.

Преувеличению числа специалистов, реально нужных народному хозяйству, способствует система безответственных заявок, поступающих от предприятий и учреждений на специалистов. За них не надо платить. «Укажем побольше, не надо бояться — откажемся» — так рассуждают, к сожалению, многие. В результате эти заявки суммируются и реальная потребность существенно завышается. Вот если бы за подготовку специалистов нужно было бы платить, то тогда, наверное, стали бы более реалистически взвешивать и рассматривать свои потребности в квалифицированных кадрах. А так — бумага все стерпит.

Наконец, образование играет у нас и социальную роль в том смысле, что оно дает определенный статус и престиж. Исследования показывают, что оно играет важную роль не только при выборе профессии, занятии должности, но и при выборе супруга. Очень многие стремятся, получив диплом, определенным образом социально самоутвердиться. Такая тяга к образованию в ряде случаев может вести к тому, что число специалистов оказывается больше, чем реальная потребность в них.

В результате действия всех этих факторов мы замечаем дисбалансы то здесь, то там. Но при этом утешаем себя тем, что в целом, может быть, процесс идет в нужную сторону и так, как надо. В нужную сторону? Да, безусловно. Так, как надо? Вряд ли. Главное здесь не в общем направлении или принципе, а в мере. Здесь та же проблема, с которой мы сталкиваемся на протяжении последних лет при управлении миграцией населения из села в город. По идее миграция из села в город вполне закономерный процесс. Удельный вес сельского населения должен понижаться. Однако когда мы сталкиваемся с завышенной мерой этого процесса, когда мы видим брошенные деревни, тогда нам становится ясно, что процесс идет с переклестом, что мера нарушена, что это мешает гармоническому развитию всего общества, и мы начинаем думать, как этот процесс привести в соответствие с реальным ходом развития нашего общества.

Здесь та же проблема, что и при определении размера промышленных или сельскохозяйственных предприятий. Крупное производство имеет определенные преимущества перед мелкими. Но почему же мы не создали, например, на всю страну один колхоз? Да потому, что по мере укрупнения усиливаются противодействующие факторы, нарастают трудности, прежде всего в управлении, которые за точкой перегиба начинают «съедать» эти преимущества. Поэтому на каждом этапе в зависимости от конкретных условий объективно необходимы определенные размеры предприятия.

Так и здесь. Нельзя по старинке прямолинейно рассматривать такие процессы: чем больше, тем лучше. Отставание задерживает наш рост. Но и забегание вперед тоже мешает нашему развитию, ибо ведет к инфляции образования, от которой проигрывает и общество и личность. На каждом этапе необходимо свое оптимальное распределение людей как по уровню, так и по профилю образования.

## ЭТО ТЯЖКОЕ БРЕМЯ ВЫБОРА

Первый шаг, первый выбор всегда самый сложный. Это трудный выбор, ибо огромен и переменчив современный мир: потребности общества в кадрах, социальная структура, система образования, численность и размещение населения. Еще более зыбок, многослоен и противоречив внутренний мир — тот, где зарождается выбор. Познать себя, угадать свою силу — непростая вещь.

«Умение достойно проявить себя в своем природном существе, — писал Монтень, — есть признак совершенства и качество почти божественное. Мы стремимся быть чем-то иным, не желая вникнуть в свое существо, и выходим за свои естественные границы, не зная, к чему мы по-настоящему способны. Незачем нам вставать на ходули, ибо и на ходулях надо передвигаться с помощью своих ног».

Человек экономический, социальный, духовный в одном лице делает выбор. А специалисты фиксируют его решения и шаги, пытаются понять, объяснить, помочь.

Первый этап, первый подход к проблеме выбора — экономический. Он связан с анализом человека — да простит мне читатель этот термин — как производителя материальных или духовных благ. Есть в этой политэкономической дефиниции какая-то недопустимая частичность, что-то роботизирующее человека. При таком взгляде проблемы выбора профессии, поисков призвания также роботизируются. Они сводятся к тому, чтобы, с одной стороны, все потребности народного хозяйства были «покрыты», все вакансии заполнены, а с другой — молодые люди были трудоустроены, получили бы средства к жизни.

Большой шаг вперед делают те, кто поднимает в своем анализе человека экономического до уровня личности, рассматривает его как существо социальное. Вместе с тем они расширяют круг наших забот, связанных с выбором профессии: не просто сбалансировать число вакансий и число претендентов, но сделать это так, чтобы, с одной стороны, наиболее полно использовать интеллектуальный потенциал общества, а с другой — дать каждому занятие по душе.

Не будем отрекаться от предков: такой подход зародился не сегодня. «Так бывало, есть и ныне, что большая часть юношей заставляется занимать места в обществе, совсем несообразные ни с их склонностями, ни с их способностями. Научение в публичных и частных училищах есть для всех одно и то же. Мерсье пишет: «Надлежало бы завести особый род наставников, которые бы по своему званию и опытности умели узнавать в детях склонности и способности, по коим бы назначили им учение». Так распорядив детей к учению, скоро бы могли иметь в каждой части наук, художеств, даже ремесел людей отличных; и сей, родившись быть зодчим или ваятелем, не потел бы понапрасну над соборным уложением, а природный вития и пнит не ломал бы голову алгеброй».

Это написано двести лет назад, в 1776 году, опальным поручиком Григорием Винским, который, как видно, не только размышлял о том, как разумнее использовать дарования в России, но и изучал опыт своих французских коллег.

Сегодня представители этого вечно нового подхода стремятся, идя в ногу с веком, квантифицировать, измерить все параметры личности, чтобы строго соотносить их с потребностями общества, оценить имеющиеся диспропорции, предвидеть их. Поэтому такой подход, характерный для большего числа социологов и социальных психологов, можно было бы назвать социально-рационалистическим.

С этих позиций можно многое сделать для развития личности, вообще для помощи тем, кто на распутье.

Одно из исследований, которое проводилось в Сибири, шло у нас под «кодовым» названием «Цена пророков». Его методика сводилась к следующему. Весной, перед окончанием школы, мы спрашивали выпускников десятых классов, каким они видят свое ближайшее будущее, то есть какую профессию они выберут, где будут работать или учиться и т. д. Те же самые вопросы мы задавали их сокурсникам (каждый давал свой прогноз о каждом), учителям, родителям. Затем мы складывали информацию в шкаф и ждали полгода. Осенью собирали данные

о том, как в действительности сложилась судьба каждого из выпускников, и подсчитывали, сколько очков «выбила» каждая группа «пророков» из ста возможных: сами выпускники, их соклассники, их учителя, их родители.

Кто же оказался из них наиболее дальновидным, мудрым, реалистически оценивающим шансы советчиком?

Первое место заняли соклассники. Учителя оказались неважными пророками, впрочем, как и родители. Но это не вина — беда нашей школы, которая лишь за последние годы всерьез начинает осознавать важность профессиональной ориентации и консультации, подготовки молодежи к сознательному и свободному выбору профессии.

Кстати, и о французском опыте, на который ссылался Г. Винский в екатеринские времена. Мне пришлось знакомиться с организацией работ в Центральном французском институте профессиональной ориентации. Если отбросить аспекты, обусловленные капиталистическими отношениями, то некоторые их подходы представляются полезными. В школе, по мнению специалистов этого института, должен быть консультант по проблемам профессиональной ориентации. Это человек с высшим образованием, хорошо знающий проблемы экономики труда, возрастную психологию, методы выявления способностей. Он ведет наблюдения за развитием учащихся. Собирает данные об их успеваемости, смене увлечений, занятиях в кружках, данные тестирования и т. п. Перед окончанием среднего учебного заведения он приглашает для беседы к себе выпускника и его родителей и говорит примерно следующее: «За десять лет учебы у нас сложилось мнение, что ваш сын имеет наибольшие способности к математике. Если ваши семейные обстоятельства позволяют вам сейчас отправить его учиться в университет, то имейте в виду, что условия приема на данный факультет такие-то, такой-то конкурс, плата за обучение и пр., и пр. Если же вы сейчас не имеете этой возможности, то в качестве запасной профессии мы могли бы вам рекомендовать для сына специальность программиста. Обучение проводится в таком-то городе, срок — столько-то месяцев, условия учебы такие-то. Имейте в виду, что наши рекомендации носят сугубо личный характер, они нигде не фиксируются. Поэтому вы полностью вправе решать сами, считаться с ними или нет».

Разумеется, такая система отнюдь не панацея. Но она, конечно же, носит куда более деловой характер, чем различные церемонии последнего звонка. Введение системы профессиональной ориентации и консультации, конечно же, поможет сократить ненужные личные и общественные потери при первых самостоятельных шагах молодежи.

Однако реализовать требования XXIV съезда КПСС — усилить профессиональную ориентацию с учетом потребности народного хозяйства в кадрах и склонностей молодежи — нельзя без специалистов. Вряд ли было бы целесообразно с нового учебного года вводить в школах должность профконсультанта. Это привело бы лишь к профанации полезной идеи. Другое дело — начать подготовку специалистов по профориентации и профконсультации в ряде вузов страны, с тем чтобы через четыре-пять лет они пришли в школу. Это вещь более реальная, и чем скорее она будет воплощена в жизнь, тем лучше.

Немаловажное значение имеет и правильная расстановка акцентов. В ряде работ по профессиональной ориентации, в передачах по радио и телевидению упор делается на выгоде, на том, что будет иметь молодой человек, избрав данную профессию. При этом часто выхолащивается само содержание профессии, то есть речь идет об абстрактной профессиональной роли, а не о реальности, которую можно понять лишь вместе с тем индивидуальным, специфическим, что вносится в нее конкретной личностью. Обездушиваются и исчезают важнейшие нравственные, мировоззренческие характеристики, которые способны эмоционально окрасить, поднять сравнительно простой труд до уровня служения, творчества. Мы не говорим уже о том, что крен на имет ь, а не бы ь при решении вопроса о призвании и выборе профессии способствует укреплению потребительских ориентаций среди молодежи.

В этом деле, может быть, больше, чем в других, требуется чувство меры. Мы, разумеется, за то, чтобы молодые люди хорошо знали из достоверных источников о различных профессиях, чтобы была создана, и возможно скорее, Советская энциклопедия профессий, где давалась бы вполне научная, объективная характеристика различным занятиям — и об условиях труда, и об оплате, и о противопоказаниях и пр., и пр. Все это полезно, все это поможет минимизировать ошибки.

Только не будем забывать — это лишь полдела. Главное, чтобы опоры выбора были на соответствующей глубине. Тогда все остальное приложится: и «закрепление» кадров, и сокращение текучести и миграции, и «приживаемость». Здесь тот же оттенок, как в известной перефразировке: чтобы жить, надо есть, но нельзя жить, чтобы есть.

Чем дальше мы уходим от человека экономического, тем больше нам придется цитировать уже не научных работников, а писателей. Этот глубокий, почти невесомый оттенок, конечно же, не мог ускользнуть от внимания русских литераторов, и прежде всего Ф. М. Достоевского. Помните, как Аркадий допытывает Версилова в «Подростке»:

«— Слушайте, ничего нет выше, как быть полезным. Скажите, чем в данный миг я всего больше могу быть полезен? Я знаю, что вам не разрешить этого, но я только вашего мнения и ищущу: вы скажите, и как вы скажете, так я и пойду, клянусь вам! Ну, в чем же великая мысль?

— Ну, обратить камни в хлебы — вот великая мысль.

— Самая великая? Нет, взаправду, вы указали целый путь, скажите же: самая великая?

— Очень великая, друг мой, очень великая, но не самая; великая, но второстепенная, а только в данный момент великая: наестся человек и не вспомнит; напротив, тотчас скажет: «Ну вот, я наелся, а теперь что делать?» Вопрос остается вековечно открытым»<sup>12</sup>.

Благо всего человечества — великая цель, если понимать ее не так: «наестся и не вспомнит», но как свободное и всестороннее развитие личности. Свободного и всестороннего развития личности не может быть без свободы выбора профессии, когда экономически или политически жизненные пути молодых детерминированы. Рост образования расширяет свободу выбора. «Осуществление всеобщего среднего образования, — отмечал в своем докладе о Директивах XXIV съезда КПСС товарищ А. Н. Косыгин, — предоставит каждому широкие возможности избирать профессию по призванию, наилучшим образом применять свои способности на благо всего общества».

Развитие общества, рост образования расширяют диапазон вариантов жизненных путей, доступных каждому, и вместе с тем усложняют проблему выбора. Те, кто выбирает профессию сегодня, больше нуждаются в помощи, чем те, кто вступил в жизнь тридцать лет назад.

Мы подчеркиваем — свободное и всестороннее развитие личности, ибо не всегда эти две стороны рассматриваются действительно органически. Выдергивая же то одну, то другую сторону, мы неизбежно примитивизируем, упрощаем проблему. А без этих сложностей, при бесчисленных ограничениях и абстракциях теряется то, что поэт называл «лица необщим выраженьем», что мы называем личностью. При таком органическом подходе столько тончайших социально-психологических проблем всплывает перед исследователем! Здесь такие нюансы, такие глубины, которые не постигнешь с помощью каменных орудий современной психологии и которые многие исследователи просто не чувствуют. Тут требуются тончайшие психологические эксперименты в предельной ситуации.

Три уровня, три этапа — экономический, социальный, духовный — охватывает проблема выбора. И, конечно, можно застопориться на любом из них. Тогда анализ неизбежно будет ущербным. С другой стороны — нельзя объять необъятное. В науке каждый из уровней предполагает свой подход, свой угол зрения,

<sup>12</sup> Ф. М. Достоевский. Полное собрание сочинений, т. 13, стр. 173.

свои методы познания. И дело здесь не в престижном противопоставлении, когда экономиста за узость критикует социолог, а социолога — писатель. Каждый из нас занимает свое место в общественном разделении труда, и нет в нем позиций абсолютно выгодных или абсолютно проигрышных. «Вот мои расчеты баланса трудовых ресурсов на перспективу!» — говорит экономист, передавая эстафету социологу. «Вот результаты наших исследований престижа профессий и их соответствия потребностям общества в кадрах», — в свою очередь, говорит социолог, знакомя писателя с результатами своих работ. «Вот нравственные и духовные проблемы, которые из этих обстоятельств вырастают», — свидетельствует писатель в своей новой повести или романе. И уже пошла эстафета в обратный путь: литератор заставил социолога увидеть иные горизонты, а новые исследования социологов понудили экономистов по-другому подойти к размещению капитальных вложений, полнее учесть изменившиеся потребности молодежи.

Почему же эта картина выглядит как утопия, почему так часто прерывается эта эстафета? Для каждого перехода — от экономического к социальному, а от него к духовному — требуются не только новые условия, но и новые подходы, новые критерии. Их не так просто обрести, прочувствовать, усвоить разным людям, представителям разных областей знания. «Сыт, крыша над головой есть. Чего ему еще надо?» — говорят одни. «Профессию хорошую получил, да и заработок приличный. Чего он мучается?» — спрашивают другие. И не понимают друг друга они совсем-совсем, ибо у них сплошь и рядом не только разные ценности жизни, но и разные нравственные ориентации.

Социологический подход к проблеме выбора профессии нацелен на изучение влияния того, что Маркс называл «внешними условиями». Потребности общества в кадрах, социальная структура, демографическая ситуация, системы образования и аспираций — все это во многом определяет поведение молодежи на распутье. Во многом, но не во всем. Есть еще субъективные, психологические особенности индивида, которые накладывают свой неповторимый отпечаток и во многом осложняют проблему выбора. Предыстория внутреннего развития каждого, особенности характера и физического склада, мотивы активности — все это предмет специального анализа.

Мы не касаемся этого лишь потому, что не имеем права выходить за рамки собственной профессиональной роли и гарцевать на чужом поле. Нам хотя бы примерно очертить особенности той сильнопересеченной местности, где придется совершать первые шаги миллионам молодых. Поэтому и помощь должна состоять в учете этих особенностей и воздействии на них в интересах молодежи.

И здесь, как говорят, нужно уже не сетовать, а ратовать: за тщательное планирование структуры вакансий, которые предстоит занимать молодым, за постепенное приспособление ее на базе механизации и автоматизации к склонностям и интересам юношей и девушек, за совершенствование системы образования, которая не на словах, а на деле должна готовить к сознательному и свободному выбору профессии, за учет демографических особенностей подрастающего поколения, за создание научной системы профессиональной ориентации и консультации, за социологическое просвещение молодежи, которая должна реально представлять себе мир, в который она вступает.

Социально-рационалистический подход, овязанный у нас в стране с возрождением социологических исследований, дал много интересного для понимания закономерностей поведения, являлся безусловно шагом вперед. Не случайно исследования проблем выбора профессии вызвали живейший отклик не только среди специалистов, но и литераторов. Впрочем, некоторые, наиболее чуткие из них, чувствовали в этих работах определенную профессиональную ограниченность. Да и удивительна была бы для наших писателей, воспитанных на русской литературе, всегда духовно бескомпромиссной в поисках смысла жизни, иная реакция: ограничения, неизбежные в социологической работе, обычно недопустимы для писателя. Понимание человека как существа духовного, нравственного, а выбора профессии как поисков призвания, смысла бытия — естественная позиция для литератора.

В этом случае проблема выбора профессии выходит за рамки социально-экономических отношений и оборачивается своей философской стороной. Это остро чувствовал молодой Маркс. В своем сочинении «Размышления юноши при выборе профессии» он писал: «Главным руководителем, который должен нас направлять при выборе профессии, является благо человечества, наше собственное совершенствование... Человеческая природа устроена так, что человек может достичь своего усовершенствования, только работая для усовершенствования своих современников, во имя их блага... Если мы избрали профессию, в рамках которой мы больше всего можем трудиться для человечества, то мы не согнемся под ее бременем, потому что это — жертва во имя всех; тогда мы испытаем не жалкую, ограниченную, эгоистическую радость, а наше счастье будет принадлежать миллионам...»

Мысль Маркса в том, что лишь тот выбор по-настоящему удачен и эффективен, который был нравственным, на основе «душевной борьбы с самим собой», когда размышлениям юноши о выборе профессии предшествовали размышления о смысле человеческого существования.

Наша литература всегда служила этим целям. И то, как нащупывают советские писатели коренные вопросы бытия, как влекут их к себе стремления и дела наших современников, как чутко угадывают в первых шагах семнадцатилетних глубочайшие нравственные и духовные проблемы — лучшее свидетельство жизненности традиций русской литературы.

\* \* \*

Первый выбор — всегда трудный выбор. И не только потому, что его должны делать уже не дети, но еще не взрослые. И не потому только, что своеобразны, переменчивы аспирации, личные планы, внутренний мир каждого.

Это трудный выбор потому, что динамична и противоречива окружающая нас жизнь, внешние условия — социально-экономические, демографические, культурные, без которых нельзя понять поведение молодежи в начале пути.

Чем более социально развито общество, тем большую свободу выбора оно дает, тем менее детерминировано в этот период поведение молодежи, тем шире набор вариантов имеет каждый. И чем труднее выбор, тем легче заблудиться и в самом себе и в множестве путей. Парадоксально, но факт: успехи нашего развития не упрощают, а усложняют проблему выбора профессии, поисков призвания. И хотя риск полностью оправдывается многообразием, раскрытием все новых и новых талантов, подлинных личностей, не будем забывать, что и сорваться здесь легче. Вот почему эти проблемы требуют к себе растущего внимания со стороны плановых, хозяйственных органов, работников просвещения, комсомола — всей нашей общественности.

Помочь молодежи в этих трудных решениях нельзя без систематических исследований. Мы должны постоянно фиксировать ритмы поколений, чувствовать поступь общества, угадывать новые проблемы, предвидеть поведение юношей и девушек, изменение их оценок, предпочтений, ценностей жизни. И как это уже не раз бывало за последние десятилетия, пока поспевает со всеми своими тылами и орудиями наука, подлинными разведчиками новых проблем здесь могут и должны быть писатели.





---

---

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ФЕЛИКС КУЗНЕЦОВ

★

## ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ ПРАВДА ВЕКА

1

**В** сложение и ускорение ритма современной нам жизни до такой степени феноменальны, что ум и гений человеческий не успевают за временем, запаздывают с постижением и осмыслением новых, невиданных ранее форм человеческого бытия. Как отражается наше время в литературе, этом художественном, духовном самосознании человечества? Время, отмеченное такими историческими вехами, как XXIV и XXV съезды нашей партии, время начала эпохи зрелого, развитого социализма и разворачивающейся во всем мире научно-технической революции?

В новых условиях особенно возрастает в цене человеческая мысль. Мысль теоретическая и художественная. А следовательно, и мысль критики. Задача критики сегодня в том, чтобы коллективными усилиями осмыслить и понять — приблизиться к пониманию, — что это такое: литература зрелого, развитого социалистического общества, какие новые черты и качества литературного процесса с особой резкостью выявились в эти, самые последние годы?

Б. Л. Сучков высказал мысль: «Со всей очевидностью новая фаза в развитии социалистического реализма в советской литературе обозначилась в середине 50-х годов, когда советское общество стало обретать черты зрелого социализма».

Мысль, с одной стороны, бесспорная, если учесть, что середина 50-х годов — определенный рубеж в историческом развитии нашего общества. Однако нуждающаяся, на мой взгляд, в дополнении и уточнении, в дальнейшей конкретизации, поскольку время середины 50-х — начала 60-х годов было переходным к эпохе развитого социализма, в которую мы вступили.

Да и если исходить из характерных особенностей литературного процесса, из фактов литературной жизни, вряд ли правильно объединять, отождествлять эти два десятилетия — с середины 50-х до середины 60-х и с середины 60-х до наших дней, — как не отождествишь их, в свою очередь, и с первым послевоенным десятилетием.

Невозможно не видеть, что современная литература все явственнее обнаруживает черты, отличающие ее от литературы предыдущего десятилетия, точно так же как литература десятилетия 50 — 60-х годов отлична от литературы послевоенного десятилетия. Да и общественно-литературная ситуация сегодняшнего дня отлична от ситуации 50-х и начала 60-х годов: ушли крайности, установилась более позитивная и конструктивная атмосфера литературной жизни, когда литературные страсти, споры, кипение и страдания мысли ушли с чисто внешней подчас поверхности вглубь. Время стало менее шумным, менее горячим, мы понесли, может быть, даже и некоторые потери по части литературного темперамента, но литературный процесс обогатился и усложнился. И это естественно: жизнь, повторяю, ставит перед литературой и критикой все новые и новые, все более сложные вопросы, на которые надо давать честный и верный ответ.

Разумеется, я не собираюсь отсекал друг от друга, а тем более противопоставлять разные периоды развития послевоенной литературы: идет, в конечном итоге, единый, преемственный, диалектический литературный процесс. Течение жизни в современных условиях ускорилось как никогда, и эти стремительные и резкие перемены в жизни нашей страны и всего мира, естественно, отражались, сказывались на литературе. В минувшие эпохи (вспомним XIX век, предвоенное время) чуть ли не каждое десятилетие

имело свое лицо. Так и тут: разве сама специфика общественно-литературных проблем и художественного изображения позволяет нам отождествлять, скажем, конец 40-х, конец 50-х или начало 70-х годов?..

Своей главной целью и задачей современная критика считает исследование и обсуждение тех характерных новых черт и качеств (или же обновление традиционных черт и качеств), которые отличают современный литературный процесс и современную литературу, выявляют закономерность становления и развития общества развитого, зрелого социализма. Мы осмыслием современную советскую литературу, какой она подошла к XXV съезду партии, как литературу, эстетическими завоеваниями которой в лучших ее образцах можно гордиться, как литературу, обладающую колоссальным творческим потенциалом. Жизненно, исторически важно, чтобы этот потенциал в большей мере воплощался в действительность.

Разделяя точку зрения Е. Сидорова, автора статьи «На пути к синтезу» в журнале «Вопросы литературы» (1975, № 6), о том, что, «исследуя различные аспекты современного бытия, накапливая опыт нравственного и социального анализа человека, пытаясь поднять новые пласты народной жизни и народного характера, она (литература наша.— Ф. К.) должна прийти к более высокому этапу — к синтетическому, философскому освоению действительности», никак не могу согласиться с заключительным выводом его статьи: «Только тогда читатель получит книги, способные вступить в творческое соревнование с лучшими произведениями советской и мировой классики».

Провозвестие новой «синтетической» литературы не должно обходить то, что мы имеем реально сегодня, а имеем мы богатейшую прозу, лучшие образцы которой вступили в творческое соревнование со многими произведениями советской и мировой классики. Кстати, язык сам по себе коварен и мстителен: колокольный благовест во славу «синтетического» освоения действительности как пути к такому соревнованию вызывает улыбку — больно уж многозначно в языке и ненадежно само понятие «синтетика»... Вот почему я внес бы одно маленькое уточнение в близкую мне по духу формулу: литература наша движется к более высокому не «синтетическому», но философскому, мировоззренческому освоению действительности. Только на этом пути она будет спо-

собна подняться до вершин мировой и советской классики (я имею в виду таких колоссов, как Гоголь, Толстой, Достоевский, Шолохов).

Присоединяюсь к центральной мысли статьи И. Золотусского «Познание настоящего» в дискуссии «Черты литературы последних лет» («Вопросы литературы», 1975, № 10):

«...Не будем спешить и заявлять, что радоваться пока нечему (Е. Сидоров). Я не хочу выглядеть бодрячком-оптимистом, но мне кажутся справедливыми слова Гоголя, сказанные как бы в назидание нам, критикам: «Оттого и беда... что мы не глядим в настоящее, а помышляем о будущем... Оттого и будущее висит у нас теперь точно на воздухе. Слышат некоторые, что оно хорошо... но как достигнуть до этого будущего, никто не знает. Оно точно кислый виноград. Все позабыли, что пути и дороги к этому светлому будущему сокрыты именно в этом... настоящем, которого никто не хочет узнавать... Введите же... меня в познание настоящего».

Применительно к сегодняшней литературе обязанность эту берет на себя критика. Ее долг и задача — пристально глядеться в существо современного этапа развития нашей литературы, определяя ценностные его качества и черты, анализировать истоки успехов и причины неудач. Анализировать без крайностей апологетики, ибо наш литературный процесс огромен, сложен, противоречив. Однако и без самоуничтожения, с объективным, трезвым отношением к уже достигнутому и завоеванному.

Какие же черты и особенности развития, определившие во многом успехи сегодняшней нашей литературы, можно принять как главенствующие? И что, с другой стороны, сдерживает ее развитие сегодня?

## 2

Мне уже приходилось высказывать на страницах «Нового мира» убеждение в том, что центральной, на мой взгляд, проблемой литературного развития минувшего десятилетия, равно как и главной проблемой литературных и публичных дискуссий и споров, стала проблема духовных и нравственных ценностей, духовного бытия человека и общества.

«Великое дело — строительство коммунизма невозможно двигать вперед без всестороннего развития самого человека», — говорил на XXIV съезде КПСС Л. И. Брежнев.

Исходя из этого убеждения, партия уделя-

ла все эти годы самое пристальное внимание литературе и литературной критике, идейно-художественному уровню литературы — духовной пище народа, последовательности, принципиальности нашей критики в борьбе за идейно-художественное качество произведений.

Эти требования партии, вызвавшие к жизни и постановление ЦК КПСС «О литературно-художественной критике», сыграли немалую роль в нашем литературном развитии. Наивным было бы ожидать, что после совершенно справедливых и точных слов о качестве литературы, сказанных на XXIV съезде КПСС, мгновенно исчезнут литературные поделки, плоды скороспелой мысли и скороспелого письма — их появляется все еще немало. Но изменился в лучшую сторону сам литературный климат — он стал более суровым в отношении мелкотравчатости и серости, более благодатным для развития талантов; повысились сами критерии литературной и общественной оценки художественного творчества.

Да, критика стала аналитичнее, глубже, точнее в осмыслении литературного процесса. В ней стало меньше субъективизма, упрочился конструктивный, деловой, спокойный (иногда чересчур спокойный) стиль. Стало больше трезвости и взыскательности к таланту — вспомним требовательные статьи и споры о последних романах Залыгина, Липатова, Бакланова, Б. Васильева и других.

Активизация серьезной нашей критики очевидна — я мог бы подтвердить эту мысль и ссылкой на большое количество проблемных статей, чем раньше мы похвастаться не могли, и рядом интересных проблемных книг, посвященных анализу современного литературного процесса, и более требовательным тоном разговора, утвердившимся в критике.

Но — парадоксальная закономерность! — книги талантливые, пусть в чем-то спорные получают сегодня часто самую строгую аналитическую оценку, бесталанность же (а ее куда больше), о которой серьезной критике писать просто скучно, вызывает порой на тех же самых, точнее соседних, страницах сплошной голубой восторг! Слабая, средняя книжка, оказывается, имеет гораздо больше шансов получить, так сказать, «положительную рецензию» в прессе, чем книга талантливая.

Сегодня как никогда остро встает вопрос о проблеме качества литературы в совре-

менном его понимании, о методологически точном подходе к этому вопросу.

В нашей критике, по крайней мере части ее, утвердилось заузненное понимание самой проблемы мастерства, художественности, узкое понимание литературного качества, когда оно сводится в основном к хорошей или дурной стилистике. Но мастерство в смысле мастеровитости еще не исчерпывает проблемы.

Русская советская литературная традиция всегда включала наряду с заботой о форме заботу о содержании литературы. Она выдвигала серьезнейшие требования и к слову и к мысли произведения. Она порой готова была простить скорей литературную неумелость, чем пустоту содержания, не прощая в итоге ни того, ни другого.

Вот и нам нужно методологически широкое понимание качества литературы. Ведь серость и посредственность в литературе — это не только малограмотность и дурновкусица. Главная беда и главная опасность, на наш взгляд, подстерегает современную литературу и читателя на пути «гладкописи». Журнальные страницы и издательские машины заполнены литературой внешне вполне гладкой, «причесанной», даже подчас изысканно-мастеровитой, но страдающей вторичностью, мелкотравчатостью, а нередко и удручающей пустотой содержания.

Между тем время наше серьезное, вдумчивое, трезвое, требовательное, деловитое. Оно во всем переносит центр тяжести на интенсивные, качественные факторы роста и развития, ставит проблему качества, нравственного отношения к жизни и к делу во главу угла во всех без исключения сферах действительности. В том числе и в литературе.

Мы не можем сегодня не задумываться о закономерностях развития общества зрелого социализма, о необходимости постижения нашими общественными науками этих закономерностей, проявляющихся в развитии и борьбе, активно действующих в сфере практической политики партии и жизнестворчества народа.

Необходимость обостренного внимания к этому кругу проблем, все более смелого и последовательного внедрения в общественное сознание аксиологического, ценностного подхода к действительности в его марксистско-ленинском толковании диктуется целым рядом причин.

В современных условиях мирного сосуществования и возрастающей идеологической борьбы встает необходимость все в большей степени, с большей ясностью, определенностью и доказательностью выявлять гуманистическую суть нашего общественного строя, наших общественных отношений, нашего общественного идеала, выраженного в известных словах К. Маркса: коммунизм — это и есть реальный гуманизм. Мы строим нашу жизнь так, чтобы эти слова, эта истина теории становилась повседневной практикой человеческого бытия.

Мы имеем полное право сегодня ощущать себя в качестве законных наследников гуманизма и свободы в их истинном значении. Как самое передовое общество, именно такими мы и должны быть, к этому должны стремиться, реализуя те огромные потенции человечности и справедливости, которые заключены в социализме. Всемирная гуманизация нашей жизни, ее человечность, максимальное внимание к духовным и нравственным, то есть подлинно человеческим, гуманистическим ценностям жизни — вот что сегодня с особой последовательностью утверждается нашей литературой через художественное исследование и постижение этих ценностных сторон действительности, качественных, человеческих преимуществ советского образа жизни.

Это предполагает постижение гуманистических, человеческих ценностей социалистического общества, осмысление их с целью утверждения в душах, сознании людей. Резервы здесь воистину неисчислимы, в особенности если идти путем сравнительного анализа духовно-нравственной сферы жизни, литературы, искусства, киноискусства у нас и в капиталистических странах Запада, досконально, со знанием дела сопоставляя и изучая уровни духовной жизни человека и общества у нас и в так называемом обществе потребления.

Вместе с тем, проникаясь духом решений XXIV съезда КПСС, литература с новой силой ставит вопрос об углублении гуманистического характера нашего общества, предполагающего «развитие богатства человеческой природы как самоцель»<sup>1</sup>, литература помогает партии во все более последовательном и полном проведении в жизнь основополагающих принципов развитого социалистического общества.

<sup>1</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 26, ч. II, стр. 123.

Отзываясь на эту общественную потребность, современная литература все внимательнее относится к внутреннему духовному началу в человеке. Мне скажут: для литературы это проблема вечная. Да, но на каждом новом витке исторической спирали, и в частности в наше время, она встает с новой силой и по-новому. Сегодня наша литература с особой остротой поднимает вопрос о значении духовных, нравственных, гуманистических ценностей для человека и общества. Вспомним хотя бы такие произведения, как «Белый пароход» Чингиза Айтматова, «Последний срок» Валентина Распутина, «Берег» Юрия Бондарева, творчество Василия Шукшина.

Пожалуй, как никогда остро наша литература ставит вопрос об опасности для человека и общества того, что можно назвать духовным вакуумом, бездуховностью, связывая эти, говоря астрофизическим языком, «черные дыры» в человеческом сознании в первую очередь с чертами потребительской психологии, с духом приобретательства и собственности, карьеризма и приспособленчества, с язвой мещанства — иначе говоря, с теми или иными проявлениями паразитирующего на социализме, отчужденного, по своей сути мелкобуржуазного сознания. С удивительным постоянством и последовательностью, отвечая, несомненно, какой-то настоятельной общественной потребности, литература наша бьет и бьет — в разных жанрах, формах и манерах — с неодинаковой, разумеется, степенью удачи в одну и ту же точку: цикл повестей Ю. Трифонова, «Южноамериканский вариант» С. Зальгина, «Друзья» Г. Бакланова, «Пустошь» С. Крутилина, повести Д. Гранина, Г. Семенова, А. Битова, Л. Промет, Э. Ветемаа и многое другое. Это не просто «антимещанские произведения», это — книги, ведущие бой за одухотворенность и осмысленность человеческого существования со всем тем, что отчуждает человека от самого себя и от общества, низводит его до положения раба вещей, раба желудка, раба гордыни, раба «обстоятельств».

Мне представляется этот духовно-нравственный пафос литературы глубоко современным и жизненным. Ибо, добываясь избобилия материальных благ и справедливого распределения их между всеми трудящимися членами общества, мы, коммунисты, отвергаем бездуховные и бескрылые, а в конечном счете и античеловечные идеалы предрасположенного «потребительского общества».

Наше решение вопроса о хлебе насущном и хлебе духовном, как это подтвердил своим романом «Берег» Юрий Бондарев, имеет не только внутреннее, но и мировое, международное значение, особенно резко возрастающее в условиях политической разрядки и сопутствующей ей острейшей идеологической борьбы. Различные социальные системы состязаются сегодня не только в экономическом, но — во все возрастающей степени — в социально-гуманистическом потенциале своем.

Неуклонный и последовательный рост материального благосостояния советских людей в отличие от «потребительского», буржуазно-мещанского общества сопровождается у нас вдумчивым, государственным подходом к сфере духовно-нравственной. Буржуазная, мещанская иерархия ценностей, потребительская философия жизни чрезвычайно заразительны. Их заразительность резко повышается в обстановке и атмосфере научно-технической революции и бурного развития средств массовой информации, когда кино, радио, телевидение вочию демонстрируют перед людьми, перед молодежью блеск и нищету так называемого западного, то есть буржуазного, мещанского, потребительского образа жизни.

Внимание к человеку и динамичный рост наших производительных сил диктуют нам необходимость и создают возможности для все более полного и всестороннего удовлетворения материальных потребностей, возрастающих в современных условиях НТР. «Каждому по потребностям» — таков коммунистический идеал. Однако если мы своевременно и точно не акцентируем в общественном сознании ценностную иерархию человеческих потребностей, если мы не будем целенаправленно формировать в людях духовные потребности как первоочередные, все возрастающее удовлетворение бытовых потребностей в условиях увеличивающегося изобилия материальных благ может обернуться (да порой и оборачивается) психологическим обуржуазиванием, омещаниванием какой-то части людей.

В этих условиях огромное значение приобретает продуманная борьба с потребительской философией жизни, потребительской психологией и нравственностью, выступающими у нас как главная форма проявления бездуховного, мелкобуржуазного, мещанского сознания. В обстоятельствах социализма именно здесь сохраняет себя феномен отчуждения, отчуждения от челове-

ческого, здесь — источник бездуховности и безнравственности, поле приложения враждебных нам идеологических сил. Вот откуда яростный антимещанский пафос современной литературы.

Литература стремится четко формулировать и настойчиво вносить в общественное сознание наш коммунистический взгляд на роль и место в человеческой жизни материальных благ. Взгляд принципиально отличный как от буржуазной, так и от уравнилельно «китайской» позиции. Мы за максимальное и полное, справедливое удовлетворение материальных потребностей всех трудящихся людей, в будущем — «каждому по потребностям», а пока — «каждому по труду», рассматривая это как необходимое условие подлинно человеческого существования. И пока мы воспринимаем материальные блага как необходимое условие подлинно человеческого существования, мы — коммунисты. Но как только материальные блага из необходимого условия человеческого существования превращаются в цель и смысл этого существования, человек превращается внутренне в буржуа, в мещанина, в раба вещей и материальных благ жизни. Такого рода превращений в нашей жизни сегодня, к сожалению, немало. Они имеют место и в среде современного рабочего класса и крестьянства и в среде интеллигенции. Из этих вроде бы стихийных превращений, «незаметной» смены ценностных ориентиров, когда удовлетворение потребностей низшего, материального, подчас физиологического ряда выходит для человека на первое место и становится исчерпывающим, вырастает своеобразное понимание и смысла жизни, а следовательно, и нравственности — своя мораль и, более того, своя идеология, насыщающие миазмами нравственную атмосферу жизни общества. Здесь берут начало беспринципность, цинизм, карьеризм, приспособленчество, «двойная» мораль — одна для карьеры и преуспеяния, другая для «внутреннего пользования» и т. д. Мы порой закрываем глаза на то, что в нравственной жизни общества, совершившего без малого шесть десятилетий назад социалистическую революцию, еще живут мелкобуржуазные мораль, психология, нравственность, причем в формах часто новых, своеобразных, ранее неизвестных, в формах приспособления к социалистическому строю и образу жизни. Совершенно естественно, что мелкобуржуазность — сегодня явление не столько эко-

номическое, сколько психологическое — штурмует те сферы жизни, где наибольший «профит», где с наименьшим применением сил и энергии можно добиться большей «выгоды».

Для нашего дела огромное значение имеет острая и бесстрашная постановка литературной, и в том числе публицистической, всех этих вопросов, принципиальная общественная непримиримость к тенденциям обуржуазивания, рвачества, потребительства, стяжательства, воровства, различного рода должностных экономических преступлений (взятки, коррупция, казнокрадство и пр.). Принципиальная и последовательная борьба с такого рода злоупотреблениями оздоравливает народную нравственность и общественное сознание, активно способствует коммунистическому воспитанию.

Этот пафос очищения, последовательной принципиальной критики, борьбы с злоупотреблениями, растущими из социального эгоизма, глубоко отвечает духу и требованиям времени, особенностям эпохи зрелого социализма. Такого рода пафос современной нашей литературы формирует в душах людей социальный, исторический оптимизм и веру в наш строй и наши идеи.

Утверждение гуманистических ценностей социализма, которое с такой последовательностью ведут сегодня Коммунистическая партия, наша литература и общество, происходит в атмосфере острейшей идеологической борьбы. Особенностью времени является то, что борьба эта чрезвычайно усложнилась, из открыто политической сферы все более распространяясь на сферы мировоззренческую и философскую. Особенность здесь как раз в том и состоит, что наряду с социально-политической и экономической сферами на первый план в этой борьбе все в большей степени выходит проблема человека и его ценностей. Здесь невозможен вакуум: опоздай мы с ответом на острые вопросы, как сейчас же этот вакуум заполнится иными, чуждыми нашей идеологии ответами.

Если говорить о стратегии современной идеологической борьбы, заполнить возможный вакуум противник стремится в двух направлениях.

Одно направление — это ценности «западного», «американского», «европейского», го есть буржуазного образа жизни со всей его внешне эффектной, но пустой бижутерией «общества потребления». Такого рода прел-

ставления о «ценностях» жизни проникают к нам и прельщают сознание какой-то части молодежи.

Впрочем, такой вот «ответ» на вопрос о ценностях жизни в силу его очевидной для любого нравственно мыслящего человека бездуховности ограничен в своем воздействии. Вот почему в современной идеологической борьбе все большее значение приобретает второй путь, второе направление, которое можно определить как «нововеховское», когда пытаются дать ответ на духовно-нравственные запросы современного человека, опираясь на «веховскую» традицию, на традиции русского идеализма, реакционной и консервативной, религиозной по своей сути мысли. Эта идея при всей ее обветшалости претендует на видимость решения вопроса о духовных и нравственных ценностях человека, исходя якобы из национальных, а в действительности мнимонациональных традиций. Наши идеологические противники спекулируют на актуальности духовно-нравственных вопросов для нашего общества и всего мира, пытаются оживить в умах людей интерес к русской идеалистической традиции, именам Н. Бердяева, В. Соловьева, К. Леонтьева, В. Розанова, к идеализму начала века, к славянофильству и «почвенничеству», гальванизировать богоискательство и богостроительство.

Мы должны об этом помнить. Сегодня, когда политизация литературной мысли захватила весь мир, мы не имеем права не соотносить наши нравственно-философские споры и искания с той политической, идеологической борьбой, которая идет в современности. Нам надо учиться доказательно вести спор по самым сложным мировоззренческим вопросам эпохи.

В течение двух тысячелетий монотеисты на решение проблемы духовных и нравственных ценностей держала церковь. Даже литература в лице, скажем, таких великих ее представителей, как Достоевский и Толстой, не мыслила решения проблемы человеческого существования и совести, не мыслила обоснования нравственности вне бога, религии, бессмертия души. Мы отказались от «иллюзии счастья», как называл Маркс религию, и это закономерно. Но в чем суть ответа, который дает на вопрос вопросов наша жизнь и наша философия? Вопрос этот имеет жизненно важное значение, по сути дела, для каждого человека. Он есть, он объективно существует — важно

его «проявить». Важно дать людям наше, реальное, а не метафизическое обоснование нравственности и ориентироваться в жизни на те стороны социалистической действительности, которые и формируют духовно развитую, нравственную личность, противостоять в жизни всему тому, что искажает начала подлинной человечности.

Вот почему столь важны сегодня вопросы методологии художественной критики, а еще точнее — методологии литературно-критического мышления, исследования и осмысления литературного процесса, равно как и процессов реальной жизни, которые стоят за ним.

Здесь у нас работы, как говорится, непокатый край, в особенности если учесть те новые тенденции и процессы, которые протекают в современной литературе и критике.

Эта объективная потребность времени во многом и определяет специфику литературного процесса, его своеобразные черты.

Заметьте, как мощно обнаружил себя в последние годы философский потенциал нашей литературы, с какой настойчивостью наша проза движется к жанру философского романа. Отметим также, как возросла за последнее время философская оснащенность нашей критики, ее вкус к философии и социологии, как расширилась палитра историко-культурных и историко-философских интересов современной критики и литературы. Вслед за дискуссией о славянофильстве печатаются статьи-исследования о Розанове и Константине Леонтьеве, на очереди марксистские исследования, посвященные Бердяеву и Владимиру Соловьеву...

Все глубже нам приходится входить и в международные литературно-критические дискуссии, постигать и критически осмысливать обширный опыт, накопленный мировым литературным процессом.

Не будем думать, что качественно новые процессы, связанные с постижением литературой и критикой коренных этических проблем времени, протекают безболезненно, идиллически. Скорее уж — драматически, в ожесточеннейших спорах, в борьбе мнений и идей. В самой постановке вопроса о духовных и нравственных ценностях, об опасности духовного вакуума в современной критике наблюдается редкое единство, разноречия возникают в ходе поисков убедительно-го позитивного ответа на этот вопрос. В ходе того самого «синтеза» (невозможного,

кстати, без анализа), о котором говорилось выше.

Дискуссии последних лет в печати и на писательских собраниях явственно обнаружили методологические промахи, подчас даже неподготовленность какой-то части критики для доказательных решений трудных философских вопросов современного литературного развития.

Дискуссии показывают, как велико искушение эпигонских — по отношению к старой русской метафизике — ответов на эти сложные вопросы времени, как важен конструктивный марксистский ответ на них.

### 3

Характернейшее качество советской литературы последних лет — качество народности литературы, которое с конца 60-х — начала 70-х годов в нашей литературе и критике значительно углубилось, обрело новые черты.

Сегодня мы вслед за Белинским снова можем сказать: народность — вот альфа и омега нашего времени. Эта великая традиция русской литературы в своем новом, современном, социальном качестве служит нам ориентиром в решении вопроса о духовных и нравственных ценностях. И мы должны быть благодарны тем произведениям нашей прозы, при всех спорах вокруг них, которые поставили на общественное обсуждение сам вопрос о значении народности для современной литературы, о значении исторически сложившейся трудовой народной нравственности как необходимого фундамента развития социалистических духовных и нравственных ценностей. Тема деревни дала нашей литературе целую плеяду ярких и значительных талантов, которые составили бы национальную гордость любой литературы мира и которые, убежден, останутся в нашей литературе: Федор Абрамов, Василий Белов, Василий Шукшин, Виктор Астафьев, Евгений Носов, Сергей Залыгин, Гавриил Троепольский, Борис Можаяев, Владимир Солоухин, Сергей Крутилин, Владимир Тендряков, Михаил Алексеев, Валентин Распутин, Петр Проскурин, Анатолий Иванов, Анатолий Ткаченко, Владимир Фоменко — таков далеко не полный перечень только в русской литературе.

Конечно, было бы ошибкой говорить о качестве народности нашей литературы, ограничиваясь только упомянутыми именами. Я назвал тех писателей, чье творчество с

особой резкостью и силой заставило меня лично почувствовать, сколь значительно и животворно качество народности на новом витке социальной, исторической спирали для современной прозы.

Для меня это не мертвый список, но живое и наполненное явление, зеленая ветвь нашей литературы, при всей разности и многообразии талантов связанная не только вниманием к теме деревни, но во многом единими творческими принципами, и в первую очередь — принципом народности как неперемного условия и истока творчества.

При всех спорах вокруг отдельных явлений этой прозы нельзя не видеть, что именно она в значительной степени утвердила в литературе отношение к языку как богатству народному, подняла качество изобразительности, образную наполненность слова до уровня, сопоставимого с высокими завоеваниями русской литературы прошлого. Здесь я усматриваю продолжение великой традиции русской литературы и критики, но в новых условиях, условиях развитого социализма, в сфере социалистического реализма.

Великая Октябрьская социалистическая революция углубила и развила понятие народности литературы, подняла его на качественно новую ступень. Процесс этот, очень сложный, во многом противоречивый, диалектический, как показывают нам судьбы отечественной прозы последних лет, продолжается и поныне.

Нам необходимо глубже исследовать народность как категорию социалистического реализма, как качество современной советской прозы. Наша же критика это «качество» в сегодняшней прозе во всем его значении пока еще не осмыслила. Сошлюсь на статью «Возвращение к себе» («Наш современник», 1975, № 7) И. Дедкова. Интересный и талантливый критик, он опубликовал эту весьма спорную статью почти одновременно с другой своей статьей, «Чего требует время» в дискуссии «Черты литературы последних лет» («Вопросы литературы», 1975, № 8). Впечатление такое, будто два разных критика писали эти статьи.

В общей оценке современного уровня развития нашей прозы эти две статьи близки между собой, и здесь у меня разногласий с И. Дедковым нет. Спор начинается с того момента, когда критик пробует толковать прозу, которая ему, так же как и мне, близка и дорога.

Анализируя творчество таких писателей,

как В. Белоз, В. Астафьев, В. Распутин, Ю. Гончаров, Е. Носов, К. Воробьев, В. Лихоносов, и других, он объясняет незаурядный художественный успех этой прозы ее... провинциальностью, тем, что она возникает не в столицах, а в провинции. «...Провинциальная проза обнадеживает: ее голос продолжает набирать силу» — таким выводом завершает критик свою статью, априори утверждая за провинцией монополию на те ценности, которых, получается, заведомо нет и не может быть у больших городов. Видимо, по этому географическому, но в представлении критика и социально-духовному признаку из поля зрения критика начисто выпали такие литературные имена, вполне близкие к вышеназванным, как Ф. Абрамов или Б. Можаяев (один живет в Ленинграде, а другой в Москве), В. Солоухин или С. Крутилин. Шукшин присутствует в статье, видимо, лишь благодаря тому, что он писал, замечает критик, «провинциальные характеры» и «лишь формально, штампелем прописки» был «отделен, отдален» «от местной, чадонской России».

Однако достоинства этой прозы меньше всего, думается, связаны с ее «провинциальностью». Скорее уж с ее глубиной народностью, с кровной сопричастностью этой прозы к жизни и труду, радостям и бедам родного народа, с всеохватывающим чувством долга перед народом, чувством, традиционным для нашей отечественной интеллигенции, для демократической русской литературы.

Как же критик прошел мимо этого столь определяющего для всех названных Дедковым писателей нравственного и духовного качества?

В свое время в статье «Судьбы деревни в прозе и критике» («Новый мир», 1973, № 6) я анализировал некоторые произведения нашей прозы. Считаю важным вновь подчеркнуть воспитательное, даже политическое значение качества народности литературы в современных условиях, когда с особой остротой встает вопрос о том, что же мы — как страна, как общество — противопоставляем чуждой идеологии. Современная проза как бы освежила, озонировала саму литературную атмосферу, с новой силой подчеркнула, что патриотическое чувство народности всегда питало лучшие произведения русской и советской литературы. Она заставила задуматься о том, что патриотическое воспитание, страстная проповедь любви к своей родине и ее народу, чувство русской,



общесоветской национальной гордости за великую и прекрасную нашу страну и ее исторические свершения необычайно важны для нас как противостояние, противоядие, противодействие тем утонченным бездуховным буржуазным воздействиям, которые осуществляются нашими противниками.

Патриотическое воспитание, неотрывное от принципов общесоветского интернационализма, историческая память народа, лучшие национальные традиции отечественной культуры, наполненные гуманизмом, всечеловечностью, приобретают особое значение в условиях мирного сосуществования как длительной исторической перспективы.

Чувство родины естественно и органично пронизывает все лучшие произведения советской прозы и поэзии. Откроем книги стихов последних лет — в разных интонациях, в несхожих поэтических формах, на разных поэтических уровнях встает перед нами образ нашей страны, земли, России. Но, подчеркиваю, советской России, социалистической России, интернациональной по духу России.

Наша проза о революции и Ленине, о Великой Отечественной войне, книги о рабочем классе и крестьянстве таят в себе колоссальный заряд интернациональных и высокопатриотических чувств. В них живет законное чувство гордости за свою многонациональную родину, за русский народ, который вместе с народами братских республик совершил первую в мире социалистическую революцию, отстоял ее завоевания в смертельной схватке с фашизмом и теперь поднял свою страну до таких высот могущества, на каких она еще никогда не была за всю свою многовековую историю.

Говоря о качестве народности нашей литературы, особо подчеркнем, что верность интересам народа, его стремлениям и чаяниям (в традициях социалистического реализма) проявляется в ней в прямом и открытом служении партийным, коммунистическим идеалам. Иными словами, принцип народности советской литературы в его историческом развитии перерастает в принцип партийности как руководящий для каждого советского художника. Как справедливо писал А. Метченко, «принцип партийности в литературе возник как продолжение и развитие народности на почве, ею подготовленной. Но не для того, чтобы заменить народность или сузить сферу ее действия, а для того, чтобы поднять ее на уровень духовных за-

просов эпохи социалистической революции, строительства социализма и коммунизма».

Принципы народности и партийности определяют и исторический взгляд современной прозы на народную жизнь. Литература раскрыла подвиг и бескорыстие народа, и в частности крестьянства, в годы коллективизации, войны, трудных послевоенных лет. Взгляд ее на деревню реален и трезв. И это неудивительно. Существует закон художественной правды, по которому подлинно талантливая, правдивая социальная проза с неизбежностью опровергает всякие ложные доктрины.

Литература обращается к отечественному прошлому, дабы лучше понять настоящее и провидеть будущее, утверждал Белинский. Но цель и смысл ее существования — воссоздать образ своего времени. Ведь живем-то мы уже в 70-х годах! Причем каких 70-х! Ревущих на полную мощь дюзами космических кораблей и сверхзвуковых пассажирских самолетов! Ускоренный научно-технический прогресс преобразует всю нашу жизнь, меняет ритм, динамику, существо ее и в городе и в деревне. Как отражаются эти процессы в современной литературе? Какие движения в нравственной сфере жизни, в психологии, внутреннем облике людей вызывает эпоха развитого социализма и научно-технической революции? На очередь встает сложный комплекс духовно-нравственных проблем, обусловленный научно-технической революцией. Об этом литераторы, критики обязаны думать со всей ответственностью.

Нам необходимо развивать конструктивное, аналитическое, теоретическое исследование проблем патриотизма и народности в их современном звучании. Качество народности надо исследовать в нынешнем его срезе. Те, кто употребляет это великое слово, игнорируя сегодняшние формы бытия народной жизни, современные народные характеры, напоминают друзей-врагов Герцена, о которых он писал: славянофилы «попросту не знали настоящего народа; они сконструировали... некий русский народ по данным, почерпнутым из летописи Нестора... не давая себе труда узнать тот народ, который жил у их ног».

## 4

Чувство истории, интерес к истории, взрывом возникшие в последние годы в самих недрах жизни, — признак все углубляю-

щегося самосознания общества, стремления людей лучше понять, осмыслить жизнь и самое себя. Литература не могла не отозваться на этот зов, не могла не ответить на эту потребность читателя, с такой жадностью набрасывающегося на документальную историческую прозу, как, впрочем, на любую документальную прозу вообще.

Историзм, обостренное чувство связи времен — вот еще одна, как нам кажется, характернейшая черта современной литературы, с особой резкостью проявившаяся в прозе и критике последних лет. Происходит интенсификация, всемерное углубление литературно-познавательного процесса, причем особенно напряженные поиски идут по двум взаимосвязанным направлениям: философия человека и философия истории.

Вот почему столь важно сегодня не просто чувство истории, ее ощущение, интерес к ней, но и историзм как методологический принцип научного и художественного подхода критики и литературы к постижению действительности, эстетическому и философскому освоению жизни, места человека в ней. Такой подход отвечает глубинным потребностям эпохи.

Не будет преувеличением сказать, что споры об истории и народности были едва ли не самыми страстными в нашей общественно-литературной жизни конца 60-х — начала 70-х годов. Это был широкий разговор о правильном понимании нашей литературой, нашей критикой социальных, духовных и нравственных ценностей эпохи, о правильном отношении к наследию минувших эпох. Спор этот не закончен и по сей день. Он ушел вглубь, все больше перемещаясь в сферы исследования, теории, на страницы книг. И тем не менее можно подвести ему хотя бы некоторый предварительный поучительный итог. Наша критика дала верную методологическую оценку «крайностям» — небрежению к высоким и истинным живым традициям прошлого, к гуманистическим богатствам народной культуры и нравственности, лежащим в основании фундамента культуры и нравственности социализма; внеклассовому, внесоциальному подходу к прошлому, внесоциальному и вневременному толкованию его ценностей.

Забота об истинных ценностях отечественной культуры, о нравственной, облагораживающей, воспитательной роли родной истории, об уважении к земле своих предков всегда имела и имеет первостепенное значе-

ние для литературы, для всей духовной жизни общества.

Внимание и бережность ко всем истинным ценностям минувшего зовацел нам Ленин, отстоявший принцип превратности всего лучшего в мировой и национальной культуре в борьбе с «нигилизмом» пролеткультовских и прочих «ультрареволюционных», а на самом деле — мелкобуржуазных теоретиков.

Но что считать лучшим, высоким и истинным в наших национальных традициях? В поисках ответа на этот жизненный и важный вопрос нам следует руководствоваться ленинским принципом историзма: рассматривать каждое явление прошлого только исторически и только в связи с другими явлениями, то есть принципом социально-классового, историко-диалектического подхода к прошлому.

Важность серьезной и основательной постановки вопроса о преемственности всего лучшего в традициях национальной культуры — применительно ли к России или любой другой из наших республик — не подлежит сомнению. Сомнения возникают тогда, когда начинаешь вдумываться в некоторые конкретные решения этой жизненно важной проблемы, предлагаемые критикой в полемике с опасностью национального «нигилизма».

Как известно, всякая полемика чревата крайностями. В особенности если эмоции в силу тех или иных причин возобладают над разумом, полужнание над знанием. И даже столь высокое чувство, как любовь к родине, будучи слепым и неосознанным, может приобрести отрицательное значение, не поспешествовать процветанию и развитию, но тормозить их. История вообще, история России в частности, содержит немало примеров ложно понятого патриотизма.

Уважение к истории не означает слепой любви к минувшему. Оно с необходимостью включает в себя еще и уважительное отношение к правде фактов, к истине исторического процесса, предполагает то самое качество, которое в высшей степени всегда было присуще нашей науке, нашей литературе, нашему мирозерцанию в целом и которое именуется историзмом. Еще Пушкин безо всякого одобрения отзывался о тех, кого «любовь к родине часто увлекает... за пределы строгой справедливости». Когда это случается, диалектика истории подменяется однолинейной метафизикой, твердое историческое знание — зыбким полужнанием, история подлинная — историей мнимой.

За последние годы в нашей литературе утвердилось — в дискуссиях, спорах, теоретических боях — методологически зрелое современное понимание истории и народности.

Историзм современной литературы проявляется не только, а может быть, и не столько в спорах об истории и народности, но и в непосредственном творческом процессе, в книгах, в устремленности нашей прозы к эпическому постижению судеб народа, совершившего революцию и построившего социализм. И в этом заключено опять-таки убедительнейшее опровержение иных спекулятивных, умозрительных построений, в которых принцип народности, серьезная концепция исторических судеб отечества подменяются гальванизацией реакционно-романтических иллюзий далекого прошлого, давно канувшими в Лету, еще заживо похоронившими себя преданиями метафизики.

Пожалуй, с самой большой силой и убедительностью зрелое, развитое чувство истории и народности в нашей литературе проявилось в книгах о революции и Великой Отечественной войне.

Закономерно, что в пору тридцатилетия Победы на первый план в советской литературе вышла тема войны — назову хотя бы роман Владимира Богомолова «В августе сорок четвертого...», «Берег» Ю. Бондарева, дневники Константина Симонова «Разные дни войны», повесть Валентина Распутина «Живи и помни», документальное исследование белорусских писателей А. Адамовича, Я. Брыля, В. Колесника «Я из огненной деревни», «Блокаду» Александра Чаковского, «Войну» Ивана Стаднюка. Вокруг некоторых из этих произведений разворачивались страстные дискуссии и споры.

Что стоит за столь прочным и устойчивым интересом наших писателей и наших читателей к той грозной и трагической эпохе в жизни народа и человечества — эпохе войны?

Потребность глубоко современная и гуманистическая: взглянуть в духовные и нравственные ценности советского человека и общества, выявившие себя в час крайнего испытания.

Потребность эта выражает, как мне представляется, все ту же глубинную закономерность жизни, аккумулируемую литературой, наиглавнейшую особенность современной нашей жизни и литературы, заключающуюся в обостренном внимании к проблеме ценностей. Внутренних человеческих, гума-

нистических ценностей, осмысляемых в нашей литературе конкретно, социально, исторически.

В полном согласии с традицией великой русской литературы наша современная проза ставит в центр своего внимания и исследования проблемы человеческой истории и осмысленности человеческого бытия. Вековые проблемы эти решаются в борении истинно современных страстей и характеров, в становлении и утверждении новой социальной действительности. Исследуя эту новую действительность, ее характеры, то, как они проявляли себя в годы войны или в современности, литература одновременно ищет ответ и на вопросы вечные.

Вспомните время 50-х — начала 60-х годов. Тогда эти качества литературного процесса — историзм и обостренный интерес к ценностям национальной культуры, философский подход к человеку — еще не были на первом плане. Литература в значительной своей части страстно решала другие задачи, так сказать, ближнего боя. Не решив их, она не подошла бы вплотную к задачам сегодняшнего дня. По общему тогда признанию, по восприятию критики, ведущим жанром прозы в ту пору были повесть или рассказ.

Повесть сохранила свое значение и понятие, в лучших своих проявлениях — скажем, в творчестве Айтматова, Битова, Белова, Быкова, Трифонова, Распутина, Друцэ, Матевсяна — резко углубив свое нравственно-философское наполнение. Тем же путем развивается в лучших своих проявлениях и рассказ.

Но характерно, что с конца 60-х годов все большее значение в литературе, по восприятию критики и читателя, приобретает роман. Причем роман в первую очередь социально-эпический. Этот жанр, постигающий в единстве философию человека и философию истории, требует от художника особой зрелости мысли и таит в себе значительные трудности. Взыскательный и требовательный разговор критики о достижениях и просчетах современной литературы в этом наитруднейшем и вместе наиважнейшем жанре еще впереди. А пока назовем хотя бы далеко не полный перечень книг последнего времени, принадлежащих к этому жанру, просто как напоминание читателю (некоторые из них начаты в предшествующее десятилетие и завершены сейчас): «Открытие мира» В. Смирнова, «Сибирь» Г. Маркова, «Кровь и пот» А. Нурпеисова, «Берег ветров»

А. Хинта, «Соленая Падь» С. Залыгина, «Полесская хроника» И. Мележа, «Прыслины» Ф. Абрамова, «Вечный зов» А. Иванова, «Судьба» П. Проскурина, «Юность в Железнодорожке» Н. Воронова, «Предел» Г. Коновалова, «Циклон» О. Гончара, трилогия «Живые и мертвые» К. Симонова, «Потерянный кров» Й. Авижюса, «Берег» Ю. Бондарева...

Разумеется, не все тут ровно, художественный уровень перечисленных романов далеко не одинаков. Но ведь какая-то, видимо, неотложная потребность времени вызвала к жизни и развернула по фронту литературы этот жанр?! Что это за потребность? Она выражает духовные нужды нашего времени, времени развитого социализма, когда столь явственно обозначилось внутреннее стремление людей прикоснуться к глубоким истинам, осмыслить жизнь и свое место в ней, согнести современную нам действительность с идеалами дедов и отцов, понять исторические судьбы народа в соотношении с личной судьбой и судьбой человечества. Этим, думается, продиктован возрождающийся интерес к социальному роману, к жанрам эпическим. Движение жанров всегда выражает в литературе движение идей. Заметный рост интереса в нашей литературе к жанрам романно-эпическим, мне представляется, неразрывно связан с тем углублением историзма и народности, которое характерно для советской литературы последних лет.

«...Содержание эпоей,— говорил Белинский,— должно составлять сущность жизни, субстанциальные силы, состояние и быт народа... Посему народность есть одно из основных условий эпической поэмы», когда поэт «смотрит на событие глазами своего народа». Рассматривая эпическое в неразрывной связи с качеством народности, точкой зрения народной, анализируя эпические жанры в их историческом развитии, критик применительно к XIX веку утверждал: «Эпопея нашего времени есть р о м а н... Задача романа как художественного произведения есть совлечь все случайное с ежедневной жизни и с исторических событий, проникнуть до их сокровенного сердца — до живой творческой идеи, сделать сосудом духа и разума внешнее и разрозненное. От глубины основной идеи и от силы, с которой она организуется в отдельных особенностях, зависит большая или меньшая художественность романа. Исполнением своей задачи роман становится наряду со всеми другими произведениями свободной фантазии и в таком

смысле должен быть строго отделяем от эфемерных произведений беллетристики, удовлетворяющих насущным потребностям публики».

По мнению Белинского, эпопея выражает дух народа или эпохи. Л. Н. Толстой определяет эпопею применительно к «Войне и миру» как «историю народа», в которой главное — «мысль народная».

Как справедливо указывает современный исследователь шолоховского эпоса Л. Якименко, эпический жанр в русской классической литературе рос из жгучего, непрекращающегося интереса к жизни, думам, чаяниям, борьбе трудового народа, в познании которого русские писатели всегда видели одну из величайших социальных, нравственных целей искусства: «В эпопее, то есть в произведении, повествующем о жизни народа в поворотные моменты исторического развития, выражались достижения художественной мысли целой эпохи».

Такое понимание эпоса, в основе которого — великие традиции русской классики, могучий творческий опыт М. А. Шолохова, дает право исследователю с полным основанием поставить вопрос о дифференциации романских жанров, поскольку далеко не всякий роман может претендовать на то, чтобы называться эпическим.

Нет ли здесь противоречия с утверждением Белинского: «Эпопея нашего времени есть роман»? Конечно же, нет, потому что в этом утверждении отсутствует связь обратная: далеко не всякий роман Белинский считал эпопеей, о чем свидетельствует хотя бы четкая грань, которую он проводил между романом как жанром эпоса и «эфемерными произведениями» романной беллетристики.

Лишь обращение романа к важнейшим историческим событиям народной жизни, изображение народа как решающей силы общественного развития, наличие в романе философии истории, глубокого художественного постижения закономерностей ее развития, выраженного в характерах типических, поднимает его до уровня эпического.

Помнить об этом сегодня необходимо потому, что при том внимании литературы к жанру романа, когда появляются все новые и новые крупномасштабные художественные полотна, когда жанр романа становится даже модным, злоупотребление понятием «эпопея» ведет к снижению критериев. Между тем именно в жанрах эпических, заключающих в себе не просто описание событий и воспроизведение характеров, но филосо-

фию, мировоззрение эпохи, успехи наши в сравнении со «снежными вершинами» прошлого особенно скромны. Сегодня мы можем говорить пока что лишь о начале процесса, о начале поворота современной прозы к созданию крупных, масштабных произведений о жизни народа в эпическом плане.

Литература наша все чаще обращается к жанру романа, все с большим интересом и глубиной исследует диалектику философии истории и философии человека.

Однако эпос — не в количественной широте охвата жизни, не в объеме произведения. А то опять, как когда-то, возникает мода на «кирпичи»: «книга первая», «книга вторая», «книга третья» и т. д. Когда романы пытаются писать и те, кому чуждо обобщенное, концептуальное, социально-философское мышление, тогда-то и появляются произведения, страдающие мнимой эпичностью, где подлинный эпос подменяется в той или иной степени иллюстративностью и описательностью.

Критика в таких случаях далеко не всегда задумывается над тем, что нет эпоса вне философии истории, вне судеб народа, вмещающих в себя и судьбы человеческие. Как не существует эпоса без типических социальных характеров, без таких индивидуальностей, которые поднимались бы до уровня социальных типов времени. В этом случае повесть «На Иртыше» С. Залыгина или рассказ «Судьба человека» М. Шолохова таят в себе куда больше эпического, чем растянутые на много томов иллюстративные повествования, лишенные главной приметы эпоса: обобщающей пылкой социально-философской, нравственно-философской, исторической мысли.

Одна примечательная особенность: судьбы страны пока что постигаются нашей прозой (исключая пору войны) прежде всего и главным образом через судьбы крестьянства, что обнажает генетическую связь современного эпоса с самой великой книгой советской литературы — «Тихим Доном». И не только связь, но и влияние Шолохова на самых разных наших писателей — следы этого влияния мы найдем и у В. Смирнова, и у А. Нурпеисова, и у И. Мележа, и у Ф. Абрамова.

В ряде романов о судьбах крестьянства в революции, о его пути в социализм воссоздается целая галерея народных характеров, выявляющих становление новой народной психологии и нравственности на величайшем

переломе не только в отечественной, но и в мировой истории.

Вглядимся внимательнее в некоторые из этих полотен, ибо в лучших из них с особой резкостью проявились такие черты современной прозы, как народность, историзм, углубленный философский, мировоззренческий подход к действительности. Черты эти характерны для произведений не только русской, но и всей нашей многонациональной литературы, развивающейся при сохранении национального своеобразия и специфики по законам единого литературного процесса.

Для примера обратимся к книге подлинно эпического размаха, отлично переведенной Юрием Казаковым, — трилогии Абдижамила Нурпеисова «Кровь и пот». Достойный продолжатель традиции Мухтара Ауэзова, А. Нурпеисов ввел нас в мир, по литературе малоизвестный, — сложный, исполненный драматических противоречий мир казахского народа. Читая его щедро на бытописание прозу, точную и правдивую по многим деталям и национальному колориту, въяве ощущаешь то, что стало для нас почти абстракцией, отдаленным во времени и пространстве, — классовое разделение народа в дореволюционную эпоху, разделение на нищету и богатство. И вот каково убеждение художника, сформированное жизнью, преданиями, углубленным изучением прошлого: только трудовой казахский люд при всей нужде и унижающей человеческое достоинство бедности, унижающем человека несправии, только он — носитель высокого, одухотворенного, подлинно человеческого. Мы убеждаемся в этом, когда знакомимся с такими крупными, ярко очерченными народными характерами, как Еламан — образ, возникший как бы на пересечении современной реалистической прозы и героического восточного эпоса, или Кален, характер определенно романтический, о чем говорит и чисто внешняя его обрисовка и в судьбе и поведении, но при всем том — вполне достоверный и подлинно народный. Именно эти характеры и персонажи им близкие — носители нравственных начал народной казахской жизни, начал совести, чести и добра.

В романе исследуется нелегкий путь пробуждения общественного самосознания в этих людях — путь от патриархальной задушенности и пассивности к осознанию себя личностью, к общественному протесту, а потом — и к трудной, поначалу неравной драматической борьбе. Путь, который по естественным и неумолимым законам жизни,

выявленным в трилогии с подлинной художественностью, приводит Еламана и Калена к большевикам. И пусть не все в равной мере удалось автору трилогии — заметно слабее главы, повествующие о пребывании Еламана в белой армии, куда он был направлен «со специальным заданием», — впечатляет та глубина постижения жизни казахского народа в его историческом движении к интернациональным идеалам социалистической революции, которые утверждали на самых дальних окраинах царской России большевики.

Мы видим, что истоки этого движения — социальные и одновременно нравственные. Трилогия А. Нурпейсова современна именно нравственно-философским взглядом своим на закономерный путь казахского народа в революцию и социализм, художественным утверждением той высокой истины, что революция и люди ее привлекали сердца трудовых казахов идейной убежденностью, подкрепленной подлинно гуманистическим пафосом, не ощутить который было невозможно.

Роман «Кровь и пот» убеждает нас: эксплуататоры, как местные (в романе создан удивительный по силе и точности характер молодого казахского бая Танирбергена), так и пришлые (русский купец Федоров, сын купца Федоров-младший, жестокосердный белый офицер), не имеют ничего общего ни с человечностью, ни с гуманизмом, ни с нравственностью. Они живут по совершенно иному, нечеловеческому, волчьему закону, которые невозможно принять трудовому народу, — вот почему Федоров и Танирберген, невзирая на всю силу характера, незаурядный ум и лисью хитрость последнего, обречены на поражение, вот почему, невзирая на все их ухищрения, угрозы и хитрости, не идет за ними народ.

Трилогия А. Нурпейсова покоряет яркостью бытописания, точностью наблюдений, относящихся к национальному характеру казахов и их национальному быту. Но истоки силы произведения далеко не только в этом. Они — в глубинном интернационализме авторской позиции, выверенной социально-классовой точке зрения на прошлое родного народа, исключающей при глубокой любви к нему какую бы то ни было идеализацию патриархальной старины. В трилогии мы ощущаем глубокую философию истории, сопряженную с реальным историческим прогрессом, ориентирующую на правду истори-

ческих судеб родного народа, всей нашей интернациональной страны.

«...Что знали, например, о русских его отцы и деды? — размышляет в романе Еламан.— Всегда говорили одно и то же, что русские — кафыры, иноверцы. Недоверие и даже ненависть были у казахов к русским. Но понимали ли они душу этого народа, знали ли его тревоги и беды? А вот, оказывается, и у русских были свои бедняки и свои баи, и у русских были свои батыры... которые в час великих испытаний бросали гордый клич и звали свой народ на борьбу. А сколько, оказывается, было у русских храбрых бунтарей, всю жизнь свою проведших в неволе, в кандалах... Нет, видно, народы познают друг друга и объединяются только в борьбе, только на пути к свободе.

Вчера на похоронах двадцати восьми зарубленных плакали все — русские и казахи. Не плакал только один человек — старик Ознобин». Старый коммунист, большевик Ознобин, у которого белые зарубили сына...

Читая эту трилогию, глубоко национальную по форме, по жизненному материалу, деталям и подробностям, по всему аромату жизни, постоянно ощущаешь в итоге глубинное ее родство с другими книгами о времени революции — скажем, таким, как «Соленая Падь» С. Залыгина, «Сибирь» Г. Маркова, «Берег ветров» А. Хинта, «Первый учитель» Ч. Айтматова.

В утверждении гуманистической природы революции, человеческих характеров, выкованных нашей революционной историей, — смысл и таких эпических полотен, как «Люди на болоте» и «Дыхание грозы» Ивана Мележа или «Пряслины» Федора Абрамова. Эти книги — тоже о великих переломных эпохах в народной судьбе. Они родственны между собой глубоким знанием народной, крестьянской жизни — на дальнем ли архангельском Севере, или в глухом и болотистом белорусском Полесье. Бытописание поднимается здесь до исторического, философского осмысления бытия народного. И хотя действие в том и другом произведении не выходит, казалось бы, за локальные пределы Пинегы у Абрамова, Полесья у Мележа, это книги о судьбе не просто русского или белорусского крестьянства, но о судьбе народа, о судьбе нашей великой страны. В них живет, быть может, и не выраженная прямо, не сформулированная в публицистических отступлениях глубинная философия истории, подчас мучительное и трудное раз-

мышление авторов о движении в будущее родной земли.

Из самой жизни взяты И. Мележем народные характеры — угрюмый, но честный, внутренне не защищенный крестьянский парень Василь Дятлик, вернувшийся из Красной Армии в родную деревню комсомолец Миканор, кулак Глушак («Корч проклятый» зовут его в деревне) или его сын Евхим. Этими характерами, всей достоверностью картин полесской жизни автор нас убеждает: та идиллия, какая видится иным нашим литераторам в жизни прежней деревни, мало соответствует истине.

«Полесская хроника» раскрыла нам с неопровержимостью всю тягостность условий, в которых находился белорусский крестьянин в ту мрачную пору, когда жирели такие, как Корчи, а Дятлики жили впроголодь, бились на своем крошечном наделе бедной земли. Но романы Ивана Мележа показали нам правдиво и заскорузлость, консервативность крестьянской психологии, чужающейся нового, неизвестного, всю реальную трудность поворота деревни к новой жизни, за которую ратовали такие люди, как сельский коммунист учитель Апейка.

Это характер, близкий по духу революционерам-подвижникам, болельщикам за народ — учителю Дюшени у Чингиза Айтматова или Ефрему Мещерякову у Залыгина, только живет и действует он в иную эпоху — коллективизации деревни. Вместе с Миканором, а потом и Василием Дятликом он ведет настоящий классовый бой, причем главное поле боя — людские души. Он ведет борьбу не только с кулаком Глушаком и его сыном Евхимом, но и с теми перегибами в отношении крестьянства, которые в свое время имели место и о которых не столь давно мы читали в повести С. Залыгина «На Иртыше».

Современная эпическая проза не регистратор исторических событий — она исследует историческую действительность, народные судьбы с позиций социалистических идеалов. Этот современный взгляд на прошлое и дает ей силу и право утверждать гуманизм и человечность таких характеров, как Апейка, гуманизм и человечность идеалов революции и социализма.

Коммунист-ленинец Апейка всей душой и разумом своим убежден, что есть один только путь действительно счастливого и полнокровного развития деревни, решения ее судьбы — путь коллективизации, но не

силой, не диктатом, не администрированием, а терпеливым и мудрым убеждением. Эту свою точку зрения он и отстаивает в борьбе, старается проводить в жизнь. В романе правдиво показано, насколько же было нелегко Апейке на этом небывалом повороте истории, когда ломался тысячелетний уклад народной жизни, уходило в небьгие старое, привычное, ставшее родным, несмотря на всю свою бедность, крестьянское бытие.

Мы можем с полным основанием сказать, что деревня, ее историческая судьба постигается современной прозой на уровне, вполне сопоставимом с прозой И. Тургенева и Г. Успенского. А если опереться на гигантский эпос Шолохова, на поэзию Твардовского, то, может быть, именно здесь современная наша литература в силах посоревноваться с прославленной русской классикой.

На эту мысль меня наводит творчество целого ряда современных наших писателей, и среди них романы о северной деревне Федора Абрамова.

Проза Федора Абрамова, и в первую очередь книга «Пряслины», куда вошли три его романа, посвященных Пекашину, не «крестьянская», не «деревенская», но героическая, раскрывающая подвиг нашего народа, подвиг нашего крестьянства в пору войны и первых послевоенных лет.

В бескомпромиссной жизненной правде, в картинах, передающих всю драматичность испытаний, вышавших на долю советского народа не только на фронте, но и в тылу, и в частности в глухих северных деревнях, — тайна эмоционального воздействия романов Ф. Абрамова на читателей, в особенности на тех, кто пережил войну.

Его трилогия — апофеоз народной жизни, застигнутой судьбой в напряженнейший и героический момент исторического существования. В эту военную пору, пишет писатель, приоткрылось в нашем народе, в женщине в первую очередь, «что-то столь большое и важное, без чего невозможно понять ни русского человека, ни того, что было и будет еще на русской земле...». Писатель пристально всматривается в характеры своих героев — Михаила Пряслина, его матери Анны, председательши Анфисы Петровны, колхозниц Марфы, Варвары и многих других женщин, баб, перед которыми секретарь райкома партии Новожилов «на колени стать готов». «Я бы ей при жизни памятник поставил, — объясняет он инструк-

тору райкома Лукашину.— Ну-ка! Сколько человек в Пекашине на войну взяли? Человек шестьдесят. А поля засеяны? Сенокос уборка к концу? Да ведь это понимаешь что? Ну как если бы бабы заново шестьдесят мужиков родили...».

По характерам, по отношению к жизни, по языку проза Федора Абрамова глубоко и подлинно национальна — без аффектации, естественно и органично, как дыхание, утверждаются здесь ценности нашего национального, народного характера. И когда автор устами одного из своих героев, Лукашина, говорит, что он «смотрел на них, вслушивался в их простые, наивные слова, и сердце его изнемогало от любви и ласки к этим измученным, не знающим себе цены людям», мы с волнением вникаем в эту интонацию русской речи, издавна отождествлявшей понятия «жалеть» и «любить».

Но глубоко ошибаются критики, перетолковывающие национальное в творчестве Федора Абрамова на некий псевдорусский, пейзажный, патриархальный лад. Исследуя нравственный и духовный потенциал народа, с такой могучей очевидностью выявивший себя в войну, Ф. Абрамов заключает: «...Великая, неведомого размаху сила двигала людьми. Она, эта сила, поднимала с лежанок дряхлых стариков и старух, заставляла женщин от зари до зари надрываться на лугу. Она, эта сила, делала подrostков мужчинами, заглушала голодный крик ребенка, и она же, эта сила, привела Анфису в Партию...».

Русский национальный характер, осмысляемый Ф. Абрамовым, это — советский характер. Такова принципиальная позиция писателя. Верный правде военных лет, писатель понимает, как много значила для людей партия. Вступление в партию, комсомол — это праздник, событие в жизни и для Анфисы Петровны и для Михаила Прясляна; об этих событиях рассказывается в книге с полной, волнующей достоверностью. И столь же достоверны, человечны и жизненны образы партийных работников военной поры, тех самых «райончиков», которые делили с народом все тяготы жизни военных лет и брали на свою душу огромную ответственность. Ответственность перед фронтом, перед победой, ради нее они исповедовали одну веру, один нравственный постулат: «Нет, коммунист тот, кто может сказать — я умирал столько, сколько и вы, и даже больше, мое брюхо кричало от голода так же, как и ваше, вы ходили босые,

оборванные — и я. Всю чашу горя и страданий испил я с вами — во всем и до конца!»

Проза Федора Абрамова проникнута обостренным нравственным чувством воинствующего гуманизма и человечности, в которых сконцентрированы и ценности народного нашего характера и духовные завоевания социализма, приобщившего к сознательному историческому творчеству миллионы людей.

## 5

Обращение литературы социалистического реализма к героическому опыту отечественной истории подчинено современности, решению насущных, сегодняшних социальных и нравственных задач.

Так выявляет себя отчетливое качество современного литературного процесса, качество опять-таки традиционное для нашей литературы, но проявляющее себя в чем-то по-новому — гражданственность. Не колдовство над словом в башне из словенной кости, но кровная сопричастность к судьбам народа, его чаяниям и свершениям, открытое, осознанное служение коммунистическим идеалам — вот что одухотворяет нашу литературу в лучших ее образцах, обращается ли она к прошлому или настоящему.

Современная жизнь народа, под водительством партии воздвигнувшего развитое социалистическое общество, исключительно многогранна и сложна. Обогащается само качество народности. Иван Африканович — народ, но и академик Королев — народ, и Юрий Гагарин — тоже современный русский народ. Властен ли художественно, с достаточной силой, многообразием и убедительностью тот типический народный характер, который выражает реальную действительность развитого социализма, современную нравственную суть нашего рабочего, колхозника, интеллигента?

Вопрос этот я с особой остротой ощутил, побывав в Тольятти — центре современной советской индустрии.

Волга — сердце России, извечный символ ее. Куйбышевская же область — сердце Поволжья.

Так вот, по данным последней переписи, 72 процента населения Куйбышевской области, от века крестьянского края, живет и трудится в городах, а 28 процентов — в деревнях.

Городской, индивидуальный труд Повол-



жья предстает в ошеломляющей очевидности. На могучем Волжском автомобильном заводе как бы кожей ощущаешь гигантское ускорение современного научно-технического прогресса, задумываешься о видимых и невидимых его отзвуках, явных и тайных его влияниях буквально на все сферы и глубины социальной жизни и человеческой души.

Да не покажется парадоксальным утверждение: научно-техническая революция не только не отменяет, как говорят на Западе, но небывало обостряет все разнообразнейшие чувства и душевные потребности — от чувства природы до потребности в тончайших и трепетных человеческих отношениях.

Мне уже приходилось писать о том, что, скажем, и наша «деревенская» лирическая проза последних лет с ее эмоциональным богатством и красками земли, богатейшей языковой и изобразительной палитрой, сопереживанием природе и человеку, но в некоторых произведениях с дымкой элегии по уходящему прошлому нашей деревни — это ведь тоже своего рода реакция на научно-технический прогресс.

Жаль только, что среди произведений нашей прозы последних лет пока мало книг, утверждающих на том же уровне художественности не только историческую действительность социализма, но и принципиально новые процессы как городской, так и деревенской жизни.

В совокупности и целостности своей литература обязана выразить время в его полноте, неповторимости, в его революционном развитии.

Долг сегодняшней, текущей нашей литературы по отношению именно к новым качествам социалистической действительности, связанным с развитием социализма и научно-технической революции, особенно велик.

Скажем прямо — тому есть свои объективные причины. Трудности сегодняшней литературы отражают, по всей вероятности, относительную молодость нашей страны как страны индустриальной. Выше я уже говорил, что почти все эпические романы последних лет, исключая «военные», замкнуты на деревню. Городская индустриальная жизнь представлена в них бедно и куда менее удачно.

Прибавим к индустриальной и научно-технической молодости и быстроту перемен, с каждым годом нарастающую. Все это —

объективные трудности, которые литературе предстоит преодолеть, если она стремится к всеохватному постижению современной народной жизни в ее нынешних, а не вчерашних реалиях.

Но при всей нашей индустриальной молодости не будем забывать о том, что уже завоевано здесь советской литературой, — ведь именно она в свое время утвердила в мировом литературном процессе эстетику созидательного труда. Вспомним «Мать» Горького, героев Гладкова, Малышкина, Платонова, многочисленные романы о людях первых пятилеток, о Великой Отечественной войне, когда на первый план выдвигается именно ратный труд советских людей, труд на фронте и в тылу (к примеру, произведения Вадима Кожевникова, его повести «Особое подразделение», «Петр Рябинкин», роман «В полдень на солнечной стороне»).

Современная советская литература в соответствии с принципами социалистического реализма исследует типические характеры и обстоятельства, выражающие кардинальные закономерности общественного развития. Именно поэтому идейным, нравственным центром многих ее произведений в полном соответствии с правдой жизни был и остается образ коммуниста. Большинство достижений современной советской прозы так или иначе, прямо или косвенно связано с постижением этого типического характера, стоящего на передовых рубежах социального и нравственного прогресса, героического характера времени.

В масштабах этой статьи нет возможности охватить сколько-нибудь полно произведения нашей многонациональной литературы, где характер коммуниста на разном жизненном материале и, конечно же, с неодинаковой мерой успеха исследуется и осмысливается — об этом подробно шла речь на Всесоюзном совещании литераторов «Ум, честь и совесть нашей эпохи» в Тбилиси, в котором довелось принимать участие и мне.

Образ коммуниста в современной советской литературе объемён, он постигается литературой сразу и в социальном пространстве современности и в историческом времени. Более того, образ коммуниста наших дней нельзя постичь в литературе и вне «третьего измерения», как называл Горький будущее. Образ коммуниста требует глубинного, диалектического постижения и осмысления. Вне истории нашей страны — истории революции и гражданской

войны, времени пятилеток и Великой Отечественной войны — внутренней сути коммунистов, в том числе и коммунистов 70-х годов, нам не понять. Как не понять ее и в отрыве от сложнейших современных задач.

Трудная обязанность советской литературы — исследовать и воплотить в правдивых, крупных человеческих характерах образ коммуниста наших дней, в современных формах борьбы отстаивающего интересы партии и народа, социальный прогресс.

Литература ищет и утверждает такой характер на пересечении наших революционных традиций, героических традиций рабочего класса и всего советского народа — и сегодняшних социальных, общественных задач. Она ищет его в горниле революционно меняющейся действительности среди тех в первую очередь, кто своим трудом и устремлениями способствует социальным изменениям и преобразованиям действительности.

Важной особенностью современного взгляда литературы на роль и место коммуниста в жизни нашего общества является все возрастающий этический пафос, нравственный подход, утверждающий коммунистические нравственные начала как основополагающие в нашей жизни, в облике и поведении коммуниста, каждого настоящего советского человека. Литература показывает все возрастающее значение для общества таких человеческих качеств, как ум, честность и совесть, чувство ответственности перед людьми и обществом.

Впрочем, и здесь современная литература верна традиции. И в этом глубоко современны наши историко-революционные произведения последних лет, яростно спорившие с мнимореволюционной, а на самом деле догматической мелкобуржуазной тенденцией, отчуждавшей революционность от нравственности.

Помните спор, который ведет в «Жестокости» П. Нилина с Венькой Мальшевым ушлый журналист Узелков: «Совесть? Что касается совести, как ты понимаешь, и всякого правдоискательства, так я это предоставляю разным вульгаризаторам вроде тебя, товарищ Мальшев. Меня христианская мораль не интересует».

«Совесть, честь, порядочность мы напрасно, между прочим, игнорируем, предполагая, что они не из нашей лексики,— яростно спорит с этими устаревшими, догматическими, вульгаризаторскими представлениями герой трилогии Ю. Германа коммунист доктор Богословский.— Оно наше, только

наше... Мы работаем в мире чести, совести, порядочности, и с теми, кто этот «тихий голос совести» в себе заглушает, надобно бороться, как со всем нам враждебным».

Ибо именно коммунисты — законные наследники всех культурных, духовных богатств, выработанных человечеством, в том числе и ценностей нравственных. «Коммунистическая мораль включает основные общечеловеческие моральные нормы, которые выработаны народными массами на протяжении тысячелетий в борьбе с социальным гнетом и нравственными пороками» — записано в Программе Коммунистической партии Советского Союза.

Эти слова, органически вырастающие из всего марксистско-ленинского учения о нравственности, полностью опровергают несостоятельные попытки наших идейных противников приписать коммунистам этический релятивизм и нигилизм в вопросах нравственности.

Реальный гуманизм, как называл коммунизм К. Маркс, и есть живое осуществление и революционно действенное развитие тех лучших нравственных, истинно гуманистических ценностей, какие были накоплены человечеством в прошлом. Именно социализм и коммунизм создают необходимые социальные условия для того, чтобы общечеловеческие ценности становились нерушимыми жизненными правилами в отношениях между людьми и народами.

Мы сопрягаем нравственность с борьбой за социальное переустройство действительности. Вот почему советская литература исследует нравственную сферу жизни общества в неразрывной связи с общественной практикой строительства нового мира, постигает характеры коммунистов прежде всего в их социальной деятельности, в деле.

Конкретное проявление качества партийности сегодня как никогда, пожалуй, зависит от делового уровня коммуниста, его ума, образованности, компетентности, остроты чувства нового, способности к постоянному внутреннему развитию и совершенствованию. Коммунист не имеет права отставать от времени, он должен соответствовать все осложняющимся деловым требованиям эпохи.

Предоущение новой эпохи выражено в романе «Пути-перепутья» Ф. Абрамова, в священном, казалось бы, далекому от нас послевоенному времени. В центре романа характер секретаря Пинежского райкома партии Подрезова, исполненный подлинного

драматизма. Отношение к нему автора достаточно диалектично. Роман «Пути-перепутья» — низкий поклон Подрезову и одновременно прощание с ним. Прощание — потому что новое время потребовало и новых методов руководства, которыми Подрезов овладеть не в состоянии. Не вина, но беда Подрезова, что движение жизни опережает его. В восемь лет встав за верстак, в семнадцать завершив четырехлетнее образование, в предвоенные годы и в войну Подрезов был подлинным вожаком масс. Его волей в первую очередь коммунисты Пинеги «фронт в войну держали». Он в войну, сообщает автор, не только людей, всех лошадей в районе поименно знал. Все умел делать сам: пахать, сеять, косить, молотить, рубить лес, орудовать багром, строить дома, ходить на медведя, закидывать невод. И надо сказать, пишет Абрамов, людей это завораживало. Лучше всякой агитации действовало. Такими они и были, наши северные «районщики» незабываемых трудных военных и послевоенных лет.

В чем драма Подрезова? В чем суть его конфликта с молодым инженером Зарудным, директором местного леспромхоза, первого механизированного леспромхоза в округе? Она в том, что в лесной промышленности наступила новая пора, по сути дела пора технической революции, к чему Подрезов не готов. Революция эта означает, что и в руководстве экономикой района надо «с лошади пересесть на трактор, на автомобиль», а «окрик да кнут», говорит Зарудный, трактор и автомобиль не понимают. «Их маминым словом с места не сдвинешь...».

Необходимость глубинных перемен в самих методах партийного и хозяйственного руководства Ф. Абрамов осмысляет как неодолимую, глубоко объективную тенденцию, постоянную потребность непрерывно изменяющегося времени. Жаль только, что, глубоко реалистически нарисовав образ Подрезова, его истовость, нравственную чистоту, силу убеждений и одновременно его драму, историческую ограниченность, Ф. Абрамов не смог столь же глубоко раскрыть новый характер времени, характер Зарудного, который в романе намечен чисто символически. Он оказался трудным для писателя. А между тем характер этим предвосхищается наше время, когда партия, страна решают гигантские общественные задачи всемерной и фронтальной интенсификации экономического и научно-технического развития. Гражданское отношение к жизни, нравственное

отношение к делу, но в современных проявлениях, в соединении с сегодняшним уровнем знания и компетентности становятся все более необходимыми обществу. Именно эти качества в первую очередь привлекают нас в характерах коммунистов, открытых литературой, решающих в жизни сложнейшие задачи сочетания преимуществ социализма с достижениями научно-технической революции.

НТР выдвигает немало качественно новых социальных вопросов и человеческих проблем. Кому как не литературе, человековедению, разобраться в социально-психологической стороне НТР, в благах и подводных опасностях, которые она с собой несет? Но разобраться, памятуя, что решение этих проблем в жизни есть — оно в органическом соединении достижений НТР с преимуществами социализма.

Если внимательно всмотреться в произведения, авторы которых в последние годы и даже десятилетия шли к постижению ведущего героя современности — скажем, «Знакомьтесь, Балувев», «Иду на грозу», «Утоление жажды», «Большая руда», — нельзя не заметить, что конфликты в этих произведениях носили не только производственный (научный, технический), но в первую очередь, пожалуй, идейный, нравственный характер.

Научно-техническая революция во всем мире резко повышает в цене знания, интеллект, образованность, деловитость. В наших же условиях, условиях социализма, она столь же резко повышает в цене качества нравственные: гражданское мужество и честность, коммунистическую сознательность и убежденность, заботу об интересах не только своих, но общенародных, государственных, общественных. Качества борца за социальный и научно-технический прогресс.

Коммунистическая нравственность, включающая в себя и общечеловеческие моральные нормы, гражданская активность и сознательность личности вдруг оказываются (вдруг ли?) могучими факторами не только социального, но и производственного, экономического, научно-технического развития.

Диалектика взаимосвязи нравственного и научно-технического прогресса чрезвычайно сложна и далека от прямолинейности — литература наша еще только присматривается, примеривается, говоря всерьез, к этим взаимоотношениям в их современных формах выражения.

«Хорошо варит сталь только хороший человек», — заявляет, к примеру, один из героев пьесы Геннадия Бокарева «Сталева-ры», поставленной МХАТом. И добавляет: «Кто на работе и в драке стоит, пока ноги держат. И, главное, кто живет по совести...»

Как такой нравственный закон проявляет себя реально в процессе производства? Ответу на этот вопрос во многом и посвящен спектакль Г. Бокарева.

Пьеса «Сталева-ры» острополюемична, порой — до парадоксальности. Под огнем в ней оказывается поначалу такое человеческое качество, как... доброта. Герой пьесы подручный сталева-ры Виктор Лагутин заявляет вдруг: «Добрый быть надоело». По ходу пьесы выясняется, однако, что Виктор с присущим ему максимализмом и чисто юношеским ригоризмом воюет не столько против «добрых», сколько против «добреньких» людей. «Эх, Петя, — говорит он своему товарищу Петру Хромову, тому самому, который требует «жить по совести», — ты ведь там же, где я, живешь!.. И все наши отдельные недостатки видишь!.. А причина им одна: доброта!.. Где-то кто-то, как у нас деликатно выражаются, недоработал, а другой кто-то этот грех по доброте душевной отпустил. До следующего покаяния... Этим двоим хорошо!.. Зато сотням других плохо! Они за эту чужую доброту с процентами расплачиваются!»

Виктор пытается все эти большие проблемы жизни решать с ходу, кавалерийским наскоком, старыми методами волевого диктатора, которые и сами плоть от плоти тех же недостатков. Нравственный урок «Сталева-ры» Г. Бокарева состоит еще и в том, что, как оказывается, мало хотеть бороться с недостатками, надо еще и уметь — важна не только стратегия, но и тактика такой борьбы! Лагутину предстоит многое пережить и перечувствовать, многое понять и многому научиться, чтобы стать действительно борцом за общественный прогресс, так же как, впрочем, и герою пьесы И. Дворецкого «Человек со стороны» инженеру Чешкову.

Каждый, кто видел тот и другой спектакль, согласится положить руку на сердце, что с точки зрения законов искусства пьесы, которые легли в их основу, далеко не перво-классны. Их художественные слабости очевидны. Но — удивительная вещь! — эти обнаженно, даже оголенно публицистические пьесы покорили не только сердца режиссеров и постановщиков, причем в театрах серь-

езных, взыскательных; они покорили и зрителей. Критика не перестает спорить о них.

В чем тут дело? В снижении литературно-критических критериев? Вряд ли. Нет спору, снижение критериев, когда произведение «поднимается» прежде всего и главным образом за тему, до сих пор распространенная наша беда, причем особенно часто такие «скидки» мы делаем произведениям на «рабочую тему». Подобная снисходительность только компрометирует эту важнейшую тему, наносит немалый ущерб нашей литературе.

Не меньший вред, чем снисходительность и нетребовательность, наносит развитию литературы о современном рабочем классе и своего рода снобизм, непонимание того, что писатель очень часто идет здесь целиной, не обладая столь разработанной традиционной поэтикой, как, скажем, в «деревенской» теме, и осваивает материал, крайне трудный для искусства слова.

Так в чем же секрет успеха спектаклей «Сталева-ры» и «Человек со стороны» при очевидных литературных слабостях и того и другого? Секрет, думается, в том, что пьесы эти, являющиеся первой пристрелкой, разведкой боем, заделали тем не менее нерв времени, выявили какую-то серьезнейшую общественную потребность. И в этом — социальная зоркость их авторов.

Ведь иногда бывает крайне важно в литературе, пусть и в прямой, публицистической форме, вовремя поставить вопрос.

Виктор Лагутин ведет речь о новом качестве требовательности и о новом уровне работы, о гражданском отношении к своему делу, соответствующем нашему времени.

В ряде спектаклей — не только в «Сталева-рах» и «Человеке со стороны», но и в «Дне-деньском» в Театре имени Вахтангова, «Погоде на завтра» в «Современнике» — литература и искусство ставят на обсуждение проблему «делового человека» нашего времени.

Один из критиков, помнится, В. Акимов в «Литературной газете», сравнивал этот тип характера ни больше ни меньше как с гончаровским Штольцем. Несколько поспешное сопоставление. Ибо существует дело в значении «бизнес» — в таком случае генотипом «делового человека», но буржуазной формации и в самом деле может служить Штольц. Не будем закрывать глаза на то, что мелкобуржуазное, мещанское сознание даже в наших условиях выявляет себя в современных

штольцах — вспомним липатовского Алечкину из повести «Черный Яр».

Но издавна существовало на Руси и иное понятие «дела», родившееся еще в недрах русского демократического самосознания, — «дело» как гражданское служение людям, обществу, народу. Именно так и советские люди понимают это слово. Такой смысл был вложен, к примеру, Юрием Германом в знаменитую формулу «Дело, которому ты служишь», ставшую названием романа.

«...Если нет дела, которое любишь, которое больше тебя, больше твоих радостей, больше твоих несчастий, тогда нет смысла жить». Эти слова произносит в трифоновском романе «Утоление жажды» начальник строительства канала в пустыне Ермасов, еще один «деловой человек» нашего времени. Разве это философия Штольца с его принципами умеренности и аккуратности, с его обнаженно эгоистической, эгоцентрической иерархией ценностей?

«Нам нужны, очень нужны деловые люди социалистической формации, которые сочетали бы компетентность и предприимчивость с глубокой партийностью, с заботой об общенародных интересах», — говорил Л. И. Брежнев.

Эти слова, эта мысль очень важны для сегодняшней литературы, искусства. Жизнь в современных условиях и формах ее развития требует от нас пристального художественного исследования всей богатейшей типологии новых характеров, утверждения «делового человека социалистической формации» в качестве одного из самых положительных, жизненно необходимых героев времени. И вместе с тем — одного из самых одухотворенных, богатых внутренне характеров современности.

Подчеркнем: именно те современные герои, которые всем сердцем служат делу, людям, обладают великой тайной смысла жизни. Не случайно и тот же Ермасов, и Крылов, и Батманов, и Бахирев — «деловые люди социалистической формации» — наделены столь высоким нравственным потенциалом и одухотворенностью. Каждый из них — личность, и масштаб этой личности определяется «делом, которому они служат», которое для них не бизнес, но творчество. Я подчеркиваю: не только техническое или научное, но социальное творчество. Эти люди не только компетентны в своем деле, но и самостоятельны в нем, люди неподкупной профессиональной честности и незаурядного гражданского мужества — каждый на свой

манер. Это те самые характеры, которые в современном, нынешнем качестве развивают, говоря словами Ленина, все то «действительно лучшее, что есть в нашем социальном строе», люди, «за которых можно ручаться, что они ни слова не возьмут на веру, ни слова не скажут против совести», не побоятся «признаться ни в какой трудности» и не побоятся «никакой борьбы для достижения серьезно поставленной себе цели».

Итак, литература наша все смелее нащупывает центральный узел духовно-нравственных проблем личности в ее непростых взаимоотношениях с обществом. Все определеннее она ставит во главу угла социальную активность и гражданственность труженика, его коммунистическую сознательность, его чувство хозяина, способствуя созданию такой общественной атмосферы, чтобы (цитирую Отчетный доклад ЦК КПСС XXIV съезду партии) «каждый чувствовал себя гражданином в полном смысле этого слова, заинтересованным в общенародном деле и несущим за него свою долю ответственности».

Литература наша осваивает этот круг проблем, осмысляя в ряде произведений последнего времени современный героизм как героизм гражданского мужества, гражданской ответственности. Произведения такого рода — часто литературная разведка нового жизненного материала, порой очень трудного для эстетического освоения, когда предшествующий опыт недостаточен, а действительность сложна. Она требует от художника и специфических познаний, и незаурядной социальной мысли, и страстной гражданской ответственности, и поистине новаторского таланта.

Современная жизнь ставит перед литературой немало объективных трудностей, которые предстоит преодолеть, если она стремится к всеохватному постижению народной жизни в ее современных и исторических качествах.

Мне думается, и современная, чрезвычайно талантливая наша проза о деревне также стоит сейчас перед трудным испытанием — уже не только на цельность и прочность совести и таланта, которое она с успехом выдержала, но и на глубину социально-философской мысли, истинность ее понимания современной действительности. Проза эта от повести также двигается к роману, как бы подтверждая тем общую закономерность.

Короче, вот еще одна характерная, как мне думается, особенность литературы наших дней — все возрастающее значение социальной и философской художественной мысли. Такова наисовременнейшая тенденция, таково непереносимое условие, без которого невозможно сколько-нибудь мощное движение литературы вперед. Недостаток мысли, масштаба личности, ориентация на бездумность или на «нутро» — главный тормоз, на мой взгляд, в развитии современной литературы.

Наиболее талантливые и серьезные писатели это чувствуют и понимают. Стремясь сохранить завоеванное в изобразительности и слове, они уверенно движутся ко все более глубокому и полному осмыслению действительности, социально-политическому и нравственно-философскому.

Когда-то Л. Н. Толстой, размышляя о непереносимых условиях художественности, без которых нет и не может быть подлинной, большой литературы, писал, что «произведение искусства хорошо или дурно от того, что говорит, как говорит и насколько от души говорит художник» (разрядка моя.— Ф. К.). А для того, чтобы знать, о чем говорить художнику людям, ему надлежит быть, утверждал Толстой, «на уровне высшего образования своего века (естественно, не в школярском, а гуманистическом смыс-

ле этих слов.— Ф. К.), а главное жить не эгоистичною жизнью, а быть участником в общей жизни человечества», «говорить только о том, о чем не можешь не говорить, о том, что страстно любишь». «...Главное последнее,— подчеркивал Л. Н. Толстой,— без него, без любви к предмету, по крайней мере, без искреннего, правдивого отношения к нему, нет произведения искусства».

Эти незабвенные, мудрые мысли Л. Н. Толстого животрепещущи и важны и для современной советской литературы. Художник и сегодня немыслим без глубокой и страстной любви к своему предмету — народной жизни современности, без осмысления этой жизни на уровне высшего философского знания нашего времени, с позиций современного советского участника «в общей жизни человечества».

Лишь синтез такого рода: любви и знания народной жизни, глубокого мировоззренческого, социально-философского осмысления ее и высокого мастерства — выведет литературу социалистического реализма к новым высотам и завоеваниям. К таким произведениям, которые станут вровень с великими эпическими творениями русской и советской классики и утверждают в современном человеческом сознании нашу гуманистическую правду века.



---

---

**ВАСИЛИЙ НОВИКОВ,**  
*доктор филологических наук, профессор*



## ОБРАЗ КОММУНИСТА — ОБРАЗ НОВОГО ЧЕЛОВЕКА

I

**Н**е кануне XXV съезда КПСС в издательстве «Художественная литература» вышла в свет книга В. Озерова, посвященная важнейшей теме современности: «Коммунист наших дней в жизни и в литературе». Автор в подзаголовке определяет жанр книги: это литературно-критические и публицистические очерки.

В литературоведческом плане проблема, к которой обращается В. Озеров, для него не нова. Он занимается ею более двух десятков лет. Напомню, что его книга «Образ коммуниста в советской литературе» в свое время выдержала два издания. Да и в книгах об А. Фадееве, о Д. Фурманове, в очерке «Полвека советской литературы» (1967) В. Озеров много внимания уделял образу коммуниста как одной из центральных проблем в советской литературе, с решением которой связаны достижения и идейно-эстетические открытия выдающихся советских писателей.

Новая книга В. Озерова «Коммунист наших дней в жизни и в литературе» отличается богатством фактического материала. Автор свободно и вместе с тем тактично сопоставляет произведения, написанные на разных этапах строительства социализма. Это дает ему возможность показать живую эволюцию центрального героя нашей литературы — ведь в образе коммуниста в концентрированной форме находили воплощенные характернейшие особенности и проблемы каждого этапа революционного движения и каждого периода строительства социализма. Книга В. Озерова проникнута чувством истории, реальных сдвигов, которыми отмечено переживаемое нами время. Автор

точен в характеристике основных примет и в определении основного пафоса того или иного периода в истории нашей родины, получивших отражение в произведениях, где центральное место занимает образ «человека партии». Это чувство истории позволяет ему не только показать эволюцию образа коммуниста в советской литературе, но и охарактеризовать эстетические открытия, обогащение и развитие принципов социалистического реализма в творчестве наших писателей.

Публицистическое начало в книге В. Озерова выполняет двоякую функцию. Говоря о литературе, о новых процессах, происходящих в художественном творчестве, автор обращается непосредственно к жизненным явлениям, сопоставляет литературные образы, сюжетные ситуации, конфликты художественных произведений с героями самой действительности, с реальными процессами. И перед читателем книги В. Озерова очень наглядно вырисовывается жизненная сила искусства социалистического реализма. Движение истории определяет и движение литературы, поиски и открытия советских писателей, стремящихся выявить во всем богатстве интеллектуальное и духовное своеобразие главного героя нашего времени — строителя коммунизма. В. Озеров в своей книге как бы демонстрирует возможности марксистской методологии, марксистского социологического метода. А мы помним, с какой определенностью было подчеркнуто значение социального анализа в постановлении ЦК КПСС «О литературно-художественной критике».

Но публицистическое начало в книге

В. Озерова выполняет и вторую важную функцию. Оно позволяет автору ставить вопрос о новаторстве советской литературы в прямую и тесную связь с широким кругом общественных проблем и явлений. Автор сознательно отходит от «академической» манеры изложения, пишет страстно, не скрывая своих симпатий и антипатий. От этого выигрывает и трактовка важных проблем, которые сейчас стоят в центре внимания нашей общественной мысли, а значит, и литературы. Выигрывает и сам стиль книги. Выступая как современник больших исторических событий, автор глубоко и заинтересованно судит об этих событиях и призывает своего читателя к их серьезному осмыслению.

Это публицистическое качество достаточно полно проявилось уже в книге В. Озерова «Тревоги мира и сердце писателя» (1973) — очерках о международной литературной жизни, написанных во многом по личным впечатлениям. Кстати сказать, такой жанр у нас в литературоведении и искусствознании получает все более широкие права гражданства. Достаточно назвать книгу А. Дымшица «Звенья памяти», содержащую яркие зарисовки встреч автора с выдающимися немецкими писателями, книгу А. Караганова «Кинематографические встречи», где автор, опираясь на личные впечатления, оценивает процессы, происходящие в современном зарубежном киноискусстве...

Книга В. Озерова «Коммунист наших дней в жизни и в литературе» глубоко самобытна: автор выступает в ней и как литературовед, и как критик, и как публицист.

«Двадцатый век продемонстрировал силу и мощь народных масс, вдохновленных идеями социального прогресса, объединенных боевым авангардом — Коммунистической партией. В коммунисте люди труда видят выразителя главных своих стремлений и надежд, убежденного борца за поставленные цели, носителя высоких нравственных качеств. Коммунистические качества все заметнее становятся общенародными...

В глазах всего мира коммунист является воплощением разума истории. Люди доброй воли проникаются сознанием всемирно-исторического значения его идей и дел. Жаут, что столь же яркими, масштабными будут и образы, созданные художниками слова. Деятели литературы и искусства, в свою очередь, остро сознают эти общественные ожидания».

Автор открыто декларирует свое основное кредо и ставит перед собой задачу показать, как отражаются в литературе, в творчестве советских писателей характерные черты главного героя эпохи.

## II

В центре внимания автора книги — новые процессы, происходящие в советской литературе в период развитого социализма. Образ коммуниста — вожака и организатора масс, естественно, в связи с этим рассматривается как концентрированное отражение характерных примет того нового, что происходит в жизни.

В главе «В атмосфере творческого подъема» намечены основные линии исследования. Автор говорит и о том, что уже нами достигнуто — о морально-политическом единстве советского общества и о новых перспективах, которые открываются перед советским народом в период развернутого строительства коммунизма. Движение современной литературы исследователь рассматривает в неразрывной связи с невиданным взлетом творческой энергии масс, динамическим, неизвестным ранее истории процессом формирования нового человека, чей нравственный облик — наглядное предвестие коммунистического завтра. Это, так сказать, фокус, в котором сходятся прослеженные автором линии нашего исторического движения, нашей философии, политики и искусства.

Новый человек с его коммунистическим отношением к труду, с его коммунистическим представлением о долге, нравственности, о новых отношениях в коллективе, в семье — главный объект внимания советской литературы. Пафос утверждения нового человека — это ведущий пафос нашего искусства.

«С продвижением нашего общества по пути коммунистического строительства возрастает роль литературы и искусства в формировании мировоззрения советского человека, его нравственных убеждений, духовной культуры», — сказано Л. И. Брежневым в Отчетном докладе ЦК КПСС XXIV съезду нашей партии. «Великое дело — строительство коммунизма невозможно двигать вперед без всестороннего развития самого человека. Без высокого уровня культуры, образования, общественной сознательности, внутренней зрелости людей коммунизм невозможен, как невозможен он и без соответствующей



материально-технической базы», — подчеркнул Л. И. Брежнев в том же докладе.

История человечества не знала таких вдохновляющих задач, какие поставила перед народом партия в период зрелого социализма. И следует особо сказать, что и литература и искусство еще никогда в истории общественной жизни не решали таких грандиозных, притом осознанных, задач, какие они решают сейчас по воспитанию нового человека.

Рассматривая под этим углом зрения советскую литературу, В. Озеров ставит в центр внимания вопрос о стимулах, определяющих поведение героя. Этот на первый взгляд простой вопрос имеет важнейшее методологическое значение. Чем руководствуется герой в своих поступках? Во имя чего борется?..

Почему вступают в конфликт с руководством стройтреста бригадир Потапов и его молодые помощники, комсомольцы, в фильме «Премия»? В чем секрет того общественного резонанса, который получили пьесы И. Дворецкого «Человек со стороны» и Г. Бокарева «Сталевары», с разной степенью сценической выразительности поставленные многими театрами страны? В чем суть споров в критике о героях-«максималистах» типа Чешкова и Лагутина, о современных донкихотах и «людях с арифмометром вместо сердца»? Как к этим героям относиться? В чем они правы, а в чем ошибаются?

Касаясь острых нравственных коллизий, В. Озеров ссылается на важнейшее высказывание Ленина. В одном из писем к Горькому Ленин писал:

«Не понимая дел, нельзя понять и людей иначе, как... внешне. Т. е. можно понять психологию того или другого участника борьбы, но не *смысла* борьбы, не *значение* ее партийное и политическое»<sup>1</sup>.

В. Озеров показывает, что, раскрывая истоки поведения героя, писатель социалистического реализма тем самым исследует новые общественные отношения, типические обстоятельства, породившие определенный социально-психологический тип. Одновременно он исследует психику, духовный мир героя, характеризует индивидуальное его своеобразие, показывая, как в его действиях, чувствах, мыслях проявляются высота сознания либо, напротив, отсталость;

богатство духовного мира либо узость; светлая радость созидания, творческая сопричастность великому делу либо мещанская самовлюбленность, индивидуализм, обрекающие на изоляцию от коллектива, на мелочное самокопание и ведущие к распаду личности.

В книге В. Озерова анализируются произведения современной советской литературы, поднимающие актуальные проблемы нашей жизни. Автор обращается к смежным видам искусства — к театру (разбирая спектакль МХАТа «Сталевары»), к киноискусству (останавливаясь на фильмах «Председатель», «Твой современник», «У озера», «Премия»). Это обогащает книгу, позволяя автору показать единство современных эстетических явлений и процессов в их живом многообразии.

В литературе, по справедливому наблюдению автора книги, центральное место занимает герой нашего времени — коллективист, человек нового миропонимания. «Изображая становление всесторонне развитой личности, — пишет В. Озеров, — искусство социалистического реализма особо отмечает органичность ее производственных, общественных и «частных», человеческих стремлений и интересов. В этом проявляется сегодня единство личного и общественного». Отсюда, в частности, вытекает бескомпромиссное осуждение нашей литературой людей морально бесхребетных, «менеджеров», сколь бы ни были совершенны их технические навыки и высоки «производственные показатели» (образ Левана Хидашели в романе Г. Панджикидзе «Седьмое небо»).

При социализме нравственные ценности недопустимо отделять от материальных, заботы производства — от внимания к человеку. Живое движение этой идеи В. Озеров прослеживает, рассматривая драматургическую коллизию пьесы А. Салынского «Мария». За производственными столкновениями в пьесах И. Дворецкого «Человек со стороны», Г. Бокарева «Сталевары», в романах В. Попова «Обретишь в бою», «И это называется будни», в повестях В. Кожевникова «Петр Рябинкин», «Особое подразделение», в его романе «В полдень на солнечной стороне», в повести М. Колесникова «Право выбора», как убедительно показывает исследователь, стоят новые социальные и психологические отношения, в них решаются важнейшие проблемы современности.

Анализируя те или иные произведения,

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 47, стр. 221.

В. Озеров сохраняет строгую меру объективности. Он отнюдь не намерен прощать художественные просчеты авторам, взявшимся за «актуальную тему». Серьезные критические замечания сделаны им, например, в адрес романов В. Попова («романы В. Попова понесли немалый художественный урон из-за обилия сухих, психологически невыразительных описаний»), в адрес пьесы И. Дворецкого «Человек со стороны». Но главную свою задачу В. Озеров видит не в критике недостатков, не в выставлении «баллов» писателям, а в раскрытии ведущих тенденций литературы и искусства зрелого социализма. Он стремится показать движение художественной мысли, процесс развития литературы. И делает это успешно.

Принципиальную важность в книге В. Озерова приобретает тезис о том, что абстрактные искания «духовности» сегодня все решительнее вытесняются в нашем искусстве продуманным, гражданственно зрелым исследованием реального содержания трудовых будней, пафосом величия трудового подвига и человека труда.

Касаясь темы созидательного труда советского человека, В. Озеров подчеркивает, что принцип строгой экономической целесообразности и научной обоснованности решений стал одним из ведущих в работе нашей партии и что принцип этот утверждается в жизни и в литературе.

«Волюнтарист пытается действовать вопреки объективным законам, в угоду своим субъективистским, предвзятым представлениям; подлинные же коммунисты опираются и на объективные и на субъективные факторы. Они способны идти во главе общественного развития именно потому, что понимают объективный ход жизни; зная же, чего требует время, находят пути воздействия на ход вещей. Главный из этих путей — продуманная и целеустремленная работа людей, организаторов, специалистов, энтузиастов».

### III

Проблема подлинного, реального гуманизма советской литературы и осмысление образа коммуниста как художественного воплощения этого гуманизма (гуманизма нового, невиданного в истории человечества) разворачивается в книге В. Озерова на богатом фактическом материале. Современность естественно связывается с прошлым.

Из истории советской литературы автор выделяет произведения, в которых сюжетные ситуации, являясь как бы ступеньками жизненных коллизий, воспроизводят средствами искусства работу партии по формированию новых общественных отношений, а типические характеры героев раскрывают рост сознания народа, его движение к коммунизму. Автор показывает, какое огромное значение в советской литературе имел опыт Горького для выработки новых принципов социалистического реализма как метода, который позволяет писателю убедительно раскрыть рождение новой личности, показать роль большевика как руководителя масс («всегда с массами, во главе масс», — подчеркивает автор), художественно воссоздать облик эпохи. От «Матери» Горького В. Озеров проводит линию преемственности к «Чапаеву», «Железному потоку», «Разгрому», «Тихому Дону», «Первым радостям», «Необыкновенному лету», «Костру» и т. д.

В. Озеров обращается к сложнейшим вопросам создания нашими художниками Ленинианы, в частности к наброскам завершающих глав «Жизни Клима Самгина» (эпопея Горького, как известно, осталась неоконченной). Исследователь выписывает сцену приезда Ленина в Петроград в 1917 году.

«Ленин.

Он как-то врос в толпу, исчез, растаял в ней, но толпа стала еще грозней и как бы выросла».

«Одна только фраза, — замечает В. Озеров, — а в ней — квинтэссенция того, что легло в основу горьковской художественной концепции революции. Ведя народ в битву, сливаясь с ним, большевики становятся сильнее сами и в то же время умножают силы народные».

В. Озеров приводит ленинское определение (лаконичное и очень точное) большевистского искусства работы в массах:

«Связь с массой.

Жить в гуще.

Знать настроения.

Знать все.

Понимать массу.

Уметь подойти.

Завоевать ее абсолютное доверие.

Не оторваться руководителям от руководимой массы, авангарду от всей армии труда»<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> Ленинский сборник, XXXVI, стр. 389.

Автор книги видит здесь не только яркое ленинское слово, адекватно отражающее ленинский стиль партийной работы (всегда с массами, во главе масс), но и эстетический ключ, открывающий художникам социалистического реализма существо большевистского характера, коммунистического типа руководителя, ключ к пониманию невиданного морально-политического единства советского общества, к пониманию природы новой исторической общности людей, именуемой — советский народ. И советская литература, вооруженная таким пониманием, отразила основные этапы этого невиданного доселе исторического явления, когда народ, считавшийся прежде лишь объектом истории, превратился в ее субъект, стал перестраивать мир на основах научного социализма.

Обращаясь к истории советской литературы, В. Озеров особое внимание уделяет трем произведениям — «Разгрому» А. Фадеева, «Чапаеву» Д. Фурманова и «Как закалялась сталь» Н. Островского.

По его мнению, «Разгром» Фадеева стал выдающимся произведением социалистического реализма потому, что в нем писатель сделал новый большой и смелый шаг в изображении коммуниста, в исследовании искусства партийной работы — организаторской и воспитательной. Никто из писателей 20-х годов с такой яркостью, как Фадеев, не раскрыл внутреннюю жизнь большевика и его духовное влияние на людей, которые только начали вырываться из-под вековой эксплуатации, из-под власти собственнических, индивидуалистических пережитков. «Но ведь вырывались!» — подчеркивает автор. И начали «вырабатывать те нравственные нормы, которые получают художественное освещение уже в произведениях 30-х годов».

Сюжетные построения многих произведений советской литературы, посвященных теме революции и гражданской войны, отражают, как считает В. Озеров, природу нерушимого союза партии с народом, показывая народную среду, выдвигающую своего вожака и правофлангового революции, призванного прокладывать неизведанные маршруты.

Конкретизируя свою мысль, В. Озеров выдвигает понятие «чапаевская ситуация». Так обозначена целая глава в его книге. По мнению исследователя, Д. Фурманов в «Чапаеве» показал наихарактернейшее явление эпохи — как в ходе революции раскры-

лись, расцвели большие, дремавшие дотеле силы в народе. В историю общественной мысли, художественного прогресса советской эпохи книга Фурманова вошла как апофеоз духовной целеустремленности революционера: «Мало быть смелым воином, надо быть еще и сознательным». Комиссар и командир в «Чапаеве» сроднились, стали как бы братьями по крови. В «чапаевской ситуации», очень характерной для советской литературы и жизни советского общества, В. Озеров видит слав «силы тонкого и продуманного идейного влияния коммунистов на сознание, на душу человеческую, влияния, цель которого — всесторонний рост личности», с одной стороны, и обогащение вожаков, в том числе комиссара Клычкова, знанием души народа, военным опытом в процессе общения с такими одаренными от природы, талантливыми самородками, как Чапаев, — с другой. Взаимодействие двух начал, столь показательных для эпохи гражданской войны — народной инициативы и таланта (Чапаев) и революционной сознательности (Клычков), — реализуется в сюжете «Чапаева» как проявление творческой силы социалистической революции, как предвестие новой эпохи, когда человечество вырывается «из царства необходимости в царство свободы».

Одна из центральных в книге В. Озерова — проблема формирования цельной личности революционера. Речь идет о цельности внутренне сложной. Она противостоит «раздробленности души», мещанскому любованию собственной «противоречивостью», показной «исключительностью», то есть противостоит самгинщине и грацианщине во всех их оттенках и разновидностях.

Как невиданный феномен гармонически цельного характера коммуниста, человека новой формации В. Озеров рассматривает образ Павла Корчагина, в котором Н. Островский запечатлел самое типическое: рождение нового человека, борца, преобразующего мир, одновременно преобразующего и себя. Корчагин — натура значительная, цельная, прошедшая закалку в огне социальных битв.

«Сталь закаляется на большом огне» — эта многоемкая метафора выражает силу большевистского характера. Она стала названием одного из разделов в книге В. Озерова.

В. Озеров приводит примеры невиданного идейно-эстетического воздействия романа

Н. Островского на общественное сознание. Во время Великой Отечественной войны именем Корчагина называли танки, самолеты, корабли. Молодогвардейцы читали и перечитывали «Как закалялась сталь». На памятнике Зое Космодемьянской высечены слова клятвы Корчагина, ставшие жизненным девизом героической партизанки. После войны на самые ответственные задания идут отряды имени Островского, имени Корчагина, идут, чтобы строить КамАЗ, Саяно-Шушенскую ГЭС. «Корчагинец» — так назывался первый отряд, поехавший на БАМ. «Жизнь Николая Островского всегда будет ярким маяком для нашей молодежи», — свидетельствовал первый в мире космонавт Юрий Гагарин. А летчик-космонавт Виталий Севастьянов заявил: «В трудные послевоенные годы я, тринадцатилетний мальчишка, прочел «Как закалялась сталь». С тех пор книга всегда со мной. Она — мой спутник с юности».

Обращаясь к литературе о героическом подвиге советского народа в Великой Отечественной войне, автор сосредоточивает внимание на раскрытии писателями социальных и нравственных истоков невиданного в истории массового героизма советских людей. «Коммунисты, вперед!» — эти два слова из известного стихотворения А. Межирова рождены героической эпохой и отражают великую роль партии, возглавившей борьбу народа с фашизмом — не на жизнь, а на смерть, ибо в войне решалась судьба Октябрьской революции. Попутно отметим, что внимание к истокам подвига, раскрытие социальных и нравственных стимулов в поведении героя, авангардной роли коммунистов в бою роднит книгу В. Озерова с талантливой книгой Г. Ломидзе «Нравственные истоки подвига», выпущенной «Советским писателем» в 1975 году, к тридцатилетию победы нашей родины над фашистской Германией.

Немало внимания уделено исследователем и художественному многообразию нашей прозы о Великой Отечественной войне. Он отмечает углубление эпического и психологического начал в трилогии К. Симонова «Живые и мертвые», точно схватывает художественное своеобразие романов Ю. Бондарева «Горячий снег» и В. Богомолова «В августе сорок четвертого...». В «Блокаде» А. Чаковского исследователь отмечает масштабность изображения Ленинградской битвы, обращая особое внимание на то, что «автор правдиво показал неотдели-

мость организационно-практической работы партии, обеспечившей слаженные действия всех звеньев обороны Ленинграда, и ее воспитательной работы».

Развитие этих положений о деятельности партии в годы Великой Отечественной войны мы находим и на тех страницах книги, где идет речь о романах П. Проскурина «Судьба» и А. Иванова «Вечный зов». В. Озеров видит силу этих книг в изображении коммунистов как стойких идеологических бойцов, способных возглавить массы, а если нужно — пожертвовать жизнью во имя общих интересов. Точно характеризует В. Озеров особенности романа Й. Авижюса «Потерянный кров»: «По-шолоховски раскрывая глубокую порочность индивидуалистического «третьего пути», Авижюс использовал надежное оружие тончайшего психологического анализа для разоблачения националистической пропаганды».

Выразительные и емкие слова находит исследователь, говоря о раскрытии нашими прозаиками нравственного величия советского воина. Особенно интересен в этом плане анализ повести Б. Васильева «А зори здесь тихие...», повестей В. Быкова «Обелиск», «Дожить до рассвета», «Волчья стая».

«Ничто не страшно людям, помнящим о долге, о Родине. И в смертный час учитель Мороз хочет быть вместе со своими учениками — он не имеет права спастись в одиночку, оставив ребят в руках гитлеровцев («Обелиск»). До последней минуты рядовой советский солдат Левчук ведет бой за две жизни — женщины и ее ребенка; проявив чудеса храбрости, он спасает младенца от фашистских убийц («Волчья стая»).

Это — как всемирно известный памятник: воин-освободитель, прижавший к груди спасенного ребенка. Советское искусство разглядело великий смысл всех свершений Советской Армии — борьбу за счастье народное, за человечность».

В связи с достижениями современной советской прозы В. Озеров особо подчеркивает значение опыта М. Шолохова, Л. Леонова, К. Федина как выдающихся художников нашей эпохи, сумевших в емкой пластической форме показать движение истории, создать полнокровные характеры героев, в судьбе которых нашла художественное выражение судьба народная на основных этапах развития революции и социалистического строительства.

При анализе творчества М. Шолохова, Л. Леонова, К. Федина автор показывает,

какую огромную идейно-философскую нагрузку несут на себе образы коммунистов в их произведениях, в частности в «Тихом Доне». В едином движении идейно-художественной концепции они выполняют роль своего рода катализаторов исторического процесса, выражая глубинную правду эпохи.

Интересно трактует В. Озеров, например, образ Курилова из «Дороги на океан», значение которого слабо раскрыто советской критикой. А между тем Курилов у Л. Леонина концентрирует в себе философию века, в нем живет предощущение коммунизма, и современность для этого героя — ступень в борьбе за светлое будущее.

Весьма поучителен в истолковании В. Озерова творческий опыт К. Федина. В прошлом автор романа «Города и годы» выражал опасение, как бы рационализм большевиков-революционеров типа Курта Вана не привел к обеднению их души. Курт Ван и выглядит у него подчеркнуто однолинейным. Но при более пристальном знакомстве с типом революционера К. Федин отбрасывает свои опасения. В «Первых радостях», «Необыкновенном лете», «Костре» К. Федин раскрывает душевное богатство, красоту внутреннего мира большевиков — Рагозина, Кирилла Извекова. «На наших глазах,— пишет В. Озеров,— рождается новый тип героя жизни и искусства». Жизнь в романах К. Федина предстает в движении, в развитии, и осмыслена она с революционных, гуманных позиций.

#### IV

В. Озеров убедительно показывает углубление историзма в творчестве советских писателей, в частности, при осмыслении ими новых процессов, связанных с развитием ленинских принципов демократизма в период зрелого социализма.

Автор показывает, что борьба за укрепление ленинских норм в нашей жизни составляла самую сильную сторону советской литературы на всех этапах ее развития. В этой связи он говорит о значении «Фронта» А. Корнейчука, обличающего «горловщину» и показывающего в лице Огнева подлинного «человека партии». Касаясь романа П. Павленко «Счастье», исследователь подчеркивает исторический смысл конфликта Воропаева с Корытовым — этим бюрократом-догматиком, забывшим, что долг партийного работника — забота о людях. По мнению В. Озерова, велико было значение «Районных будней» В. Овечкина как произ-

ведения, смело вскрывавшего противоречия нашей жизни, обличавшего «борзовщину» — явление, мешавшее поступательному развитию советского общества.

В. Озеров ставит вопрос о чувстве гражданской ответственности писателя, которое особенно важно в тех случаях, когда тот концентрирует свое внимание на негативных явлениях в нашей жизни, мешающих движению народа к коммунизму. Здесь нельзя впадать в односторонность, забывать об утверждающем характере нашего искусства.

Известно, что в творчестве ряда советских писателей наблюдались крайности, когда отдельные этапы нашего движения изображались в подчеркнуто мрачных тонах либо, напротив, делалась попытка обелить явления прошлого, которые партия подвергла решительной и принципиальной критике. Анализируя сдвиги, происшедшие в современной советской литературе, В. Озеров верно замечает, что в полемике с теми, кто, впадая в односторонность, либо приносил прошлое страны, либо не желал видеть в нем недостатков, мужала советская литература. Советские писатели стремятся рассказать о тех больших сдвигах, которые произошли во всех сферах нашей жизни благодаря упорной работе партии. Отказываясь от полемически заостренных, излишне прямолинейных характеристик отнюдь не односторонних исторических ситуаций, наши художники стремятся все глубже исследовать диалектику жизни, проникать в самую суть конфликтов и противоречий как прошлого, так и настоящего, в сложную психологию подлинного героя эпохи. Именно под таким углом зрения в книге В. Озерова проанализированы романы Абрамова «Пряслины», Фоменко «Память земли», повесть Айтматова «Прощай, Гульсары!» и другие. Характеризуя эволюцию творчества В. Тендрякова, автор старается не упустить из виду, пожалуй, ни одного из реальных противоречий этого интересного писателя, способного поднимать острые проблемы, рисовать сильные характеры, предлагать неожиданные решения. В. Тендрякову неизменно сопутствовал успех тогда, когда ему удавалось выявить жизненную силу положительных героев, показать, что на их стороне моральная правда, осветить светом подлинной идейности столкновение настоящих коммунистов, таких, как Бахтияров, Кистерев, Тулулов, заботящихся о людях и развитии колхоза, с тупыми демагогами типа Бо-

жеумова («Три мешка сорной пшеницы»). Но писатель впадает, по мнению В. Озерова, в схематизм, когда в иных своих повестях в основу противопоставления героев кладет абстрактно понятые моральные категории добра и зла.

В. Озеров высоко оценивает в произведениях Ф. Абрамова, В. Фоменко, Ч. Айтматова то, что движение нашей жизни раскрыто в них в живых характерах, а представления художников о высоких идеалах и морально-нравственных ценностях человека обнаруживают себя через динамику реальных жизненных коллизий. По справедливому убеждению В. Озерова, «Пряслины», например,— это значительное произведение современной советской литературы. Зрелость Ф. Абрамова как художника особенно ярко проявилась в раскрытии богатства народной души, величия простых тружеников и, конечно же, в запоминающемся, многомерном образе секретаря райкома Подрезова.

Да, Подрезов порой действует круто. Против его «крутости» выступают работники новой, уже послевоенной формации (директор леспромхоза Зарудный, председатель колхоза Лукашин). Разумеется, Подрезов воплощает в себе тип партийного работника определенного времени. Порой ему не хватает специальных знаний, общей культуры, дальновидности. Но в критических обстоятельствах, когда решается вопрос о его судьбе, Подрезов не отступает от партийной совести. «Подрезовский дух» — принципиальность, смелость, прямоту — ценили люди в Подрезове. Все это, по мысли В. Озерова, и делает образ Подрезова, нарисованный Ф. Абрамовым, художественным открытием в советской прозе.

Подробно останавливается В. Озеров и на романе В. Фоменко «Память земли», где в ряду запоминающихся характеров особое внимание привлекает Голиков, партийный работник нового склада, многое, как полагает В. Озеров, наследующий у шолоховского Давыдова. Голиков убежден, что самый верный принцип партийной работы — это, не прибегая к администрированию, вместе с массами решать выдвигаемые самой жизнью сложные задачи. Главнейшая задача коммунистов — пробуждение активности масс. Силой идей, страстностью убеждения, личным примером! Этим пафосом воспитательной роли партии, являющейся могучим средством претворения в жизнь ленинских принципов демократии, овеяны лучшие страницы романа В. Фоменко.

К существенным завоеваниям советской литературы относит В. Озеров и лучшие вещи Ч. Айтматова. Подробно характеризуя его творческую манеру, исследователь говорит об умении писателя во всей сложности, в контрастных сопоставлениях показать движение жизни, психологически тонко и поэтично передать чувства, мысли, поступки передовых людей колхозного села (образ Танабая в повести «Прощай, Гульсары!»), убедить читателя в неизбежной победе нового, несмотря на звериную цепкость старого (образ Орозкула в «Белом пароходе»). Безусловной удачей Ч. Айтматова считает В. Озеров новую его повесть «Ранние журавли», в которой молодые ребята, подростки, движимые высоким пониманием долга — трудиться во время войны по-боевому, с полной отдачей сил (этому их учит коммунист, инвалид войны Тыналиев), обнаруживают те самые черты, которые так привлекали нас в Танабае.

В заключительной главе книги В. Озеров говорит о масштабности исторического мышления советских писателей, проявляющейся при изображении «человека миропонимания» (Горький), его героических дел и свершений на разных этапах социалистического созидания, борьбы за новое общество. Такую масштабность он обнаруживает, например, в «Полесской хронике» И. Мележа, «Соленой Пади» С. Залыгина и подробно останавливается на идейном и художественном своеобразии этих произведений. Убедительно и точно сказано в книге о таком значительном произведении нашей литературы, как «Сибирь» Г. Маркова, многоплановом и философски емком романе, населенном своеобразными, колоритно обрисованными персонажами.

«Открывая Сибирь революционную, Марков воедино связал подвиги первопроходцев, исследовавших ее богатства, и революционеров, думающих о том, как эффективнее использовать эти богатства в общественных интересах. Концепция народной жизни у Маркова — это концепция поступательного хода истории...». Именно так воспринимается, подчеркивает В. Озеров, главная мысль романа «Сибирь». Трактовка, которую получает у Маркова тема «революция и история», придает, по его мнению, подлинное современное звучание образу большевика Акимова.

Разговор в книге В. Озерова о современной советской литературе получается острым, принципиальным.

Отмечая ряд недостатков в современной советской литературе, В. Озеров говорит, в частности, о том, что в творчестве некоторых писателей дает себя знать «заземленность», фактографичность, не позволяющая писателям возвышаться до широких обобщений, создавать яркие художественные типы.

В книге В. Озерова широко представлено творчество писателей национальных республик. О советской литературе автор говорит как о многонациональной, объединенной единым стремлением.

Нельзя не почувствовать заинтересованности автора книги в поступательном движении современной советской литературы, в идейном и художественном росте наших писателей. Главное, чем привлекает книга «Коммунист наших дней в жизни и в литературе», — широко нарисованная в ней картина достижений советской литературы, целенаправленный и точный анализ художественной практики наших дней, убеждающий в том, что советские писатели углубленно, с чувством величайшей ответственности работают над темой партии, что все шире и многообразнее становится галерея изображаемых ими человеческих типов, что советская литература в своих лучших произведениях художественно отражает победную поступь коммунизма.

Пафос книги, пожалуй, особенно полно выражен в словах автора: «Духовно прекрасный, гармонически развитый — таким представляется человек коммунизма взгляду художников слова. Становление такого человека правдиво показано в лучших произведениях наших дней; его черты авторы обнаруживают у своих современников — верных сынов и дочерей Коммунистической партии, передовых советских людей.

Образ строителя коммунизма, героя новой пятилетки, убежденного борца за победоносные ленинские идеи привлекает умы и сердца поколений советских людей...»

Нужно, однако, сказать, что книга В. Озерова, написанная буквально по горячим следам новейших литературных явлений, тенденций, открытий, книга содержательная и глубокая, не свободна от отдельных недостатков. Часть из них является продолжением достоинств. Так, с моей точки зрения, автору, который в целом уместно выходит из чисто литературного ряда в сферу непосредственных явлений жизни, не всегда удается соединить в неразрывное целое публицистическое и литературоведческое начало. В отдельных местах книги отступления публицистического характера становятся как бы автономными, не вытекают непосредственно из внутренней логики анализа. О некоторых произведениях В. Озеров пишет бегло, оценивая их в перечислительно-суммарной манере, не позволяющей выявить идейно-художественное своеобразие каждого. Видимо, этот недостаток тоже является продолжением достоинств книги и обусловлен стремлением исследователя развернуть перед читателем широкую панораму движения нашей советской литературы с привлечением возможно большего количества фактов.

И все же указанные недостатки в книге В. Озерова не могут сколько-нибудь заметно повлиять на высокую оценку ее достоинств. В целом перед нами очень важный труд. Всем своим пафосом книга В. Озерова отражает движение советской литературы, ее достижения в раскрытии поступательного хода истории, в раскрытии героического облика советского народа и авангардной роли Коммунистической партии, воплощающей в себе ум, честь и совесть нашей эпохи.



РАФАЭЛЬ МУСТАФИН



## НЕМЕРКНУЩИЙ СВЕТ ПОДВИГА

К 70-летию со дня рождения Мусы Джалиля

Как волшебный клубок из сказки,  
Песни — на всем моем пути...  
Идите по следу до самой последней,  
Коль захотите меня найти!

*Муса Джалиль, «Волшебный клубок».  
Тюрьма Моабит, 12 декабря 1943 года.*

**Д**ва года спустя после окончания Отечественной войны советское консульство в Брюсселе переслало в Казань крохотную, размером в детскую ладошку тетрадь, густо исписанную бисерным почерком. На обложке ее была надпись на немецком языке:

«Моему любимому другу  
Андре Тиммермансу  
от Мусы Джалиля,  
1943—44  
Берлин».

Тетрадь содержала пятьдесят стихотворений поэта, последнее из которых написано 1 января 1944 года. Несколько раньше один из бывших военнопленных привез другую тетрадку Джалиля, в которой было шестьдесят стихотворений. Каждая строка этих стихов дышала сыновней любовью к социалистической Родине, верой в победу. В них чувствовалась неукротимая сила духа, способная преодолеть и каменную тяжесть тюрьмы, и пытки, и надругательства фашистских палачей. Но больше ничего, кроме самих этих стихов, ни о подвиге Джалиля, ни о его судьбе в то время не было известно.

Потребовались годы поисков, усилия де-

сятков людей, чтобы крупицу за крупицей собрать сведения о мужественной борьбе героев-подпольщиков во главе с Мусой Джалилем, прояснить картину бессмертного подвига.

И все-таки даже сейчас, спустя тридцать с лишним лет после победы, нельзя сказать, что мы знаем о борьбе джалильцев все. Еще не найдены стихи Джалиля, написанные в период с 1 января по 25 августа 1944 года... Не установлены имена многих героев, сражавшихся и погибших рядом с поэтом. До недавнего времени оставалось неясным, как гестапо удалось напасть на след подпольной организации. Впрочем, находки самых последних лет позволяют в какой-то мере приподнять завесу тайны над этим последним обстоятельством. Об этом-то я и хочу рассказать подробнее.

Несколько лет назад я получил письмо от своего давнего друга немецкого публициста и переводчика Леона Небенцала. Почитателям таланта Джалиля это имя хорошо знакомо. С 1956 года Небенцал ведет поиски материалов о Мусе Джалиле в архивах ГДР. Он первым нашел соседа Мусы по камере в Моабитской тюрьме бельгийского антифашиста Андре Тиммерманса. Ему удалось обнаружить подлинные документы о казни группы джалильцев. Его квалифицированны-



ми советами я постоянно руководствовался в своих поисках.

На этот раз Небенцаль писал, что ему — совершенно случайно и неожиданно для себя — удалось найти бывшего переводчика так называемого Волго-татарского легиона Фридриха Биддера. Собственно, Биддер, прочитав одну из статей Небенцала о Джалиле, опубликованную в печати ГДР, сам позвонил ему и сообщил, что знает кое-что об участии подпольщиков. Дело в том, что ему в свое время по долгу службы довелось быть в курсе следствия по делу подпольной организации и присутствовать на допросах обвиняемых. Хотя Небенцаль и предупреждал меня, что Биддер за давностью лет многое забыл, не помнит даже имен подпольщиков, я при первой же возможности выехал в ГДР.

И вот я в Белциге — маленьком провинциальном городке километрах в пятидесяти юго-западнее Берлина. Биддер, предупрежденный о моем приезде заранее, дождался меня в местном отделении Общества германо-советской дружбы (активным членом которого он состоит). Навстречу мне поднимается высокий, совершенно седой, но еще крепкий и бодрый старик с гладким, почти без морщин лбом и румяными щеками. И в том, как подчеркнуто прямо он держится и как, приветствуя меня, учтиво склоняет голову и слегка прищелкивает каблуками, чувствуется невытравимая военная выправка. Он отлично говорит по-русски, поскольку родился на территории России (еще в конце прошлого века) и учился в одной из петербургских гимназий. После войны много лет преподавал русский язык в школе. И даже сейчас, будучи пенсионером, по поручению Общества германо-советской дружбы ведет кружки русского языка и консультирует тех, кто изучает язык самостоятельно.

После первой мировой войны Биддер был бауэром, работал на ферме, доставшейся ему по наследству. Вскоре после нападения на Советский Союз его призвали в армию и направили в школу военных переводчиков в Познани. Биддер, по его собственному признанию, никогда не был поклонником Гитлера, считал нападение на Советскую Россию «большой глупостью» и вовсе не горел желанием подставлять лоб под пули русских. Ему повезло — начальник школы оказался его дальним родственником. Благодаря такой протекции Биддер осенью 1942 года получил назначение в тыловую часть, в польское

местечко Едльню (или Едино, как его обычно называли русские военнопленные), где началось формирование легиона.

Создание легионов было вынужденной мерой, к которой немецкое командование прибегло после провала блицкрига и огромных потерь в живой силе. Военнопленных загоняли в легионы буквально силой, руководствуясь чисто национальным признаком. Фашисты надеялись, что им удастся отравить сознание военнопленных националистической пропагандой и заставить их сражаться против своей родины. Вслух они разглагольствовали «об интересах малых народов России, о «независимых самостоятельных государствах». В секретных же документах цель создания легионов формулировалась более откровенно: «в целях экономии ценной арийской крови».

Для пропагандистского обеспечения этой преступной акции в Берлине были созданы так называемые национальные комитеты и посредничества, в том числе и Татарское посредничество, во главе которого нацисты поставили бывшего казанского купца белоэмигранта Шафи Алмаса. Были организованы специальные типографии, радиостанции, начался выпуск газет на национальных языках и т. д. Один из непосредственных участников этих акций, гауптштурмфюрер СС Райнер Ольшца (он заведовал в ведомстве Гимmlера разведывательной работой в легионах) уже после поражения гитлеровской Германии, будучи взят в плен нашими войсками, сделал следующее заявление:

«Образование комитетов вовсе не означало, что Германия была намерена признать в будущем независимость народов, которые они должны были представлять. Она была заинтересована только в том, чтобы, создавая видимость поддержки антисоветчиков-националистов, привлекать к себе людей и держать их у себя на поводку».

Ф. Биддер рассказывает, как из различных лагерей для военнопленных в Едино партиями по железной дороге прибывали советские люди — оборванные, изможденные, еле державшиеся на ногах от истощения. В основном это были татары и башкиры, но были среди них и представители других народностей Поволжья. После истечения карантинного срока тех, кто помоложе и по сильнее, отбирали в боевые подразделения. Остальных направляли в рабочие команды. Уже тогда, наслушавшись рассказов военнопленных о том, как с ними обра-

щались в лагерях, Биддер, по его собственным словам, «сильно сомневался», что они хотят умирать за «великую Германию».

Всего в Волго-татарском легионе было сформировано четыре батальона по тысяче с лишним человек в каждом. Намечалось создать еще до десятка батальонов. Но последовавшие вскоре события заставили гитлеровцев отказаться от этого намерения.

В середине февраля 1943 года Первый (по немецким документам — 825-й) батальон легиона отправили на Восточный фронт. Событие это особенно запомнилось Биддеру потому, что вначале он должен был ехать на фронт в составе батальона. Но в последний момент командир легиона барон фон Зиккендорф отменил этот приказ, так как Биддер был не просто переводчиком, но и преподавателем немецкого языка для татар и русского языка для немецких офицеров. Перед отправкой весь легион выстроили на плацу и начальник отдела разведки капитан Хелли произнес длинную напыщенную речь (Биддер переводил ее легионерам). Играл военный оркестр, звучали напутствия...

А через каких-нибудь десять дней в Едлино пришло сообщение, что батальон восстал в районе Витебска, перебил немецких офицеров (около ста человек) и в полном составе, с орудиями и пулеметами перешел к белорусским партизанам. Эту весть приказали держать в тайне от легионеров. Запрещалось даже обсуждать ее друг с другом. Однако все равно весь легион каким-то образом узнал об этом...

Все это мы знали, конечно, и до Биддера, так что в этом отношении его свидетельство не заключало в себе чего-то существенно нового. Но один момент в его рассказе чрезвычайно заинтересовал как меня, так и Небенцала.

Ф. Биддер рассказывает, что в один из летних дней 1943 года в отделе разведки легиона поднялся переполох. Вызван он был тем, что в расположении легиона были обнаружены антифашистские листовки. Листовки находили в бараках и раньше. Но то были примитивные призывы на листах тетрадной бумаги, переписанные от руки печатными буквами. Эти же были напечатаны на машинке и размножены затем на стеклографе или ротаторе. Анализ их содержания свидетельствовал о наличии в легионе тщательно законспирированной подпольной организации, имеющей своих вдохновителей, исполнителей и сеть распространителей. Судя

по приведенным в листовке сводкам Совинформбюро, подпольщики имели в своем распоряжении радиоприемник...

Дальнейшие поиски в трофейных немецких архивах полностью подтвердили рассказ Ф. Биддера. Так, уфимскому исследователю Н. И. Лешкину удалось найти ряд донесений отдела I-Ц Волго-татарского легиона, свидетельствующих о подпольной антифашистской деятельности в легионе. Например, в ночь на 5 декабря 1942 года фашисты задержали «на месте преступления» двадцать легионеров из Первого батальона, расклеивавших написанные от руки листовки, вышущенные в честь Дня Советской Конституции.

Надо сказать, что Муса Джалиль скорее всего не имел к этим листовкам прямого отношения. В это время он был изолирован от других военнопленных и весь декабрь содержался в отдельном бараке (гитлеровцы добивались от поэта согласия сотрудничать с ними). Но та подпольная организация, одним из звеньев которой немного позднее стала и группа Джалиля, уже действовала, выпускала листовки, готовила восстание в Первом батальоне.

Накануне отправки Первого батальона на фронт по доносу осведомителя были арестованы еще несколько подпольщиков. Однако дальнейшие события показали, что организация была значительно шире, чем предполагали гитлеровцы.

К концу марта 1943 года Второй (826-й) батальон также был подготовлен к отправке на Восточный фронт. Но буквально накануне в отдел I-Ц поступило донесение тайного агента: в батальоне зреет заговор, легионерам внушается мысль при первой же возможности перейти к своим. Несколько зачинщиков были арестованы и брошены в Бранденбургскую каторжную тюрьму. После консультации с Берлином батальон не решились посылать на восток и отправили в глубокий тыл, во Францию.

Просматривая архивы штандесамта (учреждения типа загса) округа Бранденбург, Леон Небенцаль наткнулся на такие записи:

«Юсупов Файзи, род. 5.5.1911 г. в Уфе, место прож. Уфа, профессия пекарь, казнен 2.5.1944.

Валиуллин Нигметулла, род. в 1911 г. в Питкулеве (?), место проживания Казань, профессия парикмахер, казнен 2.5.1944».

Может быть, это и есть руководители антифашистского подполья из Второго батальона?

Обнаружены в архиве и документы об уже упоминавшихся выше листовках. В рапорте на имя начальника отдела I-Ц, подписанном командиром Четвертого батальона, говорится:

«20 июня 1943 года во время обыска, проводившегося по моему приказанию, в расположении четвертой роты батальона в г. Скаржиск-Каменна, у старшины Сулейманова под матрацем была обнаружена и изъята антинемецкая листовка. Будучи допрошенным, он показал, что нашел ее в районе железнодорожного моста, который охраняла рота. Сулейманов — татарин из Уфы, в прошлом имел хорошую репутацию...»

Рапорт, как видим, не только подтверждает рассказ Биддера, но и существенно дополняет его. Оставшиеся в живых члены подпольной организации — Р. Хисамутдинов, Ф. Султанбеков, Г. Фахрутдинов и другие — рассказывают, что листовки обычно передавали по цепочке самым надежным и проверенным людям, а затем уничтожали.

Расследование показало, что за две недели до обнаружения листовки в Скаржиск-Каменна приезжал руководитель музыкальной капеллы легиона Гайнан Курмаш. Отделу немецкой разведки было известно, что Курмаш поддерживает тесную связь с поэтом Мусой Джалилем.

Ф. Биддер вспоминает, что листовка была написана по-русски и призывала легионеров готовиться ко дню «икс», то есть к восстанию против фашистов. Были привлечены опытные эксперты, которые начали по всей Польше и Германии поиск пишущей машинки, на которой отпечатан оригинал листовки. Каково же было удивление фашистских офицеров, когда вдруг выяснилось, что листовка отпечатана в министерстве пропаганды в Берлине, можно сказать, под носом самого Геббельса!

Кто именно печатал листовку, Биддер не помнит. Припоминает только, что ее отпечатал какой-то татарин, подменивший на время ночного дежурства немца, сотрудника министерства.

Более детально рассказывает об этом эпизоде уже упоминавшийся выше гауптштурмфюрер СС Райнер Ольцша. Он уточнил, что подлинник листовки отпечатан на пишущей машинке с русским шрифтом, находившейся в татарской студии радиостанции «Винета» (так называлась радиостанция при ведомст-

ве пропаганды, предназначенная для антисоветской пропаганды на языках народов СССР).

Как только гауптштурмфюреру доложили об этом, он распорядился представить ему список всех сотрудников татарской студии с агентурной характеристикой на каждого. Их было немного, всего пять-шесть человек. Присматривала за ними жена одного из татарских деятелей националистического толка, Галимджана Идриси, по имени Шамсия. Особое подозрение вызывал сотрудник студии Ахмет Симаев, который, как было установлено, поддерживал тесную связь с Мусой Джалилем. Позднее при обыске на квартире Симаева обнаружили несколько экземпляров листовок, пачки восков и радиодетали для передатчика. Все сотрудники татарской студии были сняты с работы и арестованы. В тюрьму угодила и Шамсия Идриси. Лишь с большим трудом, после многочисленных ходатайств ее мужу удалось выволочь жену из лап гестапо. Но все это было позднее, а пока за каждым из них была установлена тщательная слежка.

Те же эксперты установили, что листовки размножались на ротаторе, имевшемся в Татарском посредничестве. Заведующий типографией посредничества Раис Самат, вызванный в имперское управление безопасности, настолько перепугался, что начал даже заикаться. Чтобы выгородить себя, он всю вину свалил на сотрудников посредничества Гарифа Шабаева и Фуата Булатова. Это они, мол, часто оставались в типографии одни и вообще сочувствуют большевикам... Его показания подтвердились. Кроме того, за Самата поручился сам «президент» Шафи Алмас. Так следствие вышло на след Шабаева и Булатова — верных друзей и соратников Мусы Джалиля. Петля затягивалась все туже...

Кто же выдал непосредственно Мусу Джалиля?

На последней странице своего моабитского блокнота поэт назвал имя предателя — Махмут Ямалутдинов из Узбекистана (как выяснилось впоследствии, из Казахстана). Действительно, был такой осведомитель в легионе. Через пять лет после окончания войны он был задержан советскими следственными органами и предстал перед судом военного трибунала.

Об этом я уже писал достаточно подробно в своей книге «По следам поэта-героя».

Но дальнейшие исследования показали, что Ямалутдинов был не один. За каждым шагом Мусы Джалиля лично или через осведомителей приглядывал сам «президент» Шафи Алмас. Возле поэта постоянно отирались немецкие прихвостни Гариф Султан и Сабит Кунафин.

Совсем недавно тому же Н. И. Лешкину удалось установить имя еще одной продажной душонки. Это был Хамид Мурзагулов<sup>1</sup>. Его приставили к поэту тогда, когда прежние ищейки уже намозолили Джалилю глаза. Мурзагулов разыгрывал из себя простого деревенского парня, восхищенно ловил каждое слово Мусы и тут же доносил обо всем своим хозяевам.

2 августа 1943 года в Берлин за газетой «Идель-Урал» приехали из легиона Гайнан Курмаш и Абдулла Баттал. Они же должны были захватить и пачки антифашистских листовок. Приглядывать за ними немцы приставили Мурзагулова. Он ходил за ними по пятам, буквально не отставая ни на шаг.

Товарищи дали понять Джалилю, что за ними увязался хвост. Тогда Муса стал отвлекать Мурзагулова «на себя», чтобы облегчить положение других подпольщиков.

Однажды Мурзагулов нашел среди книг, принадлежавших Джалилю, листок, испанский по-татарски. Это было «Обращение к солдатам легиона», написанное рукой Джалиля и призывавшее готовиться к вооруженному восстанию.

Итак, петля захлестнула намертво. Но разведывательное управление все еще не спешило с арестом. Осведомители доносили, что день «икс» предположительно назначен на 14 августа.

Именно в этот день подпольщики намеревались поднять восстание, поскольку немецкое командование больше не решалось посылать на фронт части Волго-татарского легиона. План был разработан до мельчайших подробностей. В нем предусматривалось перерезать связь, захватить склады с оружием, блокировать и, если потребует, уничтожить штаб и бараки фашистских офицеров. Была договоренность о совместных действиях с расположенным по соседству армянским легионом и польскими патриотами. Джалиль тоже выехал в легион, чтобы

<sup>1</sup> Х. Мурзагулов в августе 1945 года также предстал перед судом военного трибунала. О нем и о других предателях из Татарского посредничества см. в кн. Ю. Карчевского и Н. Лешкина «Лица и маски» (Уфа, Башкирское книжное издательство, 1975).

лично принять участие в подготовке восстания.

Поэт и его товарищи были еще на свободе, но на каждого из них в имперском управлении безопасности уже имелось досье. Уточнялись списки лиц, подлежащих аресту. В составлении этих списков принимали участие и «татарские деятели» Шафи Алмас и Гариф Султан. Руководство легиона опасалось, что подпольщики перенесут день «икс» на более раннее число, и торопило с арестами. И вот 11 августа 1943 года утром из штаба верховного главнокомандования (ОКВ) пришла шифрованная телеграмма с указанием — начать превентивную акцию. В этот день были арестованы Муса Джалиль, Гайнан Курмаш, Абдулла Баттал и другие — всего примерно семьдесят—восемьдесят человек в одном лишь едлинском лагере. В этот же день прошли аресты в Берлине, Познани, Крушине и других местах, где стояли подразделения легиона. Подпольная организация была обезглавлена, восстание сорвано.

Ф. Биддер свидетельствует, что уже при первых допросах обвиняемых следствие располагало неопровержимыми доказательствами их «вины». Гестаповскому агенту удалось даже сфотографировать патриотов во время одного из подпольных заседаний. Фашисты рассчитывали таким образом вызвать замешательство среди подпольщиков, запугать их. Но добились только обратного. Поняв, что запирательство не имеет смысла, арестованные брали всю вину на себя, прямо называли себя коммунистами, держались гордо, с достоинством. «Они вели себя героически», — замечает Ф. Биддер.

Джалиль и его товарищи вступили в бой с колоссальной, хорошо отлаженной военно-бюрократической машиной гитлеровского рейха. В одном лишь Едлине, как это видно из архивных документов, были десятки тайных агентов. Некоторые из них живы и сейчас и скрываются кто в Мюнхене, кто в Нью-Йорке. У джалильцев же не было опыта конспиративной работы, они допускали грубейшие, непростительные промахи (хранили дома листовки, увлекались заседаниями по образцу мирного времени и т. д.). Но за ними была правда, у них была опора в массах.

25 августа 1944 года в берлинской тюрьме Плетцензее была казнена группа руководителей антифашистского подполья. Мусу Джалиля фашисты обезглавили в 12 часов

18 минут, пятым в группе (как это видно из сохранившихся архивных документов).

Гитлеровские палачи убили поэта и его товарищей, но они не смогли убить песню. В послевоенные годы моабитские стихи Джагилия издавались и переиздавались много десятков раз. Они переведены не только на русский, но практически на все языки народов СССР. По данным Всесоюзной книжной палаты на 1975 год, стихи Джагилия переведены на сорок восемь языков народов нашей страны.

Широко известна поэзия Джагилия и за рубежами нашей родины. Его стихи вышли

отдельными изданиями в ГДР, Венгрии, Румынии, Болгарии, Корейской Народно-Демократической Республике. Циклы его моабитских стихов переведены на английский, испанский, итальянский, французский, арабский, польский, словацкий, турецкий, язык румынских татар и другие языки (всего на тридцать два зарубежных языка).

Поэзия Джагилия и сегодня входит в каждый дом как глашатай мира и свободы, как провозвестник бессмертия идей ленинизма, как знамя пролетарского интернационализма и дружбы между народами.

Казань.



# КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ



### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

**Вл. Разумневич.** Коммунисты — совесть эпохи. — **В. Оскоцкий.** Мировосприятие художника. — **Николай Федь.** Идеалы правды и человечности.

### ПОЛИТИКА И НАУКА

**И. Ворожейкин.** Летопись атакующего класса. — **А. Колпаков.** Память человечества. — **Е. Немировский.** Читающая держава. — **В. Турбин.** Доброе начало.

## Литература и искусство

### КОММУНИСТЫ — СОВЕСТЬ ЭПОХИ

**Мария Прилежаева.** Собрание сочинений в 3-х томах. М. «Детская литература», 1973—1975.

Как-то в беседе с корреспондентом Мария Павловна Прилежаева сделала следующее признание:

— Подвигов в моей жизни не было. Была обыкновенная жизнь, в которой немало испытано потерь и лишений, горестей и утрат. Но больше счастья. Я не была комсомолкой, довольно поздно вступила в партию, а между тем содержание, смысл и радости моего существования — все связано с революцией, дано революцией.

В словах этих, произнесенных писательницей с присущей ей доверительностью, выразилось не только главное в ее собственной судьбе, но и нравственное, политическое кредо ее литературных героев.

В трех томах ее сочинений мы находим немало персонажей, жизнь которых, как и судьба самого автора, озарена революцией, новизной социальных преобразований, наполнена ощущением подлинного человеческого счастья. Ощущение это приходит не само по себе — герои добывают его в борьбе. Добывают настойчиво и вдохновенно, мучаясь и страдая, одолевая труднейшие высоты, неся на пути к цели невосполнимые утраты. Жизнь героев Прилежаевой никак не назовешь заурядной, она проходит на стремительных ветрах революционной эпохи, в гуще исторических событий,

неразрывно связана с судьбой родного народа, с судьбой страны.

Не всем из этих героев выпадает на долю проявить себя в большом деле, но каждый из них — и автор убеждает нас в этом — духовно подготовлен к подвигу, безбоязненно пойдет на любые лишения, лишь бы отстоять правое дело. В борьбе за народное счастье находят они высший смысл своей жизни.

Дорога в литературу для Марии Прилежаевой началась после того, как будущая писательница почти двадцать лет проработала на поприще советской педагогики, учительствовала в сельской школе. Она была среди тех работников просвещения, которые развернули в городе и деревне борьбу с невежеством и безграмотностью, и первое свое произведение Прилежаева посвятила тем, кого учила в школе, кому отдавала свой труд и свою любовь. В основу повести «Этот год», опубликованной в начале Великой Отечественной войны на страницах журнала «Октябрь», легли реальные факты, почерпнутые писательницей из учительской практики, а прототипом главного литературного героя стал ее ученик, боец-доброволец, отличившийся в сражении с белофиннами.

Повесть эта в собрание сочинений не по-

пала. Нет там и некоторых других ранних произведений Марии Прилежаевой — «Таня Слесарева», «С тобой товарищи» и «Над Волгой», где ставились вопросы идейно-нравственного воспитания подростка в семье и школе, ставились смело и остро, но с художественной точки зрения эти повести еще маловыразительны, лишены того обаяния непосредственности, по-детски свежего и удивленного взгляда на окружающий мир, которые составляют своеобразие прилежаевской прозы последующих лет.

Писательница взыскательно подошла к отбору произведений для трехтомника, включила в него лишь то, что выдержало проверку временем, получило высокую оценку критики и читательской общественности. Правда, не представлена здесь «Зеленая ветка мая» — одна из проникновенных, значительных и по содержанию и по широте охвата исторических событий повестей. Но не будем за это винить автора, ведь произведение увидело свет, когда печатался заключительный том сочинений Марии Прилежаевой (журнал «Юность», №№ 2, 3, 4 за 1975 год).

«Зеленая ветка мая» — повесть во многом автобиографическая, тематически она перекликается с другими повестями, созданными писательницей в самом начале творческой деятельности, когда плодотворно разрабатывалась школьная тема, и в последние годы, когда были написаны книги о революции и революционерах, о Ленине, книги, принесшие автору заслуженную популярность у многомиллионного читателя, у детей и юношества.

Судьба героини повести — мечтательной, чистой Кати Бектышевой нерасторжимо переплелась с судьбой молодой Советской республики. Предчувствием светлых перемен и новых свершений осваяны мечты и деяния героев книги. На глазах читателя новую жизнь начинает ближайшая родственница Кати «баба-Кока», Ксения Васильевна: она сумела освободиться от религиозных предрассудков, обретя веру в победу, в справедливое переустройство мира. Во многом ей помог в этом председатель сельского совета коммунист Петр Игнатьевич Смородин, обладающий даром повсюду находить хороших людей, увлекать их за собой. По-новому начинают свою жизнь и Катинины ученики, сельские ребята, которых она готовит к большой и честной жизни, к созидательной работе.

Читатель становится как бы очевидцем революционного обновления отчизны, революционного преобразования жизни, перемены судеб самых разных людей — разных по характеру и возрасту, социальному происхождению и жизненному опыту. Повествование об отдельных человеческих судьбах постепенно и естественно переходит в повествование о времени и народе, о борьбе нового мира, рожденного в пламени революции, с миром старым, уходящим, который не хочет без боя сдавать свои позиции, бьется в предсмертной агонии.

Как сложится дальнейшая судьба сельской учительницы Кати Бектышевой? Какими станут ее неутомимые и любознательные ученики? Об этом думаешь, дочитав последние страницы повести. И веришь — Катя и ее единомышленники сумеют постоять за свои идеи, за свое будущее; их жизнь будет полна благородства и смелости, как и жизнь героев прежних школьных повестей Марии Прилежаевой, с самого начала творческого пути избравшей ведущим персонажем своих произведений человека коммунистической целеустремленности, для которого нет долга выше и священнее, чем продолжать дело революции, бороться и работать с пользой для людей, для общества.

Духовной родственницей Кати Бектышевой является молодая учительница Дашенька — героиня повести «Семиклассницы», которой открывается первый том собрания сочинений. Застенчивая и скромная, она никак не может привыкнуть к тому, что ее почтительно называют Дарьей Леонидовной. Дашенька чиста, открывенна и страстно увлечена учительской работой. И эти ее увлеченность и гражданская зрелость передаются девочкам-семиклассницам, пробуждают в них высокую сознательность, помогают им расти, совершенствоваться духовно. Вместе со своими ученицами разделяет Дашенька беды и невзгоды военной години, по-дружески поддерживает их в дни суровых испытаний. В повести «Семиклассниц» писательница сумела создать образы людей новой, социалистической формации. Эти люди живут полной, щедрой жизнью, ощущая вокруг дружескую среду единомышленников. Старая учительница географии, водя указкой по карте, где обозначены Чукотка и снежная тундра, Байкал и волжские заливы, луга, казахские степи и поля Украины, рассказывает детям о нерушимом союзе республик советских, об-

щности взглядов и целей всего нашего народа: «Всюду советские люди. Мысли у нас одни, чувства одни, цели одни. Это и есть Родина... Начало же здесь», — произносит она, обращаясь ко всему классу.

Именно здесь, в школе, закладываются гражданские основы характера. Отсюда выходят в жизнь строители нового общества. И первые навыки самостоятельного труда, жизни на благо народа дает детям Учитель. Такой, как Катя Бектышева, как Дарья Леонидовна, как романтическая героиня повести «Юность Маши Строговой». Маша Строгова до конца своих дней будет помнить напутствие любимого профессора: «Строгова! Вы оправдываете фамилию. Строгая. В древние времена такие за убеждения шли на костер. Сейчас — на подвиг. На труд без пощады к себе. На любовь, которая спасает, как маяк».

Маша не только учит детей, но и сама учится. Учится у ребят. Учится у литературных героев. Учится у своего времени, у друзей. Она испытывает удивительную душевную слитность со временем, с современниками, которым доверена тяжелая и почетная миссия — отразить натиск фашизма, спасти Советскую Родину. В этот трудный период истории процесс гражданского, нравственного созревания молодого человека происходил значительно скорее и глубже. Суровая военная пора делает Машу строже и требовательнее к себе и другим, заставляет всем сердцем чувствовать тревоги и горести, поражения и победы, время властно увлекает ее за собой туда, где совершаются дела самые нужные и самые трудные.

Влюбленная в жизнь, романтически возвышенная, Маша учится постигать и теневые стороны действительности, распознавать не только друзей, но и врагов, быть с ними бесстрашной и справедливой. Война оборвала юность Маши Строговой, заставила раньше времени познать тяготы жизни. Но война не погасила в ней романтику, надежду и любовь. Маша занялась делами, которые потребовали от нее предельной самоотдачи, душевной собранности. При этом в ней сохранилось столько нежности к людям, лиризма и человечности, что сомневаться не приходится — Маша ничуть душевно не обеднела. И все лучшее, что есть в ней, еще расцветет и разовьется, как только придет Победа и мирные будни.

Романтиков, жаждущих подвига, читатель встретит и в повести «Пушкинский вальс», одном из самых лиричных произведений Марии Прилежаевой.

На первых страницах повести мы знакомимся с десятиклассницей Настей Андроновой, восторженной, счастливой девушкой — вместе со всем классом она готовится поехать на стройку в далекий незнакомый край. Мысленно она рисует прямые и широкие улицы города, первое здание которого будет построено ею. «Своему» городу, не похожему ни на один город в мире, она придумывала всевозможные, шуточные и серьезные, названия улиц: улица Айболита и улица Лайки — в честь собаки, побывавшей на ракете в космическом пространстве, площадь Космоса и улица Березовая — точно такая, как ее родная улица, куда по вечерам приходят на свидание парни и девушки, аллея Мира и улица Добряков, аллея Фантазии и улица Дружных и Смелых. Настя, радуясь, представляет, как она будет рыть котлованы, закладывать фундаменты, строить заводские цеха. «Ухлопаешь целую жизнь на эти дела! — замирая от восторга, мечтает она. — Не знаю, как кому, а мне интересно. Ничего другого я не хочу, как только строить наш город-завод, такой, как мы с Димкой вообразили. Из-за него мы и влюбились друг в друга...»

Но не пришлось Насте осуществить заветную мечту, не поехала она с одноклассниками на таежную стройку. А любовь, только что возникшая между нею и давним школьным товарищем Димой Лавровым, неожиданно дала трещину. Обстоятельства в семье сложились так, что она не смогла покинуть город, оставить мать в беде. Она пошла работать на часовой завод и там, в рабочем коллективе, обрела свое настоящее призвание, человеческую зрелость.

Страницы, рисующие многотрудный процесс возмужания юной героини, наиболее впечатляющи. С большой психологической убедительностью писательница передает, как постигает Настя рабочую профессию, как при поддержке новых друзей преодолевает тяжелый душевный кризис, крепнет морально, становится авторитетным человеком на заводе. И мелодия «Пушкинского вальса» Сергея Прокофьева, которая тревожила ее душу в последний год ученичества и радостной нежностью согревала юность, первую любовь, после долгого перерыва вдруг вновь зазвучала в маленькой



комнате, пробудила забытые чувства, которые стали теперь острее и глубже.

Переключка прошлого и настоящего постоянно присутствует в повестях Марии Прилежаевой. Книги, написанные в дни войны и в первые послевоенные годы, овеяны героинкой фронтовой жизни. В «Пушкинском вальсе» Настя мысленно нередко возвращается в тревожное военное время. О нем ей напоминает и фронтовое письмо отца, присланное семнадцать лет назад, в тот самый день, когда она родилась, и разговоры со старым часовщиком, дочь которого погибла в кровавых застенках Майда-нека, и старые, военных лет, родительские фотографии, хранящиеся в коробке вместе с самыми дорогими для нее вещами. И не только это. Героические традиции военных лет оживают в поступках Насти, в патриотическом энтузиазме ее школьных товарищей, которые в мирной жизни хотя бы найти — и находят! — место для подвига.

Глубоко и художественно достоверно рисуется духовная связь молодого современника с героями прошлых лет, с революционными делами отцов и дедов в повести «Третья Варя». Напряженный и многоплановый сюжет повествования позволил автору проследить судьбы трех Варь — женщин из одной семьи, где по давней родовой традиции каждую первую девочку в новом поколении называли Варварой. Школьница Варя Лыкова из бабушкиных дневников, почти столетней давности, узнает о славных делах своих предков и загорается желанием продолжить поиск. В семейных преданиях, в рассказах старших друзей и родственников, в воспоминаниях бывших фронтовиков она находит для себя столько неожиданного и удивительного, что героическое прошлое ощутимо приближается к ней. Варя начинает испытывать такое чувство, словно не прабабушка и мать, а она сама была участницей всех этих исторических событий.

Ни в одном из прежних произведений Мария Прилежаева не переносила действие в столь далекое прошлое, не вводила в ткань повествования столько эпизодов, происходивших на протяжении целого века. И несмотря на такой обширный исторический и географический материал, композиционно повесть выглядит стройной и цельной. Переплетение разных человеческих судеб увязано в сюжет органично — героев произведения соединяют не просто семейные узы, их объединяет любовь к стране,

к ее прошлому, к родному народу. Все три Вари — деятельные участницы всенародной исторической борьбы за новый и светлый мир.

В повести «Третья Варя» проявилась яркая грань прилежаевского дарования — способность живописать историю, проникать в дух и сущность прошлой эпохи, в жизнь и быт людей, отдаленных от нас по времени на многие десятилетия. Вошедшие во второй том повести «С берегов Медведицы», «Под северным небом» и «Начало» — убедительное тому подтверждение. Поставив в центр повествования верного ленинского соратника Михаила Ивановича Калинина, писательница поведала юному читателю о рождении в России первых революционных кружков, о создании «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», о революционных битвах трудового народа с самодержавием. Автор проявляет себя талантливым исследователем, умеющим самобытно и живо нарисовать конкретную историческую личность, показать связь времен, связь поколений. Рассказывая о духовном формировании молодого революционера Калинина, писательница стремится прежде всего отразить политическое, нравственное созревание незаурядной человеческой личности, занятой неустанным поиском истины, готовящейся к серьезной революционной работе.

Обращение к историко-революционной теме творчески обогатило писательницу, придало ее произведениям новую социальную и художественную значимость. Возросло ее литературное мастерство, расширился круг политических и нравственных проблем, поставленных в книгах.

Проникаясь думами и переживаниями любимых героев, писательница оттеняет в них недюжинный общественный темперамент, благородство и бескорыстие, высокие бойцовские качества революционера. При этом она неизменно учитывает специфику своего читателя-подростка, доходчиво и увлекательно ведет рассказ, показывая молодежи, каким должен быть наш современник, наследник и продолжатель революционного подвига.

Дать юношеству высокие образцы жизненного поведения — к этому писательница стремилась и в прежних книгах. В начале творческой деятельности она находила героев среди юных романтиков, беспокойных и ищущих. Если им чего и не хватало, так жизненного опыта, решительных поступков.

На смену этим героям пришли другие — дерзновенные и многоопытные, со сложившимся характером, наделенные способностью повести за собой на высокие дела многих молодых людей. Чаще всего это были учителя. Им приходилось действовать в сложных жизненных обстоятельствах, но они умели постоять за своих учеников, за свое дело.

Напряженный поиск положительного героя постепенно привел писательницу к созданию образа революционера, образа Ленина.

Впервые в повести «Начало» она рисует выразительный, динамичный портрет молодого Ильича, человека бесстрашной мысли, целеустремленного, отважного, одержимого революционной работой.

Вождем революции, умеющим объединить и направить силы марксистов на главное, предстает перед читателем Владимир Ильич в последующих повестях, вошедших в третий, заключительный том собрания сочинений, — «Удивительном годе», «Трех неделях покоя» и художественно-биографической эпопее «Жизнь Ленина», удостоенной республиканской литературной премии имени Н. К. Крупской.

Разные этапы ленинской жизни и борьбы отражены в этих книгах — и один (удивительный!) год, проведенный Владимиром Ильичем в ссылке в селе Шушенском, где возник замысел издания газеты «Искра»; и три недели так называемого «покоя» в Уфе, где каждый день до предела был заполнен политической борьбой, раздумьями о будущем родного народа, о революционной партии, которая должна привести трудящихся России к свержению самодержавия, к установлению в стране власти рабочих и крестьян.

Писатели не раз обращались к бессмертному образу вождя, художественно воссоздавая страницы его биографии. Мария Прилежаева сделала это по-своему, никого не повторяя; ее книги об Ильиче заняли особое место в художественной Лениниане. Писательницей многое было открыто заново. Читатель-школьник впервые получил подробный художественный рассказ о жизни Ленина, рассказ талантливый и правдивый, основанный на архивных материалах, но согретый живой поэзией чувств, писательскими переживаниями и раздумьями о фактах истории и о жизни конкретной исторической личности. Автор выступает в своих книгах знающим и чутким собесед-

ником, глубоким психологом и умелым педагогом. Владимир Ильич предстает перед юным читателем как гениальный мыслитель, вождь революции, как личность, обладающая высочайшими человеческими качествами, истинным благородством и самоотверженным бескорыстием, как человек, раз и навсегда осознавший свою цель, смысл своей борьбы. Создавая образ «самого человеческого человека», писательница побуждает молодого читателя к нравственному совершенствованию, к активизации его общественной и духовной жизни.

Книги Марии Прилежаевой знакомят читателей с соратниками Ленина, которых прежде в произведениях художественной литературы они не встречали; дети знали о них лишь из учебника истории и по мемуарам участников революции. Читатель увидит Владимира Ильича в окружении сподвижников, товарищей по борьбе, по ссылке, по эмиграции, среди шушенских крестьян или уфимских рабочих, среди солдат или студентов, среди тех, с кем вместе он готовил и совершал революцию, строил новое социалистическое общество. Встречи, разговоры с Ильичем, его партийная страстность и человечность оставляли неизгладимое впечатление, радостный след в людских сердцах и судьбах.

Впервые в нашей художественной литературе писательница запечатлела образ матери Н. К. Крупской Елизаветы Васильевны, разделившей с молодой четой Ульяновых тяготы ссылки жизни, повседневно поддерживавшей их в нелегкой работе. Страницы прилежаевских книг, рисующие Владимира Ильича в кругу семьи, среди родственников, высвечены чувством любви, нежности, чистоты. Рядом с Владимиром Ильичем в повестях мы часто видим мать, жену, брата, сестру. Искренняя заботливость друг о друге, общность интересов и убеждений, стремление помочь Владимиру Ильичу в революционной работе, поддержать его в трудную минуту — все это объединяет семью Ульяновых, сплачивает в едином желании быть полезными делу революции.

В заключительной новелле повести «Жизнь Ленина» есть такие слова:

«Выросло, возмужало созданное Лениным государство. Выросла созданная Лениным партия.

Бывали трудные времена, лихие и тяжелые годы. Вынесла все испытания Родина. Крепче, сильнее, краше становится Совет-

ский Союз. В самых дальних краях нашей Родины горят «лампочки Ильича». Электростанции, заводы и фабрики, космодромы, колхозы, совхозы, новые города, школы, клубы, театры...

Если бы мог увидеть Владимир Ильич!

Но, наверное, Ленин сказал бы:

«Не останавливайтесь. Не все достигнуто. Ведь наша цель — коммунизм».

Коммунизм — это справедливость и правда. Это общий труд на общее благо. Это

бесстрашные дороги вперед и вперед, в поисках нового. Это наша мечта о счастье и жизни красивой и благородной.

Ленин показал нам к ней путь».

Верные слова! Повести Марии Прилежевой рассказывают юному читателю о высоком смысле жизни и деятельности В. И. Ленина. Они помогают глубже осознать то, что дали советскому народу Ленин и Революция.

Вл. РАЗУМНЕВИЧ.



## МИРОВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖНИКА

Олесь Гончар. Собрание сочинений в пяти томах. М. «Художественная литература». 1973—1975.

Преимущества дистанции все-таки не оспоримы. С расстояния лет и самые памятные книги воспринимаются зачастую не так, как воспринимались прежде, в первом чтении. Время часто разрешает не только литературные споры, которые они вызывали, но и жизненные проблемы, которые поднимались или всего лишь предугадывались писателем. И тогда возвращение к давно прочитанному вдруг открывает в нем такие стороны и грани, которые раньше не были увидены вовсе, или увидены совсем не так, или не совсем так, как того заслуживали. Вот и получается, что в нынешнем твоём восприятии происходит, я бы сказал, укрупнение книги, ее конфликтов, событий, героев.

Так укрупненно воспринимаются сегодня романы, повести, рассказы Олесь Гончара, собранные в его пятитомнике, куда вошло почти все основное, что было создано писателем за без малого тридцать лет. Перечитывая произведения О. Гончара подряд, том за томом, получаешь счастливую возможность наглядней и полнее представить себе движение писательского таланта, многогранный, но цельный мир его творчества. И тем самым извлечь не только профессиональные уроки мастерства, увиденные теперь в общем контексте движения литературы за послевоенное тридцатилетие, но и идейно-нравственные уроки жизни, воплощенной в идеях и образах писателя, — и нашей современности, если говорить о романах «Тронка» и «Циклон», и давней (историко-революционная диалогия «Таврия» и «Перекоп») или недавней («Знаменосцы», роман «Человек и оружие») истории.

Колоритные особенности творческого почерка О. Гончара, его манеры и стиля крупно, вышукло обнаружили себя уже в трилогии

«Знаменосцы». «До сих пор памятно впечатление от этой первой крупной работы молодого писателя, — рассказывал Л. Новиченко в одной из статей. — Естественная, всегда волнующая радость от встречи со свежим и незаурядным талантом сочеталась с праздничным ощущением того, что вот, похоже, и начинается настоящий эпический разговор о солдате и о войне — разговор, которого мы все так нетерпеливо ожидали в прозе, в частности — в прозе украинской!» Ему же принадлежало и емкое, точное определение художественной природы трилогии: не просто роман, но «оригинальный образец романа-поэмы, своеобразный лирико-романтический эпос высокой образной концентрации».

Слово найдено! В историю многонациональной советской литературы трилогия «Знаменосцы» вошла как едва ли не самое яркое явление послевоенной прозы, типологически воплотившее родовые черты лирико-романтического стиля. Это и лирическая интонация повествования, поднимающаяся до высот гражданской патетики, и высокий настрой мыслей и чувств героев, и образная выразительность, живописная емкость, всепроникающая поэтичность фразы-панорамы и слова-детали. При всем том поэтичное и патетичное слово О. Гончара отнюдь не воспаряет над суровой правдой войны, но доносит ее во всей доподлинной, подчас жестокой реальности изнуряющих походов и кровопролитных боев.

Восприятие войны как тяжелой и зачастую даже черной работы органично присуще героям «Знаменосцев». А отсюда — и тщательная выписанность «рабочих» реалий войны. Юрий Яновский, первый «крестный отец» трилогии, ставил это в особую заслугу О. Гончару. «В «Голубом Дунае», как и в «Альпах», — писал он, — отлично даны картин-

ны современного боя; это, пожалуй, первые в украинской литературе настоящие, профессионально точные описания боев — в горах, в замках, в домах и подземельях Будапешта...»

Романтика О. Гончара вовсе не противостоит суровому реализму и даже не нейтрально соседствует с ним, но, находясь как бы в одном поле притяжения, интенсивно взаимодействует, проникает в него и в этом сочетании образует новое, синтетическое качество. Тем самым в общем многонациональном контексте советской военной прозы, как 40—50-х годов, так и современной, она сближает полярные, казалось бы, тенденции, которые вернее всего будет определить словами самого О. Гончара из речи на III съезде писателей: «вольный, широкий полет» художественной мысли и «пристальное, скрупулезное исследование действительности». Что же питает этот своеобразный синтез, или, говоря иначе, в какой мере лирико-романтический «настрой» писателя — фактор, неизбежно субъективный, отвечает объективной правде войны, драматизму ее событий и судеб?

Задавшись такими вопросами, обратим внимание на то, как органично отразилось время действия и время написания трилогии в ее образном строе, эмоциональной атмосфере, поэтическом звучании. Художественная летопись завершающего этапа Великой Отечественной войны, самими названиями частей — «Альпы», «Голубой Дунай», «Злата Прага» — очертившая географию великого освободительного похода Советской Армии, создавалась по неостывшим следам событий их непосредственным очевидцем, прямым участником, лично пережившим тот неповторимый момент мировой истории, который И. Эренбург в одной из статей 1945 года назвал «ранним утром Европы».

Светом этого утра согреты образы героев О. Гончара. Солдаты «великой армии», они видят себя «новыми людьми, людьми с мировым именем. Людьми, которые сознают свое непосредственное участие в создании мировой истории». И такое их тяготение к словам высоким, громким и звучным, не произвольно задано О. Гончаром, но безошибочно уловлено в самой атмосфере времени, которая оживает для нас и во многих других книгах советских (и не только советских) писателей, чьи идеи и образы передают то же предощущение весны 1945 года и ту же радость победы над фашизмом.

Характеризуя лирико-романтическую образность «Знаменосцев», мироощущение писателя и героев, питавшееся общественной, нравственной, эмоциональной атмосферой как последнего года войны (время действия трилогии), так и первых послевоенных лет (время ее создания), не забудем и таких, теперь уже почти тридцатилетней давности событий, как речь Черчилля в Фултоне, положившая начало «холодной войне», как появившиеся на мутной волне антисоветизма первые антиисторические фальсификации второй мировой войны. Позтизация великого ратного подвига советского народа, победителя и освободителя, имела поэтому для О. Гончара, помимо собственно эстетического, художественного, и актуальное значение политической полемики, идеологической борьбы. Создавая «историю современности», он отстаивал трилогией ее объективную правду, непререкаемые истины.

Качества эпической масштабности и поэтической выразительности мысли развиты и углублены в романе «Человек и оружие», предсказанном в «Знаменосцах» грозными видениями 1941 года. Многие главы его дают прямой повод сказать о том, что подлинному романтизму сродни не радужная идиллия, но высокий накал трагического: все, что ни происходит здесь, кажется происходящим на пределе физических сил и духовных возможностей героев.

Стоит обратиться к воспоминаниям О. Гончара о том, как «задымленные дни и освещенные пожарами ночи» войны преподали ему «курс подлинной науки жизни», показали «человека в таких обстоятельствах, где он раскрывается до конца». Об этом, вспоминает О. Гончар в книге литературно-критических статей, выступлений и этюдов «О наших писателях» (Киев, «Радянський письменник», 1972, на украинском языке), увлеченно и горячо говорили вчерашние фронтовики и завтрашние литераторы, встретившись после победы в разоренном Харькове: «Нас влекла прежде всего героика, эпический размах борьбы народа против захватчиков, высокий взлет человеческого духа. Мелкие люди, как и в повседневной жизни, — они, разумеется, встречались нередко и на фронте, но разве их следует ставить в центр событий...»

Нет оснований выводить из сказанного некие всеобщие установки, универсальные рецепты творчества, но, несомненно, что слова О. Гончара объясняют не только индивидуальные особенности его творческой

манеры, но и типологически характеризуют устремленность к идеалу, воплощенному в образе героя, которая лежит в основе романтического стиля вообще. Восклицание «какой он прекрасный!» — о человеке, совершившем подвиг самопожертвования — в его природе. Как, равным образом, в природе романтического стиля — утверждать лучшее в человеке, поставленном в жесточайшие условия. Так именно происходит в заключительных главах романа «Человек и оружие», которые заголовком «Письма из ночей окруженческих» выделены в самостоятельное художественное целое и как целое достойны того, чтобы принадлежать к лучшим образцам современной военной прозы.

Если трилогия «Знаменосцы» положила начало военной прозе О. Гончара и только вслед за ней у писателя появилось большинство рассказов о Великой Отечественной войне, то прямо противоположный путь — от рассказа к роману, от лирики к эпике, от «малой» к «большой» прозе — вел писателя к освоению современной темы. И одним из приметных рубежей на этом пути была небольшая повесть «Пусть горит огонек»; в мажорную, жизнерадостную интонацию прозы О. Гончара о современности (сопоставим с ней новеллы конца 40-х — начала 50-х годов, повесть «Микита Братусь») она внесла первые тревожные ноты. Откуда они в задушевно лирическом повествовании о любви, о красоте человеческой, что светится в жизни огоньком незатухающего маяка на Острове чаек, о романтике, которая не терпит книжных слов и театральных жестов, а одухотворяет своей скрытой поэзией повседневный, привычный мир трудовых будней?

Если вспомнить публицистику начала 50-х годов и особенно выступления комсомольской печати на морально-нравственные темы, то окажется, что острее своим они чаще всего были направлены против «накипи», «плесени» — появившегося в молодежной среде типа потребителя и прожигателя жизни, человека без твердого идейного стержня и прочной духовной основы. Литература чутко уловила это опасное явление и с тревогой заговорила о нем. Одновременно с Вовиком Гопкало (повесть «Пусть горит огонек») к читателям пришел Геннадий Куприянов из романа «Времена года» Веры Пановой. Два писателя, две разных, можно сказать, противоположных манеры письма сошлись на одном — на неприятии духовных

пустоцветов, на развенчании их потребительской легкости в отношении к жизни, эгоистического бездушия в отношении к людям. Выразительным словом «браконьер» обозначил О. Гончар и эту легкость и это бездушие. В лексику повести оно пришло не случайно. Отношением к природе, чувством природы поверяет писатель духовное содержание человека, в них находит безошибочный нравственный критерий суда над героем.

В галерее героев О. Гончара Вовик Гопкало — первый, но не последний браконьер, как в точном, прямом, так и в переносном, расширительном значении этого слова. К такому уничижительному определению человека писатель прибегнет еще не раз, и будут среди его новых браконьеров (однажды он назовет их совсем уж презрительно — «юшкоедами» и «рыбохватами») персонажи многие и разные — от закосневших в бюрократизме чинуш до расхитителей народных богатств, чьи отступления от совести оборачиваются в повести «Бригантина» (не включенной в пятитомник) преступлениями перед законом. Эта суровость и беспощадность оценок отражает все более углубляющийся в творчестве О. Гончара подход к сокровенной для него теме природы, к проблемам ее охраны и защиты. Ставя их поначалу в плане морально-этического как проблемы воспитания в человеке нравственной красоты, душевной гармонии, чувства прекрасного, писатель все более часто и остро раскрывает их социальное содержание — как неотложных задач, связанных с глубинными процессами общественного развития. В этом один из предыстоков романа в новеллах «Тронка» — первого романа О. Гончара о современности.

Годы, прошедшие после публикации «Тронки», еще более выявили значение этого романа как в литературном процессе 60-х годов, так и вообще в истории многонациональной советской литературы. Если искать аналогии, то по широте идейно-нравственных обобщений, устремленности гражданского и гуманистического пафоса, масштабности художественной мысли ближе всего «Тронке» будет, пожалуй, книга стихов «Человек» Эдуардаса Межелайтиса. Как ни различны монументальная символика, сложная ассоциативность философской «интеллектуальной» поэзии и пластичная живопись, прозрачная чистота мелодий лирико-романтической прозы, то и другое излучается одним мощным источником — обновлен-

той, обогащенной философским качеством, социально насыщенной мыслью современника.

Хотя роман О. Гончара написан задолго до того, как три заглавные буквы — НТР — вошли в философский, экономический, социологический и даже литературоведческий обиход, мы вправе отнести его к первым произведениям, которые положили начало освоению многонациональной советской литературой темы научно-технической революции. Ведь если и в век НТР «человековедение» остается неизменной задачей литературы, то главная забота писателя состоит не в чем ином, как в создании современного характера творца научно-технических достижений века.

Таковы герои «Тронки», охватывающие своим мысленным взором и приволье родной степи и необозримые просторы мира. Не только капитан дальнего плавания Дорошенко или летчик реактивной авиации Горпищенко приносят на страницы романа опаляющее дыхание мировых пространств, далеких дорог и огромных расстояний. Не в голубом ореоле видят планету совхозный летчик Сербобаба, но и с высоты «кукурузника» земля открывается ему не менее прекрасной, чем космонавту в полете. И не просто «вниз, в пыль, в жару, в развороченный земляной водоворот» направляет свою машину бульдозерист Кузьма Осадчий, но выводит ее «на просторы двадцатого века»...

Всегда предельно внимательный к духовному содержанию, нравственному потенциалу личности, О. Гончар едва ли не каждого героя романа наделяет стремлением «почти еще одну науку, может, самую глубокую, науку о том, как надо жить человеку». На что уж душа «совхозного битника» Грини Мамайчука тронута молюю житейского цинизма и фрондерского пустословия, но и он не хочет «быть придатком к собственному своему желудку», и ему важно решить: «Для чего живу? Для чего жить буду?» И тем неотступнее, напряженнее эти раздумья героев О. Гончара, что они знают: над просторами XX века простирается не сплошь голубое, безоблачное небо, немало крутых обрывов есть на земле и грозных туч над нею.

От главы к главе нарастает этот мотив тревоги за будущее мира. Верный себе О. Гончар ищет такие символические образы-обобщения, которые, вырастая из предельно конкретных ситуаций сюжета, сво-

им внутренним драматизмом отвечали бы открытому публицистическому пафосу прямых суждений героев. Такой широты символического обобщения достигает в романе образ испытательного полигона — «запретный суровый мир», вторгшийся в жизнь чабанской степи. Ракетный полигон — всего лишь «маленькая точка на Земле», но от нее берет свой стремительный разбег мысль героев романа, объемлющая судьбы поколений и народов, государств и континентов. Драма, разрывавшаяся на безвестном полигоне, дает этой масштабной мысли мощный первотолчок.

Не «сплошной атомный шлак», не «континенты-пепелища», но земля «в зелени и в цвету» и «шепот влюбленных» под весенними звездами — таким видят будущее мира герои «Тронки», преисполненные чувством социального оптимизма, которое органично присуще строителям, создателям, творцам жизни.

...Здесь я позволю себе объяснение, в общем-то не принятое в рецензиях, но в данном случае оправданное тем, что я ведь и не пишу рецензию на пятитомное собрание сочинений О. Гончара. И тем более не пишу творческий портрет писателя или очерк его пути. Всего лишь — заметки на полях пятитомника, которые, однако, составляют — так мне по крайней мере хотелось бы — монолог в защиту романтики. Нужно ли защищать романтику? И от кого, собственно?

Вернемся снова на много лет назад — к трилогии «Знаменосцы» или, точнее, к отдельным высказываниям относительно ее в критике. Да, критика безоговорочно признавала образную природу трилогии как произведения лирико-романтического плана. Больше того, тяготение О. Гончара к романтическому «преображению» мира представлялось столь же закономерным, как и стремление других писателей бытописать события войны и человеческие судьбы на войне во всей их реалистической достоверности: и то и другое воспринималось свидетельством многообразия идейно-эстетических решений темы Великой Отечественной войны, художественного богатства военной прозы, которое опирается на различие писательских индивидуальностей.

И в то же время были критики, которые «существенные недостатки» трилогии видели... в лирико-романтической, эмоционально-поэтической манере повествования как таковой: тут писателю «вменялись» в вину

и нарочитость символики, и излишества патетики, и ослабленность конфликта, и условность душевных движений, и многое-многое другое, что с фатальной будто бы неизбежностью присуще «романтическому видению мира». Вот вам и законы, самим писателем над собой признанные: можно ли говорить об уважении к ним, если художественная неполноценность их заведомо предопределена? Вот вам и многообразие, двумя крайними полюсами которого взяты «заземленный реализм» и «возвышенная романтика»: стоило ли ратовать за него, если нескрываемым предпочтением первого «полюса» второму фактически упразднялось их объявленное равноправие?

Во всем этом сказались, думается, инерция недоверия к художественной выносливости лирико-романтического повествования, сомнения в его социально-аналитических возможностях. Можно ли считать ее уже окончательно преодоленной? Вряд ли. Не секрет, что самое слово «романтический» и поныне воспринимается нередко как синоним реалистической неоснащенности повествования, бесконфликтности и мелодраматизма, идеализации событий и героев, велеречивой декларативности пафоса.

Думается, определенный ответ такого понимания лежал и на рецензии Г. Трефиловой («Новый мир», 1971, № 3), посвященной роману О. Гончара «Циклон». Нельзя сказать, что некоторые упреки в адрес романа в этом случае были бесосновательны. Не лишены, например, резона замечания об опрометчивом выборе писателем «чувствительных» слов, его срывах на сентиментальность. Однако другие замечания критика явно выдают ее недоверие к «музе романтической условности», стойкое сомнение в возможностях писателя-романтика «свою песенную летящую музу» повенчать с бытом, побратать с обыденностью. Нормативность столь категоричных суждений о романтическом стиле не может не побудить к полемике...

Бесполезно гадать, знал или не знал, предполагал или не предполагал О. Гончар, завершая роман «Человек и оружие», что он вернется еще к Богдану Колосовскому, оставленному в «Ночах окруженческих». Но в любом случае вторая встреча писателя с героем стала возможной совсем не потому, что не все духовные потенции его личности, нравственные силы характера были проявлены не до конца. Возможность попой встречи с героем предreshена дру-

гим — незаурядностью его судьбы, драматизмом ратного пути, обилием испытаний, вьшавших уже в предыдущем романе, а стало быть, и значительностью пережитого, выношенного и выстраданного. Ведь если в романе «Циклон» он, кинорежиссер, отваживается на постановку фильма о Великой Отечественной войне, о «черной одиссее окружения», где будут, однако, не «смерчи взрывов, пожараща баталей», а «раздумья о неистребимости человека», благодарная дань вечной памяти о боевых друзьях, то, значит, не поблекла с годами его «горькая, трагичнейшая лента жизни».

Если бы фильм Богдана Колосовского существовал в действительности, критика наверняка отнесла бы его к поэтическому кинематографу. И права Г. Трефилова, видя (но не всегда принимая) своеобразие романа в том, что «автор вместе с героем... переключен в план «десятой музы» и мыслит эпизодом и кадром крупномасштабной романтической кинопоэмы». Цепная реакция интенсивно, бурно переживаемого лирического чувства, направляя в романе движение сюжета и развитие характеров, влечет за собой широкий поток образов-символов, образов-аллегорий, образов-ассоциаций. Заражаясь реалиями действительности, отталкиваясь от конкретного факта или события, они не всегда воспроизводят их в доподлинных «формах самой жизни», но сгущают, преобразуют эти формы экспрессивной силой эмоционального переживания. Так, например, романтическая поэтика повествования допускает творение легенды непосредственно в ходе сюжета, позволяет и превышать предел условности в сценах, переключающих реальности бытия в монументальную символику, связанную со своим изначальным импульсом — исходным жизненным фактом — не столько прямой событийной, сколько опосредствованной, ассоциативной связью.

Резкость переходов от одних сюжетных пластов к другим, на взгляд Г. Трефиловой, например, обнаруживает лишь «преднамеренную жанровую неопределенность» повествования, вскрывает в нем «недостаточность эстетического единства». Между тем эстетическое единство и определенность жанра — понятия близкого, но не синонимичного ряда. Единство романа «Циклон» достигается не столько видимым развитием действия, сколько сокрытым движением философского подтекста, и опирается не на прямую связь внешних событий, но на

опосредствованную связь внутренних сцеплений. «Не будем бояться условностей, символов», — словно бы на этот счет предостерегает кинооператор, ратуя за «переключку времен», оживляемую на экране. Она-то и важна в первую очередь писателю, коль скоро и роман «Циклон» написан о том же самом, о чем должен быть фильм, снимаемый героями: об «эстафете человеческого», которая передается от поколения к поколению.

Такова идея, материализованная в самой композиции повествования, которое можно уподобить открытой строительной площадке: как рост здания ввысь, от фундамента до крыши, звено за звеном прослеживаем мы в романе изнутри раскрытый процесс образотворчества. Сначала — возникновение, кристаллизация замысла будущего фильма, обострившие, напрягавшие память, вызвавшие в ней поток картин из давнего, пережитого. Затем — воплощение, реализация этого замысла в отснятых кинокадрах, которым предстоит «не просто воссоздать еще один эпизод, дать еще одно экранное зрелище», но стать голосом, «болью и гневом воскресших, свидетельством и предостережением». И наконец, перепроверка, подтверждение воплощенного замысла жизнью в главах, где метафорический циклон переключается с циклоном в прямом смысле слова: с разбушевавшейся стихией природы, ураганом и наводнением. В борьбе с ними нерасторжимая связь времен и поколений перестает быть только понятием, обретает силу непосредственного действия, в котором героические традиции народной истории, воспринятые и унаследованные современностью, получают наглядное и полное проявление. И потому не просто буйство стихии или размахистость красок сами по себе волнуют писателя в заключительных главах романа, просвеченных величием подвига и омраченных трагедией смерти. Беспокойная мысль

об искусстве, о призвании таланта, о самоотречении его в творчестве и здесь упрямо пробивает себе дорогу в хаосе ливня, потока, бури. Не расхожая банальность тиша «искусство требует жертв», но утверждение высокого гражданского предназначения искусства венчает эстетическую концепцию творчества, отстаиваемую героями романа.

Не будем отождествлять их раздумья с мыслями самого писателя: и кинорежиссер Богдан Колосовский и оператор Сергей Тавченко не двойники автора, но его создания. Однако несомненно, что многое из сокровенного и заветного для него лично О. Гончар передал им. Защищая в искусстве свое, особенное, герои романа мыслят по самобытным законам образотворчества, которому органично присуще поэтическое восприятие, масштабное видение мира и человека в мире. В контексте такого восприятия и видения роль романтики отнюдь не утилитарна или служебна. Не волшебная палочка-выручалочка, призванная сокрыть, утаить от непроницательных читателей несовершенство реализма, но характер и тип художественной мысли, внутреннее качество, которое вернее всего будет назвать крылатостью, — такой утверждают романтику герои О. Гончара.

Как, впрочем, утверждает ее и сам О. Гончар, если вспомнить его «слово о романтике» на третьем писательском съезде: «Говоря о стилевых течениях нашей литературы, хочется подчеркнуть, что романтика — не прихоть писателя, а его мировосприятие, выражение его творческой индивидуальности, и, как всякое иное восприятие жизни, оно способно выразить правду народной души, правду национального характера».

Глубокую правоту писателя подтверждает его собственное творчество, представленное в пятитомном собрании сочинений.

**В. ОСКОЦКИЙ.**



## ИДЕАЛЫ ПРАВДЫ И ЧЕЛОВЕЧНОСТИ

Л. Снорино. Мариэтта Шагинян — художник. М. «Советский писатель». 1975. 358 стр.

Не так уж балует нас нынешняя наука о литературе книгами о творчестве того или иного современного писателя. Все больше появляется работ «на тему», «о проблемах», преследующих какую-нибудь специальную цель. Много выходит в свет и всякого рода коллективных трудов, сборни-

ков статей, собранных под одной обложкой, речей на симпозиумах, конференциях и т. д. И то правда: без подобного этому критико-информационного материала трудно изучать и объяснять тенденции и своеобразие литературного процесса определенного периода.



Но также неоспорим и тот факт, что всесторонний анализ творчества писателя, рассказ о его творческих связях, выявление роли и места в развитии литературы дает не менее (а иногда более) полное представление и о художественном климате времени, состоянии духовной культуры общества, и о движении самой жизни. Довольно рискованно судить о флоре и фауне океана по капле воды, но можно с полной уверенностью говорить о них, изучив наиболее примечательное в нем. То же можно сказать и о комплексном исследовании творчества писателя.

К явлениям такого рода следует отнести и работу известного литературного критика Л. Скорино «Мариэтта Шагинян — художник», которая знакомит читателя с жизнью и творчеством писательницы, принадлежащей к славной плеяде начинающих новой, советской литературы. М. Шагинян — подчеркивается мысль, к которой автор исследования будет много раз возвращаться — шла трудной дорогой поисков, отважного и целеустремленного познания реальных процессов жизни, дорогой новаторских открытий, обогащающих метод социалистического реализма. Художник большой и оригинальный, она всегда была и остается связанной неразрывными узами со своим временем: ее творческие искания обусловлены исторической новизной, внесенной Октябрьской революцией также и в духовное бытие человека — «волей к единству жизни», «слиянием познания жизни с деланием жизни» (М. Шагинян).

Характерной особенностью исследовательского начала Л. Скорино является стремление проследить творчество писательницы в движении и развитии, в тесной связи с духом эпохи и реальными событиями. Критик знает: люди — порождение времени и вырывать их из сферы, в которой они действуют, значит лишать их подлинной сущности, преувеличивать или же, напротив, преуменьшать их роль и значение в общественном процессе.

Начальный период творческого пути М. Шагинян был довольно сложным. В годы разгула реакции, после поражения революции 1905 года, она попадает под влияние идеалистических и религиозных воззрений, сближается с Мережковским, Зинаидой Гиппиус, Философовым, вместе с ними участвует в «искании церкви». Влияние «старших символистов» отчетливо проявилось на ее первой книге стихов («Первые встечи»,

1909), в которой доминируют мистические мотивы. Сложна и противоречива также была публицистическая деятельность молодой писательницы в эти годы.

Но ищущая, напряженная мысль М. Шагинян все активнее вступает в противоречие с символистской оболочкой, все настойчивее ставит она вопросы: что такое человек, в чем смысл его жизни, чем эту жизнь можно оправдать? В новой книге стихов «Orientalia» (1912) подкупает чувство радости бытия, богатство красок реального мира, подлинность переживаний, хотя религиозно-мистические настроения здесь еще давали о себе знать. Постепенно, но неуклонно в творчестве М. Шагинян побеждает реалистическое начало, вытеснявшее все туманное, декадентское. Процесс этот был далеко не легким: в известной мере сказывалась схоластика воспитания; писательница ошибалась, колебалась, однако она упорно искала своего, настоящего и все четче улавливала ритмы времени, настойчиво овладевая реалистическим методом.

И если иному ученому-скептику покажется уж слишком противоречивым шагиняновское «начало начал», то и он не может не согласиться с выводом Л. Скорино о неоспоримом и так отчетливо проявившемся достоинстве большинства ранних работ М. Шагинян — душевной взволнованности и искренности.

Натура страстная, порою увлекающаяся до самозабвения, Мариэтта Шагинян в сложной обстановке того времени не скрывает своих симпатий и антипатий, а смело и решительно высказывает их.

В связи с этим представляют чрезвычайный интерес те страницы работы Л. Скорино, на которых освещается полемика вокруг постановки «Бесов» Достоевского в Московском Художественном театре в 1913 году.

Известно, что, узнав об инсценировке «Бесов», Горький выступил со статьей «О «карамазовщине», в которой ополчился против «пропаганды социального пессимизма», против попыток остановить внимание общества на «гнойных язвах»; подверг резкой критике ту литературу, которая «заражала, внушая отвращение к жизни, к человеку...» Между тем, писал он, «нам больше, чем кому-либо, необходимо духовное здоровье, бодрость, вера в творческие силы разума и воли». Против Горького особенно рьяно выступили реакционные писатели, которые, целясь в литературу, по существу стреляли в революцию.

Мариэтта Шагинян решительно встала на сторону Горького и, таким образом, подняла голос протеста против «страдальческого символизма» Достоевского, против попыток апологии страдания, против реакционных сторон мировоззрения и творчества великого, но крайне противоречивого художника.

Знаменательно, что и в наше время буржуазные идеологи пытаются опереться на слабые стороны творчества Достоевского, использовать его в борьбе против социализма и коммунизма.

Новая инсценировка «Бесов», осуществленная итальянским телевидением в 1972 году, и апологетическая статья ревизиониста Витторлио Страда вновь продемонстрировали, что спор «С кем ты? С реакцией или с революцией?» не отошел в историю. «Решающий выбор нашего времени, — отмечает автор книги о М. Шагинян, — с революцией или с реакцией — должны были делать современники на разных этапах истории XX века. На заре разгоравшихся социальных битв в канун Октябрьской революции этот вопрос встал перед целым поколением».

Открытые выступления против сил реакции, разрыв с символистами, исследовательская работа о Гёте и роман «Своя судьба» завершают предоктябрьский период идейного и художественного развития М. Шагинян. Начинается новый этап в ее творческой биографии — служение революции.

«Уже первыми произведениями послеоктябрьского периода, — читаем в книге Л. Скорино, — писательница ближе всего была к тому лагерю советской литературы, где находились М. Горький, А. Серафимович, Д. Фурманов, А. Фадеев и другие, и во многом поемизировала с художниками, которые воспевали стихию революции».

Одновременно с художественным освоением мира М. Шагинян стремится теоретически осмыслить некоторые идейные и творческие проблемы, характерные для ее времени.

В первое десятилетие после революции со страниц печатных органов нередко выливались потоки рифмованного и нерифмованного сочинительства, преподносимого под видом новаторства, оказавшегося на поверку всего-навсего ничем не подкрепленной претензией на вождизм в литературе. Герои подобных сочинений клекотали лжестрестями, были напитаны ложной мудростью, их недоступность для широкого читателя

шла не от душевной сложности, а от стилистически-конструктивной зауми.

Разумеется, такого рода произведения оказались не в состоянии раскрыть правду революционной действительности, воссоздать типические характеры в типических обстоятельствах. Их язык, весь их образный строй от начала и до конца воспринимается как искусственно сконструированный, нарочитый и откровенно манерный. Миропонимание и мироощущение их создателей не вызывают отклика в душе читателя, как вызывают его подлинно самобытные произведения. Оригинальность и изощренность сами по себе — ничто...

Мариэтте Шагинян было чуждо подобное лжетворчество, напрочь отторгнутое от ощущений, мыслей и действий современников. Она восхищалась героями, выхваченными из бурного потока революционной действительности, и при этом всегда была готова протянуть для дружеского пожатия руку тем, кто вставал под красные знамена победившего народа. Среди них был и Андрей Белый, сыгравший определенную роль в судьбе писательницы. Поэт сложный и во многом противоречивый, А. Белый нашел в себе силы порвать с прошлым, хотя его поэтическая лира звучала все так же бесстрастно — холодно-созерцательная лирика поэта была насыщена отвлеченными, абстрактными формулами, его даже наиболее удачные произведения утрачивали признаки национального своеобразия. Стихи, написанные современником грандиозных социальных потрясений в России, стали невыразительными условными знаками этих потрясений, потому что в них мало исторически-конкретного, а еще меньше самобытно-народного. Здесь уместно напомнить и ту резко отрицательную характеристику, которую давал М. Горький послереволюционной прозе А. Белого.

В книге Л. Скорино А. Белому отводится много страниц. Но его поэтическое наследие, по сути, не затрагивается. В основном речь идет о его литературно-общественной деятельности после Октября, и таким образом облик А. Белого получает одностороннее освещение, несколько идеализируется — исследовательница упустила из виду существо его творчества.

Этого никак не скажешь об изображении главного героя книги Л. Скорино — Мариэтты Сергеевны Шагинян. Личность художника, ее время, ее творчество неразрывно слиты в анализе. Л. Скорино дает широкое

представление о росте художнического мастерства Шагинян и о духовном росте ее личности.

Страстным, умным исследователем жизненного материала приходит Шагинян к 30-м годам, когда создает свой роман «Гидроцентральный». Советская литература к этому времени прочно завоевала мировое признание, гордилась великим М. Горьким, А. Серафимовичем, В. Маяковским, А. Толстым, Д. Фурмановым, Л. Леоновым, А. Фадеевым, М. Шолоховым. Книги этих писателей — широкая, многоплановая картина, полная драматизма классовых битв, и народ в ней выступает как могучая и действенная сила истории.

Такой действенной силой являются и представители трудового народа в романе «Гидроцентральный». В книге Л. Скорино глава, посвященная анализу этого произведения, пожалуй, одна из наиболее ярких как по умению показать процесс освоения писательницей жизненного материала, так и по способности критика выявить своеобразие мастерства художника, проследить процесс создания художественных образов. «Гидроцентральный», показывает исследовательница, — роман не только, так сказать, производственный, но, что характерно для всего творчества Маризтты Шагинян, и роман философский. Драматизм, напряжение событий, происходящих на строительстве гидростанции, подчинены задаче показать столкновение двух резко противоположных, более того, враждебных и взаимоисключающих взглядов на жизнь — творческого, революционного и старого, косного, собственнического. Строительный участок превращается в плацдарм схватки старого с новым. Советские люди, труженики и герои первой пятилетки, вступают в единоборство с мещанством, с хищным индивидуализмом собственников. Герои делятся на два лагеря по признаку их отношения к революции, к социалистическому созиданию. Все содержание романа и сама его композиция подчеркивают типическую черту нового времени — старый мир отступает по всей линии фронта. Его герои идейно и социально мельчают. На первый план вышли новые силы — строители социализма. Инженеры и рабочие, интеллигенты разных профессий, партийные работники ведут решительное наступление на остатки старого мира.

Именно эти люди по праву стали хозяевами жизни, выступили носителями высшей справедливости. В «Гидроцентрали» во мно-

гом воплотилась идея писательницы о сближении литературы с правдой жизни. Исследование процесса взаимодействия правды художественного образа и правды жизни, отстаивание истины вообще характерно для творческой деятельности М. Шагинян. В этом проявилась ее верность лучшим традициям передовой отечественной литературы.

Потеря правды художником равна потере дарования, грозит гибелью всем его благим начинаниям. Да и не может свершить блага человек, волю или невольно примирившийся с кривдой. Конечно, правда не есть нечто раз и навсегда данное, застывшее, правда — понятие историческое. В монографии, посвященной Гёте, писательница подчеркивает: «Для Гёте правда является акти в н ы м, а не пассивным началом... то есть такой реальностью, которую надо искать, желать осуществить, завоевывать, видеть впереди себя». И в подтверждение своей мысли о том, что правду «нельзя схватить одним созерцанием», М. Шагинян приводит слова великого поэта: «...недостаточно знать, — нужно еще применять; недостаточно хотеть, надо еще действовать».

В лучших своих работах М. Шагинян судит о реальной действительности и о людях с точки зрения высших идеалов правды и человечности. Да, правда делает искусство действенным, составляет смысл всей деятельности художника, роднит его с народными массами, доносит его мысли и образы до читательских глубин.

Беззаветное служение советских художников правде проложило советской литературе и искусству широкий путь всемирного признания их выдающихся заслуг в развитии общественной и художественной мысли.

Важно отметить, что критик рассматривает творчество М. Шагинян не только на фоне отечественного литературного процесса, но и на фоне мировой культурной традиции.

Таковы, в частности, страницы, посвященные анализу произведений о Гёте и чешском композиторе XVIII века Йозефе Мыслевичке, в которых (как и в ряде других работ) М. Шагинян стремится выявить основные черты, присущие художникам такого крупного масштаба: гигантский труд во многих художественных областях, могучую тягу к реализму, к отражению правды жизни, дух глубокой прогрессивности в творчестве и, главное, — «связь со всеми передо-

выми революционными традициями своего времени, постоянное ощущение будущего» (М. Шагинян).

А рядом со всем этим возникает, звучит сквозная тема всей творческой деятельности Мариэтты Шагинян — тема творческой личности громадного духовного масштаба, тема личности и истории, концепция личности вообще. Та тема, которая найдет свое наибольшее развитие в ее Лениниане — в статьях и очерках разных лет, в романах «Семья Ульяновых» (1938—1957) и «Первая Всероссийская» (1965), в лирико-философских очерках «Четыре урока у Ленина» (1970).

Как бы расширяя и углубляя наши знания о тетралогии, посвященной ленинской теме, Л. Скорино прослеживает, как рождался и вызревал замысел темы, показывает методу работы писательницы над историческим романом, принцип отбора материала. «Обращение к образу Ленина, — читаем в рассматриваемой книге, — к его жизни, к его времени неизменно выдвигает перед художником-реалистом сложные и ответственные творческие задачи. Узловая проблема реалистического повествования, раскрытие многообразного взаимодействия героя и эпохи, социальной среды и отдельного человека приобретает здесь новый, небывалый аспект: не только эпоха определяет формирование личности, но и личность накладывает неизгладимый отпечаток на весь облик своего времени, наиболее верно и точно выразив главные тенденции развития исторического процесса». С этих позиций и анализирует Л. Скорино произведения писательницы на ленинскую тему, явившиеся результатом упорного труда в течение десятилетий.

Итак, личность и история, человек и социальная среда, герой и эпоха, гений и народ... Эти проблемы встали перед М. Шагинян, прикоснувшейся к великой теме. Далеко не каждый, даже опытный, мастер дерзнет на такое исследование.

Мариэтта Шагинян — дерзнула. Всякий, кто читал ее статьи и романы ленинского цикла, кто знаком с «самой трудной, самой увлекательной книгой» — «Четыре урока у Ленина», — знает, как много удалось писательнице сделать. И нельзя не согласиться с утверждением Л. Скорино, что тетралогия о Ленине является «вершиной творческих исканий Мариэтты Шагинян».

В свое время Ларошфуко заметил, что достоинство людей, подобно плодам, имеет

свою пору. Не оспаривая это остроумное замечание, добавим — бывают исключения из общих правил. В сфере творчества сохранить достоинство в течение долгой жизни — более чем подвиг, это свидетельство постоянного движения вверх к высшей ступени познания, это неустанное художественное постижение и мира окружающего и индивидуально-человеческого мира.

Тому пример — художественная практика Мариэтты Сергеевны Шагинян. Ее судьба неразрывно связана с развитием социалистической культуры, неотделима от истории родного народа. Успех М. Шагинян почти всегда был политическим. Это значит, что писательница близко стояла к жизни, жила интересами общества. В этом секрет ее популярности, в этом своеобразие ее художественного дарования. Не случайно, осмысляя опыт советской литературы, М. Шагинян с полным правом подчеркивала мысль о том, что наша литература уже в начале своего пути «обладала великой действительностью именно потому, что не была только фактографична. Она — и это ярко выделяет ее в те бессмертные годы, когда шла организация нового строя на Земле, — она мыслила широким планом, была проблемна, выявляла проблематику своих больших тем, — и потому могла вести, помогать пониманию нового, стать «частью общепролетарского дела»...».

В дни, когда пишется эта рецензия, завершено многотомное издание сочинений М. Шагинян. Какое разнообразие тем и жанров! И на всем этом лежит печать громадного труда, оплодотворенного любовью к советской родине, к своему народу, к человеку. Целая галерея лиц, исторических и вымышленных; непрерывная цепь событий, сыгравших решающую роль в жизни страны; монографические исследования, посвященные крупным художникам, — да предостаточно и этого, чтобы понять широту охвата действительности и глубину замыслов этой самобытной писательницы. Девятитомник М. Шагинян — это история в образах, летопись жизни общества на протяжении более полувекового отрезка времени — от начала века вплоть до наших дней.

Художественное дарование, как свидетельствует опыт Мариэтты Шагинян, получает полное развитие и признание лишь вследствие правдивого отражения народной жизни, умения широко взглянуть на мир и таким образом подняться от национального

к общечеловеческому, интернациональному. Думается, в этом суть, в этом достоинство подлинного искусства...

Но возвратимся к работе Л. Скорино. Ее главный пафос — в стремлении показать истоки мастерства, понять неугомонный

диалектический дух, питающий деятельность выдающейся писательницы на протяжении всей ее большой, нелегкой и интересной жизни.

Николай ФЕДЬ.



### Политика и наука

## ЛЕТОПИСЬ АТАКУЮЩЕГО КЛАССА

Советский рабочий класс. Краткий исторический очерк (1917—1973). М. Политиздат. 1975. 576 стр.

«Главное в учении Маркса, это—выяснение всемирно-исторической роли пролетариата как создателя социалистического общества»<sup>1</sup>. Эти ленинские слова взяты эпиграфом к рецензируемой книге.

Ленин внес неоценимый вклад в развитие марксистского учения о классах и, в частности, о революционно-преобразующей роли пролетариата. Он был первым, кто глубоко проанализировал историю борьбы рабочего класса России за свержение самодержавия и господства буржуазии, за построение социалистического общества. Ленинские труды — теоретическая основа для изучения славных деяний рабочего класса СССР.

Цель книги, как ее сформулировал авторский коллектив,—показать основные этапы, пройденные советским рабочим классом. История его — сокровищница богатого опыта, источник воспитания подрастающих поколений на примерах массового героизма, самоотверженности и беззаветной преданности делу Коммунистической партии. Это и сильнейшее оружие в нашей борьбе с буржуазными идеологами, правыми и «левыми» ревизионистами, пытающимися в ложном свете представить развитие советского общества и умалить роль рабочего класса.

Задачи огромной важности решил рабочий класс под водительством ленинской партии в переходный период от капитализма к социализму. Он был главной силой, отстоявшей завоевания социалистической революции в огне гражданской войны и иностранной военной интервенции. При его активнейшем участии, сознательно и добровольном почине преодолевались последст-

вия экономической разрухи и голода, восстанавливались паровозы и железнодорожные пути, начинали новую жизнь замершие заводы и фабрики, шахты и рудники, налаживалась прочная смывка города с деревней, укреплялись узы дружбы и тесного союза между народами Советской страны. В рабочей гуще появились ударники первой пятилетки, родилось стахановское движение. Рабочий класс внес решающий вклад в индустриализацию страны, коллективизацию сельского хозяйства и осуществление культурной революции — во все, что обеспечило победу социализма в СССР.

При этом и сам рабочий класс претерпел коренные изменения: он перестал быть пролетариатом в собственном смысле этого слова, навсегда избавился от эксплуатации, безработицы и нужды, преодолел неграмотность и овладел могучей техникой. Более чем втрое возросла его численность; большие отряды рабочих сформировались во всех союзных республиках. Успехи в социалистическом строительстве еще более сплотили рабочий класс вокруг Коммунистической партии, упрочили его союз с трудовым крестьянством и интеллигенцией.

Суровым испытанием крепости социалистического строя стала Великая Отечественная война; в те грозные годы в полной мере проявились такие замечательные качества советских людей, как трудовой героизм, мужество и стойкость в борьбе, беспредельная преданность Родине. Вместе со всем народом рабочий класс сделал все необходимое для разгрома фашистских захватчиков, для достижения победы. Общеизвестны его заслуги в перестройке экономики страны на военный лад, перебазировании значительного числа промышленных предприятий из западных в восточные рай-

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 23, стр. 1.

оны, обеспечении сражающейся армии оружием, боеприпасами и снаряжением. Еще в ходе войны, сразу же после изгнания оккупантов начинались восстановительные работы, поднимались из руин и пепла разрушенные врагом города, электростанции, заводы и фабрики.

Послевоенные годы, как убедительно показано в книге, отмечены высоким пафосом созидания. Рабочий класс внес свою весомую лепту в восстановление народного хозяйства, создание новых индустриальных центров, строительство гигантских электростанций, прокладку транспортных магистралей, освоение целины, природных богатств Сибири и Дальнего Востока, ускорение темпов научно-технического прогресса. Одновременно росла его численность, образованность, профессиональное мастерство и жизненный уровень, возрастала трудовая и общественно-политическая активность. Ярким свидетельством этого стало движение за коммунистическое отношение к труду.

С построением в СССР развитого социалистического общества усилия и творческая энергия рабочего класса, всех трудящихся направляются на создание материально-технической базы коммунизма. Важными этапами на этом пути стали восьмая и девятая пятилетки, озаглавленные динамичным развитием советской индустрии, широким размахом капитального строительства, претворением в жизнь долговременной комплексной программы дальнейшего подъема сельского хозяйства. Всенародный характер приобрело социалистическое соревнование под девизом: «Дать продукции больше, лучшего качества, с меньшими затратами». В авангарде его идут передовые отряды рабочего класса.

«Вся история нашего общества,— отмечал Генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ Л. И. Брежнев,— подтверждает величайшую правоту марксистско-ленинского учения о рабочем классе как ведущей революционной и созидательной силе. Советский рабочий класс блестяще продемонстрировал свою способность руководить обществом, строить социализм, коммунизм. Это прежде всего его руками создано индустриальное и оборонное могущество страны, техническая база для преобразования сельского хозяйства и других отраслей экономики. Он выдвинул из своей среды тысячи государственных и общественных деятелей и командиров производства, ученых и полководцев, писателей и художников. Самый многочис-

ленный, наиболее организованный класс — рабочий класс и поныне осуществляет в нашем обществе руководящую роль»<sup>2</sup>.

Возрастание ведущей роли рабочего класса на современном этапе коммунистического строительства — закономерный процесс. Этот класс по-прежнему выступает основной производительной силой общества: он занят в решающих отраслях народного хозяйства, создает наибольшую долю общественного продукта. В 1974 году на предприятиях промышленности насчитывалось 27 млн. рабочих, на строительномонтажных работах — 6,3 млн., в сельском хозяйстве — 8,5 млн., а всего ряды рабочего класса объединяли 70,2 млн. человек. В составе населения страны рабочие (вместе с семьями) составляют более 60 процентов.

Рабочий класс находится на передовых рубежах научно-технического прогресса. В тесном содружестве с инженерно-технической интеллигенцией он материализует научные идеи, дает путевку в жизнь новой технике, обеспечивает ее практическое использование. При этом меняется сам характер труда рабочих, неуклонно повышаются их квалификация, образованность, общая культура.

Рабочие, как и все советские люди, реально ощущают плодотворность своих трудовых усилий. Только за годы девятой пятилетки заметно увеличились заработная плата, выплата и льготы из общественных фондов потребления, свыше 56 миллионов человек справили новоселье. Все это способствует дальнейшему росту трудовой и политической активности рабочего класса, всех трудящихся СССР. Широкий размах приняло социалистическое соревнование за достойную встречу XXV съезда КПСС. В ходе предсъездовской ударной вахты одержаны новые трудовые победы.

Активно участвуют рабочие в деятельности партийных и профсоюзных организаций. Рабочий класс достойно представлен в органах Советской власти. В Верховный Совет СССР избрано 498 рабочих, или 32,8 процента от общего числа депутатов. Среди депутатов местных Советов рабочие составляют 40,5 процента, а в составе городских Советов их удельный вес еще выше — 60,3 процента.

Рабочий класс являет собой пример для всех трудящихся; на базе его социалистических интересов и коммунистических идеа-

<sup>2</sup> Л. И. Брежнев. Ленинским курсом. Речи и статьи. М. 1970, т. 2, стр. 569.

лов все более укрепляется единство советского общества. Наша партия неуклонно добивается того, чтобы влияние рабочего класса во всех сферах жизни росло и укреплялось, чтобы его активность и инициатива принесли еще более плодотворные результаты.

Несомненное достоинство рецензируемой книги — глубокая научность ее содержания. Опираясь на принципиальные положения произведений Ленина и документов КПСС, авторы — В. З. Дробижев, В. С. Лельчук, В. Е. Полетаев, А. С. Рогачевская, С. Л. Сенявский и другие известные историки, точно обозначили основные вехи на героическом пути рабочего класса СССР, тщательно отобрали фактический материал, отражающий суть конкретно-исторического процесса.

Следует отметить и комплексный характер коллективной работы. В ней освещаются во взаимосвязи все основные направления развития рабочего класса — количественные и качественные изменения в его составе, место рабочих в социально-классовой структуре советского общества, их трудовой героизм и общественно-политическая активность. Это позволяет дать более полную картину свершений рабочего класса, проявлений его ведущего положения в экономической, политической и духовной сферах общественной жизни.

В книге живо описаны события, происходившие в крупнейших промышленных центрах и на новых индустриальных стройках, приведены интересные цифровые данные,

высказывания рабочих — непосредственных участников социалистического и коммунистического строительства, даны меткие характеристики людей и общественных явлений, фрагменты из произведений М. Горького, В. Маяковского, А. Серафимовича и других советских литераторов. Популярность изложения делает ее доступной широкому читателю.

Однако не все в книге изложено в одинаковой мере обстоятельно и ярко. Если, к примеру, производственная активность рабочих, основные этапы развертывания социалистического соревнования освещены с достаточной полнотой, то этого нельзя сказать об участии рабочих в деятельности органов власти и общественных организаций. Рассказ о жизни и труде рабочих коллективов в условиях развитого социализма уступает по сочности красок описанию событий, относящихся к начальным этапам советской эпохи. Если о рабочих главных отраслей промышленности рассказано обстоятельно, то деятельность других отрядов рабочего класса, занятых, в частности, в сельском и лесном хозяйстве, на транспорте, в сфере обслуживания, отражена скупо.

Сказанное, однако, не умаляет фундаментальной значимости всей работы — по существу, первого столь масштабного, обобщающего труда по истории советского рабочего класса. Создание таких книг выдвинуто самой жизнью в качестве одной из актуальных задач наших историков. И следует приветствовать их успех на этом направлении.

**И. ВОРОЖЕЙКИН.**



## ПАМЯТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

**В. А. Дунаевский.** Советская историография новой истории стран Запада. 1917—1941 гг. М. «Наука». 1974. 376 стр.

**И**сториография (то есть история исторической науки) изучает процесс развития исторической мысли и накопления исторических знаний. Иными словами, это хранилище памяти человечества о своем прошлом.

Историческое познание не может не быть связанным с его социальной основой, с идеологической борьбой, в которой находит отражение классовый антагонизм. Вместе с тем историческая наука подразумевает преемственность в области приемов исторического исследования, усвоение бесспорных и общезначимых обобщений и фактов,

добытых учеными в ходе научного поиска. Важнейшая задача подлинной исторической науки — борьба за выработку научных результатов этого поиска, свободных от искажающих их венаучных воздействий с тем, чтобы с наибольшим эффектом поставить их на службу прогрессу, подчинить целям борьбы за коммунизм.

Иметь наиболее полную и ясную «память о прошлом» — создать всеобъемлющую картину процесса общественного развития всех эпох и народов во всей его противоречивости и сложности, — это отнюдь не одна лишь академическая задача или общекультурная

потребность заполнить лакуны в человеческом знании. Это и насущная практическая необходимость, связанная с решением животрепещущих проблем сегодняшнего дня и с возможностью заглянуть в день завтрашний. От качества нашей памяти о прошлом зависит способность извлекать из него полезные уроки, исторический опыт. Один из вечных вопросов, на которые призвана дать ответ историческая наука, — почему история человечества это не только летопись его свершений в сфере хозяйства, культуры, искусства, но и мартиролог бесчисленных войн, бессмысленных и варварских опустошений, гибели миллионов людей и созданных ими шедевров? И каким образом, правильно усвоив опыт прошлого, положить этому конец?

Вот уже много столетий человечество буквально по крупицам воссоздает картину прошлого, точную о нем память в острейшей, исторически обусловленной борьбе различных направлений и школ. Основопологающей вехой этого процесса явилось открытие К. Марксом и Ф. Энгельсом материалистического понимания истории. Но только на ленинском этапе развития общественной мысли, в наше советское время, созданы материальная база и идейно-политический климат для широкого развития исторической науки на новых основах. Важной ступенью в этом процессе явился период 1917—1941 годов.

В этот период многие буржуазные историки, страшась чреватого революцией будущего и ощущая всю глубину противоречий между все возрастающей сложностью мира и недостаточностью старого, идеалистического подхода к его объяснению, отказались от достигнутых их предшественниками положительных результатов. Историю лишают ранга науки, провозглашают ее искусством, неспособным нести объективное знание; отвергается закономерный и прогрессивный характер исторического процесса. Его единая во всех ее взаимосвязях картина дробится на отдельные «циклы», «круги культур» и прочее. В таком виде история (этот, по выражению Поля Валери, «самый опасный продукт, выработанный хитрой интеллект») уже не способна учить.

В рецензируемой монографии доктор исторических наук В. Дунаевский, опираясь на широкую архивную (им привлечены материалы пятнадцати архивов) и прочую историкоисследовательскую основу, прослеживает, как в период между двумя войнами в нашей

стране развивалась научная историография, являвшаяся единственно возможной здоровой альтернативой кризису буржуазной исторической науки. Это историография, способная верно отразить историческое прошлое и открыть путь к извлечению из него правильных практических выводов в интересах всего человечества. Большое научное и общественное значение имеет выбор предмета исследования: состояние и развитие того раздела исторической науки, который изучает новое время на Западе, то есть период становления и развития капитализма — от его стремительного подъема в XVII—XVIII веках до загнивания и упадка в империалистическую эпоху.

С особым интересом читается раздел, посвященный обстоятельному изучению творчества В. И. Ленина как историка нового времени. Его труды, содержащие важнейшие выводы об общих закономерностях и особенностях исторического процесса, стали надежной общетеоретической и конкретно-исторической основой для развития молодой советской историографии. «Проблемы истории нового времени привлекли самое пристальное внимание В. И. Ленина, — пишет В. Дунаевский. — Его труды — величайший образец исторического исследования. Обращение Ленина к историческому опыту объясняется необходимостью решения кардинальных проблем, стоявших перед большевистской партией: разработки ее программы и тактики, дальнейшего развития марксизма, деятельности по сплочению международного пролетариата, борьбы с идеями противниками и т. д.»

Весьма содержательная вторая глава («Изучение западноевропейских и американских буржуазных революций XVII—XIX вв. и Парижской Коммуны 1871 г.») убедительно показывает, как на основе марксистско-ленинской методологии, в острой полемике с концепциями буржуазных теоретиков советские ученые добираются до корней исторических событий. Исследуя социально-экономические параметры исторического процесса, они выявляют подлинные причины, следствия и историческое место революционных перемен в эпоху доомонополистического капитализма. В их трудах, основанных, как правило, на большой сумме новых фактов, исторический процесс предстает как закономерное, поступательное движение через взрывы и скачки, объективно подготовленные всем ходом общественного развития. В отличие от работ буржуазных историков,



труды эти отмечены оптимизмом, твердой уверенностью в больших познавательных возможностях научной историографии.

В главе, посвященной изучению советскими историками массового рабочего и социального движения в новое время, автор показывает, как с исторической авансцены сходят тени прежних «героев» — полководцев, принцев, королей — и в полной мере «восстанавливается в правах» важнейший фактор общественного развития, которым до того времени буржуазная историография обычно пренебрегала, — народные массы. Советские ученые обоснованно рассматривают их как двигатель общественного прогресса, потенциальную политическую армию социалистической революции. Вместе с тем они не игнорировали значительную пестроту массового движения, воздействия на него буржуазной и мелкобуржуазной идеологии.

В. Дунаевский обстоятельно рассматривает исследование в СССР истории международных отношений нового времени. В 1917—1941 годах начала активно выявляться объективная основа процесса развития отношений между государствами и объединившимися в блоки группами государств. Если старая историография чаще всего скатывалась к психологической и прочим разновидностям идеалистических объяснений международных отношений, то теперь под их основу была подведена социально-экономическая база. Подчеркивается их прямая связь с общественным устройством той или иной страны или группы стран. Это дало основание включить международные отношения в общий контекст прогрессивного общественного развития, оптимистически оценивать международную перспективу.

Уже послевоенный период и, особенно, наши дни стали свидетелями того, как на-

учное проникновение в механизм международных отношений сделало возможным значительные успехи политики мирного сосуществования, обеспечило переход к разрядке в отношениях между странами с различным общественным строем, инициатором которой выступает Советский Союз. Мы являемся свидетелями нового бурного подъема советской исторической науки, значительного усиления ее авторитета в мире, существенного ослабления позиций буржуазной историографии.

Несомненное достоинство книги В. Дунаевского в том, что в ней названы имена и подчеркнуты заслуги первых советских историков нового времени — В. П. Волгина, Н. М. Лукина, Ф. А. Ротштейна, Е. В. Тарле и ряда других. Показывая развитие советской исторической науки как живой и сложный процесс, автор не обходит острых углов: имевших место случаев догматизма, упрощенной трактовки некоторыми историками функций и задач исторической науки (которую они склонны были считать простым придатком политики), слабого внимания к истории культуры, ко многим аспектам политической тематики.

Главный недостаток работы В. Дунаевского в чрезмерной ее библиографичности. Стремясь любой ценой охватить «все» (в книге упомянуто более шестисот историков), автор, естественно, не смог уделить значительному большинству из них достаточного внимания. Проблема отбора персоналий в этой отрасли исторической науки была и остается актуальной. В целом же монография В. Дунаевского, рассматривающая важный раздел «памяти человечества», представляется своевременной и ценной.

**А. КОЛПАКОВ,**  
доктор исторических наук.



## ЧИТАЮЩАЯ ДЕРЖАВА

Книга в СССР. М. «Искусство». 1975. 192 стр.<sup>1</sup>

Глубоко оправдан и закономерен тот факт, что международная книжная выставка «Книга-75» была устроена в нашей стране, где великая интеллектуальная мощь печатного слова поставлена на службу мира и прогресса, где книга, как писал Л. И. Брежнев, обращаясь к участникам и гостям вы-

ставки, «стала могучим средством развития материальной и духовной культуры, познания мира и распространения духовных ценностей, созданных человечеством на протяжении многовековой истории».

В рецензируемой книге, пишет в предисловии к ней председатель Государственного комитета Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной

<sup>1</sup> Авторы текста А. И. Пузинов, Е. С. Лихтенштейн, Н. М. Смирновский.

торговли Б. И. Стукалин, «предпринята попытка рассказать о том, как с первых же дней Октября советская книга верно и беззаветно служила и служит партии, делу революции, делу социализма и коммунизма. Она повествует о воплощении в жизнь одного из заветов В. И. Ленина — сделать печатное слово достоянием всего народа».

Рассказу о советском книгоиздании авторы предпослали страницы истории отечественного книгопечатания. Хорошо знакомые нам имена Ивана Федорова, Василия Бурцова, Михаила Ломоносова, Николая Новикова, Александра Смирдина, Флорентия Павленкова не тускнеют со временем. Их замыслы и свершения в течение многих веков и десятилетий подготавливали сегодняшний расцвет книгоиздания.

Передовые деятели культуры всегда стремились к народности и массовости. Книгопечатание вывело слово и мысль из тупика уникальности. Это, однако, не означает, что книга сразу стала массовой. О подлинной массовости и народности произведений печати можно говорить лишь с памятной осени 1917 года; с тех пор, когда, как отметил на VIII съезде партии В. И. Ленин, современная типографская крупнокапиталистическая техника впервые в истории стала использоваться не в интересах буржуазии, а в интересах трудящихся.

«Декрет о печати», «Декрет о государственном издательстве» закономерно начали издательскую политику Советской власти. Решения партии и правительства повседневно совершенствовали ее. Об основных, наиболее характерных чертах советской книги идет речь в главе, названной «Книга на службе мира и прогресса». Статистические сведения, приведенные на полях главы, наглядно свидетельствуют о небывалом размахе нашего книгоиздания. За все время существования книгопечатания в нашей стране — от Ивана Федорова и до октября 1917 года — было издано около 516 тысяч названий книг, а за пятьдесят шесть лет советской власти (1918—1974) — 2691 тысяча названий. В настоящее время на полки наших книжных магазинов и библиотек ежегодно поступает 1700 миллионов экземпляров книг на 145 языках.

Читатель знакомится с издательствами, выпускающими общественно-политическую литературу, с наиболее значительными изданиями. Среди них — пятидесяти томное собрание сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса и пятидесятипятитомное Полное собрание

сочинений В. И. Ленина. За годы советской власти выпущено свыше 15 тысяч книг и брошюр произведений основоположников марксизма-ленинизма общим тиражом более 571 миллиона экземпляров.

«Книга и научно-технический прогресс» — так называется следующая глава. Авторы знакомят нас с наиболее характерными видами научных изданий — с собраниями сочинений и избранными трудами ученых, с многотомными коллективными трудами, монографиями и тематическими сборниками... Широко известны серийные издания «Классики науки», «Литературные памятники», продолжающееся издание «Литературное наследство». Высокий уровень специализации в последние годы позволил резко повысить качество производственно-технической и сельскохозяйственной литературы. Советские справочно-энциклопедические издания пользуются широкой популярностью во всем мире. «Большая Советская Энциклопедия» том за томом переводится на английский язык и издается в Соединенных Штатах Америки.

Широко известны наши серии «Библиотека всемирной литературы», «Библиотека античной литературы», «Жизнь замечательных людей», «Библиотека поэта», «Сокровища лирической поэзии», «Зарубежный роман XX века», «Народная библиотека», «Эврика» и многие, многие другие.

В чем преимущество серий? В многоаспектном освещении вопроса, в более активном воздействии на читателя, в целенаправленном формировании читательского вкуса. Купив один или несколько выпусков серии, читатель в дальнейшем продолжает следить за ней, приобретая все новые и новые книги. Имеются и экономические преимущества — стандартное оформление, а следовательно, и уменьшение издательско-полиграфических расходов.

Глава «Издания по литературе и искусству» открывается утверждением: «Третья часть всех книг, издаваемых в СССР, — произведения художественной литературы». Это справедливо, если говорить об общем тираже книжной продукции. Однако иное соотношение получится, если взять за основу количество названий: из 86 771 книги, изданной в 1974 году, лишь 7801, то есть 9 процентов, составляют произведения художественной литературы. В Швеции же, по данным ЮНЕСКО, на долю художественной литературы приходится 27 процентов назва-

ний, в США — 22,8 процента, в ГДР — 18 с половиной процентов.

В последние годы особенно тяжелое положение на книжном рынке страны сложилось именно в области художественной литературы. Несмотря на огромные тиражи, книг не хватает. В главе «Самый читающий народ в мире» говорится, в частности, о том, что в 1974 году подписка на трехсоттысячный тираж Собрания сочинений А. П. Чехова и полумиллионный тираж сочинений А. С. Пушкина была закончена в два дня, не удовлетворив и десятой доли всех желающих подписаться.

Не следует ли, рассматривая планы ускоренного развития книгопечатания, подумать о том, чтобы изменить пропорции издательской продукции в пользу художественной литературы?

Резервы увеличения выпуска книг могут быть найдены внутри самого издательского дела. Коснемся здесь одного вопроса, быть может, спорного...

Рецензируемая книга завершена альбомом прекрасно репродуцированных иллюстраций, на которых изображены издания, характеризующиеся высоким качеством полиграфического исполнения и художественного оформления. Тяжелые переплеты, дорогая бумага — «люксопринт», большое количество иллюстраций, уникальные способы репродуцирования...

Такие издания стоят дорого, но и они, как всем хорошо известно, в магазинах не залеживаются. Книга становится произведением высокого искусства. Оспаривать законность этого не приходится.

И все же, тщательно украшая книгу, не забываем ли мы подчас о ее основной функции? У многих из нас есть дома роскошно изданные книги. Поблескивая золотом корешков или лакированными суперобложками, они гордо покоятся за зеркальными стеклами книжных шкафов. Изредка мы достаем их, показываем друзьям, осторожно перелистываем. Но часто ли мы читаем их?

Французский социолог Робер Эскарпи, впервые заговоривший о «революции в мире книг», связал необычное оживление в издательском мире в начале 60-х годов текущего столетия с широким распространением дешевых книг в бумажных обложках. Книги эти, получившие в зарубежной литературе название «пейпербэкс», выпускаются в различных странах мира. Удобный «карманный» формат, дешевизна, высокие тиражи, возможность полной автоматизации их из-

готовления сделали «пейпербэкс» активным инструментом издательской политики, высокоэффективным средством в борьбе с издательским «дефицитом». В капиталистических странах эти преимущества нередко ставятся на службу производителям бульварного чтения.

В социалистических же странах от внедрения «карманных изданий» получен большой социальный эффект. Именно таким образом издается в Польской Народной Республике «Библиотека литературы 30-летия», задуманная как ретроспектива художественной литературы Народной Польши. На международной выставке «Книга-75» «карманные издания» особенно широко были представлены в венгерском разделе.

В нашей стране такие издания, к сожалению, еще не получили сколько-нибудь широкого распространения.

При высоких тиражах выпускаемых в нашей стране книг мы нередко считаем пустые полки в книжных магазинах показателем высокой активности читательских масс. В определенной степени это так. Нельзя, однако, сбрасывать со счета влияние моды — пресловутой моды на «старину», на «культуру», на книгу, наконец! Чем как не модой объясняется тот факт, что рассчитанные на специалиста монографические искусствоведческие издания, которые еще несколько лет назад месяцами лежали на полках, сейчас стали величайшим дефицитом?

Домашняя библиотека, всегда свидетельствующая об интеллектуальных запросах хозяина, ныне в некоторых случаях становится показателем материального благополучия, умения «достать» дефицитную вещь.

По самым скромным подсчетам, в домашних библиотеках находится вдвое больше книг, чем в общественных. Книги эти исключены из сферы активного чтения. Между тем массовые библиотеки получают не более 20 процентов заказываемых ими книг.

Было бы неправильно ограничивать продажу книг населению, направив основную массу издаваемой у нас литературы в библиотеки. Но надо пропагандировать ту мысль, что вовсе не обязательно иметь у себя дома «всех» классиков, а уж о научной литературе и говорить не приходится. Специальная литература потому так и называется, что рассчитана на специалистов.

Наиболее гибкой и эффективной формой приобщения трудящихся к книжным богатствам является общественное пользование

книгами. Поэтому на всех этапах коммунистического строительства партия и правительство уделяли большое внимание библиотекам. Могучее развитие библиотечного дела Ленин считал необходимой предпосылкой культурного подъема масс, культурной революции. Под руководством и при непосредственном участии основателя нашего государства был разработан декрет Совнаркома о централизации библиотечного дела, в котором подчеркивалась необходимость государственной системы общественного пользования книгой. В общедоступности книги, в ее широком продвижении в народ, в организации массового детского чтения и видел Владимир Ильич задачу библиотек.

Верность ленинским принципам, которыми мы руководствуемся в нашей практической работе, позволила создать в стране широко развитую библиотечную сеть, подобной которой нет ни в одном государстве.

В главе «Самый читающий народ в мире» рассказывается о крупнейших библиотеках страны и о самой главной из них — Государственной библиотеке СССР имени В. И. Ленина. В ее фондах — 27 миллионов экземпляров печатных и рукописных материалов.

В распоряжении посетителей — 21 читальный зал на 2585 мест. Ежегодно библиотеку посещают 2,5 миллиона читателей, которым выдается более 12 миллионов книг, журналов, газет... Всего же в нашей стране 360 тысяч библиотек с общим фондом в 3,3 миллиарда книг.

Свидетельством постоянной заботы партии о развитии книжного дела в духе заветов Ленина является опубликованное в мае 1974 года постановление ЦК КПСС «О повышении роли библиотек в коммунистическом воспитании трудящихся и научно-техническом прогрессе». Постановление подчеркивает, что главная задача библиотек состоит в активной пропаганде политики Коммунистической партии и Советского государства, в более полном использовании огромных книжных богатств для образования и воспитания нового человека, ускорении научно-технического прогресса.

Успешному решению этой задачи и должны быть посвящены думы и помыслы работников издательского и библиотечного дела.

**Е. НЕМИРОВСКИЙ,**  
доктор исторических наук.



## ДОБРОЕ НАЧАЛО

Памятники культуры. Новые открытия. Письменность. Искусство. Археология. Ежегодник 1974. М. «Наука». 1975. 462 стр.

«М...с...ца септ...б... ..ставис... рабь...», «Мес...ца но... во аг прѣс... вис... рабь... на св...». Преставились, отошли в лучший мир рабы божии, имена коих навеки останутся неизвестны: обломались части поминальных камней, хранившие начертания этих имен; и ясно лишь, что один преставился в месяце сентябре, а другой в ноябре. Когда-то, на стыке XII и XIII столетий, — все, что мы знаем. И бессильны мы вызвать эти имена из небытия.

Серьезность, перспективность всякой науки узнается по ее экспансивности, по снedaющей ее жажде лидерства. И археология сейчас явно тяготеет к тому, чтобы тон задавать. Кто нынче не археолог? Все археологи: нет, несомненно, другой науки, которая создала бы вокруг себя такие армии любителей, как те армии, что возле археологии существуют. Едва ли не в каждом райцентре найдете вы мудрого старичка краеведа, коллекционера, фанатика археологического исследования окрестных

мест. А юные следопыты? Идет археологическое изучение уже и Великой Отечественной: стрелковая карточка командира взвода, державшего оборону в окопах Сталинграда, личное письмо, потемневшая от времени пулеметная лента становятся неопровержимыми документами, археологическими знаками того времени. Археология — основная сфера неизбежно сопровождающих развитие науки сенсаций, хотя Кумранские рукописи попадают, конечно, не каждый день и не каждый день обнаруживаются сохранившиеся останки жертв вулканических извержений над Геркуланумом и Помпеями. Археология задает тон в историографии, в литературоведении; возможно, что проходит время пусть даже самых интересных интерпретаций, основанных на прочтении препарированных, выверенных и тщательно изданных текстов поэта, писателя: брать томик классика, вооружаться карандашом, вычитывать там некий комплекс идей или структурные закономерности

сти — этого уже мало. Археологический подход потребен и здесь, потому что в конечном счете лишь он может открыть нам живого, мыслящего, борющегося поэта, — поэта, явленного в общении с окружающими. И тут не о «влиятельных» речь и не о «замимствованиях», а о живых контактах человека, которому поставлены памятники и в честь которого названы площади, улицы и переулочки, с людьми, в честь которых улиц не называют, но которые его взрастили, — с его современниками. Возможно, что археология как-то подспудно ориентирована и на будущее...

Сборник «Памятники культуры. Новые открытия» охватывает события культурной жизни от XI века до современности: А. Чудаков и Э. Никитина публикуют и комментируют малоизвестные работы Юрия Тьянова, В. Нечаев описывает библиотеку Корнея Чуковского.

«Письменность», «Искусство», «Археология» — эти три раздела сборника охватывают события истории культуры в различных ее проявлениях: «Русско-сербские культурные связи в XVII—XVIII вв. по материалам декоративно-прикладного искусства» (статья И. Ухановой), «Старофранцузские миниатюры в Легендарии Библиотеки Академии наук СССР» (М. Мурьянов), «Росписи 1125 г. в соборе Рождества Богородицы Антониева монастыря в Новгороде» (Э. Гордиенко). Тут же анализы свидетельств о заселении Арктики (Н. Гурина, Л. Хлобыстин), жанровый анализ патетического приветствия Ивану Грозному (И. Азволинская). Собрались свыше пятидесяти ученых — историков, археологов, искусствоведов, музейных работников, литературоведов. Сделали сорок шесть публикаций. Все о разном; искусственно заданным единством внешней темы никто никого не связывал. А единство как-то само собой получилось.

Сборник, я бы сказал, посвящен памяти Одного Человека. Цель такая: выхватить из пучины забвения одного. Не классика, нет. Рядовую жертву смерти — такого, как те, с которых я начал: померли они в сентябре, в ноябре неведомо даже какого года; ушли и следа не оставили. Так нет же, восемь веков спустя появляется статья Т. Рождественской «Надписи-граффити из Старой Ладogi в Гос. Эрмитаже» — и начинается реконструкция. Восстановление того, что еще можно восстановить: чьей-то судьбы, чьей-то, как говорят в народе, доли. Он не классик. «Слово о полку Игореве»

явно не он сложил; он не прославил себя ни ратным подвигом, ни летописанием. Но он жил. Он принес нам в дар нечто большее, чем самое выдающееся литпроизведение, — нашу жизнь. И как бы академична ни была статья о посвященных ему памятных надписях, лирическая тема признательности освещает ее.

Остановлюсь на статье А. Маркушевича «Путевой дневник молодого русского вельможи конца XVIII в.». Публикуется и комментируется дневник графа Г. И. Чернышева, который он вел во время путешествия из Петербурга в Вену к императорскому двору в 1792—1793 годах: направлен в Вену он был с сугубо ритуальным, протокольным дипломатическим поручением и путешествие свое процветавший, хотя и утопавший в долгах граф превратил в разыгранный им в реальности авантюрный роман с галантными приключениями, с появлением и исчезновением таинственных незнакомок, с маскарадами и костюмированными балами. Молодой повеса играл роль почтальона, распространявшего между гостями французские — очень неплохие! — стихи; роль разносчика, продавца мелких товаров. Маскировался он, маскировались окружающие: и австрийская императрица под видом старой цыганки вручила ему якобы целительное снадобье — драгоценные сувениры. Пустяки? Эпизод из быта разоряющегося крупнопоместного дворянства? Нет и нет!

Тончайшее понимание символической природы слова и вещи, взаимные мистификации, культивирование в искусстве, да и в любых других формах социального общения загадочного, странного — нет, XVIII век не сводится к «классицизму», «одам» и к «трем единствам». И записки графа Г. И. Чернышева вполне в духе века. Его этики. Его стиля. А господствующей нормой здесь было то, что у французов зовется «*багофие*» — странное, причудливое. Ценность записок Чернышева в их красноречивости, для барокко типичной: барокко риторично, барокко ценит *тоф*, красное словцо, оно ценит мистификацию, свободу перехода от таинственного к комическому, ценит маску и последующее срывание ее. И, может быть, именно на этом следовало бы сделать акцент: ведь от шаловливых путевых записок типа записей графа Г. И. Чернышева лежит прямая дорога к бессмертному литературному братству «Арзамаса», а далее — к бесконечным самозван-

цам и ряженым Пушкина, к «Домику в Коломне», «Барышне-крестьянке», «Дубровскому» и к «Пиковой даме». Но так или иначе, а снова берется один человек, ничем особенно не приметный; берется его судьба, и на его непутевой доле приоткрывается его время. От быта к социальному бытию: таково, видимо, необъявленное правило сборника. Но граф Чернышев жил лавно. А как быть с сегодняшним — с теми, кто ушел от нас совсем недавно, вчера?

Увековечивание памяти тех, кто вчера еще жил среди нас, между нами, — наша боль, наша задача. Как это делать? Мемориальные доски? Наименование улочки? Вечера памяти? Издание сборников воспоминаний? Кажется, мы копируем эталоны, и только. А между тем вспоминать друг другу нам, видимо, надо бы учиться как-то по-новому. Тактичнее. И, смею сказать, изобретательнее. И я это к тому, что статья В. Нечаева о библиотеке Корнея Чуковского в сборнике как-то неуклюже выдвинулась: она здесь как-то торчит (хотя, быть может, сказано это и резко).

Кто не любил и не любит Корнея Чуковского? Но предстает перед нами описание его библиотеки, и... Нет, что-то не то! «Наиболее обширный раздел посвящен литературоведению... В нем 735 названий... Книги о Толстом насчитывают 31 название, книги о Чехове — 42 названия...» Далее фиксируется, что у Чуковского были «монографии Е. А. Ляцкого об И. А. Гончарове (1904)... Д. Н. Овсяннико-Куликовского и И. Иванова об И. С. Тургеневе (1913, 1914)...». Библиотека выглядит заурядной, случайной. Право же, у любого преподавателя литературы о Л. Н. Толстом наберется больше тридцать одной книги, а безнадежно устаревшие монографии Ляцкого и И. Иванова никак не заслуживают того эпического тона, в котором о них повествуется. «Книг по поэтике 16». И все? Но шестнадцать книг по поэтике есть у любого студента-филолога старшего курса. Чуковский как-то... вывернут наизнанку. Торопливо. С каким-то археологизмом невпопад. С восторгами, которые подрывают образ писателя, легендой овеянный: образованный был, смотрите, Ляцкого читал... Шестнадцать книг по поэтике на полке держал! Несolidно как-то, по-моему.

Есть в статье очень важные эпизоды: например, анализ (к сожалению, очень беглый) уникальной книги А. Толстого под редакцией Н. Гумилева с пометками Чуков-

ского. Может быть, стоило бы остановиться только на истории этой книги? Подробнее описать ее, попытаться проникнуть в суть споров Чуковского с Гумилевым. Это потребовало бы истинно археологических разысканий, возможно, года, двух лет работы. Но это было бы действительно достойно памяти писателя и полезно по-настоящему.

Да, археологизм сборника — археологизм, увековечивающий Одного Человека. Даже в математизированных разысканиях Б. Рыбакова «Мерило новгородского зодчего XIII в.» присутствует искомая фигура — Некто, Один. Реально существовавший Он, ведущий тонко рассчитанные промеры воздвигаемых им храмов. Тело человека в концепции новгородского зодчего созидательно: размах рук — сажень, мера длины. Но в этой инженерии бездна духовности: размах рук — и жест притягия мира и память о распятии, о непомерном страдании. И следя за выкладками ученого, снова думаешь о том, как же духовно умели жить наши предки и насколько идеологично, одухотворенно было для них окружающее.

«Неизвестный текст приветствия Ивану Грозному», публикуемый И. Азволинской, как пишет исследовательница, «позволяет поставить вопрос о существовании в XVI в. особого жанра приветствия». Что ж, это в духе сборника: публикуя документ, наталкивать на мысли о его природе — о типе суждений о мире, к которым он принадлежит. Жанр приветствия? Возможен и такой жанр, не локализованный, разумеется, в XVI столетии, а протянувшийся далее, до тех же од и до «Стансов» Пушкина. Начатый в одной работе жанровый анализ материала продолжается в других. Анализируя стихотворный отклик на свержение царевны Софьи, А. Панченко основательно рассуждает о глубинной причине розни «старомосковской» партии и «латинствующих» в конце XVII столетия. Разногласия носили методологический характер: латинствующие «посыгнули на освященную веками методу рассуждения». Ими была «возрождена личная проповедь. Все их творчество можно считать проповедническим: даже в системе поэтических жанров безраздельно господствовали законы риторики, а каждый стихотворный текст строился по правилам красноречия». И снова вместе с документом реконструируется облаченная в жанр идея; границы документа раздвигаются; стихотворение-проповедь фиксирует-

ся в контексте острейшей методологической борьбы архаистов и тогдашних обновителей публичного слова, рационализаторов его.

Археология влечет нас, возможно, еще и потому, что она, я бы сказал, принципиально невысокомерна. Все равны для нее, тут полная демократия: тиран, повелевавший народами, и рядовой обозный его армий; великий зодчий и смерд, подносивший камни на строительство храма,— все равно выступают свидетелями времени своего.

Сборник исследует и не канонизированное, не классическое искусство — произведение искусства прикладного или камерного. Отсюда, положим, статья А. Рындиной «Об одной группе каменных икон XIV в.». Иконы, воспроизведенные здесь в иллюстрациях, по-настоящему волшебны, но толкование их мне кажется не очень-то точным: «...едва ли не самый совершенный из русских образцов... счастливо сочетающих сдержанность, гармонию, чувство меры с богатством пластической и живописной фактуры, поражающих в наиболее качественных образцах скульптуры и иконописи XIII в.». Аналогичное — в статье О. Поповой об иконе «Богоматери Одигитрии» из Успенского собора Московского Кремля:

«Полноценная интенсивность цвета сочетается с гармонической слитностью оттенков. Течение света и тени кажется естественным...» Традиционные заверения о «поражающем» исследователя характере памятников полны искренности. Но иконы-то не прочтены, не растолкованы; не найден, не схвачен их жанр. И они анализируются так же, по сути дела, как анализировались бы, скажем, портреты, выполненные во второй половине XIX столетия: и сдержанное благородство, и ясность, и четкость, и интенсивность цвета — все, что говорится хотя бы о Крамском, Репине, Перове.

Символичность мышления средневекового человека, сокровенная многозначность линии, цвета, перспективы — то, ключи от чего мы потеряли, хотя мы и ищем их. Но путь к ним — путь длительный, и легко сказать, что лишь осмысленный жанровый анализ приведет к серьезному научному изучению наших сокровищ, но овладеть методами такого анализа, конечно же, нелегко. И пока что остается благодарить коллег уже за то, что они сумели сказать. Положено начало изданию, судьба которого кажется мне завидно счастливой.

**В. ТУРБИН.**



## КОРОТКО О КНИГАХ



**Ю. М. КАЛИНИНА. Отец. Рассказ дочери. Литературная запись Ю. Капусто. М. «Детская литература». 1974. 190 стр.**

Если стиль — это человек, как привыкли повторять мы за Бюффоном, то отражаться в его зеркале должен не только тот, кто пишет, но в какой-то степени и тот, кого описывают. Правило это, конечно же, распространяется и на работы биографического жанра. Перед нами работа, написанная или «наговоренная» человеком, далеким от литературного дела и создавшим свою первую и, возможно, единственную книгу, дабы запечатлеть в слове живой образ отца. Совершенно естественно, что определяющее влияние на построение фразы, на словесную ткань рассказа оказал сам образ ее героя — выдающегося деятеля Советского государства, стойкого большевика-ленинца Михаила Ивановича Калинина.

И надо сказать, что простоте, естественности и человечности калининского облика поможет запечатлеться в сознании детей «среднего школьного возраста», которым адресована книга Юлии Михайловны Калининой (старшей дочери Михаила Ивановича), отвечающая этим качествам простота, безыскусность и мягкая интонация рассказа.

Книга выросла, конечно, из личных воспоминаний, но она рассказывает не только о том, чему автор был свидетелем. Перед читателем и работа памяти и некая поисковая, исследовательская работа. Дочери самой интересно и важно не просто поведать о том или ином поступке, жизненном шаге отца, но понять истоки, психологические и иные причины поступка. Такое стремление добраться «до корня» остро ощутимо и в той части рассказа, где речь идет об отрочестве и юности отца, когда им были приняты важные решения, приведшие его на путь профессионального служения революции.

Путь в революцию у каждого был свой. Даже у людей сходного социального опыта побудительные причины часто не совпадают, и все же была одна черта, сближавшая в этом случае выходцев из различных общественных слоев. Ю. М. Калинина очень верно обозначила эту черту, сказав об отце, что «потребность в справедливости многое определила в его пути».

Рассказывая о жизни молодого Калинина, автор книги выделяет и другие характерные черты его душевного облика, определявшие

его становление, возвращается к ним не один раз.

Во-первых, жадный интерес к окружающему миру, проявлявшийся всегда и в любых обстоятельствах; «Он всегда был открыт впечатлениям», — пишет дочь и приводит отрывок из воспоминаний Калинина о том, как его вели этапом в Олонецкую губернию. Достаточно заглянуть в известную книгу Дж. Кеннана «Сибирь и ссылка», чтобы уяснить себе тяжелейшие условия такого этапа, вызывавшие заболевания, а нередко и смерть осужденных. Тем не менее воспоминания Калинина начинаются такими словами: «Само путешествие этапом было очень интересно». Природа, люди, условия их труда и быта привлекали его сугубое внимание в Петербурге, Грузии, Эстонии, на родной Тверщине — всюду, куда его забрасывала судьба и приговоры судов. Этот интерес к самым различным сторонам и сферам русской жизни никогда не угасал в Калинине. Не удивительно, что впоследствии, на посту председателя ВЦИК, он проявлял хорошее знание страны и ее нужд, снискавшее ему уважение народа.

Во-вторых, постоянное самовоспитание, самообразование. Калинин был убежден, что истинный революционер, большевик должен стать интеллигентом, из какой бы социальной прослойки ни происходил. И сам поступал согласно этому убеждению, что дало ему право много позже сказать, что он «считает себя и интеллигентом, и крестьянином, и рабочим». За первый тюремный срок — годичный — «он прочел 160 книг», в том числе «Капитал», учил в камере немецкий язык. В последние годы жизни, когда он уже не мог читать сам и ему читали родные, он «захотел познакомиться с Соловьевым, со всеми его двадцатью девятью томами. «Что-то, мне кажется, — пишет дочь, — хотел он понять, глядясь в прошлое России. Последний том ему дочитали за несколько дней до конца».

И наконец, уважение к труду, интерес к мастерству, чьим бы оно ни было, — мастерству токаря, земледельца, инженера, а впоследствии и к мастерству ученого, писателя, театрального режиссера.

Естественно, что многие страницы книги показывают Калинина в кругу семьи, его взаимоотношения с детьми, которых было семеро — своих и приемных. В его отцовской педагогике сказались цельность харак-



тера, прямодушие, желание воспитать в каждом человеке умелого и честного работника.

«На полноту рассказа об отце я никак претендовать не могу — многого я просто не знаю». Это признание автора как нельзя лучше определяет доверительную, искреннюю интонацию рассказа, который дает возможность читателю лучше постичь живой облик одного из выдающихся деятелей Советского государства.

Ю. Ляхов.

Переславль-Залесский.



**ЛЕОНИД КУДРЕВАТЫХ. Признание в любви. М. «Советский писатель». 1975. 368 стр.**

«Десятилетия, точно верстовые столбы, меряют нашу жизнь... и каждое из десятилетий имеет свою смысловую нагрузку». Какие же десятилетия, какие люди встают со страниц новой книги одного из ветеранов нашей журналистики, очеркиста и литератора Леонида Кудреватых? Двадцатые, тридцатые, сороковые... Годы первых пятилеток, становление колхозов, всесоюзные новостройки. И годы Великой Отечественной войны. А люди? Поколение строителей, энтузиастов. «Круговерть профессии» сводит автора со многими замечательными современниками. И все они — в гуще социально насыщенной жизни страны. «Страшно завидую тебе: ты в центре событий», «дело интересное и жаркое», «жизнь довольно напряженная», «хочется делать настоящее дело». Это — слова из писем Бориса Рюрикова автору. Мысль, выраженная в них, так или иначе присутствует и в других очерках сборника, ибо чувство гражданственности превалирует над всеми остальными и у самого автора и у каждого из тех, о ком он вспоминает.

Поэты Александр Безыменский и Александр Твардовский, маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский, народный артист Николай Хмелев, литературный критик Борис Рюриков, очеркисты Петр Беявский и Елена Кононенко. Со всеми этими людьми автор не просто встречался, но лично хорошо их знал и любил. Не случайно и в заголовок книги вынесено название одного из очерков — «Признание в любви». Этот личный характер воспоминаний и строгая документальность — вот что, мне кажется, ценно в книге Леонида Кудреватых. «Я пишу о том, что знаю, что сам видел или слышал, о чем говорят сохранившиеся у меня какие-то доказательства... Я только свидетельствую. И не берусь утверждать того, что мне лично неизвестно».

Леонид Кудреватых не претендует на то, чтобы давать глубокие характеристики, анализировать, обобщать. Он просто вспоминает — о встречах, разговорах, жизненных случаях. Он не воспроизводит биографии, не берется оценивать боевые операции маршала Рокоссовского. Но и биографам полководца и историкам войны его мемуары бу-

дут полезны. Он не исследует творчество Александра Твардовского — «такое мне не по плечу», — но поможет своими воспоминаниями исследователям творчества поэта. Интересны страницы, рассказывающие о дружбе Твардовского с «Известиями» в первые послевоенные годы, о встречах в военном отделе газеты на пятом этаже здания на площади Пушкина, где поэт извлекал из кармана пиджака листы, исписанные каллиграфически четким почерком и говорил: «Вот, послушайте, братцы...»

Леонид Кудреватых вспоминает имена малоизвестные или забытые, но заслуживающие того, чтобы остаться в нашей памяти. Чувашский писатель Максимов-Кожкинский, создатель, режиссер и первый актер Чувашского национального театра; Макар Рыбаков — сапожник из города Кимры, ставший писателем, встречавшийся с А. М. Горьким и ценный им; переводчик Джамбула Павел Кузнецов; автор первой в репертуаре советского театра пьесы «Легенда о коммунаре» Петр Козлов, да и сам Леонид Кудреватых, вышедший из вологодской «глухомани», сельский комсомолец 20-х годов, членовец, по путевке комсомола пришедший в институт и затем в журналистику, — это люди, в жизни которых отразилась большая эпоха, которые сами были «активом» этой эпохи.

Полноправными героями очерков Леонид Кудреватых делает и тех, кто редко становится объектом мемуаристов, — своих товарищей по перу — журналистов, газетчиков. Он рассказывает о гражданской роли творцов «периодики», о плеяде боевых журналистов довоенного и военного времени, о тех, кто ставит и помогает решать злободневные жизненные проблемы, чьи подписи в газетах и журналах и сейчас знакомы читателям.

Я бы сравнила книгу Леонида Кудреватых с пограничной вехой. То, о чем он рассказывает, — еще современность, но уже принадлежит и истории. Старшее поколение знает и помнит многих героев очерков и найдет в книге дорогие для себя, волнующие факты из их жизни. А для молодых — это возможность соприкоснуться с героическим вчерашним днем, с людьми, находившими свое счастье в активном, действенном отношении к жизни.

Сборник очерков Леонида Кудреватых, может быть, и не войдет в большую мемуарную литературу, но автор заинтересовал читателей многими документальными свидетельствами. И, думается, с течением времени ценность его воспоминаний будет возрастать.

Ксения Бродер.



**ОТ МАЯ ДО МАЯ. Стихи поэтов социалистических стран Европы в переводе Юрия Левитавского, с предисловием Константина Симонова. М. «Прогресс». 1975. 272 стр.**

«Отыщи такое настоящее слово...» — так звучит строка из стихотворения македонского поэта Ацо Шопова «Молитва о слове обычном, еще не найденном». Оно вхо-

дит в книгу «От мая до мая» — поэтический сборник, в котором под одним переплетом объединены стихи поэтов социалистических стран, переведенные на русский язык Юрием Левитанским. Строку эту можно поставить эпиграфом ко всему сборнику. Чтобы он возник, потребовался долгий, упорный поиск настоящего слова. Настоящего слова, сказанного на родных языках поэтами разных стран и разных поколений, и настоящего слова на языке поэта-переводчика, которое было бы в полной мере созвучно оригиналу. Книга свидетельствует, что этот поиск увенчался успехом.

В ней представлено около пятидесяти поэтов Румынии, Венгрии, ГДР, ЧССР, Польши, Болгарии, СФРЮ. Это и самые известные, прославленные поэты, творчество которых уже стало классикой, например, Бертольт Брехт, Ярослав Ивашкевич, Дюла Ййеш, Мария Бануш, и мастера, которые вошли в поэзию в послевоенные годы, и более молодые поэты. Сквозная тема книги — новейшая история Европы, грозные потрясения, через которые прошли ее народы в годы фашизма, и созидание новой жизни. Сборник называется «От мая до мая» не только потому, что он вышел в 1975 году, когда весь мир отмечал тридцатилетие победы над фашизмом, но и потому, что в нем отразилась лирическая история этих славных тридцати лет, хотя немало его стихов обращено и к более ранним годам. Через всю книгу проходит образ поэта, для которого история его страны, история всех наших стран, история Европы и мира — исток, почва и воздух его собственной биографии. Звучит в книге и мысль о высокой гражданской ответственности искусства. И о том, как плодотворно обращение к его нетленным традициям.

Франц Фюман, один из известных писателей ГДР, отдавший много сил поэтическому переводу, в своей книге «Двадцать два дня или половина жизни» написал о взаимных переводах поэтов стран социализма как о важном завоевании социалистической культуры, в котором проявляются существенные черты нашего образа жизни. О тех, кто трудится в этой области, он сказал так: «Это было дерзанием, но оно себя оправдало и оно удалось... Мы в полном смысле слова поднимали целину».

В сборнике есть стихи, настойчиво подчеркивающие свою зависимость от народной поэзии, и стихи, написанные строгими классическими размерами, но более всего стихов современной, свободной, часто очень изощренной формы. Переводчик мастерски владеет всем этим многообразием форм. Классические размеры не звучат у него слишком академично и скванно, свободные ритмы не производят впечатление произвольных и «расхристанных». Точно найденное, строго взвешенное слово организует их.

Читатель, не очень ясно представляющий себе способы и возможности поэтического перевода на основе подстрочника — а Ю. Левитанский в ряде случаев имел дело с подстрочниками, — может задать естественный вопрос о степени близости его

переводов к оригиналу. Я сравнивал с оригиналами лишь его переводы с немецкого — с языка, которым сам владею, и убедился, что своеобразие ритмическое, лексическое, интонационное Брехта, Кубы, Кунерта вполне адекватно передано переводчиком. Но это мое свидетельство носит, разумеется, частный характер. А самую главную верность переводов — верность духу поэзии — подтверждает то, что книгу интересно читать и хочется перечитывать. «Для человека, переводящего поэзию, мало одного трудолюбия, — пишет К. Симонов в предисловии к сборнику. — Но даже и трудолюбия, соединенного с талантом, тоже мало. Нужна еще добавок ко всему та нелегко вырабатываемая в себе чуткость, которая позволяет читателю за поэтическим голосом того, кто переводит, чувствовать и голос того, кого переводят». Сложная диалектика того трудного искусства, которым является поэтический перевод, здесь очень точно определена К. Симоновым. И рецензируемая книга служит прекрасной опорой для высказанной им мысли.

Сергей Львов.



**ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ... Краткая иллюстрированная история войны для юношества. М. «Молодая гвардия». 1975. 576 стр.**

Эта книга, открывающаяся обращением Маршала Советского Союза А. Василевского к юному читателю, адресована молодежи, которая не видела пожаров войны. Выразительные фотографии, интересные документы, краткий, но емкий пояснительный текст рассказывают о предистории и основных этапах битвы с фашизмом. О тех, кто с беспримерным мужеством отстоял Брестскую крепость, Одессу и Киев, Минск, Севастополь и Ленинград, кто участвовал в исторических битвах под Москвой, Сталинградом и Курском, кто форсировал Днепр, Вислу и Одер, кто штурмовал Кенигсберг и брал Берлин.

С большой эмоциональной силой книга воскрешает суровое время войны, в грозном вихре которой испытывались крепость советского строя, величие духа, сила и мужество нашего народа, его преданность родине и Коммунистической партии. Рассматривая на ее страницах бесценные, в большинстве своем малоизвестные фотодокументы, юноша может увидеть своего деда или отца и их сверстников из фронтового поколения, он как бы пройдет вместе с ними по огненным дорогам войны.

Сердце человека заставляют содрогнуться фотоснимки драматических событий начального периода войны: опыненные временными успехами фашисты топчут советскую землю, их самолеты бомбят приграничные города и деревни. Убитые мирные жители, дети, оставшиеся без родителей и без крова... Русская женщина с известного плаката Ираклия Гойдзе «Родина-мать зовет!» призывает всех советских людей грудью встать на защиту отечества.

В хронологической последовательности

расположены фотографии и документы легендарной обороны городов-героев, материалы, рассказывающие о крупнейших операциях и битвах войны, борьбе партизан в тылу врага, великой освободительной миссии Советских Вооруженных Сил. С особой любовью и теплотой подобраны фотоматериалы о прославленных полководцах и военачальниках — организаторах боевых действий, о героях войны: пехотинцах и летчиках, танкистах и артиллеристах, представителях всех родов войск. Видное место отведено документам, отражающим неутомимую деятельность армейских коммунистов, чье вдохновенное слово и личный пример воодушевляли воинов на преодоление самых трудных препятствий на тернистом пути к победе.

Выразительна та часть книги, которая наглядно показывает неразделимость фронта и тыла, самоотверженный труд многих тысяч рабочих и колхозников, для которых лозунг «Все для фронта, все для победы!» был непреложным законом жизни.

Советская Армия и Военно-Морской Флот, с честью и славою пронесшие свои боевые знамена в Великой Отечественной войне, ныне бдительно охраняют созидательный труд нашего народа от агрессивных устремлений империалистов. Под священными знаменами отцов-победителей стоят их сыновья и внуки — наследники боевой славы.

Книга «Великая Отечественная...» — своеобразный памятник героическому советскому народу, народу-победителю. Ее познавательное и воспитательное значение трудно переоценить. Повествуя о великом подвиге советского народа в войне, она учит молодежь помнить и свято хранить традиции прошлого, зовет подрастающее поколение к новым подвигам во имя нашей социалистической Отчизны, во имя мира на земле и счастья человечества.

**Л. Козлов,**

*полковник, кандидат исторических наук.*

★

**АНАТОМИЯ АГРЕССИИ. Новые документы о военных целях фашистского германского империализма во второй мировой войне. М. «Прогресс». 1975. 320 стр.**

Сборник «Анатомия агрессии» подготовлен в ГДР немецким научным издательством. Подавляющее большинство материалов книги публикуется на русском языке впервые. Но этим ценность книги не исчерпывается. Не ограничивается полезность этого издания и тем, что в него включены документы, проливающие дополнительный свет на идеологию и практику нацизма, обнажающие тайные пружины агрессивных планов, политических и военных акций гитлеризма, его разветвленные связи с финансовым капиталом.

Главное в том, что документы позволяют выявить тот источник, из которого империа-

листическая реакция по сей день черпает враждебные миру концепции, вдохновение, аргументы. На материалах книги можно проследить преемственность идеологии и практики наиболее агрессивного и реакционного крыла империализма.

Готовя агрессию в Европе, гитлеровская клика и ее пропагандистский аппарат вовсю раздували миф о «большевистской опасности». Пытаясь восстановить против Советского Союза всю Европу, фашизм рассчитывал сколотить единый фронт «совместной борьбы против большевизма». Усиленно эксплуатируется «угроза с Востока» и ныне. Именно на антисоветской платформе вербует империалистическая реакция классовых союзников для борьбы с социализмом в Европе. «Советской угрозой» пытаются оправдывать натовскую гонку вооружений.

Как справедливо отмечается во введении к немецкому изданию сборника, многие высказывания гитлеровских главарей о Европе, планах ее объединения, о ее предназначении чуть ли не текстуально совпадают с тем, что говорят представители «европеизма» 70-х годов. Так, в проекте памятной записки нацистского министерства иностранных дел (1943) говорится об «Атлантической хартии», о необходимости «объединения Европы в оборонительное сообщество». Это — излюбленная терминология и сегодняшних политиков типа Штрауса и Лунса.

Примечательно, что гитлеровское руководство заботилось и о «публицистическом освещении европейского вопроса». На это, в частности, обращалось внимание в распоряжении Иоахима фон Риббентропа от 5 апреля 1943 года. Планы господства в Европе предлагалось преподнести общественности в изящной пропагандистской упаковке.

«Красивый жест сделать нетрудно, а результаты он может дать в высшей степени полезные...» — читаем в документе № 41. — Почему бы нам не обнародовать успокаивающие, соблазнительные или по меньшей мере нейтрализующие программы? Возражают, что мы тем самым возьмем на себя обязательства, которые впоследствии не сможем выполнить. С каких это пор мы стали столь боязливы и целомудренны? Как будто после победы трудно будет найти формулу, которая узаконит наши притязания на господство...»

Перед нами — квинтэссенция разбоя, демагогии и цинизма гитлеровско-геббельсовской политики и пропаганды. Не по этим ли рецептам действует и нынешняя реакционная пропаганда, предлагающая различные «европейские проекты» — один другого соблазнительней?

Сборник «Анатомия агрессии» обращен не в прошлое, а в настоящее и будущее. Разоблачая преступные планы и опасную демагогию фашизма, он призывает к бдительности, к раскрытию тайн, в которых могут вырваться новые авантюры.

**Вл. Кузнецов,**  
*кандидат филологических наук.*

# КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



## ПОЛИТИЗДАТ

**В. И. Ленин.** Политическое положение. — К лозунгам. — Уроки революции. 32 стр. Цена 4 к.

**Л. И. Брежнев.** Гордость отечественной науки. Речь на торжественном заседании в Кремлевском Дворце Съездов, посвященном 250-летию юбилея АН СССР 7 октября 1975 г. 16 стр. Цена 3 к.

**Ленин и «Известия».** Документы и материалы. 1917—1922. 319 стр. Цена 72 к.

**Р. Конюшная.** Карл Маркс и революционная Россия. 440 стр. Цена 1 р. 84 к.

**Люди молчаливого подвига.** Очерки о разведчиках. 367 стр. Цена 81 к.

**Пропагандисты ленинской школы.** Очерки. 304 стр. Цена 88 к.

**Б. Чехонин.** Австралийцы у себя дома. 144 стр. Цена 39 к.

## «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

**Р. Будрис.** Прозрачные ветры. Роман, повесть, рассказы. 566 стр. Цена 1 р. 6 к.

**Э. Бээнман.** Чертоцвет. — Старые дети. Перевод с эстонского. 415 стр. Цена 88 к.

**К. Жусупов.** Лесорубы. Повести и рассказы. Перевод с киргизского. 311 стр. Цена 67 к.

**Б. Зубавин.** От рассвета до полудня. Повести и рассказы. 518 стр. Цена 93 к.

**Б. Костюковский.** Земные братья. Повести. 687 стр. Цена 1 р. 41 к.

**А. Леонов.** Долгие метели. Повести. 256 стр. Цена 61 к.

**Г. Люшин.** Верность земле. Стихи. 104 стр. Цена 28 к.

**Н. Нефедов.** Начало. Повести. 247 стр. Цена 63 к.

**Ю. Палецис.** Книга путешествений. Перевод с литовского. 431 стр. Цена 99 к.

**Г. Поженян.** Зимний дом. Стихи. 110 стр. Цена 34 к.

**Б. Полевой.** Тридцать лет спустя. Очерки. 159 стр. Цена 28 к.

**П. Сажин.** Севастопольская хроника. Повесть. Издание исправленное и дополненное. 543 стр. Цена 1 р. 8 к.

**Ф. Сологуб.** Стихотворения. («Библиотека поэта». Большая серия) 679 стр. Цена 1 р. 63 к.

## «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**К. Аманжолов.** Стихи. Перевод с казахского. 222 стр. Цена 61 к.

**Афганская классическая поэзия.** Перевод с пушту. 232 стр. Цена 19 к.

**А. Дехлеви.** Восемь райских садов. Перевод с фарси. 253 стр. Цена 40 к.

**Л. Леонов.** Вор. Роман. 621 стр. Цена 1 р. 28 к.

**А. Медников.** Главная линия. Рассказы и очерки. 285 стр. Цена 69 к.

**Б. Нушин.** Дитя общины. Избранное. Перевод с сербскохорватского. 463 стр. Цена 96 к.

**П. Севак.** Стихи. Перевод с армянского. Вступительная статья Э. Межелайтиса. 254 стр. Цена 1 р. 1 к.

**И. Семенко.** Жизнь и поэзия Жуковского. 255 стр. Цена 71 к.

**Я. Фрид.** Анатолий Франс и его время. 390 стр. Цена 1 р. 15 к.

**В. Харитонов.** Стихи и песни. Предисловие С. Наровчатова. 238 стр. Цена 93 к.

## «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

**Ю. Бондарев.** Берег. Роман. 416 стр. Цена 98 к.

**Д. Гордон.** Косой дождь. Роман. Перевод с английского. 368 стр. Цена 1 р. 27 к.

**В. Муштаев.** Пять цветных карандашей. Повести. Предисловие А. Суркова. 222 стр. Цена 31 к.

## «СОВРЕМЕННОК»

**А. Абдулаев.** Объятия. Стихи и поэма. Перевод с лакского. («Новинки «Современника») 63 стр. Цена 21 к.

**Г. Агнаев.** Утро Нового года. Рассказы. Перевод с осетинского. Предисловие С. Залыгина. («Наш день») 171 стр. Цена 23 к.

**И. Арсентьев.** Обратный штырок. Летняя повесть. («Наш день») 252 стр. Цена 42 к.

**В. Еловских.** Тепло земли. Повесть и рассказы. 173 стр. Цена 44 к.

**Н. Кондакова.** День чудесный. Предисловие В. Цыбина. («Первая книга в столице») 79 стр. Цена 14 к.

**Н. Лайне.** Шум берез. Стихи и поэма. Перевод с финского. («Новинки «Современника») 93 стр. Цена 44 к.

**К. Ломунов.** Лев Толстой в современном мире. 493 стр. Цена 1 р. 31 к.

**А. Мирзаев.** Жажда. Стихи. Перевод с лакского. 79 стр. Цена 21 к.

**Д. Петров (Бирюк).** Братья Грузиновы. Роман. — Степные рыцари. Повесть. 462 стр. Цена 95 к.

**В. Сорочаждев.** Нечетные числа. Стихи. («Первая книга в столице») 60 стр. Цена 17 к.

**Н. Хубнев.** Лавина. Стихи. Перевод с карачаевского. («Новинки «Современника») 78 стр. Цена 19 к.

## «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**С. Баруздин.** Заметки о детской литературе. 366 стр. Цена 1 р. 14 к.

**Е. Воробьев.** Капля крови. Повесть. 176 стр. Цена 54 к.

**В. Голявин.** Боба и Вобаша. Киноповесть. 63 стр. Цена 15 к.

**А. Драбкина.** Волшебные яблоки. Рассказы и повести. 112 стр. Цена 40 к.

**Б. Емельянов.** Китобой и его друзья. Рассказы. 111 стр. Цена 63 к.

**К. Икрамов.** Пехотный напиток. Роман. 319 стр. Цена 66 к.

**А. Исаакян.** Сердце мое на вершине гор. Стихотворения, поэмы, баллады, легенды, басни. Составление и вступительная статья С. Гайсарьяна. 160 стр. Цена 48 к.

**М. Коршунов.** Подростки. Роман. 206 стр. Цена 45 к.

**Е. Криштоф.** Соратники. Документальная повесть. («Герои нашего времени») 142 стр. Цена 60 к.

**Т. Лихоталь.** Счастливый случай. Повести. 144 стр. Цена 47 к.

**С. Полетаев.** История двух беглецов. Повесть. 159 стр. Цена 36 к.

**Л. Н. Толстой.** Для детей. Рассказы, басни, сказки и быliny.— Лев Толстой и дети. Вступительный очерк Л. Воронковой. 239 стр. Цена 58 к.

**И. С. Тургенев.** Романы. Вступительная статья Н. Богословского. 592 стр. Цена 1 р. 26 к.

**А. Шаров.** Приключения Еженки и других нарисованных человечков. Повесть-сказка. 80 стр. Цена 1 р. 12 к.

#### ВОЕНИЗДАТ

**К. Вершинин.** Четвертая воздушная («Военные мемуары») 349 стр. Цена 94 к.

**Л. Громов и Р. Фарамазан.** Военная экономика современного капитализма. 272 стр. Цена 1 р. 4 к.

**В. Карпов.** Взять живым. Роман. 423 стр. Цена 99 к.

**Н. Рыбалко.** Незабудки на кургане. Стихи. 174 стр. Цена 72 к.

#### «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

**Д. Григорович.** Повести и рассказы. Вступительная статья С. Машинского. 287 стр. Цена 72 к.

**А. Ланчинов.** Виктор Астафьев. Право на искренность («Писатели Советской России») 96 стр. Цена 18 к.

**Л. Мартынов.** Пути поэзии. Предисловие В. Дементьева («Писатели о творчестве») 93 стр. Цена 18 к.

**Б. Муртазов.** Колыбель и посох. Стихи. Перевод с осетинского. 191 стр. Цена 51 к.

**И. Ободовская и М. Дементьева.** Вокруг Пушкина. Неизвестные письма Н. Н. Пушкиной и ее сестер Е. Н. и А. Н. Гончаровых. Редактор и автор вступительной статьи Д. Д. Благой. 382 стр. Цена 1 р. 16 к.

**А. Первенцев.** Испытание. Роман. 286 стр. Цена 61 к.

**Г. Радов.** Председательский корпус. После-словие К. Симонова. 364 стр. Цена 86 к.

**Ю. Трифионов.** Продолжительные уроки («Писатели о творчестве») 103 стр. Цена 18 к.

#### «ИСКУССТВО»

**Время невиновных.** Сборник одноактных пьес зарубежных драматургов. Переводы. 80 стр. Цена 22 к.

**Памятники архитектуры Московской области.** Каталог. В 2-х тт. Под общей редакцией Е. Подъяпольской. Т. 1. 383 стр. Цена 2 р. 18 к.

**Е. Шатрова.** Жизнь моя — театр. После-словие А. Розенпуда. 391 стр. Цена 1 р. 91 к.

#### «ПРОГРЕСС»

**Б. Дэвидсон.** Операция «Андраси». Роман. Перевод с английского. 239 стр. Цена 65 к.

**Ж. Дюкло.** Бакунин и Маркс. Тень и свет. Перевод с французского. 462 стр. Цена 1 р. 8 к.

**Т. Кун.** Структура научных революций. Перевод с английского («Логика и методика науки») 288 стр. Цена 25 к.

**Обрести человека.** Повести и рассказы писателей ГДР. Перевод с немецкого. 479 стр. Цена 1 р. 64 к.

**Экспериментальная психология.** Редакто-ры-составители П. Фрес и Ж. Пиаже. Вы-пуск 5. 284 стр. Цена 1 р. 43 к.

#### «НАУКА»

**Жизнеописание Сайфа, сына царя Зу Яза-на.** Сокращенный перевод с арабского И. Фильштинского и Б. Шидфар. Всту-пительная статья И. Фильштинского. 605 стр. Цена 2 р. 28 к.

**История Германской Демократической Республики, 1949—1973.** Краткий очерк. Ре-дактор В. Кульбакки и др. 487 стр. Цена 2 р. 34 к.

**История философии и вопросы культуры.** Сборник статей. Ответственный редактор М. А. Лифшиц. 319 стр. Цена 1 р. 60 к.

**М. Тихомиров.** Древняя Русь. Сборник ста-тей. 394 стр. Цена 2 р. 10 к.

#### «МЫСЛЬ»

**К. Гусев.** Партия эсеров: от мелкобур-жуазного революционизма к контрреволю-ции. Исторический очерк. 383 стр. Цена 1 р. 45 к.

**Г. Согомоян.** Апологетические концепции социал-реформизма («Современный капита-лизм и идеологическая борьба») 271 стр. Це-на 1 р. 8 к.

**Энергетический кризис в капиталистиче-ском мире.** Коллективная монография. 478 стр. Цена 1 р. 78 к.

#### «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ»

**А. Некрасов.** Развивающиеся страны в экономической программе ООН. 192 стр. Це-на 80 к.

**Г. Фокеев.** Внешнеполитические проблемы современной Африки. 263 стр. Цена 1 р. 26 к.

#### ПРОФИЗДАТ

**Второе признание.** Сборник стихотворе-ний и рассказов участников литературных объединений. Составитель Н. Михайлов и А. Филатов. 224 стр. Цена 86 к.

**Е. Карпов.** Крутогорье (Повести о героях труда). 192 стр. Цена 41 к.

Главный редактор **С. С. Наровчатов**

Редакционная коллегия:

**Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку** (ответственный секретарь), **Е. М. Вино-куров, Р. Г. Гамзатов, М. Б. Козьмин** (первый зам. главного редакто-ра), **В. А. Косолапов, А. А. Кулешов, В. М. Литвинов, М. Д. Львов** (зам. главного редактора), **А. И. Овчаренко, Г. И. Резниченко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, Д. В. Тевекелян, К. А. Федин**

Адрес редакции: 103006, Москва, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 299-81-77

Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся СССР»

Москва, К-6, Пушкинская пл., 5.

Сдано в набор 25/XI 1975 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 30/I 1976 г.  
Формат бумаги 70×108/16, 28,7 уч.-изд. л., 9 бум. л. (25,2 усл. печ. л.)  
А 09112. Тираж 185 000 экз. Зак. 4108.

Отпечатано с матрицы типографии издательства «Известия Советов депутатов трудящихся СССР». Москва, Пушкинская пл., 5, в ордене Ленина комбинате печати издательства «Радянська Україна». Киев-47, Брест-Литовский проспект, 94. Зак. 0668.



Цена 70 коп.

70636